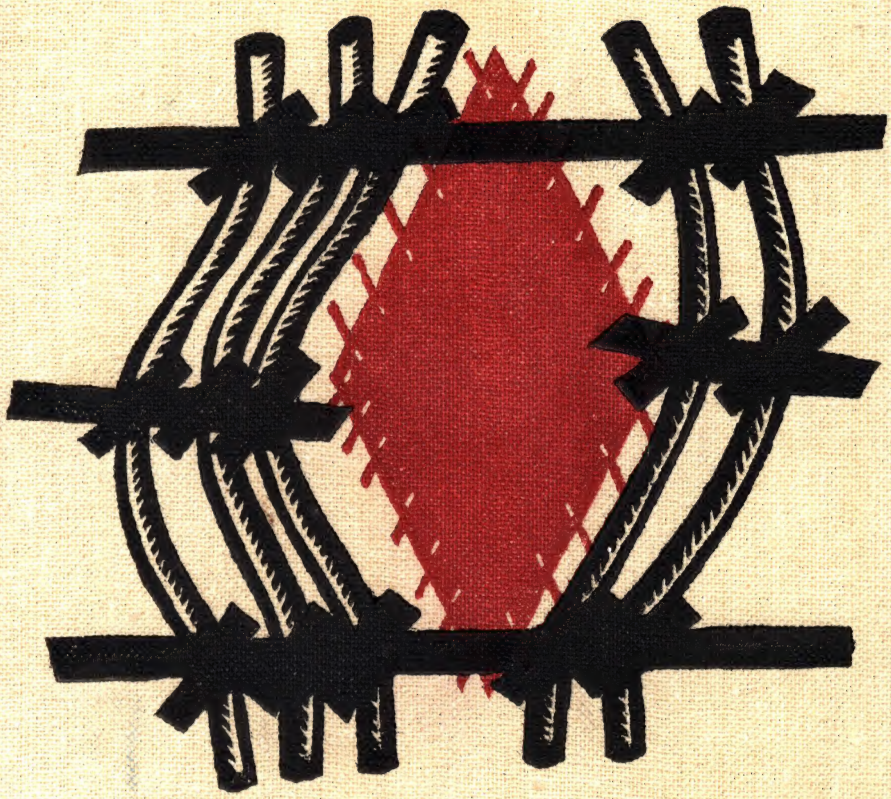
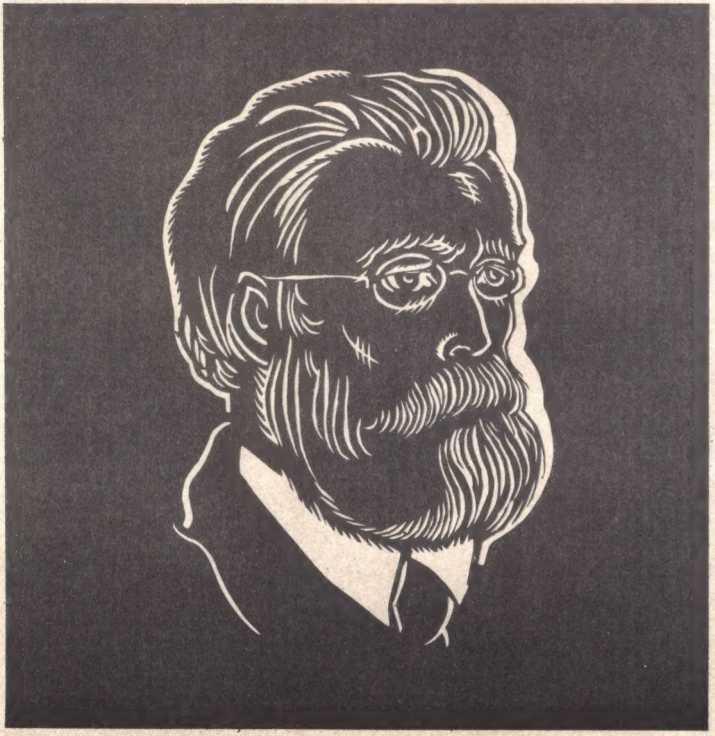


ЮРИЙ ДАВЫДОВ

ДВЕ СВЯЗКИ ПИСЕМ

ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

ГЕРМАН ЛОПАТИН



ЮРИЙ ДАВЫДОВ

ДВЕ СВЯЗКИ ПИСЕМ

Повесть
о Германе Лопатине

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1983

Р2
Д13

Юрий Давыдов — автор исторических романов и повестей «Этот миндальный запах», «Март», «Глухая пора листопада», «Судьба Усольцева». В серии «Пламенные революционеры» изданы его повести «Завещаю вам, братья» (об Александре Михайлове) и «На Скаковом поле, около бойни» (о Дмитрии Лизогубе). В центре новой повести писателя бурная, драматическая жизнь известного русского революционера, друга Маркса и Энгельса, первого переводчика «Капитала» на русский язык, члена Генерального совета Интернационала Германа Лопатина.

Автором избраны события и ситуации напряженные и острые: борьба с Нечаевым, отважная попытка спасения Чернышевского из сибирской каторги, разоблачение агентуры тайной полиции.

Действие повести разворачивается в Петербурге и Москве, в Женеве и Лондоне, в Иркутске и Париже.

Д $\frac{0505010000-008}{079(02)-83}$ 262—83

© ПОЛИТИЗДАТ, 1983 г.

СВЯЗКА ПЕРВАЯ

I

Говоря откровенно, я замахивался на роман: картонки и папки едва не лопаются под натиском документов, освещающих убийства и подвиги, любовь и приключения, взлеты и падения души человеческой.

Время от времени принимался за дело, но роман умирал, еще не родившись. На том бы, вероятно, и кончилось, если бы вчера...

Неподалеку от нашего дома темнеет лес Тимирязевской академии, бывшей Петровской. Так вот, вчера, в сумерках, близ ручья и пруда, я расслышал в шуме деревьев:

Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду,
Сидит ворон на дубу...

Невидимый хор звучал грозно, с зловещей забубенностью, и словно бы вдруг, в неуследимую минуту, я ясно понял, что эти папки, эти документы нельзя предать забвению.

От романа увольняюсь. Может быть, материалы к роману? Они, однако, требуют постраничных указаний источников. Отсутствие таких указаний вызвало бы праведный гнев специалистов; присутствие — дремоту неспециалистов. Уважая первых и дорожа вторыми, назову свои материалы п и с ь м а м и.

Эпиграф беру из «Русских ночей» Одоевского: «Я здесь рассказываю вам не мертвый вымысел, а живую действительность...»

Итак, 21 ноября 1869 года, в пятницу, в третьем часу дня Нечаев с товарищами обедал в кухмистерской «Тверь». А потом поехали они на извозчиках в Петровское-Разумовское.

Пороши еще не легли, но морозы уже ударили, грязь закаменела, пролетки подпрыгивали. За Бутырской заставой началась слобода. В слободских кабаках желтели огни. Хорошие тут были кабаки — таких уж нет: водкой поили дешевле, чем в Москве.

Слобода отошла, открылись голые рощи и бурые огороды. Нечаев, сняв варежку, грыз ногти. Вот эта варежка в кулаке — грубошерстная, в радужных разводах, домашняя, бабушкой связанная — была бы подходящим поводом для беллетристического поворота: «и тут ему вспомнилось»... Была бы, если б молодой человек — тщедушный, с лицом анемичным, ничем, право, не примечательный,— если бы Сергей Геннадиевич Нечаев не думал о том, что произойдет в Петровском. Вернее, так: сумеет ли старик Прыжов, думал Нечаев, завлечь этого мерзавца в грот? Сумеет ли — вот в чем вся штука...

Черной громадой встал лес. Нечаев отпустил извозчиков, пролетки исчезли в загустевших сумерках. Послышался шорох мертвых листьев. И резкий, ломкий звук колокола,— так бывает в предзимье, когда уже очень холодно, но еще нет снегопада. Звонили у Петра и Павла: был день введения во храм.

Все четверо гуськом двинулись в лес. Шли не плутая и вышли к пруду. Рядом индевел каменный грот времен графа Разумовского. Кому чего делать, молодые люди расчислили загодя. Подобрали несколько кирпичей, накрепко перекрестили бечевкой, длинные концы оста-

вили свободными. На пруду, у берега, пробили прорубь. Сучья и листья в гроте разгребли сапогами, чтоб, значит, не оскользнуться. Изготовились, затаились.

Надо сильно принять в сторону от Петровского-Разумовского. Объезд выйдет долгим и длинным, с визитом в Женеву и прочее. Но крюк необходим. Иначе не понять, почему над замерзшим прудом грянуло «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду, сидит ворон на дубу...»

Ни дуба, ни ворона — трубили трубы на дворе кавалергардских казарм: серебряный голос летел и звенел в узкой и длинной, как шпага, Шпалерной.

В Петербурге, на Шпалерной, в доме приходского училища жил Нечаев Сергей Геннадиевич. Говорят, учил он закону божьему. Вероятно, не так. Законоучительство вверялось священникам и дьяконам. На худой конец выходцам из духовного сословия. Впрочем, бывает, что и безбожники преподают закон божий.

Вольным слушателем записался он в университет. Однако его потертое пальто не часто висело в студенческой гардеробной. Дробной — на каблук, на каблук — походочкой держал Нечаев к полуподвальной, от университета ближней, столовой, где пахло дешевым харчем. Или к дальним линиям Васильевского острова, в артельные студенческие фатеры. Булатный ножик сарказма вонзал он в диспуты: полно спорить, подумаем о прямом деле, ибо еще год, другой, третий — и полыхнет всероссийский мятеж. Двадцать три губернии пухнут с голоду. Знамением и знаменем вихрятся лесные пожары, воспаляя горизонты. Чем хуже, тем лучше! Его говор катился на колечках владимирского «о». В усмешечке таилось нечто, доступное только ему, внуку и правнуку крепостных, сыну мастерового.

Дома, на Шпалерной, он штурмовал Прудона, Луи Блана, Дарвина. На дворе стояла зимняя ночь. Подняв голову, он устало смотрел в черное окно, на узкий четырехугольник своего лица.

Он забывался сном перед рассветом.

Поутру трубили эскадронные трубы. Нечаев вскакивал с мятой постели.

Много было званых, да мало избранных.

Нечаев искал избранных. Твердил, полосуя глазами-щелками: «Иезуитчины нам до сих пор недоставало!» Говорил о дозволенности всех средств ради революции, о непрекословном подчинении Комитету, о смертной казни не только предателям, но и ослушникам. Ему робко возражали: дисциплинарность погубит братские чувства. Он отвечал, что боязнь «тирании» — участь дряблых натур. Капризничаете, господа, боитесь крепкой организации. Возникнет недоверие друг к другу? Здоровое недоверие — основа дружной работы. Хотите служить народу — служите. Нет — Комитет обойдется без вас.

«Обойдется без вас...» Это было обидно, это было оскорбительно. И так не хотелось числиться по разряду «лимонов».

— Мы высосем их да и выбросим в лоханку,— холодно говорил Нечаев своим слушателям, оглядывая каждого, и каждый чувствовал его взгляд как прикосновение наждачной бумаги.

Те, кого он называл «лимонами», сходились на Большой Конюшенной, у Николая Даниельсона. Они были старше Нечаева всего несколькими годами, но казались ему людьми непростительно солидными. Они уже кончили университетский курс. Служили. И вели свои консци-

рации, Нечаеву неведомые. Он знал, что, пожалуй, самым весомым среди них был некто Лопатин. Герман Лопатин, говорили Нечаеву, кандидат университета, отказался от профессорской карьеры. Нечаев знал и то, что этот Лопатин уже дважды попадал в крепость. Тюремный искус тоже был достоин уважения. Нечаев отрицал «уважение». Оно исключалось из его принципов. Странная, однако, штука: Лопатин, высланный из Питера, внушал ему именно это дурацкое чувство. И еще странность: почему-то казалось, что именно с Лопатиным они бы поладили.

Поладить с друзьями Лопатина не удавалось. Они не признавали идеи заговора. Талдычили, как монахи «господи, господи»: без участия масс не решить коренных социальных вопросов. Они были медлители, кунктаторы — подготовительная работа в гуще народа, изучение материального устроения. Прежде чем браться за скальпель, присмотрись, где и как резать. Прежде, нежели сокрушать, надобно постигать. Книжники, они повторяли: «доктор Маркс», «политическая экономия».

Но они, насколько мог судить Нечаев, не капризничали и не боялись крепкой организации. Он был убежден, что эти не испугались бы и тирании Комитета. Но они не принимали ни тирании, ни Комитета, если об этом говорил он, Сергей Нечаев. Не принимали именно его. Не принимали как личность. Он знал, что один из «лимонов», некто Негрескул, выразился так: «Помилуйте, у него замашки шарлатана». Постулат «Чем хуже, тем лучше» приводил их в негодование. И они потешались, когда он серьезно и очень искренне говорил, что подлинные борцы за народ лишь те, кто вышел из народа.

И все же Нечаев упрямо, незваным приходил на Большую Конюшенную, к долговязому Даниельсону, бухгалтеру Общества взаимного кредита. У Даниельсона был тихий голос, журавлиная походка, выпуклые, внимательные серые глаза. В его комнате, набитой книгами, заста-

вал Нечаев и чахоточного Негрескула, и еще таких же «фарисеев и книжников». Он чуял в них спокойную уверенность в своей правоте. Они мучали его этой своей уверенностью. Он, однако, не лез в словесную перепалку, готов был учиться и учился, то есть брал книги и заводил разговор о прочитанном. Не затем лишь, чтобы поразить своей памятливостью. Но и ради этого тоже. Их удивление было ему лестным и вместе унизительным.

Он мог обойтись без Даниельсона и К°. Но тут возникала потребность в том, чтобы покорить и Даниельсона с компанией. Вот так же, как покорял он многих в артельных студенческих фатерах, в студенческой полуподвальной кухмистерской. Ему казалось, что они испытывают его волю. А это он сам испытывал свою волю. Ему необходимо было убедиться в ней.

Главное, однако, было в том, что они — л и м о н ы. Нечаев примеривался к каждому в отдельности, искал веревочку, чтоб повязать. У него уже было письмецо, выхваченное из стола Даниельсона, когда хозяин на минуту вышел. Письмецо ставропольское: ссыльный Лопатин намекал, что готовится к побегу. Ну и что же? Все просто, господа, все очень просто: вы потеряли это письмо, Николай Францевич, да-с, потеряли, а мне известен тот, кто его нашел, и я могу выручить это письмецо, тем самым выручив и вас, и вашего ссыльного друга, а не выручу, уж не взыщите, не ровен час, попадет оное... Ну, да вы понимаете, Николай Францевич, вы ж понимаете.

Потом он еще кое-что изобрел в том же духе. Крапленые карты? Шулерство? Это по-вашему, по-барскому, либеральному, это для тех, кто в белых перчаточках. И ничего не будет худого, коли каждый из вас отведает тюремной похлебки. Напротив, господа, совсем напротив.

Он завел тетрадочку — заветную, заповедную. Давеча внес еще один тезис: истинный революционер должен

разорвать все родственные узы. А нынче при свете свечи влажными глазами читал сестрино письмо:

«Милый Сережа! Наконец я решила написать тебе и писать письмо самое серьезное об нашем скверном положении и буду жаловаться на нашего батюшку. Они каждый день пьяны донельзя и совсем оставили дом наш, так что мы совсем их не видим, разве что придут домой на минутку и то не могут стоять на ногах и поднимают страшное ругательство. И постоянно играют в карты, проигрывают денег очень много. И скоро, кажется, доживем до того, что не будем иметь корки хлеба, хоть мы и работаем. Теперь нам нужно приготовить 6 р. каждый месяц на дрова; у нас в Иванове такая стоит холодная зима, что даже не припомнить такой зимы. Теперь осталось передать тебе, что мы находимся в очень затруднительном положении, прошу тебя, милый Сережа, пожалуйста, напиши папаше письмо, только посерьезнее, может быть, они тебя и постыдятся...»

В селе Иванове, где мычанье коров перебивал посвист паровых машин, в селе Иванове Владимирской губернии, там он родился, там семнадцать годов отжил. Папаня поощрял сына к ученью. В мальчишестве лишился матери, дед с бабкой жалели сиротинку. Не угол ему отвели, а чистую горницу. И не дьячка-грамотея приняняли, а человека письменного — в столичных журналах подвизался.

Добряк учитель радовался: шустрый разумом этот хмурый скуластенький Нечаев Сережа, жаден к знанию, к лучам света в темном царстве. Быстр и упорен — чего же лучше? Ах, милый ты мой... Радовался добряк разночинец, да вдруг и недоумевал, терялся, когда Нечаев Сережа подавал ему сочиненья на вольную тему.

Экое странное пристрастие! Наклонность вовсе не детская. Нда, поневоле заскребешь в затылке. Сюжеты,

какие сюжеты выбирает: воришку-мазурика бьют городовые, усердно бьют и с удовольствием; купец изголяется над приказчиком; на фабрике котел лопнул, мастеровой едва жив остался, а с него ж еще шесть гривен штрафу слупили, и тот выложил, лишь бы опять к работе приставили... Казалось бы, ликуй учитель: ученик твой не про пташек да буренышек пишет, нет, примечает ужас быта и мрак бытия, а тут уж и рукой подать до сознательного протеста. Ликуй?.. Нет, какое там ликованье, ежели в душе мальчугана ни трепета, ни сочувствия, ни даже наивного удивления перед тем, что творится вокруг.

Да он и сам, Нечаев Сережа, не умел объяснить своему учителю, отчего выбирает такие сюжеты. Не умел? А может, не хотел? Отвечал кратко: «Дураки все, вот и мучаются». Или так: «Дураков жалеть нечего». Учитель, головой качая, ласково толковал о великой исцеляющей силе милосердия, ученик слушал, пряча узкие глаза, казалось учителю, мелькала в тех глазах, похожих на лезвия, странная, опять же недетская усмешливость.

О, если б знал учитель, как Сережа написал однажды про высыхающих мальчиков. Нет, не знал. Никому не показывал Сережа вот это свое сочинение на вольную тему.

Были такие мальчики в селе Иванове, работали в урчащем аду фабричных сушилен, душных и влажных, с решетчатым полом и решетчатым потолком. Работали и исчезали, как и не жили на свете. О таких говорили: «Высыхают, и шабаш». Их неприметное, бесшумное исчезновение мучило Сережу, как иногда пугает и мучает детей мысль о смерти. И не мог Сережа ни полсловечка обронить о них своему учителю. Тут тайна была, он берег тайну, он сам должен был разрешить ее и знал это. А они ему снились, высыхающие мальчики. Будто певчие с полуоткрытыми ртами. Все в белом стояли в углах горницы или плавно плавали, наклоняясь к изголовью. И вот

уж — не певчие, а белые свечечки оплывают, роняя белесые слезы.

Жажда знания томила Сергея. Он купил учебники. Хочешь стать народным учителем — сдай сперва за гимназию. В библиотеке для приказчиков плати гривенник и абонируйся. Там яркие настенные лампы и легкие стулья с плетеными сиденьями. Но книги... «Французские ерундисты»,— презрительно отверг он Эжена Сю, Понсона дю Террайля, Поля де Кока. Библиотекарь обиженно повел носом: «А нашим конторщикам никакой Бокль не требуется. С ума спятят». Ладно, конторщикам не требуется, а вот ему... Он по случаю раздобыл «Историю цивилизации в Англии» этого самого Бокля. А в библиотечном чулане сдувал паутину и пыль с комплектов «Современника».

Папаня, однако, нуждался в помощничке. Папаня вывески малевал: для бакалейной лавки благодушную свиную харю, для магазина готового платья — вальяжного усача; черную с золотом для фабрики в пять этажей и щегольскую, в завитушках — для каменного особняка, где окна задернуты штофными драпировками. А те вывески, что назывались «красными», присвоены были лишь портерным и трактирам.

Нечаев-младший досадовал: малеванье отнимало время. Но все ж то было ремесло. Ремесло и ремесленников он уважал. Ремесло и ремесленники, как его дед со своей красильней, противостояли Гарелиным и Зубковым с их фабриками. К уважению примешивались страх и горечь: окрестные фабрики пожирали дедов, как пожирали и окрестные леса, порошила гарь индустрии, грозя разореньем.

Сколь ни жаль было времени, отпятого от наук, Нечаев-младший помогал папане: кисти мыл и палитру, простые надписи делал, эти вот, которые без фигур, по трафарету, со шнурком, натертым мелом. А папане вдруг

принадоела мазня-возня, хоть и брал не дурно, с квадратного аршина не меньше двух рублей. Нет, надоело! Был папаня скор на ногу, ухватист, остер на язык. Ловко носил фрак, натягивал белые нитяные перчатки, повязывал белый галстук: учредитель-распорядитель всяческих празднеств ивановских толстосумов. И сыну своему надел он нитяные перчатки: физика-химия подождет, изволь лакейничать.

Прислуживая, ненавидел Сергей тех, кому прислуживал. Не потому лишь, что те были богаты. Потому, главное, что были они, как и папаня, из мужиков. Но из бедняцкого иль середнего ранжира выломились — вломились в разряд капиталистых. Свой брат мужик не был ни своим, ни братом. Плевал он и блевал на «историю цивилизации».

Высыхающие мальчики дышали в затылок. И тяжелокраеугольно ложилось такое, отчего учитель ужаснулся бы: чем хуже, тем лучше, думал худенький, скуластый юноша с глазами, как лезвия. Пусть грабят хлеще, в хвост, в гриву, в бога и черта, взапуски, беспощадно, без роздыха. Чем хуже, тем лучше, ибо скорее и круче выхлестнет отчаяние высыхающих мальчиков. Грянут они в трубы, вскочат на разномастных коней, и будет солнце мрачным, как власяница.

На речке Уводи стояло фабричное село Иваново, русский Манчестер; далеко уводила речка Уводь — к последним временам.

Он осудил мир на крушение и возмездие. И ушел в этот осужденный мир. Высыхающие мальчики шли следом. Смутно белея, изготовились вострубить в семь труб.

В ту зиму продолжались студенческие волнения. Или, как обозначали департаментские перья, «беспорядки на академической почве». Начались поздней осенью, а после рождественских вакатов взялись пуще: сходки с нешу-

точной угрозой чайной посуде — ораторы, горячась, гремели молодыми кулаками по столу.

Нечаев забросил частные уроки. Он остался на бобах, отослав рублевочки домой, в Иваново. Ему надо было поспеть на все сходки. И он поспевал. Ничего серьезного — кассы взаимопомощи, распределение пособий, свобода факультетских собраний. Черт бы побрал долговолосых витий, ежели не учинят форменный бунт, открытую политическую демонстрацию. И он бил методически. Бил, упоминая решения некоего Комитета действия, некоего Центрального комитета. Он не говорил: я думаю, говорил: мы думаем; не говорил: я решил, говорил — мы решили. Какая магия в подмене местоимений! Она развивала упругую центростремительную силу, но центр-то пребывал невидимым. Пусть так, вот же он здесь, этот худенький, этот скуластенький, у него резкие, нервные жесты, властный взгляд и ногти, изгрызанные до крови.

Его слушали, но точка кипения, такая, казалось, близкая... Еще чуть, еще немного... Был нужен толчок, внезапный и сильный. Нечаев как озирался. Набегали минуты горького одиночества, когда можешь зарезать и можешь зарезаться. Толчок нужен внезапный и сильный.

И Нечаев исчез.

Передавали, что его схватили на Шпалерной и доставили в Третье отделение. Еще одна жертва безоглядного произвола. И какая жертва, господа! А мы безмолвствуем, вот так-то, коллеги, да-с, извечно-расейский телячий студень.

Передавали, что после жандармского допроса его водворили в крепость. О, русская Бастилия, голгофа честных из честных — оледенелые куртины «и на штыке у часового горит полночная лупа». Пойдите, коллега, еще и еще взгляните на этот ужасный гроб, где спят мертвые деспоты и гибнет все живое.

И вот из уст в уста, с гулким, в ребра, стуком сердца: друзья мои, народ готов к революции, ждет сигнала, будьте достойны народа, продолжайте борьбу... Сильнее слов было то, что записку свою Нечаев выбросил из окна кареты, грохотавшей на пути в крепость. Да, да, представьте, изловчился и выбросил, как бутылку с погибающего корабля.

Не по углам, не в кухмистерской, нет, в аудитории была сходка. Может, самая людная, самая бурная изо всех прежних. Ректора! Ректора! Арестован наш коллега, требуем ректора!

Ректор отложил свои бумаги и отставил свой микроскоп. Почтенный натуралист, не чуждый сочувствия к студиозусам, он пришел в бурлящую аудиторию. Чего они просили-требовали, возбужденные молодые люди, забывшие долг свой перед матерью-наукой? Поезжайте к министру, вырвите нашего собрата из узилища! Кто арестован? Нечаев? Кто такой, этот Нечаев? Помилуйте, господа, мне уже доложили: в списках матрикулированных студентов таковой не числится. Ах, вольнослушатель? Увольте, господа, вот ежели б матрикулированный студент... И ректор благодушно развел руками.

Я предупреждал — объезд выйдет долгим.

Давно уж оставили мы подмосковное Разумовское, тамошний грот, где затаились убийцы, и тускло заледенелый пруд с черной прорубью рядом с гривкой ржавых камышей.

Да ведь как было не отойти вспять? События-то какие? И арест, и Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, и куртина, на которую тяжело звонкой капелью падают удары петропавловских курантов.

Я, однако, мимо, я вас сейчас за кордон, в Швейца-

рию, подальше от штыка с полночной луною. Впрочем, и туда, на берега прелестной Роны, мы ненадолго. Это уж потом, позже я удержу вас в Женеве, городе мирных буржуа, часовщиков и ювелиров, эмигрантов и врачей, пользующих неврастеников со всех концов Европы. Потом, позже Нечаев изведает в Швейцарии и любовь, и крушение, ту роковую минуту, когда некто осанистый объявит насмешливым баском: «А! Господин Нечаев, наконец-то я имею случай познакомиться с вами поближе!»

А сейчас знакомятся с ним люди иные.

В Женеву, к Николаю Платоновичу, пришло письмо. Огарев улыбался: послание, пожалуй, экзальтированное. Впрочем, оно и понятно — этот молодой человек бежал из Петропавловской крепости, поневоле заговоришь, стоя на котурнах... К письму была приложена прокламация — обращение к русским студентам. Прокламация дышала боевым жаром. Огарев чувствовал, как эта энергия проливает в его усталую грудь «отрадное похмелье». В последнее время он читал в русских журналах — жива крестьянская община, жива, стало быть, и социальная революция. А теперь вот это письмо, сильный голос.

И Огареву, и Бакунину Нечаев явился нечаянной радостью. Они распахнули объятия посланцу молодой России. Диковат, угловат, неотесан, глядишь, и харкнет на пол. Пустое, детская болезнь. Зато какие практические планы, зато какие товарищи ждут не дождутся его в России. И как это прекрасно, что Сергей-то Геннадиевич, недавний узник, не помышляет об эмиграции. Она же хуже сибирской ссылки, хуже смерти — бессмысленное прозябание на чужбине. Вот он, наконец явился истинный практический революционер.

Правда, Герцен... Герцену случилось тогда быть в Же-

неве, и наш русский манчестерец был ему представлен. Александр Иванович сказал: у Нечаева змеиный взгляд. А самого Нечаева вопросил брезгливо: «А что это у вас, Сергей Геннадиевич, все резня на уме?» Нечаев на рожон не полез. У Герцена — деньги, революционный фонд. Деньги нужны были Нечаеву. Не карманные, не личные, это следует признать. Пылкую влюбленность в Нечаева своих старых друзей Герцен не разделил, однако часть — и немалую — революционного фонда отдал.

Нечаеву «старички» очень понравились. Покладистые старички, худого не скажешь. И ни тени дворянской, барственной снисходительности к нему, простолюдину. Ну, ну, Сергей Геннадиевич, говорил он себе, ты, брат, смотри, не того, не размякни.

С Бакуниным, окутанным клубами дыма, как Саваоф облаками, вел Нечаев долгие разговоры. Бакунин, опустив набрякшие веки, одобрительно покачивал львиной головой.

«Лимонов» Нечаев не забывал. Очень это было сподручно отсюда, из Женевы, возжигать революционный дух в их дряблых душах. Ни себя, ни почту не жалея, писал, писал Сергей Геннадиевич письма и прокламации, дюжинами отправлял и чертовыми дюжинами: знакомым, полузнакомым, вовсе незнакомым. Послушайте, мол, у нас тут такой суп варится, всей Европе не расхлебать, но и вы, «гой, ребята», не спите, приступайте к активным действиям. Одному поручал одно, другому — другое: опасное и полуопасное, нелегальное и полулегальное. И прекрасно сознавал, что не все, отнюдь не все откликнутся на его призывы. Пусть, не в этом гвоздь.

В Петербурге, на почтамте, в черном кабинете семь потов спустили, вылавливая женевские конверты и пакеты. Без малого шестьсот выловили. Вообразите на минуту физиономии перлюстраторов. Тех, что протирали штаны на Почтамтской, в черном кабинете. Конечно,

и такое письмо доставляли по адресу. Да только адресат-то сразу оказывался под неотступным наблюдением. А то и попадал в казенный дом. Олухи царя небесного, ведь Сергею-то Геннадиевичу подчас только это и надо было: ну-ну, лимончик, посиди-ка под замком, за решеткою, авось и выпечется из тебя революционер практический.

Из Женевы Нечаев поехал в Москву.

Был август. Приспел яблочный спас. Над городом мягко светилось белое облако. В библейский день Преображения из белого облака раздался глас повелительный: «Его слушайте!»

Патриархи — Бакунин и Огарев — благословили Нечаева. Витал над ним женевский глас: «Его слушайте!»

(Прощаясь, Бакунин обнял Нечаева: «Вот какие люди-то в России, а?» Огарев салютовал пенковой трубкой. У Нечаева был мандат: «Податель сего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза». Мандат, подписанный Бакуниным. И была у Нечаева тетрадь: «Катехизис революционера». Тетрадь, начатая еще в Питере, законченная в Женеве. Нечаев был готов к созданию «Народной расправы». За его спиной неслышной поступью шли высыхающие мальчики. Время фразы кончилось, наступило время дела.)

С торжища у Сухаревой башни веяло антоновкой. И антоновкой веяло из садов и погребов Первой Мещанской. В мезонине у четы Успенских угощали Нечаева яблоками. Он надкусывал с хрустом, белый сок вскипал.

Ничего не скажешь, красивая парочка. Этот хоть сейчас на картину: «Ушкуйник». Или «Опричник». А Шурочка... Мимоездом, прошлой зимой, при первом знакомстве она показалась дурнушкой. А нынче-то разглядел! Лоб высок и чист, темные волосы густы и чуть вьются, нос тонок и прям, вся дышит отвагой. Ничего не

скажешь, хороша. И можно было б позавидовать супругу, когда бы супруга-то не того-с, не брюхата. Наше дело прямое, страшное, беспощадное, а в этом чистеньком мезонинчике, где патриархально пахнет антоновкой, не сегодня завтра: «агу-агу».

На Успенского, приказчика книжного магазина, пристанище радикалов, Нечаев ставил свою первую московскую карту. Почин был дорог. И Нечаев встревожился, как бы тот не попятился.

Опасения усилились, мешаясь с желчью, когда Успенский не согласился с формулой: любить народ — значит водить народ под картечь. И не очень-то склонялся признать, что розы социализма расцветают, лишь политые кровью... Но вот глянул просвет в тучах: давно пора, полагал и Успенский, давно пора упразднить словесный гомон в кружках саморазвития да и шагнуть широко в прямое дело. А прямое дело — вот оно, желанное! — прямое дело, поддакнул Успенский, в революционном заговоре.

Лицо Нечаева приняло отрешенное и жесткое выражение, он показал мандат: «Податель сего...» Объяснил кратко, но значительно: Всемирный союз есть не что иное, как Интернационал, Международное товарищество рабочих; русский отдел возглавляет Бакунин, а Нечаев уполномочен действовать в пределах империи. Успенский порывисто поднялся, Шурочка, притаив дыхание, смотрела на Нечаева.

— Теперь это,— сказал Нечаев. И медленно выпростал из внутреннего кармана тетрадочку.— Писано Михаилом Александровичем Бакуниным. Потом зашифровано. Называется: «Катехизис революционера».— Он осторожно опустил тетрадь на стол, прикрыл ладонью с растопыренными пальцами, нахмурился и стал отчетливо, как диктуя, произносить заповеди: если ты революционер, рви со всем образованным миром, с его нравственностью и условностями; если ты революционер, подави

в себе все чувства родства и дружбы, не признавай ничего, кроме холодной страсти к нашему общему делу; если ты революционер, не совсем посвященный, то есть второго и третьего разряда, гляди на себя как на часть капитала, отданного в безотчетное распоряжение революционера первого разряда; если ты революционер, соединись с диким разбойным миром, зубодробительной силой всероссийского мятежа...

Успенский выслушал стоя, как гимн. Нечаев понял: промаха нет. И не дрогнул, услышав:

— Обдумать надо. У меня, Сергей Геннадьич, правило: ежели приму в принципе, тогда уж хоть каленым железом.

— Конечно,— сказал Нечаев.— Я вижу, вы не из болтунов.

Он льстил, сознавая, что «Катехизис» уже принят Успенским. И, не колеблясь, прибавил:

— Это будет храниться здесь, у вас. Теперь вот что. Нам нужен человек... Коль скоро разбойный люд, преступный мир есть главный рекрут революции... Вы понимаете? Нам нужен вербовщик. Я его не знаю, но я знаю: он есть, должен быть.

Иван Гаврилович Прыжов тихо и трезво отдохнул в кущах Кунцева, у издателя Солдатенкова, и теперь возвращался домой, на Мещанскую, в Протопоповский переулок. До Садового кольца извозчика подрядил — при деньжонках был, спасибо издателю Кузьме Терентьичу.

От Садовой-Триумфальной двинулся Иван Гаврилович пешей ногой: уж больно ласковый день выдался на яблочный спас, благодать. И, как на заказ, высоко и мягко светится белое облако... День ласковый, в кармане не вошь на аркане, в любое заведенье загляни: «А-а,— осклабятся,— Иван Гаврилыч, милости просим». Но именно потому, что волен он был спросить графинчик, и оття-

гивал удовольствие. И еще потому, что ах как желательно было предоставить своей благоверной все сполна. Благодушествуя, шел Иван Гаврилович Прыжов по родимой белокаменной, где отжил ни много ни мало — четыре десятка.

Отец его, ополченец двенадцатого года, служил в Мариинской больнице сперва швейцаром, потом — писарем. Больница была огромной, назначалась она бедным. Прыжов помнил ее вновь выстроенной, еще не воняла гнойными рубищами. Жили Прыжовы рядом со флигелем лекаря Достоевского. С лекарскими детьми он и в жмурки, и на салазках. Нет, не со всеми лекарятами, с Федором Достоевским дружбы не было. Коренастый, плотный, а лицо болезненное, бледное, этот Федор-то, видать, уж и тогда чего-нибудь да сочинял.

Летом отсылали Ванюшу в Середниково, по Петербургскому тракту. Они, Прыжовы, все были середниковские, помещика Столыпина тягловые души. Село лежало под горой. В нагорном доме с бельведером гостил юный Лермонтов. Много лет спустя Прыжов сумрачно сказал: кнут гулял по плечам моей тетки и моего дядьки. Ему было по сердцу лермонтовское: «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет». Думал: догрызть бы дворянскую кость, а тогда и помереть можно.

Бледный лекарский сын Федор Достоевский со двора Мариинской больницы до эшафота и каторги путь свой проторил. Ну а ты далеко ль уйдешь, отпрыск бородинского ветерана? «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» А может, и даром? Ах, промашку Бонапартий дал, вольную бы объявил, оно, глядишь, и не супротив него Русь бы грянула, а?

Он был «самодельным». Не потому, что проюлил в регистраторы казенного присутствия, в канцеляристы частной железной дороги, а потому, что сам себя образовал. К крепким напиткам слабый, был он крепок в

познаниях; Стороженко, профессор, высокого ума человек и сердечной задушевности, предрекал: «Вы, Иван Гаврилыч, одарены способностями послужить нашей бедной родине».

Предметом его были филология, история, этнография. Он не ходил «за три моря» — ходил по проселкам коренных, срединных губерний. Писал о нищих на святой Руси, о юродивых на святой Руси, о кабаках на святой Руси, писал грубо, отвергая святость Руси. И посему был нищим на святой Руси. В смазных сапогах и ветхой поддевке, стараясь не дыхнуть перегаром, кланялся издателю деревянно и высокомерно, в высокомерии таились застенчивость и надежда.

— Не купите ли у меня эту штуку? — спрашивал он, разворачивая тряпицу и покачивая на ладонях рукопись.

— Кому же она принадлежит, почтеннейший?

— Это мой труд,— отвечал он, выставляя ногу вперед: вот так-то, дескать, мой труд, да-с.

— М-м-м,— недоумевал издатель, всматриваясь в испитое лицо посетителя.— Хорошо, хорошо, оставьте, я посмотрю. Ваш адрес?

— А уж этого-то я вам указать не могу-с,— отвечал Прыжов не без вызова.— Не могу-с, ибо нынче в ночлежке, а завтра, извините, под забором.

Жизнь свою называл он собачьей: как на уличного пса клацали на него зубами псы домашние — цензура. Писал Прыжов одержимо, печатали Прыжова с удержом. Нынче-то вот пофартило: издатель Солдатенков, Кузьма Терентьевич, не только принял «эту штуку», но и денег наперед выдал. Ходи-гуляй, Иван Гаврилыч Прыжов, пропусти одну-другую и своих закадычных угости, они с тобою последним делятся, ну и ты не скаредничай.

Над Сухаревой башней реяли ласточки. Высоко в густо-синем небе стояло пухлое белое облако. Пахло антоновкой. Хорошо! Вот что, сказал себе Иван Гаврилович,

навести-ка ты, брат, Успенских. Александра-то Ивановна не очень тебя жалует. Баба, будь она и трижды стриженная нигилистка, а не имеет снисходительности, понять не может — как честному литератору без кабака. Вот так-то, милая Шурочка. Об «темном царстве» читать — это пожалуйста, голытьбой очень даже жарко интересуетесь, а того смекнуть не умеете, что про нашу голытьбу натурально ничего не напишешь, коли от тебя хризантемой пахнет. Ладно, зайду к Успенскому, умственный малый Петруха.

Экой, нашенский, рассиялся всеми морщинами и морщинками Прыжов, увидев Нечаева. Тот сразу взял с ним тон младшего брата. Так не говорил ни с Бакуниным, ни с Огаревым. И хотя наперед сообразил, какая выйдет польза от Ивана Гавриловича с его обширными знакомствами в «низах», все ж не лукавил, а если и лукавил, подыгрывал, то как-то иначе, чем, бывало, с другими,— добродушнее.

Продолжительно и не однажды беседовали они уединенно. И здесь, на шурочкиной кухоньке, и в прыжовской полуподвальной конуре, где мирно сосуществовали приблудные коты и дворняжки. И Прыжов проникся к Нечаеву щемящим ласковым чувством, аж в горле першило. Вот, думал, до семнадцати годов аз да буки — Нечаев прилгнул, что совсем-де недавно грамоту одолел, нищетой-де был заеден — да-а-а, до семнадцати, а теперь хоть по Кантовой «Критике чистого разума» экзаменуйте, покажет кузькину мать. Фью-и, судари мои, шире рты разевайте: вот оно, дитя народа!

Иван Гаврилович молодел, заряжаясь его жаждой действия. Ну, ликовал, ни дать ни взять лейденская банка с электричеством. Когда ест, когда спит? Вечное движение! Спозаранку — в Петровское-Разумовское, затемно, глядь, опять в городе. И в чем только душа держит-

ся — хоть с ложки корми. Притулится в уголку, уронит голову, не то мгновенным сном сражен, не то потерей сознания, а рукою-то, рукою поводит, что-то шепчут запекшиеся губы.

Да, весь движение, весь энергия, Нечаев вербовал в «Народную расправу». Ему требовалось не просто пополнение, а геометрическая прогрессия. Он сознавал краткость отпущенного срока. Он физически ощущал утечку времени. Хотя на дворе был шестьдесят девятый, каждая неделя близила весну семидесятого, когда поднимется, непременно поднимется мужицкая Россия. Печать «Народной расправы» изображала топор; на печати «Народной расправы» была вырезана эта багровая дата: «1870».

Принципы «Катехизиса», те, что крушили ветхую мораль ветхого мира, он возвещать не торопился. Главным было сплотить и увязать организацию: пятерки-ячейки, замкнутые в отделения; отделения, подчиненные Комитету. Каркасы и скрепы держались на краеугольном: в тебе совесть жива — жми плечо к товарищу. Не лезь в наполеоны, обратись в нуль. Нули — колеса, а на колесах все катится. Делай, что велит Комитет. И ни при каких обстоятельствах не усомнись в правоте его и святости. Отсутствие сомнений есть присутствие веры.

Нечаев обладал логикой, которую называют железной. Топором «Народной расправы» он работал как плотник. И никого не умасливал, и никого не принуждал, никого не упрашивал. Только хлестнет, как нагайкой: «Эх, бары, все бы вам растобары! Не умеешь, сопливая душа твоя, быть солдатом революции, не можешь смирить барское своеволие, ну и отойди, и сгинь, и не мешай».

С яблочного спаса немного минуло, а в «Народной расправе» уже сыгрался квартет.

Успенский хранил «Катехизис», как ковчег завета. В книжный магазин наведывались неофиты и, честно

кругля глаза, рекомендовались готовыми ко услугам. Успенский каждого словно на зуб пробовал, приглядывался, как ремонтер на конной ярмарке.

Прыжов не просил снисходить ни к годам своим, ни к занятиям. У знакомых писарей стибрить казенные бланки или вид на жительство? Можно. Настрочить зажигательную прокламацию и тишком у приятеля-типографа тиснуть? Извольте. Но самое важное... Сказано: «Соединимся с лихим разбойничьим миром, истинным революционером в России». Лихой этот мир знал Прыжов не плоше знаменитого сыщика Путилина. Прыжова привечали в харчевнях, в ночлежках, там, где клубилась забубенная отвага: «А! Гаврилыч, наше вам! Дай алтын на почин». Давал и сверх почина, а дело-то не шибко двигалось. Что ж прикажете рапортовать Сергею Геннадиевичу? А тот, спрашивая, как подсказывал: «Ну, дюжина, другая будет?» Прыжов вешал голову. «Будет! — твердо объявлял Нечаев.— И не тужите: лучше меньше, да лучше».

Алеша Кузнецов, студент Земледельческой академии, уж на что увлечен был своей диссертацией — нет, отложил, отставил. Какие к чертям собачьим «Низшие вредители в сельском хозяйстве», коли речь о высших? У своего батюшки, купца, денежки получал (наука жертв требует) и все до копеечки — «Народной расправе»: так, дескать, и так, велено было здешних толстосумов раскошелить, я и раскошелил. Был Алеша честный малый, а получался обман. Но ведь прав Сергей Геннадиевич, прав: ложь — не ложь, ежели ради организации, ради идеи.

А потом замелькал некий Колька. Откуда взялся этот губастый юнец? Нечаев аттестовал его ревизором Комитета. Чего он ревизовал, никто не знал и не дознавался. Он был тенью Нечаева, глядел на него с бессловесным обожанием.

Все дольше пропадал Нечаев в Петровском-Разумовском: четыреста с лишним студентов — это ль не котел, готовый взорваться?!

Вот уж лет пять как в старой, вельможной усадьбе учредили Академию земледельческую и лесную. И усадьба, и вся округа не уступали Кускову с Останкиным. Но там — все в прошлом, а тут — новина.

Академия помещалась в бело-розовом здании с башенкой. Была какая-то лабораторная красота в больших окнах, разделенных на квадраты выпуклого стекла. Утреннее солнце золотило один фасад, вечернее багрянило другой, обращенный к цветникам, к широкой аллее.

Наука и практика взялись тут об руку: учебные аудитории и кабинеты в главном здании, окрест же — и опытное поле, и плодовый сад и ботанический, оранжереи и питомники, ферма, огороды, пасека. Обширные лесные дачи — здешняя, Петровская, и в недальней стороне Всехсвятская — обнимали огромное, ухоженное, хорошо поставленное хозяйство, призванное поставлять России агрономов и лесничих.

Весь здешний уклад, весь строй ученья с его геодезией и технологией, ветеринарией и скотоводством, физикой и метеорологией, воздух полей и лéса, дух пасеки, шум воды на плотине, житье за плотиной, на Выселках, в рубленых крестьянских избах, удаленность от города — все это придавало петровским студентам особенную корпоративность, независимость, сознание своей необходимости в том обыденном и великом деле, которым была занята бóльшая и лучшая часть России — Россия пахарей.

Студент-петровец запускал бороду, харчился не жирно, был здоровехонек и умел работать любую крестьянскую работу. Но капитальное определялось не бородами и не дубинами, а нутряной причастностью к мужицкому миру и чувством долга, которому без нужды беллетристические гимны Микуле Селяниновичу.

Нечаев быстро смекнул все значение такого «котла». А петровцы не замедлили угадать в Нечаеве человека нелегального, конспиративного. Ему предоставили кров: в проулке у парка темнело бревенчатое строение — студенческие номера. Столовался он в общественной, артельной кухмистерской. Для бесед особливого свойства — через плотину, в Выселки, в закут трактира с дребезгливым грохотом музыкальной машины. Близ трактира всегда стояли извозчики; в случае чего мужики эти, студентам знакомые, умыкнули бы Нечаева либо в сторону Головинского монастыря, либо в сторону села Владыкина — ищи-свищи.

И в Питере, и в Москве, у студентов, Нечаев оттенял свое корневое мужичество. В Петровском помалкивал. Здесь это не произвело бы впечатления. Да и то следовало на уме держать, что вырос-то в красильне, среди кустарей, в поле не хаживал.

В Петровском Нечаев сошелся с Иваном Ивановым. Сближение стоило некоторого как бы щекотливого насилия над собою. Никто не подозревал в душе Нечаева желания нравиться. А желание это — казалось бы, невместимое в проповедь беспощадного разрушения — было ему свойственно.

С Иваном Ивановым очень хотелось сойтись поближе. Тот пользовался дружными, ласковыми симпатиями петровцев, натура у этого угловатого малого с чуть косящими ясными глазами была мирская, общественная, открытая и отзывчивая.

На Ивана взваливали кладь, он сбивал на затылок картуз собачьего меха: «Помилосердствуйте, братцы...» — и тянул, тянул: старшина кассы взаимопомощи, распорядитель студенческой кухмистерской, сборщик пожертвований в пользу арестованных или ссыльных, петровцам зачастую неведомых.

Все это брало время и силы. А Ивану Иванову никак

нельзя было ученьем манкировать. Бедняк бедняком, жил он стипендией Лесного ведомства. Отпущено было двадцать, а давали семь: лишь тем, кто успевал по всем предметам. Имел Иван и частные уроки — пестовал в городе двух оболтусов-гимназеров. Стало быть, топай, брат, за десять верст. Бабьим летом еще ничего, а в дождь или метель?.. Но топал. И, получив рублевочки, тишком добавлял то в кассу взаимопомощи, то на артельный провиант.

Еще до очного знакомства он узнал о Нечаеве от Алеши Кузнецова. Услышал: посланец Интернационала, представитель Бакунина, Огарев стихи посвятил... И побег! Побег из Петропавловской крепости... Нда, это тебе не наш брат доморощенный...

«Народную расправу» Иван Иванов сердцем принял. Недели не минуло, привел под знамена пятерку новобранцев. И тогда явился в Петровское «податель сего — представитель Всемирного революционного союза».

Любил Иван парк и лес Петровского. Посмеивался: москвичам-дуракам Сокольники по сердцу. Побывал он там, праздник какой-то был. Тьфу! Толчея, пыль, на арфах бренчат смазливые арфистки с бесстыжими глазами. Бублики и чай, правда, отменные, да чайницы, грудастые бабы в малиновых сарафанах, так чадят самоварами — не продохнешь. Э нет, ни за какие бублики не променяешь Петровское-Разумовское.

Он дня не пропускал, чтоб хоть на четверть часа не забежать в парк и лес Петровского. Душа, говорил, к роднику припадает. Он любил эту громадную клумбу с розами. Запах роз, мешаясь с хвойным, не был тяжелопарфюмерным, был тонок и легок. Любил широкую мощную аллею, плавно ниспадающую в переплеск большого пруда, такого большого, что его хотелось называть озером

и не хотелось думать, что пруд рукотворный. Любил дорогу от академической фермы, мимо пчельника и сторожки, через высокие деревянные ворота к изгибу ручья с бутылочным бульканьем, зыбкими пятнами солнца и плывущими ветками к оторочепному камышами прудочку, в двух шагах от которого темнел прохладный грот.

Грот — усадебная затея стародавних времен — был сырым, холодным. Студенты, слонявшиеся по всему парку с литографскими лекциями под мышкой, если и искали уединения, то не в гроте. Ивану же Иванову служил он как бы поворотным пунктом: пора, брат, возвращаться к заботам, к обязанностям.

Короткие прогулки, в некотором роде ритуальные, совершал он с весны до осени, а когда развозило дороги, вступало в силу то, что по-студенчески называлось «сапогов экономии для». А сапоги у Ивана просили каши; бойкая, широкобедрая, белозубая скотница Глаша, Иванова подружка, едва поспевала менять ему портянки. Обувке, просящей каши, и без прогулок доставалось — принадлежала она ходоку, человеку мирскому, к тому же произведенному Нечаевым именем Комитета в руководители нескольких конспиративных пятерок, то есть отделения «Народной расправы».

Но в один из ноябрьских дней Иван Иванов изменил «экономическим соображениям». Возвращаясь из города, где он по великой милости судьбы получил сразу с обоих оболтусов-гимназеров, Иван поддался давнему искушению — купил глубокие кожаные калоши на синей байке, с медными обивками поверх задников.

Он еще спал, когда Глаша все приготовила. Едва Иван проснулся, как ему бросились в глаза жаркие медяшечки на калошах. Вымытые и начищенные сапоги, вдетые в калоши, стояли посреди комнаты. И хозяину новеньких калош ужасно захотелось сделать им пробу. Он быстро оделся, нахлобучил картуз собачьего меха, потоптался на

месте и пошевелил пальцами, ощущая, как ногам хорошо и приятно. Он и одну ногу выставил, и другую, рассмеялся, сказал калошам: «Служите честно».

Не шел он, а шествовал привычным маршрутом. Было холодно, с деревьев капало, пахло сыростью, не здоровой, грибной, как еще недавно, а уже простудливой, квелой. Иван миновал серую уснувшую пасеку, услышал шум ручья, но тут, словно бы ни с того ни с сего, словно бы беспричинно, овладело Иваном смутное беспокойство.

Неподалеку от грота он вдруг увидел худенькую фигурку Нечаева, очень удивился, но совсем не обрадовался. Нечаева он не окликнул. А тот, не заметив Ивана, не то чтобы пошел в другую сторону, нет, словно порывом подхваченный, так и полетел и вот уж исчез за черными деревьями. Все это произошло почти мгновенно. И вроде бы примерещилось.

То, что Иван не обрадовался, не окликнул Нечаева, показалось бы страшным тем петровским студентам, которые знали Нечаева как комитетчика, а своего Ивана Иванова — одним из застрельщиков «Народной расправы». Но эти студенты не знали того, что знали в ядре «Народной расправы», и Алеша Кузнецов, от которого у Ивана тайн не было, и Прыжов, и Успенский, и этот бессловесный ревизор Колька: черная кошка пробежала между «подателем сего» и руководителем петровского отделения тайной организации.

Да, пробежала кошка... Худого не замышляя, а лишь применяя к «Народной расправе» справедливое, по его мнению, обыкновение, Иван предложил Нечаеву от времени до времени извещать товарищей, на какие нужды расходуются денежные средства, хотя бы лишь те, что добывал именно он, Иван Иванов, именно здесь, в Петровском-Разумовском. Нечаев не вспыхнул, а холодно спросил, уж не подозревают ли его в чем-либо неблаговидном? Иван отвечал отрицательно. Нечаев иронически

поклонился. Ежели так, строго заметил он, то я никаких отчетов никому, кроме Комитета, давать не намерен. Иван не обиделся, только пожал плечами. С того дня, однако, нет-нет да и призадумывался он об этом таинственном Комитете.

Вышло еще несколько подобных, не на больших камнях, преткновений, уже обозливших Сергея Геннадиевича, и он порицающе бросил: а вы, Иванов, самолюбивы, мнительны, склонны к пустым пререканиям. Это задело Ивана не шутя. Ни в малой степени не считал он себя ни мнительным, ни самолюбивым, ни пустословом. Поверки ради подступался к коллегам-петровцам с наводящими вопросами. Ответом ему были либо дружеская усмешливость, либо недоумение.

А потом схватились из-за кухмистерской.

Нечаев принес прокламацию с прямым призывом к немедленному бунту. И не ради академических поблажек, нет, определенно политическому. Нечаев, то бишь Комитет, Комитет, конечно, глядел на бунт как на репетицию: смотр боевых сил. Ивану Иванову затея показалась не то чтобы вовсе несвоевременной, однако несколько преждевременной. Но схватились-то они по другому поводу. Нечаев велел вывесить прокламацию в общественной столовой, а Иван нашел сие непрактичным и вредным.

— Почему? — Узкие глаза Нечаева обратились в разящие лезвия.

— А потому, что нашу кормилицу враз и прихлопнут. Повод достаточный. И, надо заметить, резонный.

— Нечего думать о брюхе! — отрезал Нечаев.

— Верно, о своем брюхе думать нечего.— Иван натянуто ухмыльнулся.

Нечаев выставил кинжально:

— А коли Комитет прикажет?

Кинжальное нечаевское вышиб Иван резко:

— Ко-ми-тет прикажет? А я и Комитета не послушаю, коли вздор.

Нечаев будто пошатнулся от изумления, от гнева.

— Опомнитесь, Иванов,— сдерживаясь, но достаточно угрожающе сказал Нечаев.— Право, опомнитесь. Вам известны наши принципы, вы их приняли, а Комитет...

— Комитет, Комитет,— в сердцах повторил Иван, пристально вглядываясь в Нечаева.— Ну а я вам так скажу: а не вы ль, Нечаев, и есть Ко-ми-тет?

— Это не так,— с внезапным спокойствием ответил тот. И презрительно спросил: — А ежели б и так, то что же?

Они стояли на плотине. Сек дождь. По выпуклому пруду ходила тяжелая короткая волна. Вода на плотине глухо шумела. Тучи были низкие, все вокруг казалось низким, плоским.

— Что же? — повторил Нечаев, скрещивая на груди руки.

— А то... Очень даже просто: не стали бы мы слушать ваш вздор, а пошли бы своей дорогой.

— Мы или вы?

— Мы, петровские.

— Надо понимать, вы объявили бы собственную организацию?

— Именно так.

— Вот теперь все, все понятно. Собственную организацию и себя главарем. На тех же основаниях, что и «Народная расправа».

— Не ловите на слове, Нечаев. Ловко это вы... Меня ж еще и заставляете оправдываться. А вы отвечайте: есть Комитет иль нет Комитета?

— Изменник,— отрезал Нечаев.

Все это прихлынуло к Ивану Иванову ненастным утром, когда у грота, среди черных деревьев, мелькнула щуплая фигурка Нечаева. Иван не стал гадать, чего он

тут бродил, Нечаев, а почему-то сразу и бесповоротно понял, что никакого Комитета нет, лгал Нечаев, напускал туману.

Но в теперешней бесповоротной убежденности не было негодования. Он склонялся к тому, что так действовать вынудили Нечаева обстоятельства. В Женеве, рассуждал Иван, поручили создать Комитет. Нечаев на месте увидел невозможность — нет людей под стать ему. Разумеется, ошибка. Но ошибка-то искренняя, честная. Не вина, а беда. А время дает шенкеля, тут не до жиру, и вот Нечаев все берет на себя — тройная отвага и сила духа, вот что, Ванечка.

Казалось бы, убедись и примирись? Иван убедился, но не примирился. «Податель сего» лгал! Кто раз солгал, тот и дальше солжет. А подозревая ложь, жить-то как? И ничего иного не остается, как отколоть свои, подначальные пятерки да и продолжать на тех же основаниях, что и «Народная расправа».

Отсюда возникала необходимость объясниться с людьми, ему, Ивану, небезразличными, с Алешкой Кузнецовым и стариком Прыжовым в первую голову. Объяснение выйдет тягостное, по одному тому хотя бы, что непременно торчком выскочит вопросец: не помышляешь ли ты, Ванечка, генеральствовать?

Тогда, на плотине, Нечаева поразила не проницательность Ивана. Поразил сам по себе Иван Иванов. Нечаев всегда отдавал ему должное, но не подозревал такой решительной самостоятельности. Ведь так и перелобанил: создадим-де свою организацию. И на тех же принципах. Стало быть, все поставил на карту, к рубикону шагнул. Ну вот она и прочертилась, роковая черта. Он предпочел бы, чтоб эта роковая черта пересекла не Ивана Иванова, а вот, скажем, этого натуралиста Кузнецова с его низшими вредителями. По чести сказать, очень нужен Иван

«Народной расправе». Нечаев мог бы поклясться, что нет у него личного интереса, а есть высыхающие мальчики, ждущие настоящего дела. Он почувствовал свое мрачное величие, но не упивался, даже, пожалуй, и не гордился — принимал как неизбежность.

И вот нынче ранним утром, едва дождавшись, когда хоть немного развиднеется, он ушел из ночлежной духоты в пустой, черный, мокрый лес. Нынче надо было поставить точку. Он уже вел разведочные разговоры на Мещанской, в мезонине... Четверо — надежа и опора, он испытает всех четверых испытанием страшным. И опять, и опять спрашивал, как допрашивал: в тебе ли, Сергей, суть? И опять, и опять: нет. Нынче надо было поставить точку, и Нечаев, подняв воротник пальто, сжатые кулаки сунув в карманы, стремительной походочкой шел в пустынном, мокром лесу, в шорохе бурых листьев был шорох белых, как свечечки, высыхающих мальчиков, и Нечаев, загораясь мрачным восторгом, все напряженнее ощущал свое избранничество, свою жертвенность. Он шел быстрее, быстрее, словно бы зная, куда идет и что ему нужно в этом лесу. Он будто и не видел ни большой, темный пруд, взлохмаченный порывистым, холодным ветром, ни наморщенный маленький прудок, отороченный жухлыми камышами, но грот, каменный грот в темных мшистых пятнах он увидел сразу, увидел каким-то пронзительным, ясным зрением, остановился и даже, кажется, чуть попятился, и в ту минуту там, высоко, над гротом, в костлявых деревьях, внезапно грянуло:

Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду,
Сидит ворон на дубу...

Он помедлил, прислушиваясь, потом, не заметив Ивана Иванова, бросился прочь от грота, торопясь к плотине, торопясь на Выселки.

У трактира, на Выселках, Нечаев взял извозчика,

сникшего в дреме под темной и мокрой рогожкой, не торгуясь, велел везти в Москву, на Мещанскую.

Ехали в сторону Владыкина. Было низкое, сумрачное небо, сырость пронизывала, на обочинах дрогли облетевшие кусты боярышника. Во Владыкине смутно желтела церковь Рождества Богородицы.

Огня не зажигали.

Лишь в кухоньке, где затворилась с шитьем Шурочка Успенская, там, где очаг и женщина, горел свет. А в мезонине и не теплился: безотчетное нежелание видеть друг друга? И был ужасен вскрик Прыжова: «Только не я! Только не я!» — он хотел устраниться, а Нечаев как под ребро саданул: «Все вместе! И вы тоже!»

Расходились в потемках, не прощаясь, не пожимая рук, о чем-то невпопад спрашивая, о чем-то невпопад отвечая.

Нечаев остался.

Шурочка постелила ему за дощатой перегородкой. Он лег, набросив поверх одеяла пальто, хранившее волглый запах мокрого леса Петровского-Разумовского. Угреваясь, грызя ноготь, уснул.

Пробуждение было бурным, будто летел под откос, как с рельсов.

Не в силах шевельнуться, Нечаев так и остался, как спал, калачиком. Он различил голос Успенского и мгновенно понял, отчего этот гром, кошмар этот, спазм в горле: Успенский предал... Гибко, бесшумно Нечаев придвинулся вплотную к перегородке, нашаривая под подушкой револьвер, приник к стене.

Там, за тонкой перегородкой, Успенский говорил Шурочке, что великий принцип единства надо оплатить любой ценой, что против громадной вражьей силы нет ничего, кроме принципа единства, преступно дозволить не только роскошь дискуссий, но даже и мелких препи-

рательств. Он говорил, что единство олицетворяет Сергей Геннадиевич, а раскольник Иван Иванов не сегодня, так завтра сунется к жандармам, что организация усиливается, очищаясь от двуличных, что сама по себе возможность предательства уже предательство. Успенский говорил, что нынче ему выпало счастье увидеть в товарищах — товарищей, ибо каждое «я» слилось в «мы», и в этом тоже великий принцип, сила все разрешающая и все покрывающая... Шурочка отвечала горячим, отчетливым шепотом, что все-то она принимает и разделяет, что Сергей Геннадиевич бестрепетно убирает препятствия, как бы ни было ему по-человечески тяжело.

О, можно было перевести дух и улыбаться в темноту, если бы... если бы... Нечаев слушал, слушал, и было ему страшно. Не так, как при внезапном пробуждении, не сокрушительно-гремяще, а протяжно и ноюще — он и теперь, сейчас не верил Успенскому: слишком уж долго рассуждал тот об очевидном и непреложном.

Пороша еще не легла, но морозы уже стукнули, грязь каменела, пролетки подпрыгивали. За Бутырской заставой город кончился, началась слобода. Но вот уж и слободу миновали, открылось плоское пространство убранных огородов и голых рощ.

Нечаев, сняв варежку, грыз ногти. Варежка была домашней, бабушкиной вязки, грубошерстная, в радужных разводах по зеленому. Сидя в пролетке рядом с Успенским, он думал, сумеет ли старик Прыжов завлечь Иванова в грот? Сумеет ли — вот на чем клин-то сошелся.

Черно и громадно возник лес Петровского-Разумовского.

Нечаев отпустил извозчика. Пролетка истаяла в сумраке.

Все четверо гуськом пошли мимо пасеки, мимо избушки, через ворота, к ручью, к пруду...

От старика Прыжова водочкой попахивало. Конфузливо прикрывая рот ладошкой, объяснял Ивану Иванову, что вот, мол, и на кривой не объедешь, куда ни кинь, а на кабак наткнешься.

Иван ласково улыбнулся. Он и уважал Гаврилыча, и любил той прощающей любовью, какой хороший русский человек любит хорошего русского человека, слабого к крепким напиткам. А Гаврилыча-то, усмешливо подумал Иван, Гаврилыча этот Нечай Комитетович неспроста подослал, курбетец есть, курбетец: смекнул бестия, что не прогоню взашей, выслушаю, даже если и затянет песню, какой-де распрекрасный Нечай Комитетович; хоть бы и Алешку Кузнецова пригнал, уж на что друг-приятель, а и с тем бы толковать не стал... Иван Иванов рассмеялся. И тотчас подивился на самого себя: с чего это ты, брат, такой веселый?

Вечно озабоченный, энергически-хлопотливый, он и вправду веселостью не отличался, почти всегда глядел пасмурно. А уж после прямого объяснения с Нечаевым и вовсе ходил мрачным. К тому же и мелькала теперь, нет-нет да и мелькала ему фигурка Нечаева — среди черных деревьев, близ грота, и этот промельк замолаживал душу тревогой. А сейчас вот безо всякой причины как-то очень легко было, беспечно и радостно. Впрочем, весело подумал Иван, это кто во субботу смеется, тот в воскресенье плачет, а нынче — пятница.

Между тем курбетец был, нечаевский курбетец. Однако не совсем тот, который предположил Иван Иванов, улыбаясь Гаврилычу.

Прыжов понимал, хорошо понимал, что корень-то не в одном лишь благорасположении к нему, Прыжову, этого обреченного Ванечки Иванова. То-онкую методу применил Сергей Геннадьич, претонкую методу, да.

Когда на Мещанской, в мезонине Успенских, всё обсуждали, Прыжов головою затряс, руками всплеснул:

«Только не я! Только не я!» А Нечаев будто кляп ему в глотку: «И вы!» Прыжов, как за соломинку хватаясь, отчаянно молвил: «Слабый я, да и впотьмах ничего не вижу...» А Нечаев: «На руках понесем!»

Потом брел Иван Гаврилович домой, в Протопоповский, размышлял: суть-то, смысл-то, чтобы скопом, как мужики на конокрада, чтоб, значит, круговая порука, один за всех, все за одного, прочность нужна, крепче кровушки скрепы нету. Вот Сергей Геннадиевич и не ослабил приструнку, не отпустил. Да ведь он и сам, от Бакунина с Огаревым полномочный, он и сам не отстранился, не умыл руки. Стало быть, и ты, Гаврилыч, не виляй, не спотыкайся.

Но сейчас Прыжов не смел глаз поднять, до слез жалел несчастного студента, а вместе и ужасался, как бы с языка не сорвалось: «Прости, Ванечка, вымучал он меня, выдавил...»

Часы настенные екали, екали, истекало время.

И Прыжов, бурно задышав, очки снимая и жмурясь, стал говорить то, что велено было Нечаевым. Там, знаете ли, говорил Прыжов, ну, в парке, в лесу-то, там, в гроте этом, там, Ваня, клад, настоящий клад — типографские литеры, шрифт, целая наборня... В ящиках, в мешках ли, он, Прыжов, не знает, а знает только, что силенок маловато, верных людей маловато, чтобы, знаете ли, клад этот извлечь на пользу «Народной расправе».

Иван удивился: всё, кажись, насквозь в Петровском, а про тайник и не слыхивал... Эге, вот для чего тогда, утром-то, Нечаев в парке был... Волнение, косноязычие старика Прыжова Иван Иванов по-своему понял — очень, видать, сомневались, пособит ли он в таком конспиративном деле, пособит ли после разрыва с Нечаевым.

— Плохо же вы обо мне думаете,— сказал он весело, надел свои новые замечательные калоши, потопал, кивнул: каково снаряжение, а? Повязал шею красным шар-

фом, пальто надел, пихнул в карман папиросницу. И вопросительно глянул на Ивана Гавриловича. Тот, уронив голову, елозил ладонью по столу.

— Идемте,— весело сказал Иван.

Прыжков зашаркал, как на выносе.

Неподалеку от деревянных, всегда распахнутых ворот, за которыми лес начинался, вприслон к дереву стоял Алеша Кузнецов. Нечаев послал его перенять Гаврилыча с Ивановым. А зачем? Какая надобность? Иван дорогу с завязанными глазами найдет.

И тут тоже курбет был, тонкий расчет.

Алеша Кузнецов сострадал Ивану. Но нет, отрешись от дружеских привязанностей, прими муку и выдержи — будешь практическим революционером.

Вприслон к дереву стоял Алеша Кузнецов.

Донесся колокол, как теплое веяние — привиделась эта церковь рядышком с академией, старая церковь, парапеты ее и рельефы, освещенные полуночной луною.

Минут пять спустя шли они уже втроем, Кузнецов первым, как и велел Сергей Геннадиевич. Гуськом шли, Иван Гаврилович приотстал, и тут прожгло Алешу Кузнецова: одно только слово — беги! — одно слово... А Иван усмехнулся:

— Эх ты, Сусанин! Смотри-ка, сбился. Давай-ка я.

И пошел первым.

Кричали над гротом черные вороны. Пахло в гроте прелью.

— Кто там? — вскинулся Нечаев, ухватив за руку Успенского.

— Я,— ответил Иван Иванов и шагнул в темень.

Объяснить затрудняюсь, выйдет сентиментально. Затрудняюсь объяснить, а бывает, что тебя так и просквo-

вит жалостью к давным-давно сгинувшему человеку, к безвестной могиле, забвению и одиночеству.

Приступ такого чувства я время от времени испытывал при мысли об Иване Иванове. Минувшим сентябрем, проснувшись на рассвете, когда каким-то детским, школьным слухом ловишь быстролетный шум первого трамвая, я решил съездить в бывшее село Владыкино, от нашей Соломенной сторожки недальнее.

День выдался скромный, серый, без дождя, без ветра. От плотины дорога идет теперь унылой улицей с анонимными железобетонными громадами. А дальше, за Дмитровским шоссе, за станцией, виднеется на взгорке церковь Рождества Богородицы.

На здешнем погосте погребали тех, кто помирал не только во Владыкине, но и в нашей округе, то есть в Петровском-Разумовском и на Выселках. Но могилы Ивана Иванова я не нашел, потому что и погоста не нашел: все упразднили, срыли, заровняли.

Из храма доносилось пение. Был день усекновения главы Иоанна Предтечи. Иоанн обличал Ирода, Ирод казнил Иоанна.

II

Дочь Герцена, недавно осиротев, жила в Женеве, у Огарева. Эмигрантская публика то и дело наведывалась к Огареву, и потому Наталья Александровна — по-домашнему и в дружеском кругу Тата — ничуть не удивилась, когда горничная доложила, что ее «спрашивает какой-то русский».

Рослый, плотный, большелобый человек поклонился, блеснув очками, сказал улыбаясь:

— А вы, вероятно, меня не узнаёте.

— Отчего ж не узнаю,— ответила Тата, перенимая его непринужденный тон.— Как же это я вас не узнаю,—

повторила она, напрягая память.— Я видела вас в Лондоне, у отца.

— Я в Лондоне отродясь не бывал,— рассмеялся гость.— А вот в Ницце...

— О! Вы — giovanotto! * — воскликнула она.— А я и вправду вас не узнала.

— Что и говорить, два с лишним годика отшумело.

Два с лишним года?
Стало быть, в шестьдесят седьмом.

Башмаки были разбиты, одежонка потрепана; пришел он пешком, издалека пришел, это было видно. Смахивал на бродягу.

— Э, giovanotto, на ночлег не рассчитывай! — трактирщица энергично махнула рукой, громадная грудь колыхнулась.

«Не рассчитывай,— вяло подумал пришелец.— Дурачье, ведь я для вас же, а вы не понимаете...» Он опустился на стул и сидел неподвижно, положив руки на грубый дощатый стол. Пряные запахи били в ноздри, одуреть можно. Мальчишка-половой подал спагетти. Герман мгновенно опустошил тарелку, и будто жернов повесил на шею — так и наклонило в сон.

В трактире, в низкой зале, освещенной висячей лампой, кипела словесная битва: противники Гарибальди наступали, защитники — пятились. Те и другие бурно жестикулировали. А Герман, борясь с тяжелой сонливостью, смутно решал, вступаться ль за поверженного льва или, благоразумия ради, помалкивать...

---

* Парень, малый (*итал.*).

Когда Каракозова после выстрела в царя схватили, Каракозов крикнул: «Дурачье, ведь для вас же...» А когда государь спросил: «Почему ты стрелял в меня?» — ответил: «Потому что ты обещал народу землю, да не дал».

Герман Лопатин в заговоре не участвовал, пальбу в царя панацеей не считал, но это «для вас» и это «не дал землю» служило и ему, Лопатину, отправной точкой. Каракозовцем он не был, однако был с ними близок. Сидел он в Невской куртине Петропавловской крепости.

После тюрьмы написал диссертацию. Ее признали превосходной. Автора объявили кандидатом университета. Он мог остаться при кафедре физико-математического отделения. А мог, перепрыгнув четыре ступеньки табели о рангах, начинать службу чином коллежского секретаря. Фонарь естествознания горел приманчиво ярко. Департаменты Лопатина не прельщали. Он отверг обе дороги, выбрал третью: «за вас».

Гибель заговорщиков оглушила и радикалов, и либералов. Страх захлопывал двери и запечатывал рты. Было душно, стыдно и как-то неопрятно, словно в грязном исподнем.

А далеко на юге раздавался набат.

Джузеппе Гарибальди звал итальянцев на штурм папского Рима: разгромим клерикалов и завершим объединение отечества! К нему стекались волонтеры. А на выручку папским войскам уже плыл из Тулона французский авангард.

Кандидат университета читал об этом в газетах, распластав на столе карту Итальянского королевства. Петербург казался мертвым. А далеко на юге надвигалась лучшая из битв — битва за свободу... Денег в обрез? И нет заграничного паспорта? Пустое, решил недавний узник Невской куртины, где наша ни пропадала.

В ноябре шестьдесят седьмого года Лопатин разбрызгивал лужи на тесных улочках Флоренции. Лил холодный

дождь. В первой попавшейся кофейне Герман узнал о «чуде под Ментаной». Чудо сотворили французская артиллерия и французские скорострельные ружья Шаспо. Волонтеры были разбиты и рассеяны; раненого Гарибальди схватили и сослали на скалистую Капреру, где жили рыбаки и грустно брякали козьи колокольца.

Лопатин опоздал к Гарибальди. Из Флоренции он пешком отправился в Ниццу. Близ Ниццы, в низкой зале траттории, опять, как под Ментаной, одолевали противники великого Джузеппе. Пушили бакенбарды и чокались так, что винцо, воспламенявшее безнаказанность, плескало из кружек. А горстка сторонников Гарибальди угрюмо никла.

Догадаться, что происходило в придорожном трактире, не стоило труда даже Лопатину с его нищенским запасом итальянских речений. Одолевая тяжелую сонливость, он поводил плечами, встряхивал головой да вдруг и грохнул ладонями по столу:

— Basta! *

Он вскочил, глотнул воздух, и... на него обрушилась немота жалкой безъязыкости. Но гнев выплеснул из закоулка памяти латинское: «Жизнь без свободы — ничто!» И, напрягая голос, будто взывая к тугоухим, напропалую мешая французское с осколками итальянского, он восславил Гарибальди, прокричал: «Благо народа — высший закон!» — и заклеймил мерзавцев, попирающих прах героев. Плевать он хотел на филистеров в бакенбардах, подлые душонки, ишь таращатся на иностранца-оборванца... Лопатин посмотрел на тех, кто пытался защищать Гарибальди. Бедняги... Вот времена: и тут тоже не только говорить, но и слушать опасно.

Низкая зала быстро опустела. Лопатин перевел дух. Пора убираться, пока не нагрянули эти... как их?.. кара-

* Довольно, хватит! (*итал.*).

бинеры. Глупее глупого угодить в кутузку, когда уж так близко до Ниццы.

Он вышел из траттории. На кронштейне горел фонарь, длинная тень скользила к кипарисам. Внизу, под обрывом, глухо возилось полуночное море.

— Иностранец! — тихо позвала трактирщица. Она выглянула из дверей и тронула Лопатина за рукав.— Послушайте, вы, видать, издалека и сильно устали. Отдохните у нас, муженек мой пристроит вас так, что ни одна собака не возьмет след.

Он отлично выспался и легкой ногой явился в Ниццу.

Утро было стеклянно-ясное, будто и не поздняя осень, а вот только что выставили первую раму, а вторую, вымыв, протерли насухо, и оттого возникала в душе праздничность, как в детстве на светлое воскресенье. Поживи Герман в Ницце недельку, его одолела бы смертная скука: эта маета богатых прощелыг, кокотки в экипажах под вязами Корсо, свора попов в чулках фиолетового шелка, ниццары, усердно выжимающие деньгу из всего и всех... Но Герман и не думал пробыть в Ницце так долго. Только бы застать старика, познакомиться, поговорить — и домой, домой. Туда, где дни облачны и кратки, где родится племя, которому не больно умирать.

Лопатин уже не пылал гимназическим восторгом перед каждой строкой издателя «Колокола». Но сверстникам не поддакивал. Тем, кто рубил сплеча: старик-де вышел в тираж; брюзжит на молодежь, вся повадка барская, эдакий просвещенный абсолютизм от революции. Киванье на барство раздражало Лопатина. Раздраженье не было отзвуком фамильной, дворянской струны: ему претила сословная спесь любого цвета. Претил разночинец кичливый своим разночинством. Старик вышел в тираж? Пустое! Таких не чеканит дюжинами мать-природа. Можно не слушаться, нельзя не прислушаться. Особенно нынче в постыдной мгле общественной паники.

Пахло морем, поверх каменных оград струились ветви масличных деревьев. Герцен жил рядом с отелем «Виктория», в третьем этаже респектабельного дома. Лопатин оглядел себя в настенном зеркале мраморной лестницы, вспомнил, как его встретила трактирщица, поморщился: сколь ни презирай условности, а, право, неловко вот так-то: стоит Гаврило — замарано рыло.

Отворила дочь Герцена, Наталья Александровна, плотная, сероглазая, а может, и не сероглазая, Лопатин не всматривался: отнюдь не стеснительный, он сейчас стеснялся своих изодранных штанин и разбитых башмаков. «Одну минуту»,— сказала она низким плавным голосом.

И точно, он ждал не дольше минуты.

Герцен поднялся с кресел, обдергивая темно-вишневую бархатную куртку, и Лопатина сразу ударило сходство Герцена с Сократом. Да, да, всей своей коренастой статью, сдавленными веками, сильным пожатьем красивой руки. (Правду сказать, Лопатин решительно не знал, была ли у сына афинского каменотеса такая же красивая рука, как у Герцена, но это не имело никакого значения — похож на Сократа!)

— О,— сказал Герцен,— да мы с вами одного поля ягоды: я тоже кандидат университета. И тоже выученик физико-математического.

Лопатин улыбнулся. Нет, не этому «одного поля ягоды», а интонациям: прорву лет на чужбине, а все звучит Пречистенка, да Никитская, да Сивцев Вражек.

Герцен спросил, откуда, какими судьбами? Лопатин рассказал о своем порыве к Гарибальди, как пешком пришел из Флоренции, ночевал в харчевне, где его назвали «giovanotto», а он выступил пропагатором, однако, сдается, не ахти как успешно.

— Я тронут и благодарен,— серьезно сказал Герцен.— Порывом вашим тронут, это ж еще полвека тому — Байрон: «Если нет возможности бороться за свободу у себя

дома, борись за дом соседа». А благодарен за то, что пришли. Нынче меня не очень-то жалуют молодые люди. Не так ли?

— Так,— ответил Лопатин. И быстро прибавил: — Вот о домашнем-то и хотелось бы поговорить с вами.

— Извольте. Бывает так, что издалека видишь лучше. Но ежели не возражаете, мне б поначалу расспросить вас: я теперь не часто встречаю настоящих русских.— Он нажал голосом на это «настоящих», давая понять, что подчас эмигранты — увы, не совсем настоящие русские.

Герцен умел слушать, и это умение возбуждало охоту развивать высказанное. Отвечая, он размышлял вслух; размышляя, неторопливо подбирал слова, как бы испытывая их прочность и точность, а фразы укладывал крякжами.

Все это пришлось по душе Лопатину, но совсем нежданно возникло ощущение своего полномочного представительства. Ничего похожего не было в Петербурге. А сейчас, здесь... И почему-то пялишься, как дурак, на вертикальную складку, багрово метящую переносицу Александра Ивановича.

Зашла речь о Чернышевском, о романе «Что делать?». Ужасный слог, сказал Герцен, и ужасное презрение к форме. Лопатин, признаться, читая Чернышевского, именно это-то и отмечал неприязненно. Больше того, случалось, ловил себя на мысли: экое семинарское высокомерие, экая бурсацкая грубость. Но сейчас, сознавая себя «представителем», он не хотел соглашаться с Герценом и налег на громадное нравственное значение романа, созданного под сводами Алексеевского равелина.

— Не спорю,— кивнул Герцен,— есть удивительные отгадки, бездна хорошего, воспитательного, доброго, но форма, но слог... Я, знаете ли, статью о нем надумал, критическую, да оставил.

— Почему же?

Герцен усмехнулся.

— А вот почему: испужался, что пушкинским Ванюшей сочтут.— Лопатин вопросительно шевельнул бровями.— Этот самый Ванюша большой был шалун — увидит порядочного человека, покажет язык и орет: «Урод! Нигилист!» — Лопатин расхохотался, запрокинув голову. Герцен, улыбаясь, смотрел на Лопатина — так смеются честные люди.

— А еще, Александр Иванович, еще к «уроду»-то следует прибавить «развратник»,— заметил Лопатин.— Чтоб уж полный набор эпитетов к нашему брату.

— Да уж не без того,— кивнул Герцен. Опять ему понравился этот молодой человек.— А серьезно... Ежели без коросты, без парши и лишаев, то ведь в нигилизме-то есть отрицание холопского смирения и утверждение трезвого понимания.— Он призадумался и вдруг пристукнул кулаком по колену.— Но в статье-то своей я б непременно и на то указал, что наш романист льстил нигилистам, молодым льстил, как бы внушая, что они уже одним тем хороши, что — молодые. И я бы, извините великодушно, указал и на зачатки зла.— Он поднял обе руки с раскрытыми ладонями, как бы останавливая Лопатина.— Нет, все это и нужно бы, и можно бы, если б Николая Гавриловича Чернышевского не лишили возможности отвечать критику.— И многозначительно, испытующе взглянул на Лопатина.

Пахло мокрыми, осенними цветами, сигара Герцена бледно дымилась. Этот Лопатин, думал он, разумеется, нигилист чистокровный, но верно и другое: этот Герман — germanus, единокровный. Гарибальди провозглашал тост за юную Россию. Вот она, юная Россия. Высок и прекрасен порыв под знамена Джузеппе, но, боже мой, есть у нас свой остров Капрера и свой изгнанник середь нерчинских вьюг.

У ног Лопатина лежал солнечный блик.

— Александр Иванович...— Лопатин, подняв глаза, прямо и пристально смотрел на Герцена.— Александр Иванович, я знаю, найдутся люди, они сделают всё, чтобы вернуть России ее великого гражданина.

— Всё? — раздельно и жестко спросил Герцен.

— Всё! — раздельно и твердо ответил Лопатин.

И больше о Чернышевском не было ни слова.

Был молчаливый завет, и был молчаливый зарок.

Позвали обедать. За обедом Наталья Александровна спросила гостя, который ему год, Лопатин ответил, и Тата с видом шутливого превосходства объявила свое старшинство. Герцен, однако, потребовал у Лопатина точной справки, и тогда выяснилось, что Татино старшинство исчисляется несколькими днями, что они сверстники, оба январские, сорок пятого года, и от этого почему-то стало особенно хорошо, почти родственно.

У Герцена пробыл Лопатин весь день.

Александр Иванович утомился, раскашлялся, потирал горло, но Лопатин медлил откланиваться — не за семь верст пришел. Да ведь и заметно было, что Герцен как бы приник к нему: читают ли в России «Колокол»? Верно ли, что ожидается ужасный указ о казенных крестьянах? Ну а русские школы, что там и как? А русские студенты?..

Уже смеркалось, уже зажигали огни и крепче, чем утром, пахло, йодистым морем. Лопатин стал благодарить и прощаться.

Удаляясь от Ниццы, но еще мыслью, ощущениями, сердцем обретаясь в Ницце, думал он о минувшем свидании. Многое высветило шире, яснее: и тщетность надежд смести российский политический балаган стрельбою в царя; и пагубную тину длительной эмиграции — за Россию держись до последней возможности и возвращайся в Россию при первой возможности. «Дельно! Дельно!» — вторил Герцен, когда Лопатин обозначал свой проект

изучения народного хозяйства. Вот именно — изучения, отчеркнул Александр Иванович, а то ведь все повторяют «народ», «народ», а понимания нет.

Удаляясь от Ниццы, но все еще обретаясь в Ницце, читал Лопатин четвертый том «Былого и дум», последний том, выданный в свет эмигрантской типографией. Читал о торжестве мещан — прошли по трупам бойцов революции и упрочили свои нравы, упрочили свой уклад. Но печаль Герцена не печалила Лопатина: он еще не нажил ту мудрость, в которой много печали. Читал, наслаждаясь герценовской прозой — своевольной, неправильной, в родниковых соринках, бликах и тенях, выпуклой, как поток, когда приподняты заслонки плотины... Потом он незряче смотрел в окно на пажити Австрии, черные, с проплешинами первого снега, слышал и не слышал стук колес — он искал, ему хотелось найти слово, определяющее Герцена. И нашел: родной, совсем родной...

Дорога в Петербург взяла несколько суток.

Дорога в крепость — несколько месяцев.

Кто-то неробкий ухитрился начертать на ее вратах: «Здесь временно помещается Петербургский университет».

После выстрела Каракозова петропавловские куртины приняли немало долговолосых юношей в клетчатых пледах. В Вольтеры им дали фельдфебеля, аудитории заменили казематом.

Герман сидел тогда в Невской куртине. Сидел, уликами не обремененный. Попался, что называется, по чистой случайности, если последнюю считать разменной монетой закономерности. Он полагал, что почти каждый порядочный русский рукоположен в государственные преступники. Солдату умереть в поле, матросу в море, крамольнику в тюрьме. Сверх того он полагал, и опять-таки спра-

ведливо, что на сей раз в куртине не засидится. И посему перемещение с университетского Васильевского острова на казематный Заячий остров принял с легкостью, оскорбительной для фортификационной науки.

Теперь, два иль три месяца спустя после поездки в Италию и пешего хождения из Флоренции в Ниццу, Герман продолжил свой тюремный искус.

Не потому, что дома, на Владимирской, нашли при обыске карту Итальянского королевства. И не потому, что в Москве, в Кривоколенном, у его приятеля Волховского нашли недавно изданный том «Былого и дум». География Апеннинского полуострова, заявил арестованный Лопатин Герман, не наказуется законами Российской империи. Мемуары Искандера, заявил Феликс Волховской, доставленный на казенный счет в Петербург, он-де купил у неизвестной личности, не ведая о цензурном запрете, вообще-то, по его мнению, весьма странном в эпоху обновления России, возвещенного с высоты трона.

Следственная по делам политическим комиссия, высочайше утвержденная, отложив географию и мемуаристику в долгий ящик, сосредоточилась на другом.

Начать с того, что молодые люди собирали сведения об известном Чернышевском. Далее. Они усиленно залучали сочленов в общество, наименованное «Рублевым». Хотя Лопатин Герман и объяснил, что именно рублевый предполагался взнос, однако название, вероятно, маскировочное, призванное ввести в заблуждение следствие.

Целию преступного сообщества являлось: а) издание книжек для народного чтения; б) получение статистических сведений об истинном положении низших классов.

Нравственная физиономия кандидата университета Лопатина Германа, уже попадавшего в сферу наблюдения и дознания, а равно и нравственная физиономия Волховского Феликса, в сферу дознания еще не попадавшего, оставляют желать лучшего. Несмотря на обширный круг

знакомств, возникший благодаря сообщительности, свойственной обоим арестованным, удалось выявить лишь нити, связывающие:

а) Лопатина Германа с сослуживцами по частному Обществу взаимного кредита, как-то: Николаем Даниельсоном, Николаем Любавиным, а также дворянином Михаилом Негрескулом и его женой Марией, урожденной Лавровой, дочерью бывшего профессора артиллерийской академии, сосланного в Вологодскую губернию;

б) Волховского Феликса, проживавшего в Москве,— с тамошними студентами, в том числе и со студентом Лопатиным Всеволодом, младшим братом арестованного Лопатина Германа.

Из всего вышеизложенного проистекало то, что Следственная по делам политическим комиссия, высочайше утвержденная, не располагает достаточными основаниями для возбуждения судебного преследования, однако располагает достаточными основаниями для административного, внесудебного. Первое предпочтительнее. Посему надлежит продолжить разыскания, продлив меру пресечения, что никоим образом нельзя счесть несообразным с эпохой милости и правды, ибо арестованным дозволено чтение не только литературы духовной, но и светской: чрезвычайно полезной «Коммерческой энциклопедии» и чрезвычайно занимательного трактата «О комплектовании кавалерийских полков лошадьми».

Петербург — Ростов отстучала чугунка. Из Ростова на Ставрополь побежала казенная тройка.

— Эй, служба,— сказал Лопатин,— не жмись, я не краля. Сообрази-ка: куда я в степи денусь? Побегу — стреляй, медаль получишь.

— Бе-е-ги, барин бедовый, пуля достанет,— ухмыльнулся унтер.

Осенний воздух пьянил, как прасковейское. Ярь уже

убрали, озими еще не взошли. Рыжие пустельги, треща крыльями, зависали над пепельным шалфеем. Речки были затененные вербами, мосты отзывались глухим громом. В стороне от езжалого шляха, на вытоптанных прогонах мужики в высоких бараньих шапках гнали тесные гурты, в Москву гнали, в Питер.

Степь как воля: есть где разгуляться, да не на чем остановиться. Чары пространства расточаются в городах. Посреди степей они усыпляют и вместе бодрят. Ехать и ехать, чтоб версты, огни и дымы, звон-перезвон да конский топ. А-а, ну как же — птица-тройка! Что значит это наводящее ужас движение и почему, косясь, посторанивают другие народы и государства? И покосишься и посторонишься, коли гонит птицу-тройку жандарм с палашом и револьвером-бульдогом. А чего им, собственно, мозгами шевелить, этим оружным усачам? Все уж рассудила Следственная комиссия. Не гневи бога, усмехнулся Герман, не гневи бога. В общем-то обернулось не то чтобы к лучшему, но и не совсем худо. Феликса Волховского отдали под надзор полиции московской. Его, Лопатина, тоже под надзор, но полиции ставропольской.

Ставрополь он любил, да любил-то уже как бы отстраненно. И еще вот это: «Отче! Я согрешил против неба и пред тобою...» Нет, он не потупится, яко сын блудный. И все же скребли на душе кошки: опечалятся дорогие родители — кандидат университета, ученая карьера, семейная надежда и гордость и вот не приехал — п р и в е з л и.

В высоком небе большими кругами плавал коршун. Показался лес, уже распестренный осенью — заросли бука, крушины и граба.

В этот лес, от Ставрополя недальний, езживали Лопатины семейно. Веселые хлопоты: корзинки со снедью, самовар, одеяла, подушки... Потом тряские дроги, кучер

Игнатий. На поляне, у мутной речонки, разбивали лагерь пираты и робинзоны. Мама тревожилась: «Не заблудитесь, дети! Герман, ты старший, пригляди за всеми!» И притворный испуг отца: «Ужасные дебри!»

«Ставропольская флора»,— говаривал отец, иронически прищуриваясь. И прибавлял торжественно: «Невозможно сравнить с лесными хоромами нашего севера!» Мама подтрунивала: «А ты, Александр Никоныч, поди, и не помнишь, какие они, эти твои хоромы-то». Нет, помнил. Помнил он родные вятские края той памятью, что не в молодости сильна и даже не в зрелости, а на переломе к старости, и, чем круче под гору, тем живее и ярче.

Десятилетия минули, как беспоместный дворянин Александр Никонович Лопатин кончил курс вятской гимназии, потом — словесного отделения Казанского университета; в Казани и учительствовал. Ни усов не носил, ни шпорами не звенел, ни саблей не гремел, да вдруг и выказал спокойное мужество, хладнокровную распорядительность, поразив и лихого полицмейстера и трубнобасистого брандмейстера: когда гигантский пожар гулко изничтожал приволжский город, учитель Лопатин спас гимназическую библиотеку.

Потом его определили в Нижний. Он уже был женат на Софье Ивановне Крыловой, он уже был отцом новорожденной дочки. В сорок пятом появился младенец мужеского полу — увесистый крикун, нареченный в честь гётевского героя Германом.

Александр Никонович возделывал педагогическую ниву, служил инспектором нижегородской гимназии, инспектором тамошнего дворянского института, но семья росла, а нива кормила скудно, и пришлось подаваться «с милого севера в сторону южную» — в той стороне были вакансии и привилегии.

Пожив некоторое время в Тифлисе, он обосновался в Ставрополе. Там еще веяло бивуачной неукорененностью,

эхом покоренья Кавказа, няньки пужали неслухов не бабой-ягой, а букой Шамилем. Оседал в городке-форпосте народ пришлый, что называется, наплывной, разноплеменный — и степняки, и кавказцы. Тон задавали мундиры чиновничьи, армейские, казачьи.

Астраханец — колючий ветер — порошил азиатской пылью. Летними вечерами под липами Николаевского бульвара играла полковая музыка. В Воронцовском саду, посреди каштанов и орешников, был пруд, его чистую гладь морщил плавный ход лебедей. Троицкий собор светлел пятью куполами. А вдали розовел двуглавый Эльбрус.

Александр Никонович служил в Казенной палате, с годами дослужился до председательского кресла, до чина действительного статского. Смеялся: «Когда я поступил в гимназию, меня аттестовали так: «Способности хорошие, поведение хорошее, успехи слабые и плохие». А я, вишь ты, в генералы вышел». Казенная палата ведала сбором налогов прямых и косвенных. Это сулило доходы и «прямые» и «косвенные». Александр Никонович довольствовался жалованьем. Вспоминал «Тимона Афинского»: «Человек может стать честным в любое, самое скверное время».

Честность глаза колет. К Александру Никоновичу братья чиновники относились так же, как Вольтер относился к богу: кланялись, но по душам не беседовали. Исключением был директор гимназии Неверов.

И по должности, и по имени — Январий — надлежало ему глядеть январем, а у Лопатиных расцветали: «Нынче к нам Май Михалыч пожалует». Александр Никонович восхищался: «Идеалист и вместе практик!»

Неверов любил музицировать на гармонионе, подшучивал над своим гимназистом: «У тебя слуха не больше, чем у фаршированной щуки». Все смеялись. Герман тоже. Он понимал шутки. А директор понимал Германа —

удаляясь из гостиной в кабинет Лопатина-старшего, Януарий Михайлович взглядом приглашал гимназиста.

Герман затаивался в уголке. Он готов был часами слушать собеседников. Не в обиду будь сказано, слушать Неверова было интереснее, чем отца. Тех, кого отец почитал «солью земли русской»,— Станкевича и Грановского, Белинского и Тургенева — Неверов знал коротко. Знавал и Бакунина, с ним вместе посещал некогда лекции в Берлинском университете. Переписка Станкевича была издана, книга стояла на полке в отцовском кабинете. Герман гордился Неверовым. Тот снимал круглые очки, отводил в сторону руку с очками и, умеряя восторги его, усмешливо сообщал: в кружке Станкевича двое оказали друг на друга особенное влияние — он, Неверов, удалил от кутежей будущего профессора истории Грановского, а последний удалил от беллетристических претензий будущего скромного педагога.

В высоком небе плавал коршун.

Жандармская тройка приближалась к Ставрополю.

Будто дождавшись Германа, дождик стал сыпать не переставая. Не было отрады ни в голубом запахе свежего домашнего белья, ни в запахе вербены, маминых духов, звучавших нотой «ми», легонько взятой на гармонионе.

Поднадзорность сына больно огорчила Александра Никоновича. Герман рассказал про «Рублевое общество», про Екатерининскую куртину, а про Ниццу и Герцена не рассказал, не потому, что об этом не узнали жандармы, а как бы из нежелания смягчить отца, уважавшего Искандера.

Софья Ивановна очень сердилась на петербургское начальство — ее мальчика мучить в тюрьме, словно раз-

бойника с большой дороги! Но в ее огорчении, в ее слезах не было страдания. Мальчика не отправили в сибирскую тьму кромешную, а до́ма и стены помогают. Вот ведь губернатор не оставил мальчика без призора, должность дал, какую не каждому дают, такие, как Герман, не валяются, пойди-ка поищи.

Ставропольский губернатор и вправду был добрая душа, не чужая либеральным веяниям. Он определил ссыльного чиновником для особых поручений. Молодой человек владеет пером, и он, Властов, станет поручать молодому человеку составление докладных записок, адресованных кавказскому наместнику. И не станет докучать обыденной канцелярщиной. А шестьсот рублей годовых обеспечат юноше некоторую независимость.

Все было так. И все было не так. «Не осенний мелкий дождичек брызжет, брызжет сквозь туман, слезы горькие льет молодец на свой бархатный кафтан...» Будто маешься на каком-то разъезде, где не то что курьерский, но и пассажирский не останавливается. Книги валились из рук. Герман не писал ни в Питер — Негрескулам, Даниельсону и Любавину, ни в Москву — Феликсу. Маялся, как на мокром полустанке, пока эта осень не скончалась скоропостижно, пока не взыграла молодая метелица. Прошлась она наискось, будто перебеляя исчерканный дождями черновик, и повалил, повалил надежный снегопад.

Широкий путь перекрыт шлагбаумом? Но есть и «врата узкие». Отец служил когда-то в Казанской библиотеке, соединяя благоговение перед литературой с прибавкой к учительскому жалованью. Здешняя библиотека помещалась на Николаевской, во втором этаже купеческого дома, занимала шесть комнат, хранила не бог весть какое книжное собрание, зато в комплекте едва ли не вся русская периодика.

Младший чиновник для особых поручений Лопатин находился в канцелярии не «от» и «до», а — спасибо

начальнику губернии — сколько душе угодно. И потому библиотекарь Лопатин мог и в библиотеке обретаться тоже сколько хотел. В чиновничьих гнездах смотрели на него так, словно он не очень-то красиво нашалил. А сюда, на Николаевскую, слетались, будто на маячный огонь, гимназисты-старшеклассники той самой гимназии, где не столь уж и давно господин библиотекарь учился при Неверове, теперешнем попечителе Кавказского учебного округа. Но главное-то вот что: господин библиотекарь — кандидат университета, политический ссыльный, побывавший в заточении. И они спешили к Герману Александровичу, гимназисты-старшеклассники, а за ними и семинаристы тайной побежкой — увлечение светской словесностью не поощрялось.

Не так уж и много было книгочеев. Куда меньше, чем в петербургской императорской. Ну что ж, думал Герман, арифметика арифметикой, а ведь какая духовная жажда. Да и арифметика, ежели вникнуть, особенная. Не столица, а провинция поставляет рекрутов. Не из провинции ли и Белинский, и Чернышевский, и Добролюбов? У властей забота — взрастить для своих нужд неинтеллигентную интеллигенцию. Отчего бы и в этом смысле не противоборствовать властям?..

А вот Нине фон Нейман он отнюдь не противоборствовал.

Поначалу удивился: вдовая молодая полковница не оказалась заурядной, лениво-скучающей и склонной к амурам гарнизонной дамой — осведомилась, нет ли в библиотеке сочинений философа Лаврова? И одним этим сразу же расположила в свою пользу библиотекаря.

Но, может, еще больше приглянулась ему Нина Александровна тем, что она отнюдь не аттестовалась «передовой женщиной», к коим наш библиотекарь питал то же чувство, что и персонаж Чернышевского: «Терпеть не могу синего чулка!» Она не стригла коротко, как ниги-

листки, свои тонкие пышные светлые волосы и не прикусывала чистыми зубками мундштучок с пахитоской, а полные округлые плечи свои накрывала она не пензенским пледом — кутала оренбургской шалью.

Спроси Герман о ее замужестве, она не стала бы уверять, что влачила дни во мраке, а ответила бы, что покойный был добрым, рассудительным человеком, весьма твердых правил, хотя отнюдь не педант. Но ее прошлое не занимало Германа, да и ей вовсе не хотелось ворошить былое, а хотелось жить настоящим.

«Я вас люблю»,— произнесла она негромко и повела ладонью по лицу, словно убирая вуаль, и Герман, как впервые, увидел это лицо, спокойное и вместе ликующее, смиренное и вместе решительное. На дворе лепил буран, в доме на Театральной свеча горела и остывал самовар.

Полюбив Германа, Нина очень хорошо понимала, что табель о рангах не предмет его забот, и что «узкие врата» там, в библиотеке, ему тесны. Догадывалась: рано иль поздно, скорее рано, чем поздно, Герман совершит «самовольный отъезд». И это ее тревожило, это ее печалило, потому что она не знала, как он поступит с нею. О, хоть сейчас Нина фон Нейман променяла б пенсионное житье на бурную судьбину. И ей, право, без нужды троекратное хождение вокруг аналоя, с нее довольно быть женщиной, любящей и любимой.

Даже и «узкие врата» сужались.

Дело было не в том, что губернатор от времени до времени подтягивал, как говорил Герман, служебный мундштук: пользовался пером кандидата университета или посылал в командировки для решения на месте административных «заковык», как вот недавно, на юг губернии, к переселенцам латышам и эстонцам, которым не давали строиться, где было удобно, и которых нагло

обмишуривали землемеры. Тут-то как раз Лопатин вроде бы отчасти исполнял программу несостоявшегося «Рублевого общества» — постижение глубинного, повседневного. Нет, «узкие врата» теснили там, где он находил свое, пусть не блестящее, пусть донельзя скромное, общественное поприще, живой материал для выработки интеллигентной интеллигенции, рекрутов крамолы.

Началось с того, что в библиотеку явился благообразный улыбчивый господин. Он не посягал на издания, цензурой дозволенные. Он не подозревал наличия нелегального, цензурой недозволенного. Но, будучи местным цензором, он почел долгом обнюхать каталоги библиотеки.

А неделю спустя приходит жандармский обер-офицер и очень любезно осведомляется, кто эти молодые люди, уютной беседе коих с господином Лопатиным он столь нецеремонно мешает? Черт дери голубого любезника, он же прекрасно осведомлен, кто эти молодые люди! Ах, да, да, ну как же, как же... Молодые люди выключены из Московского университета — прискорбно, прискорбно,— и они так же, как господин Лопатин, водворены на жительство в губернский город Ставрополь. Так вот, господа, по долгу службы я вынужден не допускать разговоры лиц между собою в библиотеке... «Разговоры лиц между собою» — скотина, научись по-русски изъясняться.

Засим припожаловал инспектор гимназии, поклонник изящной словесности, особливо поэзии, отнюдь не ретроград и не гасильник разума; он берет Германа Александровича об руку и доверительно объявляет: получена сек-рет-ная инструкция, запрещающая гимназистам абонироваться в городской библиотеке. Казалось бы, совершенно вразумительно сказано: сек-рет-ная инструкция! А кандидат университета холодно возражает, что сия инструкция ему неизвестна, он и впредь будет допускать

гимназистов, а ежели воспоследует соответствующее предписание, то посоветует гимназистам надевать штатское. Каков!

И наконец, для полноты картины, для того, чтобы и бурсу не оставить без попечительного внимания, владыка посылает на Николаевскую, к этому атеисту Лопатину очень строгого иеромонаха. Но строгий монах начал нестрогим попреком: отчего же вы, батюшка мой, даже и на великий пост не приступили к таинству покаяния? Атеист ответил: истинно так, не исповедовался, ибо не грешен, ибо праведен. Ну-ну, сын мой, насупился иеромонах, ну-ну, брат мой... И атеист насупился: ежели сын, так собственных родителей, а ежели брат, так соприсносущих по естеству. И тут уж разговор пошел на ножах. Иеромонах потребовал списки бурсаков, читателей библиотеки. Библиотекарь уперся: нет и нет. Иеромонах настаивал свистящим полушепотом. Лопатин подпустил еще несколько шпилек, но пора уж было унять эту черную рвоту. (Герман так и подумал словами Гарибальди: духовенство — черная рвота.) Он достал ведомость членских взносов и вручил иеромонаху. Ни одной бурсацкой фамилии там не значилось. Ревизор грозно встопорщился. Библиотекарь сокрушенно вздохнул. Где было догадаться посланцу владыки, что этот безбожник к тому же и великий хитрец: взносы семинаристов записывал он не в общей ведомости.

Можно было сколько угодно «сукиносынить» жандармского офицера, можно было сколько угодно разяще блистать очками на гимназического инспектора и потешаться над иеромонахом, эка тот злобно-то прошуршал рясой... Нельзя было избавиться от мысли, что самая мизерная, самая коротенькая работа на общественном поприще невозможна. И нельзя было избавиться от унизительного ощущения: сидишь будто в колбе, о тебе наводят справки, на тебя пишут доносы. Тут не страх

был — унизительное ощущение наготы, невозможность оградить свое «я» от ежечасного похабного посягательства.

Еще на пути в Ставрополь Лопатин думал о путях из Ставрополя. Но не потому лишь, что не согласился с решением петербургской Следственной комиссии. О побеге он думал и здесь, дома, в Ставрополе. Но не потому лишь, что надеялся найти modus vivendi *, а нашел casus belli **.

В словах есть смысл, и есть в словах душа. «Свобода» и «воля» по смыслу тождественны, по душе — нет. Желанье свободы приобретается; с жаждой воли родятся, она — род тоски. Все это заключал Герман в прозаическое: «Я не могу сидеть на цепи, как собака».

Прозаизм вплетался в поэтическое — тяга на волю мечтательна. В иные минуты мечтательность достигала такого напряжения, что он почти физически ощущал маршрут и обстоятельства побега: бурый полуденный жар кавказской кручи, грубый запах водорослей, наметанных черноморским прибоем, упругий прогиб штормтрапа, сброшенного с борта турецкой кочермы; контрабандисты выбирали якорь, бушприт вспарывал ночь, нанизывая звезды, как бублики, и он уходил все дальше, дальше, и за какой-то тысячной милей вольная воля поднималась из волн, как солнце... Потом Герман отказался от южного маршрута, стал думать о северном, но суть не менялась — жажда воли, род тоски, свойство натуры.

Однако и реальное требовалось. Реальное, в свою очередь, требовало материального. Его питерский приятель издавал переводную литературу. Герман взялся за толстого немца, нашпигованного тяжеловесными цитатами, как колбаса салом. Чертыхаясь, подсчитывал, сколько

---

* Образ жизни (*лат.*).

** Формальный повод к войне (*лат.*).

выручит за перевод. Приналег на английский, читал Спенсера в подлиннике. Написал в Петербург все тому же приятелю: помните, мил человек, где припрятан мой револьвер? Пришлите. И в придачу сотни две патронов. Надо ж не только набить кошелек, но и руку.

А на дворе гуляли молодые метели, сменяясь туманами, ростепелями, гололедом. Опять зима и опять в Ставрополе. «Я не могу сидеть на цепи, как собака». Но глупо бежать на зиму глядя. То ль дело в начале лета.

Сторож Кузьма Терентьич корябал пальцем щетинистый подбородок. Засим, кряхтя, надевал видавшую виды шинель с широченным воротом, и это означало, что господину библиотекарю пора шабашить, потому как он, бывший нижний чин Кузьма Косой, пост принял и на часы встал. Их благородие отправлялся восвояси, то есть, ежели секретно, совсем недалече, к госпоже полковнице, барыня из себя, прямо сказать, первых статей.

Старый пластун был приметлив. Однако Кузьма Терентьич не угадал: «их благородие» колебался — идти на Театральную или взять прямиком к дому? Убыли своего чувства Герман еще не сознавал, но уже испытывал какую-то неловкость и неясную вину перед Ниной фон Нейман, что как раз и было признаком этой убыли.

На улице, совсем безлюдной и неосвещенной, ударил в лицо колкий, снежный вихрь, Лопатин едва перевел дыхание, хотел было очки поправить, как его рванули за рукав: «Герман Александрович, я к вам!»

Лопатин узнал московского студента, завсегдатая библиотеки, одного из тех троих, которых выдворили из Москвы в Ставрополь, узнал и обрадовался — нечего колебаться, куда идти, а надо пригласить славного малого на чашку чая, и баста.

Приглашение студент, кажется, даже и не расслышал. Он все еще дергал Лопатина за рукав и озирался, ози-

рался. «Что случилось, коллега?» — участливо спросил Герман, машинально понизив голос и словно бы ощущая близость опасности.

Лопатин силком оттащил студента за угол. В затишке студент не то чтобы успокоился, не то чтобы взял себя в руки, а будто вынырнул из омута и заговорил, хрипло, отрывисто, теряя слова и комкая фразы. Потом внезапно точно бы онемел и вдруг вскрикнул: «Это невозможно! Это невозможно!» — и ринулся сквозь пургу, махая руками и едва не потеряв шапку.

Дома Германа не ждали, привыкли к поздним возвращениям; огня не зажигая, он на цыпочках скользнул в свою комнату, но постель не разобрал, не лег, а сел у письменного столика и стал впотьмах курить, жадно забирая дым.

Буран гудел ровным, сильным гудом, буран сотрясал ставни и подвывал в дымоходе, и Герман, думая об убийстве Ивана Иванова, думая о Нечаеве, не расслышал, как подкатили сани с подвязанными колокольчиками и сразу же, след в след, подкатили еще сани, тоже беззвучные.

Его увели после обыска.

Александр Никонович выбежал на крыльцо и высоко поднял фонарь, стараясь удержать сына в бледном пятне света.

— Трогай,— негромко и, пожалуй, грустно приказал жандармский офицер кучеру-жандарму, и все быстро заволоклось мятущимся снегом.

Александр Никонович торопливо обтер фонарное стекло и опять поднял фонарь, не мирясь с исчезновением сына, понимая и не понимая, куда он делся.

Аресты мгновенно выстуживают дом. Не было конца этой декабрьской ночи. И не было слез в незрячих глазах Софьи Ивановны, уж лучше б зарыдала.

Утром буран лег, звенели ведра, пахло дымом. В разрывах туч проглядывало солнце, возникали голубоватые тени на молодом снегу, но все это, направляясь на службу, видел Александр Никонович будто сквозь темные очки.

О, матушка-провинция, проворен твой телеграф... Александр Никонович здоровался с надворными и титулярными, те отвечали, Александр Никонович, однако, тотчас ощутил, как что-то ему мешает, ощутил разреженное пространство и словно бы невидимую перегородку, отделяющую его от прочих чиновников, ему сделалось нехорошо, гадко, а вместе и стыдно, будто его уличили в чем-то неблаговидном, и от этого сделалось еще гаже. Большое бритое доброе лицо его приняло выражение замкнутое и, можно было бы сказать, надменное, если бы надменность хоть в малой степени была присуща Александру Никоновичу. Он поднял плечи и большими шагами, ни на кого не глядя, прошел в кабинет.

Арест не столько ошеломил Германа, сколько озадачил: во чужом пиру похмелье? Поди разбери затейников Третьего отделения — присобачат к заговору нечаевской «расправы» да и расправятся. Уж очень оно карьерно: не единицу прихлопнуть, а заговор обнаружить, к рождеству или к пасхе крестами осыпят.

Нет, лопатинский арест стоял особняком — в Петербурге перехватили одно из его писем и поняли, что ссыльному осточертело сидеть на привязи. А коли так, отчего бы и не укоротить цепь? Ведь и без этого Лопатина забот хватало. Убийство в Петровском-Разумовском как завесу разорвало — дымился котел ведьм, Нечаев варил адскую похлебку. Но сам-то закоперщик канул. Зато пособников брали одного за другим. На Мещанской в доме с мезонином обнаружили списки «Народной расправы». И тетрадочку зашифрованную тоже нашли.

И уже корпели над нею дешифровщики Третьего отделения, и уже корчилось в «Катехизисе» такое, что хоть святых вон... Не времечко беспечно глядеть и на умыслы Лопатина Германа.

Обер-офицер корпуса жандармов, тот, что наведывался в библиотеку, тот, что произвел обыск и заарестование, этот капитан, обходительный и даже снисходительный, отнюдь, как и его начальник, не жаждавший «крови», пожурил за почтовые откровенности и, предъявив письмо, перехваченное в Петербурге, убедительно просил ответить пункт за пунктом в соответствии с вопросительными подчеркиваниями Третьего отделения.

— Все, что лично ко мне,— сказал Лопатин,— изъясню откровенно. Все, что о других,— увольте! — И съязвил: — Господа на Фонтанке обойдутся без меня.

Сарказм Лопатина капитан пропустил мимо ушей. Главное, срочно ублаготворить начальство — вот перо, вот бумага, пожалуйста, Герман Александрович, с полной откровенностью, вам же лучше будет.

«В письме моем,— разъяснял арестованный,— с совершеннейшею ясностью выставлены мотивы, побудившие меня к отъезду за границу. Я пишу, что уезжаю не с целью занять место между русскими эмигрантами где-нибудь в Женеве, не с целью конспирировать за границею против русского правительства, а просто потому, что подневольная жизнь в Ставрополе опротивела мне до последней степени. Я совершенно не привык и не желал долее сидеть в Ставрополе, как собака на цепи, лишенный права свободно располагать собою и не стесняясь высказывать свой образ мыслей. Конечно, я с гораздо большим удовольствием предпочел бы уехать легальным путем, если б не был уверен, что мне откажут».

Господам жандармам нужна правда? Они получат правдоподобие. А правда, *его* правда не для господ в голубых мундирах... В ту бурапную почь, когда студент-

москвич сказал Герману про убийство Иванова, в ту долгую ночь, когда Герман курил и курил в потемках, а жандармы запрягали коней, в душе его резко и разяще отозвалась строчка: «Ты для себя лишь хочешь воли». Старый цыган осуждал Алеко, да Пушкин-то вроде бы и не осуждал, и эта строчка не звучала для гимназиста Германа так, как прозвучала буранной ночью — беспощадно и уничижительно. Он вспомнил голубую Ниццу, террасу, вспомнил Герцена, похожего на Сократа, багровую отметину на переносице, и все это вспомнилось лишь оттого, что Герман как бы внезапно, неожиданно для себя осознал сказанное Герценом в осторожном и трудном раздумье: громадные катаклизмы выжигают нравственность, как рощу... Что-то в этом духе, что-то в этом смысле было сказано, да он, Лопатин, словно бы и не придал этому особенного, корневого значения, нет, не придал, миновал не оглядываясь. И вот даже и не то чтобы вспомнилось — факелом начерталось... А Иван Иванов, уронив мертвую голову, ждал...

Караульные начальники видели в штатском арестанте жертву произвола голубых офицеров, коих за офицеров не считали. Караульных начальников назначали в очередь из гарнизонных, и они вовсе не лезли в тюремщики. Господину Лопатину охота встречаться со своими родственниками без свидетелей? Желание естественное. И поверьте, господин Лопатин, мы не унизимся до подслушивания. Господину Лопатину желательно навещать госпожу фон Нейман? Поверьте, никто из нас не прильнет к замочной скважине. Русский офицер служит государю и отечеству, а не прислуживает ябедникам. Вот тут однажды один из этаких, получив повышение, угощал прощальным обедом губернских шпаков, выпито было изрядно; подали лошадей, стали прощаться, ну-с, разумеется, объятия, поцелуи, а губернского прокурора и прорвало: «Чего прешь... твою мать? Буду я со всякой

шпионщиной лобызаться?!» Так вот, честь, знаете ли, не позволяет состоять в любви со всякой шпионщиной.

И когда арестант, бывший чиновник для особых поручений, отправлялся на свидание с г-жой Нейман, никто из караульных начальников не кричал: «Караул!» Герман преспокойно уходил на Театральную, благо рукой подать, мимо весело освещенного, как всегда на святках, Дворянского собрания. Возвращался, случалось, и за полночь.

А вдруг и не вернулся. Вышел вечерком подышать свежим воздухом. Морозило некрепко, вызвездило ясно, мела поземка, он и гулял близ гауптвахты. Гулял да и улетучился. Напрасно кинулись на Театральную, Нина Александровна широко раскрыла глаза: нет, нет, что вы...

Она не лгала: нынче и вправду Герман не показывался. Но она знала, где он. Не на Театральной, а в Подгорной слободе — в мазанке отставного кавказского солдата Кузьмы Косого.

Лопатину мучиться б нетерпением, а он ждал терпеливо. Он не имел права на риск. Рисковать означало б: «Ты для себя лишь хочешь воли...» Он ждал, когда истощится рвение поисков, и ему сообщат об этом без всяких «но».

Соловая лошадь и черная бурка, кинжал, револьвер, документы, деньги — все было у Нины фон Нейман. Мысль о Нине сливалась с чувством вины. Ей хотелось уехать вслед за Германом. И не потерять след Германа. Он твердил себе: если бы не обстоятельства... Твердил смущенно, зная, что это не так. Не обстоятельства, не в том дело. Однако подсудность свою Герман, негодуя, отбросил. Если уж что-либо решительно неподвластно каждому из нас, так это приливы и отливы любви. О, никогда не забудет он Нину. Да, да, самая нежная признательность, но... но этого, увы, недостаточно для любви...

И все же было смущение, было чувство вины перед Ниной, в такие минуты охватывал порыв: скорее бы.

Но Герман ждал.

У него не было права на риск.

Широким галопом пустил он коня, и пошла соловая, пошла родимая, мягко и ровно опуская копыта на мягкий, заснеженный шлях... Спокойно, малый, спокойно, гляди не задохнись от счастья.

Широким галопом пустил он коня, гикнуть хотелось и засвистать в три пальца. Были ночь, степь, звезды. Спокойно, малый, спокойно, только бы добраться до Ростова... До Ростова добраться, до Ростова добраться... А там уж дорога железная... Там уж дорога железная...

Несколько месяцев спустя он увидел лощеную Женеву. Была теплынь, окна распахнуты, слышалось бойкое фортепиано, пахло имбирным пивом, свежими розанчиками.

В доме Огарева горничная доложила барышне, что ее спрашивает какой-то русский, и дочь покойного Герцена, Наталья Александровна, по-домашнему Тата, выйдя из комнат, вопросительно подняла на Лопатина серые внимательные глаза.

Он поклонился улыбаясь. «А вы, вероятно, меня не узнаёте...» — и весело амнистировал Тату: «Что и толковать, два с лишним годика прошумело».

Еще не отчетливо признав Германа, она расслышала запах осеннего моря и осенних цветов — там, в Ницце, этот Герман был совсем оборванцем... И, глядя на него своими серыми внимательными глазами, Тата быстро проникалась симпатией, чувством почти родственным, и, боже мой, как это было отрадно после поездки в Ле-Локль.

III

Огарев был последним, кому Герцен, перед смертью, написал несколько слов. Огарев был первым, кому Тата написала о кончине Герцена.

Николай Платонович очень любил детей покойного друга. Тату особенно. В Тате, говорил ему Герцен, обитает наш дух. Четверть века назад родилась эта девочка в арбатском особнячке, мороз был и солнце. В девочке повторилась ее мать, Натали. Умирая, Натали завещала мужу: «Береги Тату, с ней нужно быть очень осторожну, это натура глубокая и несообщительная». Несообщительная? Вообще-то, должно быть, так, но только не с ним, Огаревым. Он тихо и умиленно радовался Татиному приезду к нему, в Женеву.

Николай Платонович жил под ласковым присмотром Мэри. Падшая женщина? Они сошлись давно, в Лондоне. Мэри была бесконечно признательна Огареву и за себя и за неродного ему сына, но бедняжка Мэри... Совсем, совсем не в том дело, что Мэри, как и он, держала стаканчик в исправности, ничего худого в том не было; напротив,— «выпьем, добрая подружка...» А Тата... Сквозь табачный дымок, сквозь дымку времени Огарев смотрел на Тату, ловил в ее чертах черты Герцена, видел в серых глазах, так похожих на глаза ее матери, отблески былого, когда все они были молоды, и Огареву чудилось, сейчас войдет Герцен, коренастый, румяный, в хлопьях и звездочках быстро тающего снега, и послышится эта медлительная московская речь, мягкий, иронический смешок...

Тата еще не решила, надолго ль она останется в Женеве или все же вернется в Париж. Не в этом было главное, хотя она и сознавала, как необходима Огареву. Главное было в другом: «К чему я на свете?» Отец внушал: помни, что в наше время нет серьезной собственности,

кроме той, что основана на работе. В натуре старшей дочери он обнаруживал складку литературную. Она владела и кистью. Дар был, дар недюжинный. Но была ли работа? Отец судил сурово: мы все вполовину разбиты, развращены и парализованы, ибо у нас есть наследство, есть рента — и отсюда некая расслабленность. Она это понимала. Но повседневной работы не было: отсутствовала потребность, подчас мучительная, возделывать свое поле, сколь бы мало оно ни было и какие бы бедные всходы ни давало.

Герцен надеялся на свою Тату: ты — наша продолжательница. Это смущало, но, честное слово, она хотела бы приобщиться к тому, что отец называл русской деятельностью. Она чувствовала себя самой русской из всех его детей, выросших на чужбине...

В Женеве она встретила Нечаева.

Тата знала, что этот Нечаев претил отцу. Отец сердито ворчал на «старичков» — на Огарева с Бакуниным — за горячую поддержку человека со змеиным взглядом и резней на уме; она помнила отцовское: этот малый натворит страшных бед. Знала и то, что Нечаев бежал из России после убийства Иванова, мерзавца и предателя.

Он пришел и, не застав Огарева, дожидаясь его, нетерпеливо прохаживался, дробно нажимая на каблук и будто не замечая Тату. Облокотившись на каминную доску, она молча наблюдала за ним. Он был в черном глухом сюртуке и в синих очках, надетых, вероятно, ради секретности. Потом, тяготясь молчанием, Тата осведомилась, что нового в России. Нечаев повернулся:

— Разве интересуетесь?

— Конечно, ведь там опять аресты...

Он усмехнулся:

— Вы-то, чай, давно из России?

— Давно. Мне год был, когда мы выехали.

— Ну, так чего уж там,— небрежно отмахнулся

Нечаев; услышав голос Огарева, он без церемоний вышел из комнаты.

Оригинальный и чисто русский, подумала Тата. Подумала так потому, что встретила его не в России, не среди русских, и ее впечатление было какое-то стороннее, иностранное.

Коль скоро Огарев с Бакуниным и Нечаевым озаботились возобновлением умолкнувшего «Колокола», коль скоро они были поглощены общими делами, Тата оказалась в круге бдительного нечаевского дозора.

— Послушайте-ка, Наталья Александровна,— обратился он однажды к ней тем повелительным тоном, каким с нею никто никогда не говорил.— Вы, слыхал, недурно рисуете?

— И что же?

Нечаев снял свои темные очки.

— Вот, стало быть, так. На одном рисунке: толпа мужиков — кто с топором, кто с вилами, кто с косой, а кто и просто с дубьем. А впереди молодой парень, ворот расстегнут, волосы дыбом: показывает мужикам на солдат, кричит: «Братцы, не бойсь!» А тут — поп. И этот поп бьет его крестом по голове... Понятно? — И, не дожидаясь ответа, продолжал все так же быстро и повелительно: — А другая прокламация с таким рисуночком: на холме дом господский, колонны, сад, все как водится, а к дому крадутся мужики, сейчас — подожгут.

— Помилуйте! — воскликнула Тата и повторила отцовское: — У вас, Сергей Геннадиевич, одна резня на уме. Нечего подбивать мужиков на убийства, поджоги, в народе и без того огромный запас ненависти.

Глядя на Тату в упор, он ответил, что ненависть свята, приходят сроки возмездия, что все средства революции хороши, что только неженки и тунеядцы чураются, умывают руки.

Тата, как пятясь, повторяла: «Это ж иезуитизм».

— Конечно! — Нечаев вспыхнул.— А они-то, иезуиты, были умные, ловкие. Нам бы все их правила взять да и действовать. То есть цель-то другая, совсем другая, а правила-то, что ж, правила сподручны.

«Умывает руки... Сподручны». Она не могла определить, поражена она или испугана? «Умывает руки... Сподручны...» Слова эти будто выскочили вперед изо всего, что произнес Нечаев, и она смотрела на его руки с розовато-белесыми скобчатыми шрамами.

Перехватив этот взгляд, Нечаев буркнул:

— Пустяки. Не ваше дело.

И ушел не прощаясь.

Вечером Тата пересказала Огареву дневной разговор с Нечаевым. Огарев благодушно улыбался. (Тате, освещенной его улыбкой, его благодушием, подумалось или вспомнилось: из-за всех туч Огарев выходит ясным месяцем.) Называя Нечаева так же, как называл Бакунин — наш бой, наш мальчик, наш тигренок, Огарев рассуждал в том смысле, что великая отрешенность от всего ради дела многое искупает в человеке, что тигренок, случается, хватит через край, это от безоглядной жертвенности, а в практике, успокойся, Таточка, успокойся, ничего иезуитского, хоть и ссылается на иезуитов, у него ни грана пошлости, а вот ты, милая Таточка, еще не научилась разбираться в людях.

— Разбираться в людях? — Тата, улыбаясь одними глазами, намекающе смотрела на Огарева.

— Ладно,— усмехнулся Николай Платонович; намек был понят — это ж ему, Огареву, говаривал Татин батюшка: ты, брат, в людях мало понимаешь, провести тебя ничего не стоит. — Ладно уж,— повторил Николай Платонович, и они оба рассмеялись, так хорошо рассмеялись...

А Нечаев с того дня запропал.

Его искали агенты, присланные Петербургом, разыскивали и швейцарские полицейские. Приняв одного эми-

гранта за Нечаева, арестовали беднягу. Признав ошибку, извинившись, выпустили. Но отныне и младенец сообразил бы: Нечаева не считают политическим преступником, а считают уголовным убийцей, за ним охотятся, и, коли поймают, северный медведь задерет Сергея Геннадиевича.

Тата испугалась. То было сострадание, естественное сострадание, да. Однако ощутилось и нечто, смутившее Тату. Какое-то особенное расположение к Нечаеву, возникшее словно бы наперекор его невозможному тону. Она встревожилась. И это смущение, эта тревога заставили Тату не отказываться от посещений укромной улочки в квартале Сен-Пьер, где скрывался сербский подданный Стефан Гражданов. О, конечно, во исполнение просьб Огарева или откликом на зов Бакунина. И потом — уверяла она себя — ей просто приятен флер таинственности, когда идешь по засыпающему городу и должна следить, не следят ли за тобою, и приходишь к дому, увитому плющом, видишь непроницаемое, плотно занавешенное окно, стучишь условным стуком, в приоткрытую дверь скользит луч света, ты шепчешь пароль, и тебя пронизывает сквознячок конспирации.

У Нечаева она всегда заставала Этну Ниагаровну — так покойный отец величал, бывало, могучего, голосистого, многоречивого Бакунина. Тата видела, что он ближе, короче, теснее с Нечаевым, нежели Огарев, и это вызывало у нее легкую обиду за Николая Платоновича, единственного в мире и лучшего в мире. А в интонациях Нечаева нет-нет да и проскальзывало усмешливое отношение к старику, и тогда она опять испытывала к Нечаеву холодное отчуждение.

Оба — Бакунин с Нечаевым — твердили: вы должны быть с нами, как дочь своего отца. Но она-то знала: отец отказывался поддерживать Нечаева. Хорошо, она готова надписывать конверты, пакеты, бандероли, франкированные и нефранкированные, лавиной низвергаемые на Рос-

сию, просто диву даешься, откуда у Нечаева столько адресов. Хорошо, на это она согласна. Но вот же какая гадость, низость какая — и это! это! предложил ей однажды не беспардонный Нечаев, а Бакунин: большую пользу, сказал, может принести нашему делу красивая женщина. Она не поняла: какую? И Бакунин не постеснялся: а вот, говорит, оглянитесь, сколько мужчин-то богатых, кружите им головы и заставляйте давать деньги на революцию. Он не шутил, нисколько не шутил. Выходит, им мало иезуитов от революции, подавай-ка еще и куртизанок от революции?

Они возобновили «Колокол». Огарев уверял: продлись дни Герцена, он непременно отменил бы свой приговор и «двум старцам» и «мужественному юноше». Отменил бы? Быть может, быть может, но она, Тата, не намерена выставлять свое имя на листах этого, нынешнего «Колокола».

— Никогда! Ваш «Колокол» не имеет ничего общего с прежним. Никогда!

В ее пылком, негодующем «никогда!» Нечаев услышал что-то иное, не только о «Колоколе».

Он подступил к Тате с искаженным лицом и сжатыми кулаками.

— Никогда?

— Никогда.

Он яростно плюнул на пол.

— Кисейная барышня! Ни на что вы не годны!

Бакунин клубил папиросный дым.

— Ну, ну, тигренок, убери когти...

В эмигрантской среде толковали, что из Санкт-Петербурга прибыл в Женеву жандармский штаб-офицер. Прибыл, разумеется, в штатском, в новомодном, «умеренно-высоком» цилиндре и взял номер в первоклассной гостинице с видом на Монблан.

Нечаев исчез из Женевы.
На Татин вопрос, где он, Огарев пожимал плечами:
— А сам черт не знает где.

Он кочевал по долинам и дорогам Бернских Альп. Воздух был резок, зубы ломило, как от родниковой воды, и луна была резкой и почные тени; взмыленные потоки ныряли под мшистые акведуки; в тугих снопах солнечных лучей горели, не сгорая, стрельчатые витражи романских колоколен, а дальние глетчеры отсвечивали на закате оранжевым, фиолетовым, синим... Прекрасная страна? Нечаев будто и не видел ни акведуков, ни колоколен, ни глетчеров, ни альпийского сияния вершин. Вот и в Петербурге он будто б не видел ни адмиралтейской иглы, ни млечных, слабой прозелени белых ночей, а в Петровском не трогала его ни Лиственничная аллея, ни дорога мимо пасеки к гроту, которую так любил Иван Иванов. И если здешние теснины теснили грудь, то не тоской, знакомой многим россиянам,— ностальгической, по открытому пространству, где дышишь вольно и глядишь светло, нет, другой — по времени, уходящему напрасно. И еще была тоска по женщине, которая приходила в одну из улочек квартала Сен-Пьер, она топала ногой, и после ее «никогда!» все летело вверх тормашками.

Друзья Бакунина и друзья друзей Бакунина давали Нечаеву стол и кров. Враги деспотизма, они прятали гонимого собрата, не зная о нем ничего, кроме того, что и он — враг деспотизма.

Его кочевье закончилось в Ле-Локле, близ французской границы. Дом стоял на краю местечка. Дальше уже было поле, за которым темнела маленькая железнодорожная станция. Дважды в сутки пробегал локомотив, вестник и эхо большого мира, потом тишина смыкалась и будто бы ничего во всем мире не было, только поле, дом

и эта низкая комната с простой мебелью, занавески на окнах и скатерка на столе и постельное белье в крупную сине-белую клетку.

В Локле было безопасно, сытно, тепло, уютно. Проклятье! Жить добровольным ссыльным? И это ему, жгущему свечу с двух концов?! Он ждал известий от Бакунина. Но и Огарев, черт дери, тоже мог бы прислать либо письмо, либо гонца. А по правде-то, ветераны ветшают. Он, Нечаев, поддерживает в них душу живу, заверяя, что аресты не сокрушили «Народную расправу». Ложь во спасение, и старички должны быть благодарны. Конечно, их имена, их авторитет нужны: он, Нечаев, возродит «Народную расправу». Те, что пошли за ним в грот, пойдут в каторгу — карта отыгранная. Если и жаль, так это Петруху Успенского. И те, кто числился в пятерках, тоже ждут суда. А он, будь все проклято, торчит у окна и глядит, как мерцает, качаясь на ветру, станционный фонарь.

Невшательские часы стучали в низкой комнате с низким широким окном. Во втором этаже укладывались на покой хозяин с хозяйкой, оба горбатенькие, как гномы. Был милосердный запах сушеных лекарственных трав, совсем непохожий на тот плотный, коммерческий, что неизбывно держался в мастерской на Конной улице, но, странно, этот здешний навевал нездешнее: «Милые мои и дорогие бабушка и дедушка, я не переставал вас любить и помнить...» И Нечаев, вздохнув, тянулся к флейте.

Флейтой он одолжился у хозяина-горбуна. (У Нечаева в юности тоже была флейта, но не костяная, а деревянная. Играть он не умел, так, дудел-выдувал, неловко перебирая пальцами, и — чудилось: «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду, сидит ворон на дубу...» Дед кричал с подвизгом: «Перестань, Сережка! Перестанешь, что ли?!») Сжимая губы, он добывал резкие, сильные звуки верхнего регистра и будто прислушивался, не крикнет ли дед: «Перестань,

анафема!» Нет, тихо, стучат невшательские часы. И вот не письмо — словно бы стон. И это Сергей Нечаев, обозначивший в «Катехизисе революционера» запрет на все нежности, на все, что не дело, это он, Сергей Нечаев, пишет: «Я в глуши, без писем, в неизвестности, я здесь измучился от тоски... Как бы хотелось мне вас видеть! Припоминаю все наши разговоры и, чем более вдумываюсь в них, тем более и более недоволен собой. Да, я был слишком крут, слишком резок с вами; я именно запугал вас... Вас многое удивляло во мне, многое возмущало. Вы слишком нежное и молодое растение, еще только начинающее распускаться. Надо было бережно обходиться с вами, а я поступал с открытой искренностью и несдерживаемой прямотой. Как бы хотелось мне вас видеть... Ради всего того, что вы по-своему считаете святым, не относитесь к этому горячему желанию еще раз видеть вас с какой-нибудь скверной задней мыслью. Не много у меня светлых минут в жизни, прошлое мое бедно радостями. Не отравляйте же и теперь подозрениями самое чистое, высокое, человеческое чувство. Не думаю, чтобы нужно было пояснять мои желания, мои стремления видеть вас настоящей женщиной. Причина страстной неотступности для вас ясна: я вас люблю».

В Невшателе, сумрачном городке, надо было до отхода поезда узнать точный адрес Нечаева.

Тата отыскала в тесном проулке крохотную типографию. У касс с литерами возился бородатый наборщик в синей блузе. Тата спросила, нельзя ли повидать хозяина?

Вышел длинный костлявый человек в черепаховых очках. Лицо узкое, бесстрастное. Тате подумалось: учитель арифметики.

— Что вам угодно?

Тата огляпулась на дверь и конспиративным шепотом осведомилась, как и где найти господина Нечаева?

— Простите, мадемуазель,— сухо произнес типограф,— я такого не знаю. Вы, очевидно, ошиблись.

— А мне... Мне сказали, вы дадите адрес...

Типограф развел руками. Все было как в романе: ни один мускул не дрогнул на его лице. Но глаза из-за очков смотрели остро. Тата почувствовала себя шпионкой. Боже мой, ведь она помнила пароль, ей-богу, еще час назад помнила.

— Послушайте,— сказала она,— там какие-то цветы. Гиацинт? Да, да, гиацинт — первый, а дальше...

Он усмехнулся: бедняжка мучительно морщит лоб. Подсказал: «Рододендрон».

И Тата зачастила как школьница:

— Гиацинт, рододендрон, эдельвейс. Вот, вот, видите, я вспомнила. Видите?

— Следует лучше тренировать свою память, мадемуазель,— менторски заметил типограф. И улыбнулся: — Такая юная, а уже заговорщица.

— Огарев просил отвезти рукопись,— скромно потупилась Тата.— Вот и весь заговор.

— А известно ль вам, что вы еще далеко от цели?

— Не-ет,— опешила Тата.— Как далеко? Я должна нынче вернуться домой, в Женеву.

— Это невозможно.

У Таты был вид человека, попавшего в ловушку.

Типограф участливо взял ее руку.

— Не беспокойтесь. Я телеграфирую в Локль, вас встретят и проводят.

— Поймите, я должна ночевать в Женеве.

— Не беспокойтесь,— повторил типограф.— А в Женеву к ночи не вернешься: последний поезд уже ушел. Ничего, не беспокойтесь, я телеграфирую нашим людям, вас встретят.

Господи, как объяснить этому арифметику, что она не может ехать в какой-то там Локль и провести ночь

под одной кровлей с Нечаевым. Нет, этого она никак не могла объяснить.

Уже смеркалось, когда Тата оставила Невшатель. Поезд часто останавливался, пассажиры выходили, вагон пустел. Тату все сильнее пробирала тревога, она жалела, что согласилась на просьбу Огарева и сердилась на Огарева, который почему-то решил, что Нечаев скрывается в Невшателе. Тигренок, думала Тата, нет, убийца. Убил предателя, но ведь убил, убил. А старички мурлычат: наш мальчик, наш бой. О-о, какое легкомыслие: ехать на ночь глядя к этому человеку.

В Локле, на крохотной приграничной станции, никто не встречал Тату. Острый транзитный ветер дул из Франции. Качался фонарь, удлиняя и укорачивая тени. Ей вдруг показалось, что она умрет от ужаса посреди этой ночи... Скользнули две тени, спросили о чем-то, она пролепетала: «Да, да», услышала: «Идите за нами».

За полем, в темном шале блекло озарялось окно первого этажа. Отворилась дверь. В прихожей не было ни души, будто дверь отворилась сама. На верху винтовой лестницы возник гном со свечой, жестом пригласил Тату подняться. С каждой ступенькой ее колени слабели. Гном был безмолвным, как и те, исчезнувшие, проводники. Какие-то переходы, запах сухих трав и козьей шерсти. Гном сделал знак: стойте и ждите. И будто провалился. Какая нелепость, какая чудовищная нелепость... Ей показалось, что появился тот же гном, но то была карлица, махонькая старушка. Теперь Тата спускалась куда-то вниз, но вот карлица постучала в дверь, пальчиком указала — туда, мол.

Он бросился к Тате и стал целовать, она, ошеломленная, уперлась ладонями в его грудь, он отступил, и она увидела лицо Нечаева — счастливое, ликующее, потрясенное, измученное, совсем не такое, какое видела прежде, и мгновенная горячая жалость к нему, а вместе и радость

за себя, за свое избавление от страха охватили Тату. Но вслух она сказала:

— Позвольте, с чего это вы?

— Но вы же приехали... вы же сами приехали ко мне,— потерялся Нечаев.— Ах да, ну, конечно, я опять вас напугал. Садитесь, садитесь! Небось голодны? Давайте шляпку, вот так. Садитесь. Ну, спасибо, вот спасибо, что приехали, ах, как это хорошо, что приехали...— Он суетился, руки его дрожали.— Тут такая тоска, такая тоска. Вы голодны, мы это мигом. Здесь хорошо, правда? Славно! Вы не пугайтесь, а то я вас, видать, напугал, а?

Тате бы остудить эту суетливую пылкость, Тате бы сразу сказать, что она приехала по просьбе Огарева, но Тата промолчала, захваченная врасплох жалостью к этому мальчугану. Она так и подумала: «мальчуган». Но этим же словом, не произнесенным вслух, внезапно и навсегда уничтожилась несколько экзотическая тяга к Нечаеву, которая подчас озадачивала и тревожила Тату.

А Нечаев как с горы летел, нес какую-то дичь о доверии, отношениях, чувствах, целовал ее руки, волосы, плечи, потом опрометью выбежал из комнаты и минуту спустя влетел с подносом.

— Момент, барышня, момент. Не взыщите, чем богаты, тем и рады, мы пейзане, у нас без бланманже.— Он балагурил, он ликовал.— Момент! Я мальчишкой прислуживал, эфто-с умеем-с. Тут, извините-с, шампанского днем с огнем. Покорнейше просим, покорнейше просим...

Тате смешно было и не смешно. Хотелось есть и не хотелось приступать к ужину. То, что она должна была высказать, нельзя было высказать за едой, жуя и глотая. И оттого, что она так думала, ей тоже было смешно и не смешно.

Нечаев вдруг перестал валять дурака, насторожился, примолк. И как тогда в Женеве, перехватил ее взгляд

на своей руке, покрытой розовато-белесыми скобчатыми шрамами. Но сейчас ее взгляд был рассеянным. И все же рука Нечаева нелепо метнулась, будто он не знал, куда ее деть.

— Сядьте, Нечаев,— велела Тата.— Сядьте и выслушайте спокойно.

Он помедлил, потом сел и потупился. Она опять ощутила жалость, но теперь уж эта жалость не была пронзительной.

— Сергей Геннадиевич, видите ли... Я только нынче, здесь отчетливо сознала: вы говорите об «отношениях», и тут ведь не одно лишь общее русское дело. Ну, вот я и решила: необходима ясность. Иначе выйдут... Выйдут глупые последствия, неприятные, неловкие, скучные.

— Вы получили мое письмо? — странным, осипшим голосом спросил Нечаев.

— Какое письмо?

И в ту же минуту его как прожгло: она не могла получить — отправлено совсем недавно и притом длинной оказией. Не могла! Он почувствовал себя разбитым и униженным. Не тем, что Тата не могла получить письмо, а тем, что понял это только теперь, рассыпаясь мелким бесом со своим дурацким подносом.

— Стало быть...— Он проглотил слюну.— Стало быть, вы приехали?..

— Разумеется! Огарев попросил доставить вам одну рукопись. Вот и все.

Наступило молчание. Наконец он сказал вяло:

— Вам, чай, нужно отдохнуть?

— Да, но где же?

— Здесь.

— Где же вы сами собираетесь спать? — И Тата почувствовала, как бурно покраснела.

— А наш брат,— ответил он с мрачной, вымученной

усмешкой,— ко всему привычный. Хоть на кухне, хоть на дворе, а то и в хлеву.

— Помилуйте, я, право, не рассчитывала... Мне не хотелось бы лишать вас привычных удобств.

Он не удержался от казнящей, не поймешь кого, ее или себя, галантности:

— Э нет, чего уж там. А я что же... Нас с вами, Наталья Александровна, не в одной печи пекли.— Он злобно хохотнул: — Вот ведь опростоволосился...

И пошел к дверям, в дверях оглянулся — улыбочка на губах шалая. И, шаркнув ножкой, вышел.

Казалось, он затаился по ту сторону двери. Ни ключа, ни задвижки, сдается, не было. Досадуя и злясь, она внимательно осмотрела дубовую, без филенок дверь. На косяках заметила кованые крюки, подумала, что должна же быть и перекладина. И точно, приткнулась в углу плоская железина, годная, пожалуй, и для крепостных ворот.

Она легла не раздеваясь.

На ее голые плечи упали, раскидываясь, темные густые волосы. О такой Тате он и мечтал: настоящая женщина.

Его воображение не зависело ни от Татиного «никогда», ни от царского «навсегда». Тата принадлежала ему в любую тюремную ночь. Но длились долго, слишком долго длились эти тюремные ночи, и в немоте казематных лет глохло воображение, как глохла и плоть.

Тогда пришла иная независимость — дарованная могучей графоманией. От времени до времени секретный арестант получал перо, чернила, бумагу. Он писал роман. Не только о Тате, но много и про Тату, и она опять принадлежала ему.

Ах, боже мой, как стремительно изводил он бумагу. А равелинное начальство медленно изводило секретного

арестанта, отнюдь не поспешая возобновить ее запас. Каземат обращался в склеп. Можно было спятить в этом безмолвии и мраке.

Его спасло слово божие.

Он читал Библию: «И она зачала и родила сына...» В эту минуту и блеснуло спасительно: рыбья косточка! рыбья косточка!.. Вострую косточку берег Нечаев бесцельно, как берегут узники всякую малость. И вот уж работал, вот уж опять владела им могучая, целительная графомания: в строчках Библии он прокалывал косточкой нужные ему буквы, и эти буквы-дырочки складывались в строчки, образовывая неповторимый текст. Неповторимый, да. Ибо он, Нечаев, был единственным — никто в целом мире не был секретным арестантом номер пять секретной тюрьмы, секретного Алексеевского равелина, упрятанного в глубине Петропавловской крепости. Тата сказала: «Никогда». Царь сказал: «Навсегда». А он стряхнул с себя и «никогда» и «навсегда» — он сочинял, слитный с сочиненным.

В двадцать первый день ноября, поглощенный, увлеченный, даже почти счастливый, он обронил стило. И не поднял.

То было в тринадцатую годовщину убийства Ивана Иванова, в годовщину, о которой Нечаев, кажется, так и не вспомнил.

Труп свезли на дальнее, почти безвестное кладбище, а рукописи предали огню — живые грезы мертвого Нечаева развеял ветер.

Но это все потом.

Лопатин навестил Тату вскоре после ее поездки в Локль — узнал, в Женеве ли Бакунин, и откланялся, пообещав непременно побывать вскоре.

О Нечаеве не сказали они ни слова, хотя оба думали о нем. И ни слова о том, что приключилось после свидания, теперь уже давнего, свидания в Ницце, где пахло йодистым морем и мокрыми осенними цветами. Лопатин лишь мимоходом упомянул: находился в ссылке, ан свинья не съела, унес ноги. О последующих месяцах — ничего.

Направляясь к Бакунину, он испытывал не робость, а неловкость, живо воображая, каково будет Михаилу Александровичу. Ох, если бы кто-то другой открыл глаза Бакунину... Так нет, тебе выпало, и ты должен, ты обязан сказать Михаилу Александровичу: вас обманули, в грязи вываляли, кровью замарали.

Полагая, что и Нечаев в Женеве, Герман думал, что нынче увидит его в пансионе. И тоже — неловкость. Однако совсем иного свойства. В этой — при мысли о встрече с Нечаевым — царапала деликатность: изобличая, стыдишься за изобличаемого. К прокурорству Герман склонности не питал.

Но Нечаев... Добро бы жулик, слямзил чужие письма или стянул векселек,— морду бьют, и вся недолга. Пусть бы даже и агент Третьего отделения — выставляют нагишом, и шабаш. А такая гипотеза возникала: конечно, агент в личине неистового, как пророк Иеремия, революционера. Герман эту гипотезу отверг. Нет, все было поистине чудовищным, Герман в этом убедился.

Ему бы, ставропольскому беглецу, нелегальному и, так сказать, искомому, нишкнуть, затаиться, переждать, как переждал он в Ставрополе, так ведь нет, и Герман крутился под жандармской метлой и жандармским фонарем.

Да, пропасть открылась, водоворот, омут. И все же Нечаев и нечаевское не представлялось нутряным и непреходящим. Напротив! Полный сил, веселый, иронический, удачливый Лопатин был накрепко убежден: минет нечаевское, рассеется, расточится «пред солнцем бессмерт-

ным ума». И ни на миг не сомневался, что Бакунин, Михаил Александрович Бакунин, примет его сторону. Ложь очевидна, иезуитчина очевидна, кровь тоже. А Бакунин, Мишель Бакунин — это баррикады сорок восьмого года, ожиданье смерти в немецких и австрийских застенках, это несогбенность перед деспотом, губившим его в крепостях Петропавловской и Шлиссельбургской, словом — это Бакунин... И пусть многое из того, что ему, Герману, ценно и важно, Бакунину чуждо и враждебно. Сейчас Герман как бы в стороне оставил и «скит» на Васильевском острове, где у Негрескулов раздумывали над рабочим вопросом, и Большую Конюшенную, где у долговязого Даниельсона повторяли «доктор Маркс», «доктор Маркс», и «Рублевое общество», где отнюдь не молились на разбойный люд. Все это в сторону, все это потом. Одно сейчас владело Лопатиным: Бакунин узнает правду, Бакунин раздавит гадину.

Наезжая из Локарно в Женеву, Михаил Александрович Бакунин останавливался в пансионе Дюпора. Небольшая комната имела отдельный выход на улицу, окнами глядела в сад, а главное, Дюпоров пансион — неподалеку от Огарева.

Бакунин, старый заговорщик, неизбывно обретался под наблюдением тайной полиции, но никогда не опасался выдачи петербургским медведям и потому дверь держал нараспашку.

В посетителях — здешних эмигрантах и транзитных — недостатка не было. Грузно умостившись за набивкой табачных гильз, Бакунин радушно принимал визитеров: «Здравствуй, братец. А ты откуда? Ну, садись, садись, рассказывай...» Никто не обижался на это «братец» и это «ты», сразу ощущая, что его демократичность не либеральная и не плебейская, а патриархальная, очень рус-

ская, поместная, родство со всеми, кто «по образу и подобию». В мощной, но сырой фигуре, в добродушно-львином лице с крупными, как рвы, морщинами и тяжелыми веками, в его манере набивать табачные гильзы или обхватывать ручищей походную фаянсовую кружку с чаем было что-то от старинных времен, широта была и незастегнутость, и уж какие тут цирлих-манирлих — садись, братец, рассказывай.

Он слушал, да редко дослушивал. Он любил сам говорить и говорил долго, бурно, забывая про гильзы и чай, не отирая потные рытвины лба; покойный Герцен, бывало, посмеивался: ну, право, Аттила, подходить страшно, а бакунята приплясывают на задних лапках. Но — без шуток — новым людям старый гладиатор объявлял: перешагните через нас, стариков, и разрушьте подлый мир. В этой неукротимости было нечто языческое — на юру, под синим небом, где поют жаворонки.

Он возлюбил новичков революции, подчас недоученных, нравственно запущенных, фразистых или бурсацки-неумытых, возлюбил — они обладали честной и сильной волей; не рефлективной, а подлинной страстью к справедливости; не оранжерейным, не благоприобретенным, а корневым чувством своей принадлежности к черному люду. И потому: «Здравствуй, братец».

Лопатин, однако, застал его в одиночестве. Бакунин писал в клубах дыма, борода с проседью всклочена, круглая шапочка а-ля Гарибальди сбилась на затылок. С заметным удовольствием он сгреб бумаги: он не мрачнел, когда его отрывали от письменных занятий — нет ничего лучше живого размена чувств и мыслей. Но сейчас, взглянув на Лопатина, Михаил Александрович, будто спотыкнувшись, не произнес обычное «братец» и привычное «садись, рассказывай», и эта непонятная спотыкливость прошлась по душе, словно нож по стеклу. Он осведомился, «как прикажете величать», молодой человек назвал имя

свое и отчество; имя — «Герман» Бакунину почему-то не понравилось.

А Лопатин ликовал: первый женевский день и уже с самим Бакуниным! Ну, никаких сентенций, пусть Михаил Александрович сам подведет черту, а он, Лопатин, изложит только факты, как ассистент — профессору.

И Лопатин стал излагать свои доводы, из которых, как он был убежден, возможен лишь один вывод, непреложный и ясный, решительный и бесповоротный. Однако чем дольше говорил Герман, тем явственнее ощущал он враждебность Апостола в алой гарибальдийской шапочке. Все еще занятый своими гильзами, Бакунин собрал на лбу крупные складки и, опустив тяжелые веки, покачивал головой: впервые, мол, слышу и очень удивлен, очень удивлен.

Герман поражен был каким-то странным свойством этого удивления Бакунина. А тот, будто избавляясь от чего-то донельзя неприятного, всколыхнулся всем своим крупным сырым телом и, выпростав платок непомерной величины, накрепко отер лоб и щеки.

Изволите знать, тяжело дыша и приваливаясь грудью к столу, начал Бакунин, изволите знать, сударь, Сергей Геннадиевич — первый серьезный революционер, коего мы с Огаревым встретили середь вашего, сударь, поколения; серьезный, а не демократствующий болтун; в Нечаеве огромная, исключительная сила и — заметьте! — без тщеславия; есть фанатизм, не спорю, есть, да ведь фанатизм-то фанатизму рознь — здесь мощь, он все на себя берет, даже и крайнюю беспощадность, тут, сударь, черновая, ломовая преданность, без перчаточек, а кто в перчаточках, тот лежи себе на диване и стишки кропай.

Герман растерялся. Его растерянность была какой-то смешанной, какой-то двойственной. И оттого, что Бакунин, вопреки ожиданиям, встал горой за убийцу Ивана Иванова. И оттого, что Бакунин состроил удивленную мину,

будто впервые слышал о нечаевских извивах, подвохах, мерзостях. Это было нестерпимо, как ожог. И Лопатин до боли в корнях волос устыдился; его стыд тоже был двойным, смешанным — и за Бакунина, и за то, что он, Лопатин, ловит его на фальши, лжи, натяжке... Смятенный, он молчал, желая ошибиться, желая жестоко ошибиться и положить на плаху свою повинную голову.

Бакунин запер за Лопатиным двери, будто опасаясь, что тот вернется. Снова выпростал огромный платок и опять накрепко отер пот.

Лопатин угадал: Бакунин притворился удивленным.

Старый заговорщик, он давно ловил обманные коленца своего тигренка, подозревал и чуял многое. Знал, что тигренок не очень-то считается с ним, Бакуниным, а с Огаревым и подавно — вольны подавать советы, не больше. Знал и то, что Нечаев не Бабеф, не Марат, а смесь иезуитчины и фанатизма. От всего этого ворочалось потаенное: вырезать-то дворян вырежут, а дальше что? Каковы победителями? Вчерашние рабы, едва тронутые рубанком культуры, они, понятно, народолюбцы. И как раз те, каких он, Бакунин, ставит выше, неизмеримо выше книжных лопатиных. Прекрасно! Он первым готов погибнуть, как Самсон, под глыбами сотрясенного храма. Но вопрос вопросов: нечаевы — народолюбцы, победив, не обернутся ли новыми захребетниками? Впрочем, все это докука отдаленного будущего. Придет время — придет и решение. А днесь на пороге — сокрушение подлой государственности. Исполать мешковатым и диковатым. Русской революции быть ужасной; хочешь идти в революцию, укрепи нервы и не бойся грязи. А нечаевы забриты каждой деревней, каждой мужицкой общиной, мечтающей не только о земле помещичьей, но и о крестьянско-кулацкой. Пугач, Емелька Пугачев себя вороненком числил, а ворон-то, говорил, еще появится. Вот он и подает весточку, этот ворон.

Так все выстроил Бакунин в уме своем, но душа его не выпрямилась. Из полуночного сада пахло жасмином, невнятный лепет доносился из сада, но не веяло, как вчера, премухинской музыкой.

Да, он молча лгал Лопатину, ибо не мог поступиться тигренком: Нечаев был ему оправданием. Оправданием и избавлением. За нынешней отповедью Лопатину была исповедь, самая тайная тайна Михаила Александровича Бакунина.

Двадцать с лишним лет тому, он, герой революции сорок восьмого года, герой дрезденского восстания и пражских баррикад, дважды осужденный на смерть, звеня австрийскими кандалами, был выдан России. Стоял май, вот как сейчас за окнами пансиона, но в тот поздний вечер не Бакунин запер двери, а жандармские офицеры, и государь император Николай Павлович быстро и твердо начертать соизволил: «Наконец!»

И в первую же ночь равелин принялся за Бакунина: корежил и гнул, кромсал и давил одиночеством бесконечного заточения. Не Бакунин владел своим воображением, воображение владело им. И точило и грызло: я червь, я раб, я разбит об эти голые стены. Он знал, что сойдет с ума. Шаткая тень темно и холодно ложилась на него: он мучительно подсматривал за самим собою — не началось ли?

Два месяца спустя автор ликующего «Наконец!» — будто вспомнив оны годы — предложил Бакунину то, что предлагал некогда злодеям Сенатской площади: исповедуйся, я буду твоим духовным отцом. И Бакунин кинулся в исповедь. Брызги чернил кропили его. Перегородками исповедальни встали голые стены.

Много позже ему хотелось думать, и он так думал, что на открытом суде выдержал бы и бессрочный приговор, да ведь ничего юридического не предстояло, а выхо-

дило как бы объяснение с глазу на глаз и потому дозволялось смягчить формы, ибо исповедью своей он покупал свободу — свободу продолжить дело Революции.

Так ему хотелось думать. И так он думал потом, позже.

Но было не так.

Исповедуясь, он спасался от ежеминутного присмотра за своим «я», ибо невозможно жить этой минутой, в этой минуте, а возможно либо минувшей, либо последующей. Исповедуясь, он надеялся на избавление от одиночества в одиночке. Все, что угодно — рудники, острог, тундра, только не одиночество в одиночке.

Единственной надеждой был тот, кто повесил декабристов и вывел на плац петрашевцев. Тот, кто губил Россию, но не мог, не должен был погубить Мишеля Бакунина, бывшего юнкера, влюбленного в своего государя, как и все юнкера. «Стою перед вами как блудный, отчудившийся, развратившийся сын перед оскорбленным и гневным отцом...»

Исписывая листы, он ощущал: нарастает искренность, тесня и заглушая исповедальную первопричину, вызревая в покаяние. Отрадное и знакомое покаяние. Так бывало, когда он исповедовался родителю, сестрам, друзьям. Не разымая свое «я» анатомически. Разъятию и наблюдению необходимо мужество, но у него, Мишеля, иное: не холод бесстрастного понимания, а тепло и свет покаяния. И потому: «...от искреннего сердца кающийся грешник Михаил Бакунин».

Государь был тронут. Дьявола, арестованного в гостинице «Голубой ангел», поверили равелином, и он оказался умным, хорошим малым. Исповедью был тронут Николай Первый, но покаяние требует епитимии — пусть епитимствует в Шлиссельбурге... Александр Второй отправил Бакунина в Сибирь. Из Сибири он бежал, незадолго перед тем мельком упомянув в письме Герцену:

мне-де пришлось ради свободы обращаться к новому царю, обращаться смело и твердо по сути, по форме — мягко.

Через два океана, Тихий и Атлантический, Бакунин добрался до Лондона. Герцен встретил его братским объятием, но обухом ударила газетная клевета: Бакунин — агент русского правительства. Слух этот он тотчас сопряг с мыслью об исповеди. Писанное пером не вырубишь топором. Неподвластное топору обратилось в дамоклов меч. Меч висел над головой, конский волос дрожал как струна. Жить так было б невозможно: выручала память — ее свойство забывать.

Но вот, совсем уж недавно, в минувшем январе, уже не в иностранной газете, уже не об агентстве, нет — в «Московских ведомостях» черным по белому: Бакунин, будучи в России, обращался с верноподданными письмами. Так и загвоздили — верно-под-данны-ми! Он похолодел, засосало у него под ложечкой. Его доверительное обращение к царю, казалось бы, надежно погребенное в каком-нибудь портфеле, бюваре, ларце, шкапчике, выскользнуло, вытекло, просочилось. О, конечно, он волен заорать во всю глотку: подлец Катков в своих подлых «Московских ведомостях» подло клевещет, сводит старые счеты, обыкновенная история — был Катков некогда своим человеком, оказался Катков перевертышем, ну и бросает грязью в того, кто верен святым идеалам. Возопить? А не возопишь ли в пустыне? Не ровен час, Михайла Катков, повелевающий министрами, раздобыл эти верноподданные обращения?.. Холодел Бакунин, сосало под ложечкой, мучаясь бессонницей, изводил табак, и не было иного выхода, как только гнать да гнать самого себя на костер неистовой революционности, казаться старым язычником, сожигаемым на костре под синим небом, где поют жаворонки. Но только ль казаться? Он знал: его исповедь могут предать типографскому станку. Ну хоть тому же, что на Страстном бульваре печатает катковскую газе-

тенку. И, распубликовав, обрежут волос, удерживающий дамоклов меч. А тогда... Тогда реви белугой: подделка, фальшивая монета, месть за побег из Сибири. Тогда объясняй этой проклятой Европе: обращение русского к русскому царю есть обращение к такой же отвлеченности, как господь бог, во имя которого народ протестует против жестокой и подлой действительности. Голоси, объясняй, но завеса разорвется, и все узрят рептилию — вот она, пресмыкается у ног полицмейстера Европы, неудобозабываемого царя Николая... И Бакунин, устремляясь ко всеобщему разрушению и поголовному возмездию, страстно желал погибнуть под глыбами храма, им же сотрясенного, а не побитым каменьями позора. Устремлялся и действовал, но вдруг и сознавал себя белкой в проволочном колесе. А не вдруг сознавал другое: ему ли, Бакунину, пристало аптекарски взвешивать — дозволено, не дозволено? Даже если б он отрицал вседозволенность во имя цели, даже и тогда пристало ль ему, себе дозволив исповедь, судить Нечаева?.. И все же он, быть может, и задохнулся бы в своей теперешней ущербности, когда б не спешила на выручку энергия самообмана, приподнимая за шиворот над самим собою: прошлого не воротишь, нечего ковыряться в душе, это ведь тоже себялюбие, эгоизм, мелочность; прошлого не воротишь, и у каждого есть душевные выгребные ямы, особенно у тех, кто занят делом политическим, невозможным без компромиссов вообще, без компромиссов с собственным «я» в частности.

Вот так и сейчас все он выстроил, этот больной, дряхлеющий Бакунин. Выстроил, как в прятки играя с правдой, сам передергивая свои же карты, отмываясь от черного и стараясь уйти от проклятых вопросов, гвоздивших мозг. Выстроил и смотрел, как в полуночном саду слабо струится неверный, обманчивый, призрачный лунный

свет. Смотрел и ждал, когда же вместе с запахом жасмина повеет отрадой Премухина.

С годами он все чаще возвращался, и не то чтобы мыслью, а как бы лишь чувством, в родовое гнездо. «Привези мне из Торжка два сафьянных сапожка...» От холмов Торжка до премухинских лип — тридцать пять верст гремел поддужный, валдайский: «И-эх, не жалей, со мной ездить веселей...» В Премухине, на речке Осуге, у запруды старый мельник вынимал рыбу... Поодаль, за лесом, дурманно дремало болото, черно зияя водяными окнами, а в кочкарниках прятались лисицы. В отчем доме не было ломберных столов, а были низенькие столики для альбомов... И этот трепет счастья, когда всплывает солнце светлого воскресенья. И раскрашенные картинки из «Швейцарского робинзона», сестрицы у фортепиано, Танечкин локон, его странная, небратская ревность, и вечера, когда они пели романс «При лунном свете»...

В саду пансиона Дюпора жасмином пахло и разомлевшей землей, но нет, не возникала нынче премухинская музыка, не веяло премухинской идиллией, и странная вещь, с унынием и обидою почти детскими пожалел Бакунин, что вот, мол, давеча не о том у него речь-то зашла с этим Германом, совсем не о том — надо было поспрошать, какой у них, у Лопатиных, сад, сколько земли и есть ли заливные луга. Почему-то очень хотелось узнать про заливные луга.

В кафе, что рядом с англиканской церковью, получали русские газеты. Лопатин взял «Голос». Лист был ломок и сух — в почтовых вагонах утратил типографскую свежесть,— ощутив пальцами его ломкость и сухость, Герман почувствовал раздражение, которое показалось бы беспричинным, если бы все нынче не раздражало Германа. И майский ливень, загнавший в это кафе, и испуганные прохожие за витриной (можно подумать —

стихийное бедствие), и седоусый, шаркающий гарсон.

Причиною раздражения был он сам или, вернее, волнение из-за предстоящей очной ставки, хотя он и понимал необходимость объяснения с Нечаевым в присутствии Огарева, Бакунина и Натальи Александровны Герцен, которой сам же и предложил быть свидетелем и посредницей.

На прошлой неделе, у Дюпора, в пансионе, Лопатин еще раз встречался с Бакуниным. Присутствовал и Нечаев. (Когда тот появился в Женеве, Лопатин не спрашивал, это не занимало Лопатина.) Выходило так, будто Михаил Александрович все пропустил мимо ушей. Не желая «уступать» Бакунина, Герман не желал получать и новые доказательства бакунинского притворства и лжи, а думал, огорченный донельзя, что не имел чести заслужить доверия Михаила Александровича.

Ну а Нечаев надменно супился. Он хотел поговорить с Лопатиным один на один. Извольте, отвечал Лопатин. На другой же день рандеву состоялось. Нечаев приступил было к экзаменационному расспросу. И тотчас получил отпор: он, Лопатин, не имеет ни малейшего желания теоретизировать с человеком, за которым числится т а к а я практика. Нечаев натянуто усмехнулся. Хорошо-с, подумал, начнем обламывать ребра — и заговорил именно о практике, густо приперчивая излюбленным «мы»: «мы считаем», «мы полагаем», «мы решили». Лопатин расхохотался:

— Ах, Нечаев, ну что это за «мы», «мы»? Ведь так глупо изволят выражаться только государи. Императорская замашка, а?

— Никакая не замашка,— буркнул Нечаев.— Я не от своего имени.

— А-а, вот оно что,— нахмурился Лопатин.— У, как же: ко-ми-тет...— Не только раздельно произнесено было — презрительно.

И Нечаеву мелькнули плотина в Петровском, красный шарф Ивана Иванова... Мелькнув, мгновенно сменилось ощущением, не испытанным рядом с Бакуниным,— ощущением своей малости физической, телесной. Он не посмел, что тоже мгновенно и больно его унизило, располосовать Лопатина лезвиями своих узеньких глаз. Не робость была и не признание неправоты, а нечто тождественное тому, что возникало лишь в присутствии Таты: э т о т — п о р о д а. Тождественное... и не тождественное. Тата была любима, пусть безответно, но беззаветно, и потому ее породистость, втайне мучая, втайне и восхищала. А Лопатин был из тех, кого следовало бы высосать, как лимон, да и выбросить в лоханку, а еще слаще — вырезать все поголовье. Однако сейчас, в мимовольном сознании — порода — гнездилось не только плебейское бессилие, но и безотчетное уважение, то есть самое неожиданное и самое унизительное изо всего, что испытывал Нечаев один на один с Лопатиным. Не должен был, не вправе был, да вот испытывал, и, как спасаясь, Нечаев тотчас преобразовал свое уважение к Лопатину в мысль о надежности такого союзника.

— Послушайте, Герман Александрович, я знаю, вы хотите меня уничтожить. А зачем? Положим, мы шибко расходимся во взглядах. Ладно. Ну хоть и неладно, да ладно. А все же, что ни толкуй, принадлежим-то мы к оппозиции, и нам ли не прямая выгода сотрудничать. Найдутся пункты — стакнемся.

— Нда, сотрудничество... Оно, господин Нечаев, предполагает взаимные обязательства, соблюдение условий...

— Кто ж спорит?

Лопатин как бы нехотя прибавил:

— Да ведь требуется элементарное понятие о чести.

Честь... То было одно из дворянских, одно из «лимонных» словечек, которые вызывали у Нечаева изжогу, но в тоне Лопатина слышался словно бы длинный сострада-

№5

тельный вздох: ах, бедняга, ты, Нечаев, бедняга, нету у тебя чести, элементарной чести, братец, нету, вот беда-то. И Нечаев потерялся, словно бы признавая: да, нету, обнесла судьбина, обделила, недодала.

Смятение это вспомнилось Герману, пока он в кафе пережидал ливень, Герман укорил себя: нужны ли сантименты драгуну, когда горнист уже сыграл сигнал к атаке? Но лицо Нечаева будто с последней надеждой о чем-то вопрошало Германа. Казалось Лопатину, он угадал вопрос, Нечаевым тогда, на свидании с глазу на глаз, невысказанный: каким бы вы меня ни считали, а согласитесь — нет во мне и понюшки корысти; так ай не так? Ну, тут, конечно, можно было б ответить, что добрыми намерениями мостят дорогу в ад. А пойди-ка пойми: что-то мешает, не дает. А ежели признаешь: да, нету в вас корысти — не обернется ли отпущением и благословением? То есть он, Нечаев-то, вроде бы возжаждал отпущения, когда про честь, про элементарную честь услышал...

Отворялись окна, ливень все вымыл и умолк, мостовая слегка дымилась, и Лопатин, выйдя на улицу, ощутил свою молодость, свою мускульную упругость, всего себя ощутил в этом майском полдне, и ему захотелось любить сильно и отправиться с любимой на альпийские кручи, жить на вершинах, вообще жить долго и прямо, чтоб все было вымыто ливнями и ясно до самого донышка. А надо идти на очную ставку и говорить о том, что случилось в Петровском-Разумовском, в гроте, обметанном ноябрьской изморозью. Рассказывать то, что узнал, разыскал и выспросил после побега из Ставрополя.

В гроте, как в гробе, пахло тленом.

Заслышав шаги, вскрикнул Нечаев: «Кто там?»

«Я»,— ответил Иван Иванов и шагнул в грот, как в гроб.

К нему бросились.

«Не меня, не меня»,— отчаянно заверещал кто-то, кажись, Петруха Успенский заверещал, замычал: в суете, в темноте Нечаев, обознавшись, едва не придушил соумышленника, и это «не меня, не меня» будто все и решило — сшибли Ивана, опрокинули навзничь, Нечаев рухнул на него, стал ловить-нашаривать горло, а Иван мотал головой, мотал и крутил, будто шар катал по каменному полу, Нечаев поймал горло, притиснул, Иван выгнулся так, что ноги Нечаева повисли в воздухе, и он мгновенно сознал, что он один, все остальные отпрянули. Как ослеплув, душил он Ивана, тот, хрипя, изловчился вцепиться зубами в его запястье, Нечаев нелепо вскрикнул: «Ай, больно!», но руки не расклешнил, Иван кусал, кусал, но вот будто оборвался, стал длиннее, длиннее, и Нечаев это чувствовал, что-то у Ивана в животе булькнуло, Нечаев, весь дрожа, весь мокрый, повторял: «Давай! Давай!» — и, выбросив назад руку, ловил револьвер, понимая, что Иван уже готов, уже не дышит, уже мертв. «Давай, давай!» — повторил Нечаев, с присвистом всасывая воздух. Револьвер был необходим как завершающее, ритуальное, задуманное еще на пути из Петровского в Москву, когда ехал мимо Владыкина, мимо церкви, желтеющей на взгорке,— отступнику смерть двойная: и удушением, и пулей... На искусанных до костей руках была кровь, рукам было больно, Успенский сунул вороненую штуку, ощутив ее тяжесть, Нечаев облизнул губы, старательно заворотил голову Ивана Иванова, приложив дуло к затылку, выстрелил. И прислушался: не булькнет ли в животе у Ивана? Ни тогда, ни потом он не мог понять, зачем это было ему нужно.

Еще не разглядев собравшихся, Герман перехватил взгляд Нечаева: Тата стояла у окна, бледная, сейчас очень похожая на покойного отца. Нехорошо, жестоко было

приглашать такое симпатичное и честное существо, подумалось Лопатину. И как странно этот Нечаев смотрит на Тату, подумалось Лопатину, а Нечаев уже смотрел на него. Давешней вопрошающей растерянности и помину не было, но не было и высокомерия, надменности, какими он пытался при Бакунине приструнить и унизить Лопатина, а было... Герман вдруг понял, что значил длинный взгляд Нечаева, устремленный на Тату: как нехорошо, как жестоко со стороны Лопатина приволочить вас на эту очную ставку...

Сидя в креслах, Огарев попыхивал пенковой трубочкой. Бакунин тоже курил, но на круглом столике рядом с ним не было ни гильз, ни табака, и потому его огромные руки, казалось, не знали, что делать.

— Герман Александрович, ваше пребывание в Женеве не секрет нашим соотечественникам, как и причина вашего приезда,— обстоятельно и парламентски вежливо сказал Огарев.— Впрочем,— продолжал он,— вы знаете, решено собраться всей колонией и обсудить всю историю. Сергей Геннадиевич нам не чужой, и мы, не скрою, отнюдь не убеждены... Ну, да вы понимаете. Изложите, пожалуйста, все, что вы имеете против Сергея Геннадиевича.

Направляясь к Огареву, Герман живо вообразил лес, пруд, грот — он там побывал зимою, а то, что сейчас высказал Огарев, прозвучало так отстраненно, будто Николаю Платоновичу чуждо все человеческое. Лопатин покосился на Тату. Его взгляд не ускользнул от Бакунина, и Бакунин не без раздражения пригласил Лопатина обойтись без риторики.

— Хорошо,— сказал Лопатин.— Постараюсь.— Он услышал свой спокойный голос и был удовлетворен.— Так вот, господа, вам, и не только вам, а многим и в эмиграции, и у нас, в России, известен побег Нечаева из Петропавловской крепости. В разгар студенческих волне-

ний. Позвольте вопрос: в какую куртину вас доставили, Сергей Геннадиевич? Или вы находились в равелине?

— Нет, в куртине,— небрежно ответил Нечаев, скрестив руки.— А в какую именно, представьте, не знаю: дело было ночью.

— А утром вам принесли завтрак?

— Бурду.

— Это не совсем так, не хуже, чем в студенческой кухмистерской,— поправил Лопатин.— Но я о другом: завтрак-то подали в оловянной миске — и на миске?

— Чего на миске? — грубо переспросил Нечаев.

— А там, видите ли, выбиты казенные клейма: «Е. К.» или «Н. К.».

— Ну и что?

— А то, что по этим клеймам каждый смекнет, где он: в Екатерининской или в Невской.

— Экие пустяки,— усмехнулся Нечаев.

— Допустим. Еще вопрос: не обратили ли вы внимания на головные уборы караульной стражи?

— Убо-оры? — саркастически протянул Нечаев.— Вот уж не дока, я, знаете ли, не из того теста, в амуницияx ни гу-гу.

— Да и мы не из конногвардейцев,— в тон ему отозвался Герман.— А только и слепой бы увидел на тамошних караульщиках чудовищные медные каски. Как из кунсткамеры.— И Лопатин, глядевший мимо Нечаева, посмотрел ему в лицо.— Вы не были в крепости, Нечаев. Нет, не были. И потому, разумеется, не было никакого побега.

Нечаев молчал. Было слышно, как тяжело дышит Бакунин. Тата не шевелилась. Огарев потянул затекшую ногу и поморщился.

— Я позволю себе продолжить,— сказал Лопатин.— Теперь, господа, о пресловутой записке. Той самой, которую вы, Нечаев, якобы выбросили из окна тюремной ка-

реты. Записку эту видели многие — она призывала чуть ли не к восстанию или что-то в этом роде. И записка действительно была писана вашей рукой. Не так ли?

— Так,— кивнул Нечаев,— моей.

— Каждый, понятно, волен писать любые записки. Но вашей придавало особенный вес то, что вы ее выбросили из окна тюремной кареты. И записке особенный вес, и автору тоже. Так вот. Вы не заметили ни клейма, ни солдатских касок. Может быть, вы скажете, как доставляют арестованного из Третьего отделения в крепость?

— Я не был в Третьем отделении, меня везли из канцелярии градоначальника,— отрезал Нечаев.

— Это не меняет сути. Я спрашиваю, как помещают арестованного внутри кареты?

Нечаев молчал.

— Я испытал это удовольствие и объясню: арестанта сажают между жандармами. И этим лишают физической возможности выбросить даже булавку. Кроме того, оконца каретные всегда закрыты. И опять-таки несообразность: именно в ту минуту, когда ваша записка якобы порхнула на мостовую или на панель, там-то как раз и очутился ваш знакомый. Он-то и дал ход вашей записке.

— Пустяки, какие пустяки, Лопатин.

— Однако из таких вот пустяков и выскакивает отнюдь не пустяковина.

— Что же по-вашему?

— А то, что это совсем, совсем не пустяки, ежели некто, претендуя на значение, и притом немалое, в радикальной среде, творит легенду о себе самом, совершает самопомазание.

Вострое узкоглазое лицо Нечаева было неподвижно-серым. И не переменилось, когда он внезапно разразился смехом. В его смехе не было ни иронии, ни надрыва — была горечь. Он смеялся над тем, что Лопатин ни-че-го

не понимает. Он сорвался с места, из угла в угол простучал дробной своей походочкой и, резко поворотившись и опять скрестив руки, не к Лопатину отнесся, не к Огареву, не к Тате — напрямую к Бакунину:

— Ничего не было, Лопатин кругом прав. В крепости не был, записку не выбросил, а написал, да и отдал товарищу, тот поумнее некоторых, не из барчуков, понял. А вот, Михаил Александрович, вы объясните-ка, сделайте милость... «Миски», «каски», «карета» — тьфу и растереть. Вот они, кандидаты-то университетов, а?! Никогда не поймет меня, ей-богу, никогда, вы уж растолкуйте: без легенды, без мифа ни на волос, ни на вершок не сдвинешь, не я — так другой, не мне — так другому. А? Вы, вы ему это все растолкуйте, нашему говоруну, а то ведь пропадет в эмпиреях, в ветхих словах утонет, они ему всю душу выедят.— Нечаев как пылал, в нем сила была, энергия, электричество, беспощадность. Он не с горы летел, не проговаривался и не заговаривался, он уже и не Лопатина гнул, на излом брал, а Бакунина, сидевшего с опущенной тяжелой головою.

— И Комитета тоже не было,— продолжал Нечаев.— Откуда возьмешь? Материал — дрянь, жидкий. Не было Комитета, Лопатин знает, а чего там? — я и сам признаю. Теперь... Это я вам сейчас все открою, я теперь про то, чего он, Лопатин, напоследок за пазухой приберег, это тоже пожалуйста, тоже извольте...

— Руки! — грянул Лопатин.— Покажите руки!

Нечаев промешкал не дольше мгновения и, вскинув подбородок, протянул вперед руки, изгрызанные Иваном Ивановым, руки в блекло-розовых скобчатых шрамах, и твердо, с последним спокойствием, негромко выговорил:

— Так надо было, взял на свои руки.

Тяжело, на всю ступню Тата двинулась к нему, и Нечаев руки-то свои уронил, сразу и уронил, ногой перестал дрожать, а то все дрожал: явственно почувствовал

он, как в животе булькнуло, совсем явственно, но будто б не успел понять, у кого же булькнуло — там ли, в гроте, у этого Ивана Иванова, или сейчас, здесь, у него...

— Уезжайте,— сказала Тата негромко.— Куда хотите, лишь бы вас забыли. Прежде я не верила вам, теперь — ненавижу.— Она изумленно покачала головой и, не обращаясь к Лопатину, ни к кому не обращаясь, сказала: — Вот спасибо-то Герману Александровичу, никогда не забуду.

Бакунин не любил Женеву — филистерские будни, скучные, как шелест гроссбуха, и ощущение тесноты, будто в сюртуке не по размеру. Теперь было хуже — грудь Женева давила, мешала собрать мысли. Не дожидаясь общей сходки эмигрантов, Бакунин уехал в Локарно.

В Локарно он жил с прошлой осени. Городишко нравился ему какой-то ребяческой пестротою. И невероятной дешевизной. А воздух? Благорастворяешься в сладостной неге. Шутил: в Локарно и не заметишь, как утратишь свою дикую социалистическую беспардонность.

Из окон, из сада открывались горы, на Лаго-Маджоре дымил пароходик, белели парусные суденышки.

Громоздкий, в мешковатой блузе, в ременных сандалиях на босу ногу, за дощатым столом под оливами Бакунин написал: «Любезный друг, надеюсь, Вы теперь добрались до безопасного места, в котором, свободные от мелких дрязг и хлопот, Вы можете спокойно обдумать свое и наше общее положение, положение нашего общего дела».

Написал и, подняв склянку, стал глядеть, как солнечный луч пронизывает фиолетовые чернила. Экая нелепость — солнце в чернилах. Такая же нелепость, подумал он, как при благовесте (звонили неподалеку, в монастыре) писать Нечаеву о Нечаеве и, сидя под сенью олив, мечтать о кровавом мужицком бунте под родными осинами. С досадою поставив склянку, проведя по столу ши-

рокой ладонью, вздохнул и сдался на милость июньского дня с его горами, озером, садом, небом и ослиным ревом у водоразборного фонтана... Сосед, Анжело-оружейник, позвал обедать. Они сели во дворе, красавица толстуха принесла еду и бутылку, дети проказничали, как мартышки. Славно жить!

Днем Бакунин не написал ни строки — ладно, продолжу утром. Но за полночь его подняла жажда. Он выпил вина, разбавленного водою. И больше не уснул — надел затрапезный халат, сунул ноги в сандалии, взял старенький потертый бювар, засветил лампу и пошел в сад, под оливы.

Небо вызвездило крупно, ярко, ветра не было, внизу, на Лаго-Маджоре, мерцали желтые шлюпочные фонари — ловили форель.

Бакунин стал писать любезному другу Нечаеву. Чем дольше писал, тем делалось жарче, он распахнул халат и сбросил сандалии, навис над столом широкой, пухлой грудью. Лампа светила в безветрии, легонько потрескивая.

«Вы, мой милый друг,— и в этом состоит главная, громадная ошибка — Вы увлеклись системою Лойолы и Макиавелли: первый предлагал обратить в рабство целое человечество, другой создать могущественное государство, все равно монархическое или республиканское, так же народное рабство; влюбившись в полицейско-иезуитские начала и приемы, Вы вздумали основать на них свою собственную организацию, свою тайную коллективную силу, так сказать, душу, и душу всего Вашего общества.

Прямые, резкие обвинения Лопатина были высказаны Вам в глаза тоном уверенности, которая не допускала даже возможности сомнения в истине его слов. Он торжествовал... Я не могу Вам выразить, мой милый друг, как мне было тяжело.

Значит, все наше дело проникло протухшею ложью, было основано на песке. Значит, Ваш Комитет — это Вы

с хвостом из двух, 3—4 человек, Вам подчиненных или действующих, по крайней мере, под Вашим преобладающим влиянием. Значит, все дело, которому Вы так всецело отдали свою жизнь, лопнуло, рассеялось как дым вследствие ложного, глупого направления, вследствие Вашей иезуитской системы, развратившей Вас самих и еще больше Ваших друзей. Итак, я объявляю Вам решительно, что все до сих пор прочные отношения мои с Вами и Вашим делом разорваны. Но разрывая их, я предлагаю Вам новые отношения на иных основаниях...»

Изложить эти основания Бакунин тогда не успел: светало.

Он все собрал и держал в голове, но вот светало, и Бакунин положил перо. Говорят, при свете дня исчезают химеры.

Я хотел бы рассказать о М. Ф. Васильеве. Он подарил мне книгу, имеющую прямое отношение к моим письмам.

Михаил Федорович Васильев, давно покойный, был вдвое старше меня. Несмотря на разницу в возрасте, мы подружились. Подружились в Ленинграде. Город переводил дыхание после блокады. В ненастные, ветреные дни глухо погромыхивало кровельное железо.

Бывший гардемарин, он происходил, как говорили прежде, из незнатной, но хорошей фамилии. И до и после революции он неизменно жительствовал на Мойке, близ Синего моста, напротив коричневого, похожего на большой комод здания, где некогда квартировал Рылеев, а теперь находится ломбард.

Михаила Федоровича давно «уплотнили»; он занимал дальнюю, в конце анфилады, комнату, надо признаться, не блиставшую корабельной опрятностью. Как многие «бывшие», он никогда не сетовал на «уплотнение», да и на прочее тоже, хотя, бывало, мелкие игольчатые морщинки на его лице сбегались в иронический узор.

Профессиональный военный моряк, он отдал душу не морю, к которому относился без поэтических восторгов, а Петербургу. Прекрасный знаток был, то есть не только знал, кто чего построил, а помнил, кто и где живал-поживал, каким обыкновением дом держал, от кого снедь и вина забирал, на ком сына женил и кому дочь отдал.

Незадолго до смерти бездетный вдовец подарил мне комплект предреволюционного изысканного журнала, издателей и авторов которого писатель Ремизов ядовито окрестил «кавалергардами». Кроме «Старых годов» достались мне некоторые книги. В их числе было сочинение какого-то Леграна — «Брак и нравы во Франции». В минуту трудную я б наверняка снес букинисту эти «браки» и эти «нравы», если бы...

Вручая Леграна, Михаил Федорович постучал по переплету желтым ногтем беспощадного истребителя «Беломора» (непременно фабрики им. Урицкого; московская продукция ленинградскими курильщиками отвергалась), постучал ногтем, и на лице его — иногда оно напоминало гудоновского Вольтера — появилось выражение, которое можно определить словами: «Чем черт не шутит».

— В восемнадцатом на селедку выменял,— ухмыльнулся Михаил Федорович.— У полковника жандармов: до того был трачен молью, так песком сыпал, что братцы матросики в чрезвычайку не сволокли. Представьте, полковник уверял, что этот самый Легран находился у Нечаева в Алексеевском равелине. Каково?

В ту пору я был весьма далек от нечаевских сюжетов, но все-таки — таинственный узник, равелин, книга произвели достаточно сильное впечатление.

А дальше вот как все обернулось.

Годы спустя я корпел в историческом архиве, в великолепном зале особняка Лаваля, стены которого видывали и слыхивали Пушкина, Грибоедова, Мицкевича, Лер-

монтова, там Полина Виардо певала. В зале с расписным потолком — парящие ангелы и диковинные гирлянды,— в этом зале на моем прозаическом канцелярском столе лежало казенное дело, озаглавленное несколько коряво: «О высылке из III отделения книг для чтения известного арестанта» — фонд 1280, опись 5, единица хранения 213.

Теперь вообразите минуту: в каталоге магазина Mellier рукою Нечаева были отмечены книги, просимые секретным арестантом Алексеевского равелина, и среди тех книг значился мой мсье Легран.

Выходило, что полковник честно раздобылся селедкой. Однако Нечаев мог читать другой экземпляр «Брака и нравов». Но я уже знал, что Нечаев в равелине не только читал, а и писал.

Знал из мемуаров одного нечаевского современника. Будучи узником Петропавловской крепости, этот человек получил однажды какую-то книгу и заметил в тексте буквы, проколотые чем-то острым. То было, по словам мемуариста, нечаевское «скорбное повествование о чрезвычайно суровом заключении в ужасном Алексеевском равелине... Я как будто услышал голос с того света,— продолжал мемуарист,— голос, от которого я весь содрогнулся, сознавая, что помочь этому «заживо погребенному» буквально ничем не могу...»

Умолчу, с каким чувством я схватил с полки своего пыльного Леграна... Короче, своеобразный автограф обнаружился. Таким образом все последующее изложу «по Нечаеву». Вы спросите: отчего изложение, а не точный текст? Тут, знаете ли, как говорится, мечта сумасшедшего. Известно — и я об этом уже упоминал,— что равелинные рукописи Нечаева сожгли. Чиновники тайной полиции сожгли. Добавлю: а его заграничные бумаги уничтожили эмигранты. Рукописи сожжены, но книги-то остались! В архивном деле они названы. Кроме того, сохранился каталог библиотеки Алексеевского равелина; ею

тоже пользовался Нечаев. Наконец, в день смерти секретного арестанта, пришедшийся, если помните, на тринадцатую годовщину убийства Ивана Иванова, в камере Нечаева было тринадцать книг — все они указаны в описи... Чуете, куда ветер дует? Так точно: найти эти книги, найти нечаевские «проколы», выявить тексты. Согласитесь — до жути заманчиво! И вот ищу «Сравнительную мифологию» Риайя, ищу сочинение Когордана «Национальность с точки зрения международных отношений», Кастелланова «Воспоминания о военной жизни в Африке» и т. д. и т. д. и т. д. Потому-то и неохота выпускать из рук леграновский текст. Он первый из обнаруженных, но не последний. Задача еще не решена. Многое, надеюсь, объяснится в Нечаеве.

А пока изложу «по Нечаеву» его последние дни на воле.

Все свое Нечаев носил с собой: смену исподнего, потертый бумажник, перочинный ножик. И тяжелый шестиствольный, всегда заряженный револьвер. В то лето Нечаев жил в Цюрихе. То есть не жил, как люди живут, а скрывался в предместье, неподалеку от фарфоровой фабрики.

Он не считался эмигрантом — его объявили преступником уголовным. Обнаружение и арест Нечаева сулили хороший куш. Он казался спокойным, но душа озиралась. И тяжелее шестиствольного упиралось в грудь, там, где сердце: что же ты успел сделать?

Давно было получено огромное письмо Бакунина. Старый путаник! И к тому же трус: иезуитизм, макиавеллизм, ложь, интрига — чур меня, чур меня. А сам всю жизнь интриговал. Обиделся, что и его провели на мякине. Взывает к трезвости и опьяняется миражами: создайте генеральный штаб революции и морализируйте этот штаб, иначе подготовите народу новых эксплоататоров; создай-

те тайную организацию и... сделайте ее школой нравственного воспитания, иначе члены оной изменят направлению, себе же изменят — или посреди революции, или на другой день народной свободы. Эва, фантазер, «морализировать», «воспитывать нравственно», да кто ж лес-то рубить будет? Не-ет, ваше превосходительство, ежели чего дельное в вашем послании сыщешь, так это систему, взятую гольем: центральный комитет — трое иль пятеро — назначает и сменяет комитеты областные, в свою очередь назначающие — уездные; всякая парламентская болтовня исключается, железная дисциплина внедряется. Вот это приемлемо, это то, что нужно. Все прочее — братский контроль всех над каждым, запрет недоверия и доносов, пересуживания за спиною, закон, да еще абсолютный, в решениях общего собрания — практически неисполнимо. Другое дело, что так должно быть возвещено, объявлено, провозглашено: с волками жить — по-волчьи выть, а с баранами жить — по-бараньи блеять.

Тата сказала: уезжайте. Он бы и уехал, да только в Россию. Тата сказала: и постарайтесь, чтоб вас забыли. Самой прекрасной женщине не дано понять, что это такое, когда за спиной у тебя — высыхающие мальчики. Ни она, ни Бакунин с Огаревым не понимали его, полагая, что они его поняли. Мертвец, ничтожество, этот Иван Иванов овеял его своим трупным запахом. Но есть и худшее, есть противостоящее и живое — все, что воплотилось в проклятом Лопатине. Такой и такие хуже жандарма, попа, чиновника. Потому и страшнее, что добренькие, честные и чистенькие...

Душно было, гроза собиралась. Мгновенно светили зарницы, и высокая труба мгновенно означалась восклицательным знаком. Он смотрел на зарницы, и высыхающие мальчики тоже смотрели, стоя за его спиной. А потом, думал он, мы зажжем Европу.

На другой день цюрихская полиция арестовала Нечаева. Арестом руководил майор, командированный из Петербурга.

IV

Командировки случались не часто, оседло же майор обитал в Петербурге, на Большой Конюшенной. Любопытно: в том же самом доме, где жил и Даниельсон, приятель Лопатина. Из такого соседства, словно из кокона, романист волен тянуть в фабульной пряже голубую жандармскую нить — хотя бы уже потому, что у Даниельсона Николая Францевича, бухгалтера Общества взаимного кредита, происходили совещания и встречи, занимательные и с точки зрения сыскной.

Но если писать не о том, что могло быть (роман), а писать, что было (материалы к роману), то надо сразу оговориться: адъютант шефа жандармов не имел никакого отношения к событиям, о которых теперь речь. Его шеф, граф Шувалов, имел, начать же следует ясности ради с Большой Конюшенной, с доходного дома, что и ныне солидно скучает рядом со скромной Финской церковью...

Лопатин высадился из почтового на Варшавском и часика два плутал. Это он сам себя переводил, как стрелки часов переводят, на иное, на российское время, когда, значит, гляди в оба.

Впрочем, еще третьего дня, по ту сторону кордонов, в городе трех семерок (семь ворот, семь мостов, семь холмов), в Кёнигсберге, он осторожничал — не сразу вошел в почтамт, а постоял напротив почтамта, глазея на дом с дощечкой: «Здесь жил Иммануил Кант».

Письмо, полученное в Кёнигсберге, было очень важное, в тот же день Герман рассчитался в отеле «Сан-Суси» и, перейдя площадь, оказался под светлой стеклянной крышей железнодорожного вокзала, где сидели и прогули-

вались в ожидании поездов прусские офицеры в синих сюртуках и дамы в огромных шляпах и высоких калошах. Он взял билет на почтовый, переплатив в сравнении с пассажирским, зато выигрывая четверть суток пути до Петербурга, хотя и понимал, конечно, что ничего эта толика суток не определяет.

Даниельсон обрадовался, но не удивился: он ждал Германа. Герман извлек нечто, завернутое в прусскую газету: готический шрифт колюче защищал паспорт на имя сына почетного гражданина Николая Любавина. Любавин — товарищ, единомышленник — совершенствовался в Германии под строгим досмотром немецких химиков; его паспорт был девственным, у жандармов не на замете, это и требовалось.

— Бороду долой! — скомандовал Даниельсон, отдавая дань конспирации.— Я сейчас все соберу,— прибавил он с несвойственной ему суетливостью и вышел.

Даниельсона так и прожигало нетерпением плюхнуться в кресло, вытянуть ноги-жерди и навострить уши. Он уже знал из писем о женевском ратоборстве с Нечаевым и Бакуниным, о том, что на Мейтленд-парк-род приняли Лопатина сердечно, едва ли не родственно, кое-что знал этот бухгалтер Общества взаимного кредита, да ведь Герман-то и пятой доли не описывал, поскорее бы плюхнуться в кресло, а Герман, рассказывая, пусть-ка орудует бритвой.

Приготовляясь к бритью, Лопатин снял пиджак, жилетку, расстегнул ворот и вдруг ухмыльнулся: то-то б переполох: «Карау-у-ул! На Конюшенной — Интернационалка бреется!!!»

Опершись на столик, застланный клеенкой, Герман стоял перед зеркалом и прощально жалел свою золотисто-кофейную бородку, запущенную в приморском Брайтоне. От Брайтона, подумал он, тоже пахло клеенкой, но мокрой. Вот поди ж ты, никогда в Петербурге не бывал

ни один из членов Генерального совета Интернационала, ан и объявился; то-то бы переполох: «Карау-ул!»

Нехорошо, тяжело, душно было ему в Женеве.

Казалось бы, исполнил долг, но... О, этот парник политической эмиграции! Беличье колесо, толчение воды в ступе, судороги самолюбий, грызня и шум словесный.

Раскрыв и побив крапленые нечаевские карты, он знал, что делать дальше: уехать на берега Сены.

В Париже, на Шерш-Миди, 47, креол сверкал белками: «Лаура, дочь моя! Бьюсь об заклад, московит — отличный малый!» Нельзя было не улыбнуться на это «дочь моя», обращенное Полем к почти сверстнице, к своей жене: прелестный разрез карих глаз и высоко взбитые пышные локоны. А малыша они называли не Этьеном, а домашней кличкой: Шнапс, Шнаппи. Малыш проворно топотал — он был в безопасности: какая-то штука, вроде кринолина на колесиках.

Итак, улица Шерш-Миди, 47, Поль и Лаура Лафарг.

Они не знали о женевских сражениях Лопатина. Они, однако, знали, что гражданин Лопатин — не из бакунинской стаи. Пусть так, но Лопатин — русский, а русские, даже и не бакунисты, чтут интригана, мечтающего верховодить в Интернационале. Не так ли? Гражданин Лопатин выпустил когти: оставьте, тут старинный «спор славян между собою». Лафарг вспыхнул. Это было нетрудно: в его жилах кипела смешанная кровь — настоящий пунш. Лопатин исподлобья разглядывал Лафарга: великолепный экземпляр мужской породы. А все же Бакунина-то, сердито думал Герман, Бакунина я не отдам ни тебе, ни твоему тестю. Сказал непреклонно: «Мы, русские, многим обязаны Бакунину, сколь бы он ни заблуждался».

«О, вы — патриот!» — воскликнул Лафарг, насмешливо выпячивая грудь, скрещивая руки и становясь в позу монумента.— «Смею надеяться»,— без улыбки ответил Лопатин.— «В таком случае, как понять: вы и наш Ин-

тернационал?» — «Солидарность не исключает любви к отечеству, а любовь к отечеству включает нелюбовь к тирании. Интернационал? Принимаю цели и методы. Однако дома, в России, еще нет рабочего движения, но роды наступят, и тогда будут нужны акушеры. Посему мои товарищи и я всей душой готовы состоять в интернациональной ассоциации».— «Отлично! Но ваш замечательный, ваш героический Мишель... Между нами говоря, такой же мастер рекламы, как и Виктор Гюго... О, ваш Бакунин спит и видит фельдмаршальский жезл. И у него есть креатуры, есть даже здесь, на улице Кордери, в нашем парижском совете».— «Этого я не знаю»,— хмуро ответил Лопатин.— «А надо б знать,— пылко парировал Лафарг.— Шнапс, не вертись под ногами!»

Они, может, и повздорили бы крупно, но Лаура успела приложить освежающие компрессы. Не без запинки произнеся: «Флеровский», она спросила гостя, известна ль ему книга о положении рабочего класса в России? Да, прочел, успел прочесть, ответил Герман, отличная книга, вы не находите? Лаура улыбнулась: она не умеет читать по-русски, но ее отец... И Лаура глазами показала мужу на письменный стол. «Клянусь Минервой,— весело вскричал Лафарг,— мудрость этой женщины безгранична!»

Он достал из ящика письмо тестя. Оказывается, тот прочел Флеровского и нашел, что это добросовестное исследование убеждает в неизбежности и близости грандиознейшей русской революции.

«Грандиознейшей! Слышите?» — воскликнул Лафарг.

Да, да, думал Герман, как бы даже и польщенный, грандиознейшей, ибо Россия, сударь, это ж Россия, там все грандиозно. Он получил что-то похожее на сатисфакцию за давешний невозможный тон Лафарга и уже чувствовал необходимость в великодушной уступке — не так, мол, все складно и ладно: наши авось да небось, наша апатия, домашняя полицейщина, отсутствие политических

свобод, отсутствие мощной партии... «А это?» — Лафарг потряс смуглыми кулаками, словно сбрасывая невидимые цепи. Лопатин рассмеялся. «О варвары, вы народ смышленый»,— блеснул улыбкой Лафарг, обнимая плечи Германа.

Он покорился атмосфере, царившей в квартирке на улице Шерш-Миди: ничего буржуазного, ничего затхлого, а как раз то, что он очень любил и ценил; в особенности, когда эту атмосферу пронизывают нервно-приятные токи от присутствия красивой и умной женщины.

Именно в ту минуту Поль и сказал: «Лаура, дочь моя, наш московит — отличный малый, мы поладим!» И сразу же — Герману: «Какое вино?» — «Бордо, мсье»,— ответил Герман с видом знатока, хотя отродясь не пивал бордо. Лафарг притворно изумился. Последовала история об одном русском — тот, придя к Лафаргам, беспечно брякнул: «Какое вино? А мне все равно, лишь бы в голову стукнуло». Лафарг, откупоривая бутылку, притворно брюзжал: «Ему, видите ли, «все равно», я ему из сокровенного запаса, я от сердца отрываю, а ему, видите ли, все равно». Пробка хлопнула, Лафарг стал разливать. «Мой тесть утверждает — человек, не знающий толк в винах, не годен на что-нибудь путное». Лаура рассмеялась: «Поль, твой тесть лишь теоретик». А Лафарг бросил как мячик: «Наш практик Энгельс предпочитает Шато-Марго. И чтоб непременно урожая сорок восьмого года — баррикадного.— Он наполнил бокалы и взглянул на Лопатина.— Виват!»

Славный денек выдался на Шерш-Миди. Герман явился как в консульство за въездной визой, и Лафарг, парижский представитель Генерального совета Интернационала, выдал ему рекомендательное письмо к Марксу и сказал: «Варвар, стучи в барабан и не бойся — от нашего старика не пахнет катедер-социалистом».

Надо было спешить в Лондон. Лопатин пересек Ла-

Манш, но... Слишком много душевных сил и телесных взяли и побег из Ставрополя, и стремительный бросок в Вологду, к ссыльному профессору Лаврову, и женевская схватка, слишком много сил, и вот до смерти захотелось краткого отдохновения, одиночества, высокого неба. Он пересек Ла-Манш и подался в приморский курортный Брайтон.

Там в час отлива прогуливались лондонские денди в сюртуках с большими, как розетка для варенья, перламутровыми пуговицами. Роскошные бани источали ароматические испарения; в индийских банях нежились отставные индюки — колониальные полковники. И эдакая похабная дороговизна! Но плевать он хотел на снобов, проглотивших аршин, на индюков, заглотнувших Индию,— в его распоряжении хлеб и свежая рыба, в его распоряжении длинное лукоморье, на мили и мили безлюдное.

След босых ног означался на твердом блеклом песке, исчезал, слизанный волною, он шел, завернув штаны до колен, острые брызги холодили лодыжки. При ясном и еще не горячем солнце возникала голубая дымка. Герман раздевался и — большой, белый, ширококостый — пер грудью на волны, прихлопывая ладонями и блаженно жмурясь. Он молотил саженками, как деревенщина. А потом усталый валялся на песке.

Из Брайтона до Лондона поездом было миль пятьдесят — шестьдесят. Герман, однако, поехал морем, надеясь отведать шторма. А переход-то выдался как по озеру, и он разочарованно чертыхался. Берега Темзы показались ему площе невских. А пристани — свалкой. И этот чудовищный грохот по булыжнику, какой контраст с асфальтовым шелестом Парижа.

Доктор Маркс прочел рекомендательное письмо Лафарга — и сразу, без предисловий: «Как там мой Шнаппи?» Голос был «дедушкин», с оттенком добродушной уг-

розы: посмейте-ка, мол, отрицать, что Шнаппи, мой внук, самый лучший мальчуган в Старом и Новом Свете. Доктор Маркс? Первое впечатление при виде доктора Маркса? Этот человек может приходить в ярость, но унывать — никогда. Старик? Лет на пять моложе моего, подумал Герман, внезапно и остро пожалев своего отца, прозябающего в провинциальной казенной палате. Должно быть, из этой-то жалости и выскользнуло лукавое удовольствие, с каким отметил про себя, что доктор Маркс не ахти как силен во французском. А доктор Маркс, будто догадавшись об этом, легко перешел на английский, и тут уж наш насмешник капитулировал, читал-то по-английски свободно, но изъяснялся ужасно, да-с, капитулировал — и оба весело расхохотались.

Впрочем, надо было держаться начеку.

В Ницце, при свидании с Искандером, он чувствовал себя «уполномоченным», но лишь нигилистов, коих Александр Иванович не жаловал. Доктор же Маркс не жаловал Россию. Э, милостивые государи, не кидайтесь оправдывать доктора Маркса, ему нет нужды в ваших оправданиях, и Герман Лопатин не хуже вашего знает, к а к у ю Россию не жалует доктор Маркс: деспотическую, царистскую, жандармскую, нависшую над Европой, как феодальная секира. Это-то Лопатин знает не хуже вашего, государи мои, и он отнюдь не безоглядно-слепой русофил, увольте, этого нет и в помине. Нет, возникало, и держало, и владело совсем другое, и не то чтобы уж такое сложное и темное, что и не выразить, а только не головное,— вот в чем вся штука.

Герман был убежден, что и доктор Маркс в душе своей хранит образ фатерланда и потому вправе костить Германию на все корки. Ну а коли не жива в душе выстраданность и мука — не замай. Обороняя Бакунина от Лафарга и понимая, что Лафарг прав, Герман оборонял бакунинскую выстраданность. И когда Маркс презри-

тельно бросил: «Нечаев — обыкновенный прохвост», Герман покачал головой. Не потому, что видел в Нечаеве прохвоста необыкновенного, а потому, что видел муку и выстраданность, пусть и дьявольски извращенные.

А уж эту-то мерзость, нечаевское письмо к Любавину, и вовсе неохота было выносить из избы. Но раскудахтался женевский курятник, и Утин (конечно, Утин!) наябедничал Марксу, как ябедничает первый ученик, ловя за фалды учителя.

До Женевы Герман не знал Утина. Узнав, не принял. Не оттого, разумеется, что чернявенький, суетливый Утин был сынком богатейшего откупщика и в юности живал, как князь, на Дворцовой набережной. Это-то ничего не значило. Только Нечаев волен пороть дичь — дескать, преданность народу в прямой зависимости от происхождения. Нет, Герману вовсе не претило то, *что* делал Утин, ярый противник Бакунина и рьяный поклонник Маркса,— претило, *как* делал: вприпрыжку, вприскочку, с пробрызгом слюны, с огромным самомнением, будто лишь он, Утин, и есть держатель основных акций истины, а все другие-прочие щенки и котята. В глубине души Герман сознавал, что он не приемлет не смысл, а почерк, даже нецелесообразность своей неприязни к Утину сознавал, да вот не умел ее переломить.

Ну а свара из-за перевода «Капитала», о которой наябедничал в Лондон этот «первый ученик», со сварой покончено, и вот он, Герман, сидит в доме Марксов, и все это как раз для того, чтобы приступить к давно задуманному. Но у доктора Маркса что-то свое на уме, доктор Маркс будто за грудки ухватил и потряхивает и требует — нуте-с, молодой человек, выкладывайте-ка все начистоту.

Собственно, завязку этой истории Маркс знал прекрасно: еще осенью шестьдесят восьмого с Большой Конюшенной его известили — милостивый государь, сознавая

значение ваших трудов, петербургский издатель решился выдать в свет перевод «Капитала». А потом дело пошло так: питерские приверженцы теории доктора Маркса отрядили своего товарища химика Любавина предложить перевод Бакунину. Михаил Александрович, спуская последние франки даже и на локарнской дешевизне, с радостью принял задаток издателя и с примерным рвением взялся за гуж. А потом... Вот это «потом» и требовал доктор Маркс, запалив очередную сигару и глядя на юношу, который все порывался встать, а Маркс его усаживал, и тот опять садился в деревянное кресло — весь на виду, в широкой полосе июльского солнца, ломившегося в окна сквозь садовую листву.

Догадывался Герман, ох догадывался: взялся за гуж Бакунин да вскоре и раззевался. Вслух проповедовать, духом единым строчить длиннющие послания, но работа переводческая... О-о, требуется воловье упорство! Однако пойди-ка растолкуй Марксу, выйдет невнятица, непременно отнесет все на счет идейной и личной вражды. А тут еще и паскудство Нечаева, учиненное, видать, не без ведома, а то и попустительства Михаила Александровича.

Кулаки сжимаются, едва подумаешь о разбойной лихости бакунинского любимца! Этот кровавый мозгляк берет лист с типографским грифом своей дутой «Народной расправы» — и пошла, и пошла губерния: лимоны, тунеядцы, вы залучили Бакунина в эксплоататорские сети, понудив переводить книгу Маркса; вы, барчуки и дилетанты революции, отымаете Бакунина от настоящего горячего русского народного дела; ну, так знайте: если вы, в первую голову Любавин, изучающий в Гейдельберге химию ради жирного пирога казенного профессорства, если вы, негодяи, не избавите Михаила Александровича от обязательств перед издателем — будете наказаны весьма нецивилизованной методой; не сомневайтесь, надо ж понимать, с кем имеете дело... Вот он, Сереженька-то Нечаев,

убийца Ивана Иванова! В зобу спирает даже и теперь, когда все уж напрямик высказал и ему, и Бакунину. Бакунин был как с кашей во рту: ах, мне грубят, ах, я возвращаю аванс... И все же тяжело, неловко и стыдно выставлять его в непотребном виде...

Господи, до чего же неуклюже Герман выгораживал Бакунина перед Марксом. Тот ответил колюче: «Такие люди, как ваш подзащитный, считают буржуазными предрассудками свои обязательства, свое честное слово. Отвергая буржуазную мораль, они утверждают буржуазный аморализм и ни пфеннига больше». Бросил к глазу стеклышко монокля, спросил, читал ли Лопатин январский номер «Московских ведомостей», где сообщалось о Бакунине? Нет, Лопатин не читал, в январе ему, арестанту, беглецу из Ставрополя, было не до того... Маркс продолжил холодно, строго: сообщалось — Бакунин то ли еще из крепости, то ли уже из Сибири обращался к императору с письмом в высшей степени верноподданным.

Герман так и вскинулся. Стерпеть было подло, гадко, невозможно. Гнуснейшая газетенка смеет клепать на Бакунина?! Копейки не стоит то, что Катков скажет о Бакунине, копейки, полушки, выеденного яйца! Чистейшая и подлейшая клевета, да, да, клевета, ложь, гнусность!! Бакунин и... Да все, что угодно, все, что угодно, только не обращение к императору, палачу декабристов!!!

У Германа пресеклось дыхание.

Маркс молчал. Этот молодой человек говорил почти слово в слово то же, что ему, Марксу, писал из Манчестера Энгельс: дорогой Мавр, разоблачения Каткова мало чего стоят. И все же Марксу казалось, что запевала русских консерваторов Катков на сей раз недалек от истины. Мишель Бакунин способен на подлость, на любой Kunststück *, однако явных доказательств п о к а нет,

* Ловкая штука, проделка, фокус (*нем.*).

Бакунин ведет игру втемную, и Бакунин, конечно, никогда не поднимет забрала.

Маркс сменил погасшую сигару на плохо обкуренную трубку. Его брови сдвинулись, над левым глазом обозначился небольшой шрам, след легкого ранения в студенческой дуэли на шпагах с пруссаком-аристократишкой.

— Э,— сказал Маркс с досадой,— вот мы и подошли к концу своей латыни...* А между тем пылкий креол мне пишет...— Он взял письмо Лафарга.

И Герман ловко поймал спасательный канат. Да, да, они, петербургские приверженцы доктора Маркса... Маркс усмехнулся: «Не прощу вашим молодцам: взяли манеру величать меня «достопочтенным»! Да что это такое? Неужто мне уже сто иль восемьдесят?!»

И оба будто б выбрались из духоты.

Заговорили о переводе «Капитала». Маркс утверждал, что дело сладится. А как же иначе? Смею вас уверить, говорил он, смею вас уверить, Герман, русский язык очень сильный и богатый. Он, Маркс, это окончательно понял, заполучив карбункул под мышкой. Именно так! Недавно, зимою было, чувствовал, что назревает проклятый карбункул, следовало лечиться, а тут-то ему и прислали чудесную вещь Флеровского. Какой мощный художник, а?

Безошибочным движением хозяина мастерской Маркс снял с полки книгу, примолвив — вот и другой мой учебник. То была герценовская «Тюрьма и ссылка», отдельное издание из «Былого и дум», и Лопатин просиял: к русскому-то языку приобщал доктора Маркса тот, чья проза была Лопатину родной, совсем родной.

«Лицо ее было задумчиво,— фонетически старательно читал Маркс,— в нем яснее обыкновенного виднелся отблеск вынесенного в прошедшем и та подозрительная робость к будущему, то недоверие к жизни, которое всег-

* В переносном смысле — стать в тупик.

да остается после больших, долгих и многочисленных бедствий».

Другом покойного Герцена доктор Маркс отнюдь не был и, покосившись на радостно и горделиво просиявшего Лопатина, вспомнил шутку своей жены: русские либо за «батюшку-царя», либо за «отца родного», «Herzens — Väterchen» *. Вспомнил, но лишь лукаво поблестел чернотою глаз — и промолчал: так ли уж необходимо подражать мудрецам, которые скорее погасят во рту горящий уголек, нежели удержат острое словцо?

Он удержал, стал говорить о каторге переводчика «Капитала», неимоверные трудности поджидают отважного гидальго Лопатина. Энгельс восклицает: «Как красив русский язык!» — Энгельс прав, но, увы, сюжеты политической экономии требуют бездны терминов.

Герман отвечал пословицей о волках и лесе. Поняв, о чем он, Маркс тряхнул гривой: прекрасно! Вы, сдается, не чета вашему тезке; между нами, гётевский Герман — болтун и филистер. Похвала польстила, однако Маркс ненароком задел Александра Никоновича, большого поклонника поэмы «Герман и Доротея», но это лыко Лопатин уж не хотел ставить в строку.

Он пробыл у Маркса непозволительно долго для первого визита. Но не будем скромничать: он пришелся по вкусу семейству Юпитера Громовержца, включая и кошек с собакой. Его не отпускали, предлагали ночлег, но он решил, что это чересчур.

Светало, когда он сошел в Брайтоне.

Ла-Манш расстилался пепельный. Лежали в дрейфе парусные «джоди», груженные антрацитом. Серенькие тучки, похожие на «джоди», тоже лежали в дрейфе. И только плавучее корыто «Джон Боуз» двигалось в сторону Уэртинга, пыхтя машиной и ударяя винтом. Там,

---

* «Отец родной» (*нем.*) — созвучно фамилии Герцена.

на «Боузе», вахтенный спросонок что-то гаркнул, и Герман, сложив руки рупором, заорал: «Эге-ге-гей!..»

Он рассмеялся: честно сказать, для такого половодья чувств недостало бы беседы с доктором Марксом, тут и другое, градусом не ниже кабинетного. У тебя ж ни души в огромном городе, а тебя, чужака, семейный круг обнимает симпатией, радушием, весельем; хозяйка дома, волшебной красоты женщина и ни крупицы чопорности. А старшая дочь привлекательна не только темными локонами, но и локонами тоже. А младшей не больше пятнадцати, младшая любимица, эта Тусси смеется невзначай, у нее карие, все примечающие глазенки. Что ж до автора «Манифеста», «Капитала» и так далее, и так далее, то не ему первому подают очередное блюдо, как в Ницце Герцену... И ты счастлив, что пришелся ко двору, что тебя не отпускают, тебе весело (Тусси — настоящий бесенок!), все наперебой высказывают практические соображения, как тебе перебраться из Брайтона в Лондон, нету города лучше для серьезных занятий, а Мавр приищет заработок, что-нибудь конторское у своего знакомого коммерсанта Боркгейма, а пока ты не научишься вести хозяйство так, чтобы тебя не обсчитывали лавочники, в этом доме тебя всегда ждет куверт. И, подтверждая это решение, высказанное мадам Маркс, домоправительница Ленхен снабжает тебя напоследок увесистыми сэндвичами, и глядит на тебя глазами сердобольной крестьянки. И ты с удовольствием уплетаешь эти сэндвичи на брайтонском берегу, где пахнет влажной клеенкой.

Он почувствовал голод, но Даниельсон уже принес бритвенный прибор и плюхнулся в продавленное кресло, вытянув ноги-жерди, обратился в то, что называется: «Я весь внимание!»

Ладно, подумал Герман, сейчас, братец, угомоню. Он

быстро нагнулся, открыл саквояж и достал толстую стопку бумаг, накрепко перекрещенную широкой зеленой тесьмою.

Даниельсон принял бумаги с тем видом, с каким молодой отец принимает на руки первенца, осторожно опустился в кресло и, высоко подтянув ноги, бережно возложил свою ношу на острые коленки. Торжественно распаковал сверток, метнул в Лопатина ликующий взгляд и погрузился, погрузился... нет, не в чтение — в созерцание: «Капитал. Критика политической экономии» — это было написано по-русски живым, твердо-изящным почерком человека, который сейчас — какая проза! — преспокойно намыливал щеки, не помышляя ни о тех днях, что провел под огромным, как небосвод, стеклянным куполом Британского музея, ни о том, что убедил доктора Маркса упростить первые две главы, ни о том, как дерзновенно объяснял автору ход дальнейшего исследования, а Маркс, втайне восхитившись, ответил спокойно: «Все это вы найдете во втором томе»...

Выбривая подбородок, Лопатин колебался, оставить усы или нет. И опять вообразил, какая закрутилась бы кутерьма, если б там, у Цепного моста, грянуло: караул! На Большой Конюшенной Интернационалка! Вот так-то, ибо в один день, в сентябрьский день этого уходящего года, гражданина Лопатина утвердили членом Генерального совета Международного товарищества рабочих. Вот именно «интернационалка», ибо гражданин Лопатин регулярно являлся на заседания Совета, пожимал руку краснодеревца Аплгарта и сапожника Мёррея, портного Лесснера и портного Эккариуса, художника Пфендера и механика Буна, этот, носатый и лобастый, как две капли воды походил на мистера Холлингтона, ломового извозчика, у которого квартировал Герман на Торнхилл-стрит... Да, регулярно там все председательствовали по очереди, Маркс был терпелив, а Энгельс, «взяв бразды», принимал

военную осанку, по-армейски вибрируя голосовыми связками. Как выглядел со стороны председательствующий гражданин Лопатин? Этого гражданин Лопатин определить не мог. Зато внятно определил бы генеральное чувство, владевшее им в Генеральном совете: слитность с иноплеменниками — чужой удел вмещается в твой удел, чужие проблемы тебе не чужды, мучают как кровные...

Глядя на себя в зеркало, он провел ладонью по щекам и подбородку, поколебавшись, оставил усы. И объявил:

— Ни дать ни взять — путешественник. Было б недурно припасти билет Географического общества. И, как и паспорт, тоже на имя Любавина.

Близилось рождество. В Гостином дворе и в Пассаже — не протолкнешься: подарки, рождественские подарки. Дровни развозили елки, пахло в квартирах снегом и детством.

На Большой Конюшенной жилец, не отмеченный полицией, писал в Лондон, Карлу Марксу:

«Милостивый государь!

По почтовому штемпелю на этом письме Вы увидите, что, несмотря на Ваши дружеские увещевания, я нахожусь в России. Но, если бы Вы знали, что побудило меня к этой поездке, Вы, я уверен, нашли бы мои доводы достаточно основательными. Полученное в Кёнигсберге письмо дало мне понять, по какому делу я был вызван из Англии.— Хотя дело это, как Вы легко можете догадаться, не угрожает ни европейскому миру, ни существованию нашего отечественного правительства, тем не менее оно показалось мне очень привлекательным, да к тому же я проделал уже такое длинное путешествие, что решил не отступать,— и вот я снова на дорогой родине.

Характер моего дела вынуждает меня покинуть в ближайшие дни Петербург и отправиться в глубь страны, где

я пробуду, по всей вероятности, три-четыре месяца, так что я не могу воспользоваться любезным приглашением г-жи Маркс на ваш рождественский обед...

Посылаю Вам несколько страниц «Philosophie Positive» с замечаниями о «Капитале». Мне сказали здесь, что «Этюды» Де-Роберти, о которых мы говорили, были посланы мне в Лондон несколько дней тому назад вместе со статьями Чернышевского по крестьянскому вопросу. Если Вы зайдете сами к моей квартирной хозяйке или пошлете кого-нибудь к ней с прилагаемой запиской, то она выдаст Вам эти книги.

На днях я сообщал Вам, что в «Архиве судебной медицины и гигиены» (русский медицинский журнал) была напечатана статья о положении рабочего класса в Западной Европе. Статья основывалась на материале главным образом Вашей книги и имела несчастье вызвать неудовольствие правительства. Теперь она окончательно конфискована и предана сожжению, а так как журнал является в известной мере официальным органом, то главный редактор снят с должности.

Второй том произведений Лассаля в русском переводе также конфискован правительством, и никто не знает, будет ли он разрешен к продаже или нет. На обложке этой книги было напечатано сообщение о выходе в ближайшие месяцы «Капитала». Но даже и это невинное объявление, как мне передавали, не ускользнуло от бдительного ока правительственных чиновников. Главный цензор запросил издателя, не является ли «Капитал» произведением того самого Маркса, который играет такую видную роль в Интернационале, и если это так, то как он допустил подобное объявление? Несмотря на это, мой издатель надеется, что дело с «Капиталом» еще может уладиться к нашему общему удовольствию, и мой труд не пропадет даром...

Кроме того, у нас здесь ежедневно производятся новые аресты и, вообще говоря, общее положение настолько приятное, что я начинаю вполне искренне разделять Ваше мнение и мнение Генерального штаба * о необходимости войны с русским правительством, чтобы положить конец такому наглому поведению и ударом извне ослабить эту страшную силу.

На этом кончаю. Итак, до свидания!

Свидетельствую свое глубокое уважение Вам и Вашей семье.

Преданный Вам *Л.*».

Не только характер дела заставлял торопиться — ежедневные аресты. Лопатин всегда расценивал арест как происшествие глупое, бьющее по самолюбию, но почти неизбежное. Теперь бы он счел арест несчастьем. Не личным, это пустое. Что за ним? Самовольная отлучка со ставропольской гауптвахты? Пустяки! Не личным несчастьем, нет.

В Модена-виллас он услышал почти свирепое: стыдитесь, русские, вы не удосужились познакомить Запад с таким мыслителем! А Герман стыдился не отсутствия переводов Чернышевского на немецкий, французский или английский. Стыдился его политической смерти.

Даже мысль злодея выше чудес неба — так по Гегелю. Злодеи из злодеев убивают мысль. Эту наглую, страшную силу Лопатин ощущал не отвлеченно. Мы должны стыдиться, а мы шепчемся по углам, заламывая руки: как жить? — и живем.

Лопатин ярость свою никому не навязывал; открытый, общительный, говорливый, веселый, он полагался на ловкость свою, удачливость, энергию, сметливость, крепость мускулов. И опасность, чреватую крепостным заточением, он ни с кем делить не желал.

---

* Это об Энгельсе, знатоке военного дела.

«Как жить?» — и живут. Живут под малиновым солнцем, в сивой холодной мгле, ждут рождественских праздников, ждут перемен, всегда чего-то ждут, ждут, ждут.

Впрочем, Лопатин тоже ждал. Ждал, когда будет пришита последняя пуговица. Путешествие «во глубину сибирских руд» они с Даниельсоном именовали коммерческой экспедицией. Как и любая экспедиция, она требовала средств. У Казанского моста, на Екатерининском канале, в одном здании с Государственным банком помещалось Общество взаимного кредита. В Обществе недолго служил и Герман, а Даниельсон и теперь каждое утро отправлялся с Большой Конюшенной к Казанскому мосту. Но они служили в Обществе, которое кредитовало только своих пайщиков. У них же был иной взаимный кредит — безвексельный, бессрочный, ни в каких счетах не отмеченный, товарищеский и подпольный. И уже завелись деньги, таких одновременно Герман никогда в руках прежде не держал — больше тысячи.

Деньги, всеобщий эквивалент, необходимы. Но не только они обладают мистическими свойствами, а и бумаги гербовые. Лопатин, он же Любавин, раздобылся важнецкой: большим, вроде грамоты или патента, плотным и шероховатым членским билетом Императорского Географического общества за подписью великого князя Константина. Орленая печать, порядковый номер, а сверху — контурное изображение материков и океанов. Короче, путешествуй, путешественник, и все, кому надлежит, ему споспешествуйте.

В те дни, декабрьские, восемьсот семидесятого, Лопатин повидал многих. Упомяну лишь об одной встрече — со старым другом Мишей Негрескулом, зятем Лаврова.

Возникает, однако, заминка.

Я уже называл имя профессора Лаврова, сосланного в вологодские края, да толком-то ничего не объяснил.

А теперь — пора. Не то, боюсь, долго не представится случая.

Вот обозначил — «Лавров», а мысленно вижу старую женщину, очень старую, из тех, что со следами былой красоты. (Выражение, на мой взгляд, неверное. Есть прелесть молодости и есть прелесть старости. Не дряхлости, а именно старости. По слову поэта, «молодые красивы, но старые гораздо красивее».)

С Клавдией Сергеевной Курбатовой я встречался дважды.

Она пришла, прочитав в одной из моих статеек имена Лаврова и Лопатина, Апсеитовой и Негрескулов. Клавдия Сергеевна, очевидно, полагала, что автор статьи прекрасно осведомлен в частной жизни тех, кого он упомянул в своем сочинении, и она с той многословной живостью, какая свойственна очень старым и одиноким людям, когда им кажется, что наконец-то нашелся внимательный слушатель, принялась объяснять свои родственные связи.

Я быстро запутался в дядях, тетях, кузинах и кузенах. Однако усвоил, что моя гостья приходилась внучкой Апсеитовой, в замужестве Фридберг. Но З. С. Апсеитова, упомянутая в статейке, была Апсеитовой лишь в фиктивном браке, урожденной же была Корали, а Фридберг меня совершенно не интересовал.

Правда, я насторожился, когда Клавдия Сергеевна упомянула усадебку на Псковщине, где у ее деда были какая-то мебель и какие-то книги от Лаврова. Правда и то, что я навострил уши, когда Клавдия Сергеевна вспоминала, как в погожий летний день по дорожке, освещенной солнцем, шел к ней, пятнадцатилетней девочке, высокий, могучий, белобородый старец, зычно предлагая партию в крокет,— этот старец, похожий, сказала она, на Леонардо да Винчи, был Герман Александрович Лопатин.

Да, насторожился, но не возгорелся. Подумалось, что моя гостья путает, что ее память замглилась. Какое-то

Заплюсье под Лугой и... книги Лаврова? И при чем тут медик Даниил Фридберг?

Короче, я рассыпался в благодарностях и, может, все позабыл бы, если бы по привычке кое-чего не пометил на листке бумаги. А несколько лет спустя, разбирая позднюю переписку Лопатина, я наткнулся на письмо с длинным адресом: «Станция Плюсса (по Варшавской ж. д.), а оттуда через Заплюсское волостное управление, в имение Заплюсье, Дан. Григ. Фридбергу для Мар. Петр. Негрескул». Прочел: «И мне очень хотелось бы заглянуть в Заплюсье, чтобы повидать тебя еще раз и всю тамошнюю компанию... Передай мой сердечный привет старому Даниле и бывшей Лизе Апсеитовой, а также всему их потомству, которое окажется в наличности...»

Прибавлю, что из материалов по делу Нечаева мне уже был известен Фридберг — уроженец Вильны, студент-медик, он примыкал к дружине Г. А. Лопатина, Н. Ф. Даниельсона, М. Ф. Негрескула.

Всего этого было достаточно для заочного покаяния перед Клавдией Сергеевной. И все это требовало очного свидания с нею. Стал звонить на Арбат, там долго не брали трубку, потом ответили: «А она да-авно в доме инвалидов!»

Клавдия Сергеевна была актрисой, я отправился на шоссе Энтузиастов, 202. Дом ветеранов сцены стоял на краю леса, роскошный, светлый, опрятный, ухоженный, но все ж неизъяснимо печальный дом, где доживали свой век те, для кого навсегда угасли огни рампы.

Клавдия Сергеевна почти не изменилась. Она была уже в том возрасте, когда не стареют, и сама сказала об этом ироническим, ясным и, если можно так выразиться, здравомыслящим голосом. Мне показалось, что она похожа на вдовствующую королеву Дании или Швеции. Королев живьем я не встречал, ни царствующих, ни вдовствующих, но портреты видел.

Мы сидели на террасе, я расспрашивал о Заплюсье, о Марии Петровне Негрескул и Фридберге, и Клавдии Сергеевне опять вспомнился летний день, садовая дорожка, могучий, белобородый старец, похожий на Леонардо, предлагающий партию в крокет.

О себе, теперешней, она говорила без горечи, посмеиваясь над недугами, но, когда я откланивался, в блеклых глазах ее мелькнула та жалкая, вымученная улыбка, какая бывает у заключенных в последнюю минуту свидания.

Клавдию Сергеевну Курбатову я больше не видел. И никогда уже не увижу. А ее родовое гнездо, Заплюсье, видел. Но — издали, с дороги во Псков. Был дождь, туман, поодаль проблескивало озеро, дающее начало речке Плюссе, притоку Нарвы: уголок, где некогда скрывался Лавров, дожидаясь заграничного паспорта, выправленного уж и не знаю на чье имя.

Для меня Заплюсье последний, или предпоследний, эпизод истории, в которой Лопатин сыграл решающую роль, которая так поразила и огорчила шефа жандармов Шувалова. (Лопатину, надо заметить, вообще-то на роду было написано огорчать и поражать шефов жандармов.)

Вернитесь на минуту к январскому, семидесятого года, побегу со ставропольской гауптвахты: шлях на Ростов, снега, всадник в папахе и бурке, с кинжалом за поясом и револьвером в кармане... Потом я увлек вас в Женеву, где Герман схватился врукопашную с Бакуниным и Нечаевым. Увлек, минуя многое. Теперь вот об этом «многом».

Итак, он примчался из Ставрополя в Ростов. Не торгуясь, продал коня. В тот же день сел в поезд. Длинным свистком паровоз возвестил его возвращение в мир. Стук вагонных колес утверждал это возвращение. Была острая — и телесная и душевная — жажда действовать. Он

ощущал себя человеком походным. И даже — не без усмешки — странствующим рыцарем.

В Петербурге, в 14-й линии Васильевского острова Герман нашел опустелый «скит» — так Лопатин и его сотоварищи называли тесную обитель Негрескула, где они обсуждали рабочий вопрос — требует, мол, пристального внимания. «Скит» опустел: Негрескула арестовали.

Его жена Маня — коротко остриженная, бледная, с нездоровыми пятнами на лице — была на сносях. Спокойным, ровным голосом она отвечала на расспросы Германа.

Мужа взяли по делу Нечаева. Во чужом пиру похмелье: никогда не льнул к Нечаеву, напротив, был недругом решительным и открытым, да вы, Герман Александрович, не хуже меня знаете. А теперь — по делу этого мерзавца — в Петропавловской крепости. Болен, очень болен ее Миша. Да, свидания дают: свекровь устроила, плац-майор каждый раз хапает двадцать пять рублей.

Совсем молоденькая, почти девочка, она была словно в броне невозмутимости. Ее отца Герман знал, как многие: автор «Исторических писем». Лавров писал их уже в ссылке.

Все тем же спокойным, ровным голосом Маня сообщила, каково отцу в Кадникове Вологодской губернии. Да, отец согласен бежать, готов бежать.

Она ничего не скрывала от Германа, он слушал, не пропуская ни слова. План побега был громоздким, сложным. «Практически невозможно»,— подумал Герман... Отец, сказала Маня, совершенно измучен проволочками. А что делать? Герман был полон походной энергии, жаждой поступков, действий. Он решился мгновенно.

Облачившись в армейское — отставной офицер, надев дворянскую фуражечку с красным околышем, прихватив башлык и бурку, ставропольское наследство, и револьвер, еще ни разу не пальнувший в живую мишень, пустился Герман в уездный град Кадников.

И опять была чугунка, и опять были кони. Чугункой из Питера в Москву, из Москвы в Ярославль. Оттуда лошадьми: еще не проложили на Вологду узкоколейку, а катили, как встарь, трактом.

При въезде в Вологду на верстовом столбе значилось: «422½» — счетом, стало быть, от белокаменной. А далее тракт шел через Кадников на Архангельск.

Полегоньку смеркалось, когда тройка, нанятая в Вологде, проделав полпути, проезжала деревню — серые, большие, неуклюжие избы без труб топили по-черному. И ни деревца перед избами, ни садочка, так гольем и стояли — здешние любили кругозор. Оттого и любили, что простирались окрест необъятные темные ельники, прореженные боровыми соснами.

Кадников нехотя посветил огоньками. Будто и не уездный, а все еще пустошь. Безлюдно было, под снежным настом глухо постукивали тесины, устилавшие Дворянскую, по Дворянской проходила городская часть тракта.

Окнами на тракт глядело жилье Лаврова. Но Герман — мимо, мимо — на постоялый, что близ Соборной, и сразу ж очутился в людскости, запахе навоза, овчины, сена: ночевал архангельский обоз с соленой треской и мороженой сельдью. Рассупонившись, угревшись, мужики хлебали овсяную кашицу, по-здешнему, по-кадниковски, смех сказать, прозывалась она щами. А настоящих-то щей не дождешься. Про овощ и вовсе не заикайся, одна репа. И сушеная, и пареная — на любой, хе-хе, скус... Посмеивались мужики, хлебали «щи», пили полугар, не оставляя на донце «постельку», как положено гостям не допивать досуха, к удовольствию хозяина с хозяйкой,— они, обозные, не в гостях, они тут за все — до копеечки.

Их благородие провели в господский номер. В номере как будто б припахивало свежим огурцом. Любой кадниковский житель тотчас определил бы, что в номере для господ проезжающих отдает давленными клопами. Впро-

чем, их благородие не особенно принюхивались — на короткий постой встали.

Сюда, на Соборную, Герман свернул ради обманного маневра, чтоб и ямщику невдогад. Все надо было свершить в день, другой, не больше, все зависело от быстроты, поворотливости, натиска... Герман посидел, покурил, дорожная усталь боролась с нетерпением поскорее переговорить с Лавровым. Было уже около десяти, когда Лопатин, неприметно покинув постоялый двор, отправился на Дворянскую.

Отворив дверь, Лавров чуть не весь дверной проем заслонил своей высокой, вровень с Германом, осанистой фигурой. Увидев нечто офицерское, холодно вопросил сочным, барским голосом: «Что вам угодно?» Услышал: «Я — Герман Лопатин. От Мани. От Марии Петровны. Из Петербурга».

Все дальнейшее развернулось стремительно.

Правда, поначалу вышла заминка, явились двое чиновников. Не то чтобы нежданные, к Лаврову нередко наведывались побеседовать, однако сейчас весьма нежеланные, особенно ежели взять в расчет кадниковское пристрастие к долгим чаепитиям. Приезжий молодой человек, разумеется, возбудил острое любопытство. Герману пришлось нести околесицу; он это, признаться, умел.

На белом, как пудренном, лице Лаврова с рыжими, нехолеными усами и такой же бородой, в глазах, голубовато-серых, выпуклых, утомленных, проступило выражение болезненное. И хотя Лавров со свойственной ему любезностью, в которой некоторым слышалась приторность, задавал Герману вопросы своим широко грассирующим голосом, нетрудно было определить, что Петру Лавровичу не по себе.

И тут подоспела на выручку его матушка, старушка лет восьмидесяти, очень бодренькая, очень сухонькая. «Петрушенька,— сказала она мелодичным, как флейта,

голоском,— не мигрень ли напала, миленький?» Худого не заподозрив,— Петр Лаврович страдал головными болями — гости убрались.

Выслушав Германа, Лавров не колебался:

— Согласен ехать хоть сию минуту!

То-то бы удивился шеф жандармов Шувалов. Граф судил о бывшем полковнике артиллерии как о беспомощном рохле, почти как о штафирке. Еще бы: Лавров, в сущности, никогда в строю не служил, преподавал в Михайловской артиллерийской академии высшую математику да статейки пописывал — это ли военное поприще, предполагающее бравость? А Лавров... Если и была в нем беспомощность, то житейская, пустячно-практическая. И если казался он уступчиво-мягким, то оттого, что был старомодно-любезен.

Не мешкая, обсудили «заметание следов»: едва покинут Дворянскую, Елизавета Карловна запрется накрепко, никого не пустит: «Мигрень у Петруши, ужасная мигрень». Вечерами надо держать в комнате зажженные свечи — парочка алгвазилов, приставленных к ссыльному, останется в благой уверенности: господин Лавров сидят-с за книжками, охота пуще неволи, вконец глазоньки утупят... Ну и конечно, заключил Герман, недурно б испечь на дорожку пирогов-рыбников. Старушка весело приговаривала: «Ах, как славно! Ах, как славно!.. Но я вас очень, очень прошу, милый юноша, вы уж за Петрушей присмотрите, пожалуйста».

Выходило гладко. Одно обстоятельство, однако, тревожило Петра Лавровича: после его исчезновения не приключатся ли какие-либо неприятности с матушкой?

— И-и, оставь, пожалуйста.— Старушка тихонечко рассмеялась.— Разбойники-то они разбойники, да что ж с меня взять? Ты вот только потом извести, где тебя найти, куда ехать.

— А куда бы вам хотелось?

— В Париж,— сказала она мечтательно,— в Париж.

Чуть не за полночь Лопатин вернулся на постоялый двор. Там уже слышался могучий храп ночлежников да сонное посапывание лошадей.

Весь следующий день (вдруг сильно нажал мороз, хоть уже и март близился) Лопатин не высовывался из своего «нумера», он сказался больным. Хвороба постояльца нимало не опечалила хозяина: поденная плата была получена вперед, что случалось не чаще престольного, а теперь вот наклюнулась и сверхприбыль, ибо как же не потчевать их благородие и клюквенным кисельком, и рыжичками, и малинкою, и винцом?

Поздним вечером вызвездило щедро, ясная луна опоясалась тусклым лунником. У, как погнал ямщик! Тени летели рядом, звезды будто с цепи сорвались, на полях осинничи возникали и пропадали, опять смыкался лес, и опять дорога светлела. Герман тесно сидел с Петром Лавровичем, был тот огромен в огромной медвежьей шубе с поднятым воротником. У, ямская гоньба, лихое дело, знай не задремывай, того гляди, вывернет... Не вывернуло!

В Грязовце, на станции, пока перепрягали, наткнулись на жандармского полковника. То был остзейский немец, бич Вологодской губернии — тощий, сутулый, мрачный, с поджатыми губами — хоть сейчас на подмостки: вылитый злодей Рауль из оперетки Оффенбаха. Этот фон Мерклин даже и к губернатору приставил однажды соглядатая унтер-офицерского чина. (Губернатор, правда, в долгу не остался: велел городовому, да еще из самых пентюхов, неотступно ходить за господином полковником.) Лаврова жандармский полковник откровенно ненавидел, неустанно изыскивал случай спровадить в еще большую глушь... Ну, минута! Не будь Лавров атеистом, благодарил бы он небеса, ниспославшие Германа Александровича! Это ж ведь Лопатин и гриву обкорнал своему подопечному, и плат-

ком на ватной прокладке подвязал так, чтоб бороду не видать, и настрого заказал беседовать со встречными, а лишь постанывать да покряхтывать, как в приемной дантиста. Не опознал его фон Мерклин, серчал на задержку подставы и гремел саблей, как черт кочергой.

Вот так, в огромной медвежьей шубе, платком подвязанный, в меховой шапке, нахлобученной на брови, прибыл Петр Лаврович в Петербург после нескольких лет отлучки.

С вокзала Герман доставил его на Конногвардейский, и лишь потому, что крылатые девы в начале бульвара были отлиты из бронзы и стояли на высоких колоннах, лишь по сей причине не возложили они на Лопатина те венки, что всегда держали в протянутой руке.

На Конногвардейском жил офицер-артиллерист весьма либерального образа мыслей, ученик и почитатель Лаврова. Хотя артиллерист и ждал своего учителя, однако не так скоро. Получилось не совсем конспиративно: в квартире были посторонние. Впрочем, офицер клятвенно заверил Лопатина, что ненадежных нет.

Поднялась кутерьма. Петра Лавровича разоблачали, Петра Лавровича усаживали. Стали собирать на стол, за его дочерью Маней послали на Васильевский остров.

В этой беготне Лопатин все же успел приметить юную особу, и она поразила Германа не потому, что была красива, а потому, что вся казалась воплощением какой-то редкостной строгой отваги. Но он лишь успел приметить эту Зину — мавр сделал дело, мавра ждали другие дела.

Сколь ни был точен расчет Германа, а все же и неувязка обнаружилась: масленица началась, присутствия закрылись — некому визировать заграничный паспорт. Не на имя Петра Лавровича, понятно. Но для Петра Лавровича.

Пришлось отсиживаться под Лугой, в скромной усадебке. И там, в шелесте последней метели, в звоне первой

капели, коротать время с дочерью Маней и приятелем ее мужа Данилой Фридбергом.

В Заплюсье, о котором и рассказывала мне внучка Фридберга, старая актриса, дождался Лавров «законного» права на выезд из пределов империи. И выехал со станции Луга в славный город Париж, где стояли тогда отчаянные холода.

Не берусь утверждать: дескать, год спустя все это встало перед глазами Лопатина — не располагаю ни строкой мемуарной, ни строчкой эпистолярной. Другое могу сказать утвердительно: в последние дни семидесятого побывал Лопатин там же, где и в первые дни этого года,— на Васильевском острове, в 14-й линии, у лавровского зятя Негрескула.

Миша, недавно выпущенный из крепости, догорал в чахотке. Герман робко взял его за руку.

— Полно, брат,— шепнул Миша.

И это «брат» — не обыденное, не разговорное — проняло Германа тоскующей нежностью, словно бы издалека донесся давно позабытый голос ставропольской солдатки — выпевала она за плетнем «Летят утки».

Время ли было говорить, что нынче он готовится исполнить зарок, данный и Герцену, в Ницце, и в Лондоне, в Модена-виллас, где оставил портрет Чернышевского в деревянной рамочке. Время ли было говорить, что и он, Герман, и все Мишины друзья надеются на тесное содружество Чернышевского с Лавровым, на их совместную работу? Как было все это говорить распростертому, поверженному, умирающему?

Потом, после Лопатин жестоко корил себя, что именно об этом он и не говорил, а порол какую-то чушь, презирая и фальшь свою, и малодушие свое, и то, что никчемно, нелепо спросил, куда девалась эта... как бишь ее?.. эта

красавица, которая была там, на Конногвардейском, где они с Петром Лавровичем пили такой крепкий, такой ароматный кофе?.. Он нес какую-то чушь, пустяки, Миша лежал прикрыв глаза, Маня намекающе позвякивала ложечкой в стакане... Пора было дать отдых больному, а Герман не в силах был уйти, как полчаса тому не в силах был войти.

На дворе он жадно забрал всей грудью воздух, радостно сознавая свою телесную несокрушимость, а вместе и сознавая, как гадко это сознавать.

V

Дома, в Москве, как на запасных путях, стоит эшелон моих картонок и папок. В Сибирь взял лишь самое необходимое. По этой причине возможны пробелы и некоторые хронологические неточности. Впрочем, несущественные.

Существенно другое: многое повидал своими глазами, объездил Забайкалье, был в Чите, теперь — в Иркутске. На днях, перелистывая «Иркутские губернские ведомости», наткнулся на грозные циркуляры Н. П. Синельникова. А ведь Николай-то Петрович многое значил в жизни Лопатина. Займемся Синельниковым. Фигура!

Ясным мартовским утром генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Петрович Синельников прибыл в Иркутск.

Колокола трезвонили, как на праздник. Триумфальную арку украшали флаги. Хвойные гирлянды обвивали коринфские колонны генерал-губернаторской резиденции, похожей на Смольный. Толпа чиновников, военных и гражданских, встречала Синельникова.

Взмыленные лошади обронили последнюю трель бубенцов, генерал боком вылез из экипажа, жмурясь и потирая поясницу. Коротко поклонившись, пошел во дворец

своим неэффектным, кавалерийским, ковыляющим шажком.

Дорогу старик перенес стоически. Приехав, был разбит. Ночью он худо спал, кашлял, ворочался, щелкал крышкой часов. Но едва развиднелось, поднялся как по боевой трубе.

Из огромного кабинета окнами на Ангару генерал велел вынести лишнюю мебель — он любил просторные комнаты. Рядом с чернильницей положил заветный свинцовый карандаш. Синельников дорожил им пуще орденов. Однажды на маневрах под Красным селом император Николай Павлович, расчеркнувшись на какой-то бумаге, рассеянно отдал штаб-офицеру Синельникову свой походный карандаш. Этим карандашом Синельников не пользовался. Карандаш был ему напоминанием: верши дела неотложно. Как покойный государь.

Летом Синельников намеревался обозреть край; до лета — ознакомиться с Иркутском. Он любил дело, а не делопроизводство — все предпочитал видеть сам. И без пушечной повестки: сейчас, мол, прибудет их высокопревосходительство. Он был неусыпен и проницателен, этот старый бюрократ, этот генерал со свитским вензелем, этот шестидесятипятилетний человек с внешностью матерого бурбона.

Как и в тех губернских городах, где ему приходилось жить и служить, наличествовали в Иркутске палата казенная и палата контрольная, приказ общественного призрения и врачебная управа, казначейство, суд, жандармское управление... Но этот город сибиряки величали столицей Восточной Сибири. Не потому лишь, что там находилась резиденция генерал-губернатора, в канцелярии которого подвизалось аж пять столоначальников, а в должности чиновника для особых поручений — аж полковник. Не потому лишь, что губернатор Иркутска, подчиненный генерал-губернатору, сам ходил в генеральском чине и

сидел в своем кресле прочнее и дольше всех других тогдашних губернаторов. И не потому даже, что здесь, в Иркутске, было то, чего не было ни в одном «просто» губернском городе,— управления. Нет-с, не числом администрации брал Иркутск верх над «просто» губернскими городами — был он огромным складочным и перевалочным пунктом на пути из азиатцев в европейцы и наоборот.

В каком губернском увидели бы вы такую кипень, как на Большой, Амурской, Тихвинской? Торговые дома, ссудо-сберегательные кассы, конторы, витрины, экипажи! В какой губернский посылала российская оптовщина такие огромные обозы? В клубах пара пересекали они Ангару, доставляя в столицу Восточной Сибири мануфактурное, галантерейное, москательное. Где еще, в каком губернском, бурлил такой азарт владельцев приисков? Прогресс, господа, прогресс! На песке он взбадривался, это верно, да ведь на песке-то ленском, витимском, олекминском — золотоносном. А вкруг тех, кто пер в гору, придыхая в фартовом своем азарте, вилась иркутская мундирная публика, и на ее потные от вожделения длани липли, липли золотые чешуйки. Прогресс, господа!

Вчуже все видишь иначе, думал Синельников — предполагал в сибиряках угрюмство косолапых молчунов, обнаружил людей сообщительных и радушных: у них и любительские спектакли, и ученые собрания в Сибирском отделе Географического общества, и музыкальные вечера, и недурная библиотека.

Сибиряки удивили Синельникова. Он не остался в долгу — удивил сибиряков: принимаю в любое время без предварительной записи. Посетитель-проситель пошел густо. Николай Петрович выслушивал каждого не перебивая. Его грубое, солдатское лицо оставалось неизменно серьезным; сквозь сильные толстые стекла очков глядел он вдумчиво и строго.

Но однажды он внутренне вздрогнул: перед ним был

ломовой извозчик, могучий человек с ястребиными глазами.

— Под Брестом? В шестьдесят третьем? — отрывисто спросил генерал-губернатор.

— Точно так,— ответил извозчик, стоя навытяжку.

— А незадолго перед тем убили полковника?

— В честной перестрелке.

— Что ж вам назначили?

— Вечную каторгу. По высочайшему манифесту выпущен на поселение.

Никаких сомнений: Роман Рогинский — польский мятежник, командир партизанского отряда, сорвиголова, гордость отчизны.

Синельников был некогда генерал-интендантом Первой армии, расквартированной в Царстве Польском. Черт догадал, без конвоя отправился однажды в Брест-Литовск, имея при себе ни много ни мало — четверть миллиона золотом. В темном лесу экипаж остановили всадники. Дверца рывком распахнулась, чья-то ручища поднесла фонарь, чей-то голос крикнул: «Это генерал Синельников!» И оттуда, из темноты, басом вопросили: «Мы не ошибаемся, пан генерал?» Николай Петрович мрачно ответил: «Я в вашей власти, кончайте поскорее»... Бряцало оружие, фыркали кони. Синельников машинально считал дождевые капли — срываясь с ветвей, они щелкали по крыше экипажа. Он думал о постыдности своей промашки: не мальчик, а свалял дурака, не взяв конвоя. С мертвого спроса нет; с живого есть — позором испепелит. Щелкали капли по крыше экипажа, Синельников, досчитав до восьми, уже думал не о постыдности прорухи своей, а жалел казенные деньги. В ту минуту могучий бас произнес из темноты: «Ваше имя, пан генерал, пользуется уважением в Польше» — и отряд ускакал...

— Так о чем вы просите, Рогинский? — осведомился Николай Петрович.

— Генерал, долгий плен изнурил меня.— Он говорил твердо, но едва слышно.— Я женат, есть дети, я не могу бежать, но я не могу умереть, не увидев отчизны. На прошения ответа нет.

— Обещаю писать государю. Ступайте.

Спустя полтора месяца Рогинский опять явился. Синельников не принял амнистированного вчистую поляка: не любил выслушивать благодарности, да и занят был, занят.

И точно, занят — толковал с миллионщиком Базановым, владельцем золотых приисков.

«Капиталист», «обороты» — все это не будило в душе Николая Петровича презрения к дельцам, купчикам-голубчикам. За годы службы по министерству внутренних дел он практически постиг азы политической экономии; мысль о промышленности, становом хребте государства, была для него мыслью здравой. Потому и глядел он на маленького, сухонького, умного старичка Базанова как на советника более ценного, нежели мундирные из Главного совета Восточной Сибири. Базановские соображения радовали основательностью, цепкостью. Любо слушать, как он, сплетая и расплетая сухонькие пальцы, посмеиваясь и прищуриваясь, вороша пепельно сквозящую бороду, толкует об амурском пароходстве или о железной дороге Иркутск — Сретенск.

— Ну а не возьмешь ли, Иван Иваныч,— спрашивал генерал,— не возьмешь ли, любезный, на свои приски душ пятьсот — шестьсот каторжников? И казне облегчение, да и ты не внакладе.

Подумав, отвечал старик, по обыкновению своему, прищуриваясь и посмеиваясь:

— Хороший, ваше-ство, расклад, однако не обессудьте, скребешь в затылке: а как на это господа чиновники глянут? Они с нашего брата, промышленного, много, ой много живейных рублей имеют, потому как вольный

работник может пожалиться, ревизию пришлют, следствие нарядят, а тут беру казенных, при офицере, как с меня слупишь?

— Ну, ну,— сердито отмахнулся генерал.— Это уж не твоя докука, а моя.

Казнокрадство и взяточничество? Годы службы дали доказательства их неистребимости. Он помнил, как сам министр юстиции сунул сотенную судейскому, чтоб тот не прятал под сукно его, министра, покупочную запись в пользу своей дочери. И помнил, как один знакомый губернатор пихал за шиворот какому-то крючкотвору три рубля: бери, шельма, только спроворь поскорее... От времени до времени Николай Петрович погружался в мрачные мысли о неистребимой порочности человеков. Потом с удвоенным рвением штурмовал крепость по имени Взятка. Сокрушить не надеялся. Надеялся хоть бреши пробить. А теперь, в Иркутске, надумал клеймить публично. Газета и гласность, полагал он, благая сила, ежели пользоваться целесообразно, а не играть страстями народными. На страницах «Иркутских ведомостей» стал он печатать обличительные циркуляры. Призывал: «Прошу господ начальников губерний и областей строго наблюдать, чтобы циркуляры мои не оставались мертвыми буквально, но исполнялись непременно».

В иркутской жандармской команде числилось шесть обер-офицеров, сорок унтер-офицеров, шесть писарей, сто двадцать восемь нижних чинов. А с недавнего времени принят был на довольствие молодой человек, содержавшийся на гауптвахте.

И молодой человек, и ежедневно являвшийся к нему подполковник Купенков надоели друг другу, как повязанные одной цепью.

— Да вы ж вовсе и не Любавин,— тускло твердил подполковник, чувствуя приступ изжоги.

— Извините, я — Любавин,— скучливо отводил арестованный.

И оба, вздохнув, глядели в окно.

На дворе солдаты, сдвинув папахи, курили, прислонясь к бревенчатой стене казармы и греясь на вешнем припеке.

— Нет, вы не Любавин,— будто очнувшись, быстро объявлял подполковник и ладонью по столу прихлопывал, чего, мол, турусы разводить, и сейчас же, впритык, без паузы: — Пора бы уж объяснить ваши намерения, нельзя же, право, так запираться, себе же во вред, ей-богу.

Арестованный качал головой, сострадая непонятливости штаб-офицера. Купенков смотрел на молодого человека с необыкновенно правильными чертами лица и каштановой шевелюрой, смотрел и наперед знал, что́ он сейчас услышит из его уст. И молодой человек ровным, монотонным голосом говорил именно то, что загодя знал подполковник: я-де Любавин, а намерения мои согласуются с принадлежностью к Императорскому Географическому обществу. Монотонность его голоса как бы отражалась на пухлом усталом лице Купенкова. Он кручинно подпирал щеку, словно зубы ныли, но зубы-то были в порядке, а вот изжога разыгрывалась. Купенков слушал не слушая и думал о том, что скоро лето, на Иркуте хорошо, ночь, далеко слышно, на лодке горят, потрескивая, сосновые шишки. Арестованный между тем молол какой-то вздор о природных богатствах Восточной Сибири, представляющих научный интерес. Купенков слушал не слушая и не замечал, как молодой человек умолкал, и оба они некоторое время пребывали в одиночестве, словно бы и не тяготясь друг другом.

Заканчивалось, как и начиналось.

— Вы — не Любавин,— вдумчиво повторял подполковник.

— Я — Любавин,— вяло отводил арестованный.

Едва Купенков оставлял гауптвахту, изжога оставляла Купенкова. Он приходил в жандармское управление, угол Котельниковской и Большой. Полковник Дувинг, взглянув на давнего сослуживца и товарища, вздыхал иронически: «Нда-а, брат, законность нас губит».

Суть была не в запирательстве арестованного, эка невидаль. Суть была в том, что дело, порученное им, словно бы измывалось над ними: важности чрезвычайной и вместе до обидного простое, оно не позволяло подвести черту.

Дувингу с Купенковым не нужно было ни малейших усилий, дабы определить, что Любавин — это Лопатин, а Лопатин — это тот, кто прибыл в Сибирь за Чернышевским. Все с пылу с жару доставил Петербург, Фонтанка, 16,— негласные источники бьют и сочатся из малейших трещин, а трещины нашлись и заграничные и домашние. Строго конфиденциально граф Шувалов писал: «Имеются указания, свидетельствующие, что в настоящее время главная цель эмиграции — освободить Чернышевского». Засим поступила аттестация: «Герман Лопатин умен, с большими способностями; характера твердого, настойчивого, предприимчив, умеет расположить тех лиц, которые ему нужны. Вместе с тем натура его кипучая, требующая деятельности, но деятельности в противоправительственном духе, так как во всех его действиях и даже в письменных объяснениях весьма рельефно проглядывает ненависть к правительству и настоящему порядку в России».

Казалось бы, чего ж еще? Лопатин арестован. У него документы неподложные, но на чужие имена. И значительная сумма денег. За ним — побег, и притом таинственный: «На запрос за № 358—4 сообщаю, что подробности исчезновения из Ставрополя находившегося под гласным надзором коллежского секретаря Лопатина до сего времени неизвестны». И пугающе-определенное: Лопатин

приехал из-за границы... Чего же более? Велено усилить надзор за Александровским заводом, где Чернышевский. Прекрасно! Но как прикажете поступить с этим, который и умен, и предприимчив, и натура кипучая? Яснее ясного, почему он тянет время: ему надобно знать, что именно знают они, Дувинг и Купенков.

— Законность нас губит,— иронизировал Дувинг.

В его иронии была тревога. Тревогу полковника понимал и разделял Купенков. Лопатин нипочем не решился бы действовать в одиночку. Стало быть, здесь, в Иркутске, а может, и там, в Александровском заводе,— змея подколодная: шайка злоумышленников. А они не умеют подвести черту, хотя закоперщик Лопатин сидит-посиживает на жандармской гауптвахте.

Журнальчиком для нижних чинов — «Досуг и дело» назывался — утолял Герман духовную свою жажду, изнывая на жандармской гауптвахте, где держали его совсем не так вольготно, как на гарнизонной ставропольской. Но опять достало терпения — выждал, высидел и убедился, что никакими прямыми, вескими, неопровержимыми уликами, достаточными для суда, следствие не располагает. А коли так, то почему бы и не пойти напропалую, тем паче что «пропалой» не пахнет? И молодой человек сокрушенно молвил:

— Итак, допустим, я не Любавин.

— Слава те господи,— в тон ему отозвался Купенков.— Всему, батюшка, предел, давно бы так.— Большое пухлое лицо подполковника порозовело.

— Нет, серьезно,— продолжал арестант и, подняв руки с раскрытыми ладонями, повторил, словно бы что-то отодвигая: — Вовсе и не Любавин, а... Ну, скажем, Петров. Рассуждая логически, что из сего проистекает? — Он до ушей улыбался, этот Лопатин.

— А то и проистекает, что вы проживали по чужому виду.

— Вот именно-с! Значит, меня грешного надо штрафовать.

Ладно, подумал Купенков, пойдем задами.

— При ваших средствах это пустяк. А вот вопрос-то, откуда они у вас, такие средства? И еще: жили-поживали в Париже, ан вдруг и метнуло в наши палестины. Что так-то, а?

— В вашем вопросе, господин Купенков, есть половина ответа. Оттуда и средства, что жил за границей. И не только в Париже, еще и в Лондоне.

— Еще и в Лондоне...— вдумчиво отметил подполковник.

— Да. Но сперва в Париже. Там, знаете ли, меня Лавров поддержал. Петр Лаврович Лавров, слыхали?

— Слыхал,— ответил Купенков.— Очень даже слыхал. Артиллерии полковник, кажется?

— Артиллерии полковник. И отменный математик.

— Отменный,— поощрительно поддержал Купенков.— Ведь вот как точно побег-то свой расчислил.

— Э, невелика штука, не из Сибири.

— Откуда же?

— Из Вологды. То есть я не ручаюсь, по сам Петр-то Лаврович говорил мне: из Вологодской губернии.

— Ну, ну,— неопределенно хмыкнул Купенков.— Так что же Лавров?

— Помогал я ему, секретарем был, разные, знаете ли, выписки из книг.

— А-а,— усмехнулся Купенков,— для завиральных статеек, что ли?

Лопатин рассмеялся. Купенков покачал головой, осуждая легкомыслие молодого человека. Потом сказал:

— Ну а в Лондоне вы что же?

— Конторские занятия. Боркгейм недурно платил.

— Понимаю,— кивнул Купенков.— Одного не пони-

маю: от такой жизни да сюда? А? За вами-то...— Он пальцами пощелкал.

— И я понимаю: вы про Ставрополь?

— Про Ставрополь.

Он опять помолчал, этот Лопатин, так грустно-грустно помолчал.

— Ах, полковник, полковник, вы и не представляете, каково на чужбине. Уверяю вас, будь хоть Ротшильдом, а заест тоска, заест подлая, ничто не мило, грызет и грызет. Вот, говорят, покойного Герцена совсем загрызла.

— Однако не воротился,— вставил Купенков.

— Не в тех годах был. И вообще: то Герцен, а то я... Мне что? Самовольное оставление места ссылки не влечет строгого наказания. Закон!

Купенков сообразил: хариус, ей-ей, хариус. Этот Лопатин оказался увертлив, как рыба. Так и выскальзывал. Нет, даже и не выскальзывал, а вперед устремлялся, упреждая расспросы. А может, и не врет? Полноте, спохватывался Купенков, призывая на помощь петербургскую аттестацию: Лопатин умеет расположить к себе.

— Ну, вот,— обиделся Лопатин, словно наперехват мыслям подполковника,— я как на духу, а вы...— Он пожал плечами.— Конечно, служба такая, вы, видать, и родному б отцу не поверили.

— Да нет, почему же,— скучнея голосом и опять белея пухлым лицом, мямлил Купенков.— А все ж, согласитесь, от развеселой-то жизни в европах чего было к нам-то, в окаянную сибирскую сторону?

— Окаянную? — возмутился Лопатин.— Эка вы, право! Да у вас тут миллионами ворочают. Тут... Я как думал? Э, думал, и с чужим паспортом в Сибири живут, взбодрю свое дело и — в гору, в гору, себе прибыток, отечеству прибыток, пора, господин Купенков, и нашему брату россиянину за ум браться.

— Ладно да складно, складно да ладно...— Купен-

ков призадумался, откинувшись на спинку стула, играя пером, оглаживая бумаги.— Ладно да складно. И знаете, я бы поверил вам, право, поверил...— Подполковник медлил, решаясь на главное: нечего, думал, тянуть, чего уж...— Да,— сказал он проникновенно, искренне, честно глядя в глаза Лопатину,— да, поверил бы, когда бы ни Чер-ны-шев-ский.

На Лопатина точно кипятком брызнули. Он вздрогнул, побледнел, отшатнулся, замер.

— А я-то и не понимал...— испуганно, недоуменно, ошарашенно сказал Лопатин. И криво улыбнулся: — Ничего не понимал... Вот оно что-о-о-о... Чернышевский! — Он помотал головой, хотел было еще что-то сказать, но тяжело вздохнул и принялся тереть стекла очков.

— Вы не волнуйтесь,— попросил Купенков,— вы, пожалуйста, не волнуйтесь, Герман Александрович.

— А вы б не волновались? Вы б не волновались? — горячо откликнулся Лопатин.

— Понимаю, понимаю,— успокоительно отвечал Купенков.— Конечно, волновался бы, конечно.

— Хорошо,— сказал Лопатин. У него был вид человека, которому уже все равно, что с ним сделают, а вот он сейчас выскажется напрямик, и шабаш.— Хорошо, господин Купенков, слушайте. Начну с того, что никогда в жизни не видел Николая Гавриловича Чернышевского. Не скрою, желал бы, да нет, не привелось. Его уж арестовали, когда я приехал в Петербург, в университет. Не привелось, но, говорю прямо, очень жалею. Далее. Разговоры о нем в нашем кругу были. И не вообще, знаете ли, а вполне определенные и сочувственные: глохнет могучая умственная сила. Вот так, не скрываю... А теперь... Теперь скажите-ка на милость, похож я на сумасшедшего? Похож, а? Вы мне неслужебно, по-человечески, без мундира: возможно ли, чтобы мало-мальски разумный человек, да еще в моем положении, пустился б

на такое? Я ж прекрасно знаю: из Ставрополя бежал, значит, ищут. И вдруг я бы, да еще из безопасности полной, из Парижа, из Лондона, а? — Он словно бы обессилел и потерянно развел руками.

Купенков молчал. Потом спросил, сознавая, что спрашивает глупо:

— Это вот и записывать?

— Это вот и записывать.

Лопатин сидел, опустив голову. Купенкову опять мелькнула мысль недопустимая: а может, и не врет? И опять он призвал на выручку петербургскую аттестацию: характера твердого, настойчивого... Пошевелился на стуле и печально заскрипел пером.

На дворе жандармы месили весеннюю грязь, унтер Ижевский, самый достойный службист во всей команде, гонял нижних чинов строевым шагом: «Р-распустились, байбаки!»

— А-а, вот еще что я понял, господин Купенков,— вдруг сказал Лопатин, покорно сказал и тихо, как еще ни разу не говорил.— Да, теперь-то вот еще что понял: вы мне и знакомство с Щаповым — в строку. Уж коли следили, то и выследили. И верно — приехал, тотчас свел знакомство с господином Щаповым. Воля ваша, Афанасия Прокофьевича высоко уважаю, сердечно сочувствую.

«Каков, однако, хват»,— сокрушенно подумал Купенков. Теперь уж уличать Щаповым не имело никакого смысла. Скажет правду, но не всю и не главную. И даже не скроет, что толковал со Щаповым о Чернышевском. А проку ни копейки. Но все ж проформы ради спросил:

— У вас что же, рекомендательное письмо имелось?

— Нет, я так, без рекомендаций, в знак сочувствия.

Купенков оперся на ладонь пухлой белой щекою, подумал о законности, губящей разыскное дело, а потом стал думать о летних рыбалках на Иркуте...

До ареста прожил Лопатин в столице Восточной Сибири почти месяц. Жил потаенно. Знакомства были необходимы, но он избегал их, во всем полагаясь на Афанасия Прокофьевича.

Первый визит к Щапову получился неловок, не ко времени. Появление незнакомого человека вызвало замешательство заплаканной белокурой женщины, она поспешно вышла из комнаты. Герман, смутившись, остался один на один с ее мужем — сутулым, неряшливо одетым, с неухоженной мужицкой бородой, в шапке мелко вьющихся, круто седеющих волос. Щапов глядел исподлобья, на его нервном, пергаментном лице все еще гневно сверкали бурятские глазки.

Герман сказал, что зайдет в другой раз, но Афанасий Прокофьевич вдруг сердито ухватил его за рукав и разразился бранью, адресованной какой-то попадье-мерзавке, да и вообще всем сибирякам, скаредам и стяжателям, чтоб им ни дна ни покрышки.

Герман не без труда уяснил, в чем дело. Щапов, оказывается, нанимал квартиру у попадьи, давно задолжал, потому что из Питера никак не присылали гонорар, и вот эта треклятая баба устроила Ольге Ивановне пребезобразнейшую сцену.

— Это еще куда ни шло, Афанасий Прокофьевич,— спокойно заметил Герман.— А вот в Лондоне и на порог не пустят: вперед за неделю плати.

— В Лондоне? — переспросил Щапов, внимательно взглянув на Германа. И усмехнулся: — Ну так, значит, мои земляки не самые первые скареды на всем свете... Да вы садитесь, пожалуйста. Извините, бога ради, целый ушат на вас вылил.— Он крикнул: — Оля, Оленька! — Ответа не было. Щапов горестно покачал головой: — Укатали крутые горки.

Герман видывал всякую бедность — студенческую, ставропольских переселенцев, эмигрантскую, всякую, да

только здесь, у Щаповых, увидел не бедность, а нищету, когда на хлебе и на воде, и услышал запах, как в старинных людских, запах чадной, пыльной лампы, заправленной нечистым маслом.

Дощатый стол загромождали бумаги и книги. На полу у стола белела корзина с рукописями. Узел из мешковины — тоже с рукописями — виднелся у полатей. О, кабинет профессора Афанасия Прокофьевича Щапова, автора знаменитой книги «Русский раскол старообрядчества» и множества других исторических исследований! И на этом дощатом столе профессор недавно закончил монографию, напечатанную в типографии Бенке, в Петербурге, близ Обуховского моста, и эта монография в несколько сот страниц называлась так, будто и себя самого автор подвергал анализу: «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа».

«Укатали крутые горки»,— покивал Афанасий Прокофьевич на дверь, за которой скрылась его заплаканная жена, но те же горки укатали и Щапова, и Герман знал об этом смолоду.

Сутулый человек с мужицкой бородищей и горячими глазками выбился из бурсака, заеденного вшами, в профессоры Казанской духовной академии и Казанского университета. Негромким, незвучным баритоном, приступая невнятно, а затем увлекаясь и как бы высветлив голос, историк рассказывал о «русском тысячелетнем горе-злосчастье». Главный фактор истории, учил он, есть народ, и студенты отзывались восторженным гулом. А серень-ким апрельским днем в церкви казанского кладбища студенты отправляли панихиду по мужикам, «убиенным во сметении», бунтовщикам, сраженным солдатскими пулями, профессор произнес речь о любви к страдающему черному люду, о необходимости конституции.

Любовь к страждущим не возбранялась, возбранялись конституционные мечтания. Щапова лишили кафедры. Он

уехал в Петербург. Волга после паводка буро вздулась. Афанасий Прокофьевич, стоя на корме парохода, грустно махал шляпой — студенты, налегая на весла, провожали Щапова.

Но и в Петербурге он не прижился. Ему вообще не было места в университетских городах империи, этому сыну деревенского пономаря и бурятки. Из Сибири ты вышел, в Сибирь и уйдешь.

Щапов с женой поселился в Иркутске. Он изнывал: у-у, это «общество» — обжорливые обеды, картеж и семейная обрядность. И эти «рефераты»: накануне рождества про обновы; в пост великий — о ценах на редьку; по осени — много ль груздей насолено и варенья варено, а на зиму глядя — достанет ли гусей да уток к праздникам и свадьбам. Господи, воля твоя, окаянная родимая сторонушка...

Он припадал к чарке — единственному средству минутного забвения. Его Оленька, его Ольга Ивановна, не крест несла, а жизнь волокла. И стряпала, и белье мыла, и на медные деньги уроки давала, и девиц учила в гимназии, и выборки из книг делала; когда он работал, сидела рядом, неотрывно следила за пером его, придвигая листочки с цитатами.

Она говорила: «Верю», и ее вера переломила Щапова.

Одолевая нехватку литературы и стараясь не отстать мыслью от того, чем жили люди за тыщи верст от Ангары, он сотрудничал в «Отечественных записках». Но ему нужна была очная аудитория, и Щапов стал читать лекции в Сибирском отделе Географического общества,— в крепком рубленом доме пахло кедровыми бревнами. И вот ведь что оказалось: в окаянной родимой стороне нашлись слушатели — яблоку негде упасть, даже и здешнему яблоку, величиною с грецкий орех.

Капитальное оставалось: наша твердыня — черный народ. Но именно здесь, в Иркутске, отбиваясь от долгов,

от разъяренной попадьи, огрузая в нищем быте, здесь, при свечном огарке, согретый дыханием бледной, усталой женщины, здесь-то этот скуластый, круто седеющий ссыльный с мужицкой бородой и бурятскими угольками-глазками провидел нечто почти космическое: «Надобно, чтобы и крестьяне, фабричные и заводские рабочие, каждый в сфере своей работы, были физиками, математиками, химиками, технологами, механиками... Только тогда наука и жизнь, знание и труд, практика и теория пойдут рука об руку... И научно-рабочий интеллектуальный класс не будет кастовым, цеховым, отрешенным от народа меньшинством, а будет всенародной интеллигенцией...» В особняке, где пахло кедровыми бревнами, в серьезной и сосредоточенной тишине зала говорил Щапов об окаянной, каторжной родимой стороне: в грядущую пору братских общин-ассоциаций честь ей будет и место.

Когда Лопатин пришел к Щаповым, Афанасий Прокофьевич как раз и готовился к очередному чтению в Географическом обществе. А мерзавка попадья лишила его душевного равновесия. Герман равновесие вернул: ироническая ссылка на обыкновение лондонских домохозяев означала, что бывают обстоятельства и вовсе безвыходные.

Лопатин загодя решил открыться Щапову. Не потому, что во всем Иркутске у Германа ни души не было, и не потому, что он не сомневался в надежности Афанасия Прокофьевича, а потому, главное, что надеялся на его осведомленность: надо было скоропалительно выяснить — где поселили Чернышевского?

Герман, впрочем, медлил сказать: прибыл, мол, за Николаем Гавриловичем. Но и болтать о пятом-десятом было неловко. А Щапов наводящих вопросов не задавал. Выходило как по колдобинам... Щапов спросил, не пришлось ли Герману Александровичу задержаться в Казани, в городе, где он, Щапов, знавал лучшие времена.

Лопатину случилось бывать в Казани еще за восемь лет до путешествия из Петербурга в Иркутск. Ехали тогда пароходом, Герману было семнадцать, он кончил гимназию, отец повез его в Питер, в университет, хотелось показать сыну города своей молодости, Казань и Нижний... Щапов слушал, ткнувшись бородой в ладони, отчего борода частью задралась, а частью подмялась, и Афанасий Прокофьевич сильно смахивал на лешего с балаганных подмостков широкой масленицы. Он слушал рассеянно, пока не услышал: «Ешевский»... Оказывается, батюшка этого Германа Лопатина, учительствуя в Нижнем, преподавал словесность и Ешевскому, и Бестужеву-Рюмину, будущим профессорам истории.

— А-а, вот как, вот как,— молвил Щапов.— Что и говорить, Ешевский строгий ученый, я ему многим обязан...— И как посветил Герману угольками своих черных маленьких глаз. Потом сказал: — А положа руку-то на сердце, ни Ешевскому, ни Рюмину, ни мне нипочем не сравниться... Бывали у меня и споры и разногласья с ним, а руку-то на сердце — нипочем не сравниться...— И, не отнимая ладоней, выставив бороду, Щапов произнес:

І день іде, і ніч іде.
І, голову схопивши в руки,
Дивуешься, чому не йде
Апостол правди і науки?

Лопатин мгновенно понял, кого имел в виду Щапов, но, поняв, потерялся от внезапности натиска и потому спросил, чьи, мол, стихи?

— Шевченки,— вздохнул Афанасий Прокофьевич.— Тут Бельцов есть, полковник, во всей армии второго не сыщешь: честнейший и добрейший. Он с Шевченкой когда-то дружил.

— Да,— сказал Герман,— апостол правды.

Минули месяцы, жарко и светло горело лето, а Герман все еще мыкался арестантом жандармской гауптвахты. Место, что называется, определили. Да сам-то себе не находил он места. Особенно с той поры, как Щапову дозволили передавать ему газеты.

Московская почта — тугие кожаные мешки, похожие на цибики чая,— приходила в Иркутск ежедневно, а почта невская — дважды в неделю. И, развернув газетный лист, Лопатин наливался яростью: в такие дни прозябать за решеткой!

Он помнил Париж весенний. Весна тогда выдалась студеная, ни фиалок, ни столиков на тротуарах, ни окон нараспашку — парижане зябли. Лавров, посмеиваясь, оглаживал огненные, как у ирландца, бакенбарды: то-то бы отведали вологодских холодов. Повторял: «Ах, если б и Николай Гаврилыч бежал...» Поднимая правую руку — жест, предварявший рассуждения,— толковал о распыле и вражде русской эмиграции и о том, что Чернышевский сплотил бы ее громадным своим авторитетом... Помнил Герман и летний Париж. На тихой Шерш-Миди блеснул улыбкой Поль Лафарг: «Лаура, дочь моя, этот московит — славный малый!» И они пили за революцию... А нынче там на парижской ратуше флаг Коммуны, там баррикады, национальные гвардейцы овладели южными фортами, и громовым раскатом, как с крыши мира, доносится: власть должна принадлежать пролетариям... Можно лопнуть от ярости: ему, Лопатину, члену Генерального совета Интернационала, ему, Герману Лопатину, в такие дни, каких, может, и до гроба не дождешься, прозябать на дерьмовой гауптвахте?!

Порыв был как взрыв. На прогулке, примерившись, рванулся он к высоченному, плотному, без щелки забору, ловко и сильно перенес через ограду свое большое тело — давай бог ноги.

Недалеко он ушел, совсем недалеко.

Поднялась тревога, послышались выстрелы, сбивчивый, дробный топот коней. Он наддал ходу, но тут-то и сверкнула, и свистнула шашка взбешенного унтер-офицера.

Лопатина едва не зарубили. Задыхаясь и жмурясь, он будто не слышал матерной брани, не чувствовал коротких, злобных тычков, боли в натуго скрученных руках.

Его окружили верховые и пешие. Нет, не на гауптвахту доставили — в острог. И заперли не в общей гомонящей камере — в секретной.

Глубокой осенью распутица властно затормозила «поэтапное движение», острог, как запруда, переполнился кандальниками, и секретную камеру вроде бы рассекретили — Лопатин получил соузника.

Этот коренастый бородач, сверстник Лопатина, был арестован еще в шестьдесят шестом, вслед за каракозовским покушением, то есть чуть раньше Лопатина; оба сидели в Петропавловке, но в куртине не встретились, а теперь вот и сошлись в одном «помещении». Лопатина поначалу совсем не интересовало давнее, каракозовское, во многом ему известное. Оно и понятно: на поселение в тундре везли Николаева с востока, с той стороны Байкала, из Александровского завода — и Лопатин тотчас и нетерпеливо: что и как Чернышевский?

Коренастый бородач не заставил просить дважды. Подобрав кандалы, откинувшись широкой, почти квадратной спиной к стене, рассказывал:

— Если бы вы знали, что за человек... Я первое время крепко затосковал. Эх, думал, все светлое, все хорошее — тю-тю, не воротишь. Не мог скрыть свою муку, ходил-ходил по двору, как неприкаянный. Он однажды и спрашивает, очки на носу: «Гуляете?» Плохо, говорю, гуляется, Николай Гаврилович, гулять плохо, не гулять — еще хуже... Спрашивает: «Пословицу помните? «Терпи, казак, атаманом будешь». Протопоп Аввакум скуфьей крыс пугал в подземелье, горд был, не размазня-кисель. Мы с

вами малюсенькие, нам и посидеть не грешно, посидим — и выпустят, дело верное»... По большей части бывал весел или казался веселым — ободрял других...

Он весь так и светился, произнося уже не «Чернышевский» и не имя-отчество — произнося «Учитель», а Лопатин слушал так, будто он в Александровском заводе, где у Чернышевского свой закуток для ночлега и письменных занятий.

Но чем дольше и больше рассказывал Николаев, тем чаще и пристальнее Лопатин возвращался к мысли, имевшей для него значение чрезвычайное, непреходящее.

Мысль эта была об Учителе и учениках. Таких, как этот коренастый бородач с глазами светлыми и смелыми. Николаев искренне причислял себя к ученикам Учителя. Совершенно искренне, в том не было ни малейшего сомнения. Он читал все, или почти все, написанное Учителем. Да ведь и немецкие бурши, что некогда разбойничали в Богемских горах, разбойничали, начитавшись Шиллера. Они были эхом Шиллера, эхом, дробно-искаженным скалами обстоятельств.

С неослабным, живейшим вниманием Лопатин слушал Николаева, из всего сказанного получалось, будто Учитель признает годность любых средств в деятельности революционной. Да, да, именно так получалось у этого ученика, повторявшего слово Учителя: тот, кто шествует по пути истории, не должен бояться запачкаться... Лопатин слушал с неослабным вниманием, но уже не был мысленно в остроге Александровского завода, да будто и здесь не был, в остроге Иркутском, а был в глухом углу, где пахло прелью и тленом, в сумраке означалась, уронив мертвую голову, длинная тень Ивана Иванова... С минуту Лопатин стоял, уже не слушая коренастого бородача, но вот подошел к нему, положил руки на крепкие его плечи и в глаза заглянул, светлые и смелые глаза, светившиеся нежностью к Учителю.

Николаев примолк на полуфразе и, еще не сознавая почему, отчего, насупился, ощущая настороженную враждебность к этим рукам на его плечах, будто к рукам исповедника и проповедника. Кто ты такой, почти злобно подумал Николаев, кто ты, собственно, такой? Ты, брат, отгреми железом хоть годик, а потом... И, не опустив глаза, произнес твердо:

— Ну, спрашивайте.

Лопатин отстранился, сел на табурет, сказал:

— Напрямик?

Николаев усмехнулся и стал закуривать.

То, о чем спросил Лопатин, относилось к некоему Федосееву. Витенька был теперь где-то в Енисейской губернии, а в студенческие годы Лопатина тоже учился в университете. Судил же Федосеева, как и Николаева, Верховный уголовный суд.

— Если не запамятовал,— сказал Лопатин,— в обвинительном акте по делу вашей «Организации» указывалось, что он согласился отравить отца, богатого помещика?

— Не запамятовали.

— Согласие всегда ответ на предложение. Стало быть, ваша «Организация», кто-то из ваших подал ему «отравительную идею»?

— Федосеев разделял наши убеждения. И во имя этих убеждений готов был отравить отца, наследство же передать «Организации». Свое состояние, понимаете?

— Свое?

— Не ловите на слове. И не отцовское — у народа награбленное.

— И вы... способствовали Федосееву?

— Без колебаний,— отвечал Николаев.— Ядом, правда, не раздобылся, а всего-навсего рецептом, ну а Витенька все, что нужно, купил по отдельности в разных аптеках, махнул в Тамбов, к папеньке, да жаль, в дороге-

то арестовали. Вот как было дело,— все так же спокойно заключил Николаев.

— Итак, ради идеи — отравить старика отца?

— А вы цареубийство признаете? — вопросом на вопрос ответил Николаев.

— Нет. Это бесполезно.

— Та-а-кс...

Николаев был разочарован. Согласись Лопатин с цареубийством, тотчас бы и попал впросак: дескать, царя можно, а отца родного нельзя?

— Та-а-кс... Ну что ж, а по мне: да — да, нет — нет. У нас одни согласились с Каракозовым, другие были против покушения. А я ни за, ни против, я и теперь не осуждаю Каракозова, но и не превозношу.

— А Федосеева? А себя?

Николаев снова будто б в сторону прянул. Повел к тому, что в Александровском заводе, в остроге, были у них журналы — «Вестник Европы», «Отечественные записки», французские и английские, получали они и «Русский вестник» — про Раскольникова, как же, читали-с. Напрасно, однако, бывший государственный преступник Достоевский полагает, что оглушил нынешних государственных преступников. Это, может, там, в гостиных, на журфиксах разводят турусы на колесах, а вопрос-то, кажись, проще пареной репы. Раскольниковы, они ж в наполеоны глядят, а федосеевы — в каторгу; у раскольниковых — свое «я» превыше всего, а федосеевы свое «я» ни в грош. Разница? А господин Достоевский под одну гребенку и полагает, что испужал.

Герман не попятился.

— Итак, ради идеи...

И словно бы вдруг, внезапно Николаев утратил свое усмешливое спокойствие.

— Странно,— угрюмо начал он,— очень это странно... На такой в точности вопрос там, на суде-то, я прямо объ-

явил: и федосеевское намерение, и свое пособничество, вообще-то говоря, позволительным не считал и не считаю.— Он вскинул голову: — Вы правильно поймите, сказал так не ради облегчения участи, мне было решительно все равно, как со мною поступят. Такое вот состояние: все равно... И еще вот что. Не примите за хвастовство, я ж на суде речь произнес. Жалкую речь, если взглянуть с высоты тех вопросов, которые пытался осветить. Да, жалкую, но мне важно было бросить в лицо верховному уголовному, всей власти бросить: а вот, господа, таково наше социальное, революционное знамя. Я и про казнь Людовика Шестнадцатого: отрицаю в якобинцах кровожадность... Ладно, я сейчас к тому, чтоб вы поняли: я не ради облегчения своей участи выложил судьям — мол, вообще-то говоря, не считал позволительным травить человека мышьяком. И объяснил: но после выстрела у Летнего сада, после покушения на царя... Вы ж сами те дни пережили: паника, аресты, обыски. Тут за все хватаешься. Ну и нашло потемнение. Понимаете, по-тем-не-ние!.. Странно, однако, на суде-то я так и сказал, сказал честно: потемнение. А вам... Вам не хотел, не мог... Вот это-то и странно. А ведь я не стыжусь ни того, что подталкивал Витеньку, ни того, что рецепт добыл, нет, не стыжусь.

— «По-тем-не-ние»? — усомнился Лопатин.— Послушайте, мне бы очень, очень хотелось, чтобы вы вникли. Пусть не тотчас, пусть не сейчас, но вникли... Опыт истории, а теперь и наш собственный указывает: когда группа заговорщиков, действуя впотьмах, вступает в борьбу с законом, властью, в этой группе протестантов, сколь бы ни были они чисты и преданы великой идее, как бы исподволь развивается иногда наклонность к отступлению от правил морали. От ее общепризнанных правил. От таких, которые и сами-то эти люди, эти протестанты признают, один на один с собою — признают, а скопом, в заговоре,— утрачивают. В борьбе, невзгодах, преследо-

ваниях — утрачивают. Тут еще к тому же и наша родимая неукорененность правосознания. И не надо, не спешите, вы после, не сейчас, но вникните, поразмыслите. Это ж не облака метафизики, не отвлеченность...

По диагонали, по диагонали, крупными шагами Лопатин мерил секретную камеру. Лицо его стало серым, точно вся кровь схлынула, точно именно сейчас, здесь, в эту минуту, решалось, быть или не быть.

— Не отвлеченность, совсем не отвлеченность... Тут бумеранг... Бумеранг, как не понять? — проговорил он с несвойственным ему надрывом.

И этот бородатый светлоглазый крепыш все понял. Оставаясь неподвижным, поник, осел, съежился.

Я уже писал, что видел Нерчинск и Нерчинский завод, Акатуй и Александровский завод, словом, колесил по Забайкалью. Но речку Кару не видел, так уж получилось. Между тем один из карийских каторжных острогов имеет прямое отношение к нашему сюжету, и я зову на подмогу своего старого, увы, уже покойного, товарища — Льва Владимировича Чистякова.

Мы сдружились после войны, неподалеку от Котласа, в леспромхозе. Он работал таксатором. Потом, годы спустя, выучился на инженера-лесоустроителя, месяцами пропадал в дальних экспедициях. Незадолго до смерти отправился в Читинскую область. Я в ту пору занимался историей карийской каторги и просил Леву осмотреть местность.

Вот его давний «отчет»:

«Итак, вчера совершил экскурсию на места карийской каторги.

На всем протяжении реки горы гальки и песка, покрытые черемухой, ивой, ольхой, таволгой, различными травами. Окрестный лес подвергался длительной рубке,

сохранился отдельными клочками и состоит из лиственницы даурской и березы. Дорога идет по берегу реки, затем разветвляется, и часть ее, новая, переваливает через сопку, откуда открывается живописный вид на долину р. Кары. Широкая падь, дно которой заросло лиственными породами, уходит вдаль, а вокруг волнами к горизонту — лесистые горы.

Каторжные тюрьмы располагались в Нижней Каре, Средней и Верхней, на протяжении примерно 65 *км*. Ближе к Нижней Каре дорога идет мимо фундамента и площадок, заросших сорной растительностью и кустарником. Со мною шел старик старатель (внук ссыльного), рассказывал много интересного. Этот фундамент — остаток тюрьмы. Кстати, местные жители называют этот участок «Политика»: здесь, очевидно, находились политические зеки. В самой Нижней Каре есть еще фундаменты, я определил глазом: 20×40 *м*. И, наконец, в этой же Нижней Каре есть остатки здания, сложенного из местного плоского камня, стены выкрашены в белый цвет и имеют толщину до метра.

Рядом с Нижней Карой есть кладбище каторжан. Часть приведена в кое-какой порядок, есть ограды и могильные плиты; другая — запущена. На одном месте из камня сложено нечто вроде помоста, на котором лежит чугунная плита, на которой отлито: «Политические каторжане, погибшие в Карийской каторге», а ниже указаны фамилии, дата и причина смерти. Привожу этот список. (Далее следуют имена.— *Ю. Д.*)

Видишь? Третьим-то по счету — П. Г. Успенский! Вспомнилось, как ты водил меня в Тимирязевку, к малым прудам,— показывал, где эти подлюки скопом одного убивали.

Причина смерти П. Г. Успенского указана: «Повесился».

Заела совесть! От нее никуда не денешься!

Возможно, что-нибудь упустил. Напиши, постараюсь восполнить. У нас все хорошо. Скоро приступим к лесным работам в здешней очень глухой тайге. Жара страшная, 30°, а ночи холодные. Если не трудно, пришли две или три фотопленки для «Зоркого» в 65 или 90 единиц. С приветом Лева».

Понятно ль, о каком Успенском речь? Да, да, нечаевец, не раз упомянутый. И вот оно где опять возникает, это имя — на чугунной плите Карийского кладбища.

Совесть заела? В петлю полез один из убийц Ивана Иванова? Если бы так, а то ведь нет, не заела, не полез, совсем по-другому было дело.

Успенский и после убийства стоял неколебимо: надо было, ибо мог предать. То, что свершилось, было нравственным. Ибо дело превыше «я». Нравственным не в ветхом, расхожем смысле. Требовалось новое мужество и новый реализм, выжигающее все срединное, шаткое, ненадежное.

В остроге жил Успенский тихо, как бы даже и в стороне от других. И дожил до зимы, когда каторжане, замыслив побег, принялись рыть подкоп. Но подкоп обнаружили стражники. Нагрянула администрация: следствия-преследствия, дознания-передознания. Острог как свинцовыми парами окутался: кто выдал? кто предал?.. Успенский жил тихо, как бы в стороне от других. Не потому ли тихо, не потому ли в стороне, что мог? Стало быть, надо.

Его заманили в арестантскую баню, задушили в запечном углу, где пахло прелью и сыростью. И уже мертвого вздернули.

В камере Иркутского острога долго молчал Николаев. Потом молвил, не поднимая глаз: «Да-а, идеал у нас выше высокого, а нравственность, случается, не по мерке идеала...»

Сказано было искренне, даже болезненно-искренне, однако Лопатин не успел обрадоваться: Николаев смотрел не то чтобы вызывающе, но и не без некоторой насмешливости.

— Эх, Герман Александрович, вы, конечно, горой за убитого Ивана Иванова, а, сдается, слона-то и не приметили?

— Не понимаю,— нахмурился Лопатин.

— Не приметили, чего Иванов-то на уме держал... Ни на понюшку не верю, чтоб предал, а вот другое. Успенский в судебной зале не клепал на мертвого: Иван Иванов хотел устроить свое общество на тех же правилах.— Николаев повторил раздельно: — На тех же самых основаниях, что и Нечаев. То есть? А то и есть, Герман Александрович,— на безусловном подчинении ему, Ивану Иванову!

Крутым поворотом на месте Лопатин перервал диагональ, по которой все ходил да ходил крупным шагом, перервал, остановился и кулаком об кулак сильно пристукнул:

— По шляпке гвоздя ударили!

— Теперь мой черед: не понимаю,— сказал Николаев, чувствуя прилив давешней колючей враждебности к Лопатину.

Враждебность эта не ускользнула от Лопатина. Понадобилась ему минута, другая, чтоб погасить встречное раздражение.

— Давайте-ка, Петр Федорович, спокойствия ради закурим. Совместный извод табака настраивает на диалог более или менее мирный.

Они закурили.

Вышел, однако, не диалог, а монолог. И притом обстоятельный. Друзья в Питере некогда пошучивали: «Герман — распространился». Тут было не до шуточек.

Начал Лопатин с того, что, сожалея об участи Ивана

Иванова, ничуть не удивился бы, если б этот честный малый обернулся вторым Нечаевым, ибо тайные общества — плохая школа воспитания. Почему? Такова уж коренная природа тайных обществ. Не убеждают сочленов, а залучают, приманивают, опутывают, мистифицируют. Нечаевскими правилами как раз и предписывалось не убеждать, а уловлять. Помните? Ну, вот, вот... Теперь так, что́ она такое — «Народная расправа»? С нечаевской стороны — наглый обман, возведенный в принцип. А с другой стороны — доверчивость, самообольщение. Вы не определяли средний-то возраст «расправщиков»? Нет? Так вот, двадцать два, двадцать два с половинкой. Стало быть, личный состав совсем, совсем свежий. Это не к тому, чтобы слюнцой брызнуть: ах, молодо-зелено. Это к тому, чтоб спросить: отчего, пусть и очень молодые люди, но отнюдь не олухи, отчего столь охотно позволяют залучать себя, опутывать? Почему чуть ли не в один прыжок из мирного своего альтруизма вспрыгивают на склизкую наклонную доску заговоров да с разбегу и в омут? А вот почему: тайное общество сулит скоропалительное исцеление! Исцеление народа от всех вековечных бед. Именно скоропалительное, именно от всех. Конечно, есть чем увлечься. Беззаветно, безоглядно, горячо увлечься. Тут уж годить стыдно, позорно. А теперь заметьте, Петр Федорыч: у Нечаева, кроме «круши и бей», никакой положительной цели выставлено не было, так — туман, а за туманом нечто лучезарное. А никто из его клевретов в затылке не поскреб, не задался вопросом положительной цели. Нет, без луча теории метнулись в практику. Да и тут тоже никаких вопросов. Тайное общество на то и тайное, чтоб каждый сверчок на свой шесток. Ты желаешь каких-либо объяснений, а тебе в лоб: «т а м» решают, и баста. Ты желаешь все-таки знать, какими средствами, какими возможностями располагает общество? А тебе — фантасмагории: вся Русь-матушка за нас, в Москве это даже и не

центр, а полномочные эмиссары. И для вящего оглушения — Международный революционный комитет!!! Вот так-то. А правила, нечаевские правила наставляли: доверяй... У Герцена, Огарева и Бакунина был как-то, лет уж десять тому, разговор с одним россиянином. Его спрашивают: «Много ль вас в «Земле и воле»?» Отвечает: «В Питере сотни три, в провинциях тыщи три». Герцен — Огареву: «Ты веришь?» Огареву неприятен скептицизм Герцена, но молчит. Герцен — Бакунину: «Ты веришь?» Бакунин хохочет: «Ну, положим, столько нет, зато потом будет!» А теперь уж и мне разрешите-ка по шляпке гвоздя...

— Ударяйте,— мрачно кивнул Николаев.

— Тайные общества столь же древни, как и государства. Иногда им удавалось устранить то иль иное лицо. И что же? Цезаря тотчас сменял Антоний. Успех минутный, фиктивный. А опасность наисерьезная: растление душ. От слабости — ложь; от недостатка средств — неразборчивость в средствах. Против фанатизма — фанатизм; против нетерпимости — нетерпимость. Нет, Петр Федорыч, как ни приманчив путь, а в тупик приводит.

Опять он долго молчал, каторжанин Николаев. Долго и мрачно молчал, поникнув и зябко поводя широкими, крепкими плечами. Потом сказал жестко:

— А знаете, вы хуже Нечаева. Тот убил Ивана Иванова, вы — убиваете надежду. Как жить, ежели ты не в лондóнах, а...— Николаев повел взглядом на зарешеченное тусклое оконце и махнул рукой.

Лопатин не вспыхнул, не оскорбился, нет, пожалел, остро, больно, братски пожалел человека, который не сегодня завтра сгинет в бесконечной тоске Якутского тракта.

— Послушайте,— сказал он ласково,— за кордоном я успел прочесть письма Герцена «К старому товарищу». Сборник издали дети покойного Александра Ивановича.

— «Старому товарищу»,— угрюмо буркнул Николаев.— Старые песни.

— А вот и не так,— живо возразил Лопатин.— Какие же старые, ежели Герцен высоко оценил Международную организацию работников? Первый, говорит, всход будущего. Надо, говорит, полки собирать. Понимаете: со-бирать! А фанатики, знай, одно: вынь да положь. Оно так, прав Гегель: ничто великое не совершишь без страсти. Отлично! Да ведь страсть-то может и к счастью подвигнуть, и к несчастью. Нет, брат, ты страсть свою окунай, окунай в холодный разум. Отрицать вообще государство, любое государство — мысль ребяческая.

— Скучища, Герман Александрович. Гимназия. Никакого идеала.

— Вот это и есть старая песня,— рассмеялся Лопатин.— Идеал, Петр Федорович, был и останется воздушным замком, коли мы от «гимназии» наутек.

— Сухомятка: век живи — век учись.

— Угадали! — твердо и весело ответил Лопатин.— Учись. Именно так — учись, изучай. Но не зубри, истины не вызубришь, они в ходе познания добываются. А последней точки быть не может. И распрекрасно! А то что за жизнь? Сиднем сиди, изумляйся абсолюту. Нет, в тыщу раз прекраснее — выработка научных результатов. А если ты человек партии, ты эти результаты и применяй на практике.

— А все ж и выходит...— Николаев руками развел.— Выходит, идеал-то без нужды. Ползай червь, взлетать не смей.

— «Не смей»? — светло улыбнулся Лопатин.— Вы ж знаете, Чернышевский роман в равелине писал. Так вот, уж на что Салтыков Михаил Евграфович на похвалы скуп и в облаках не витает, а он восхищался: экий человек Чернышевский, сидит в сыром равелине, ему бы, кажется, только о том и мечтать, чтобы в сухой перевели,

нет, об алюминиевых дворцах для всего народа мечтает.

— Ах, хорошо-то как сказано,— воспрянул Николаев. И вдруг понурился: — Учитель, вот бы кому на волю...— Он помолчал.— Жизнь бы отдал. Честно говорю, хоть сегодня, хоть сейчас.

— И я о том же, и я так же,— порывисто ответил Лопатин.— Только бы на поселение вышел, а тогда...— Николаев, потупившись, горестно покачал головой.— Как! — испуганно, почти отчаянно воскликнул Лопатин.— Срок истек! Обязаны, по закону обязаны...— И, быстро склонившись, заглянув в глаза Николаеву, прошептал: — Вам что-нибудь известно?

— Никогда не обратится с просьбой о помиловании,— тоже шепотом молвил Николаев.— А без отречения о н и его не выпустят даже и на поселение.

— Но срок, законный срок,— повторял Лопатин.— Не могут же они...

— О н и всё могут...

О н и — это был и генерал-губернатор Синельников.

Скоро полгода, как его высокопревосходительство замкнул извилистую кривую своего долгого ревизионного обозрения Восточной Сибири и теперь, получая казенные бумаги, мысленно видел пеструю и вместе однообразную явь.

Огромность пространства всколыхнула в душе Синельникова имперскую гордость. Горы, леса, Амур, грозовые ливни, ночной огонек почтовой лодки, похожей на кибитку, станицы поселенцев, Золотой Рог с палубы шхуны «Восток» — все это представлялось Синельникову ландшафтами из Купера. Он любовался тем, что называл картинами природы, и это любованье сливалось с патриотической гордостью. Однако Синельников не путал величину с величием. Огромный край все еще ждал колонизации —

земельной, коммерческой, промышленной,— столь же огромной, как и сам этот край.

Затворившись в своем спартанском кабинете, генерал оглаживал пальцами заветный свинцовый карандаш. И записал то, что никому не предназначалось, а было как бы горестным, трудным вздохом: «Велики богатства дальней Сибири, но где талантливые деятели, где те верные, разумные царские слуги, которые воскресят спящие сокровища природы?»

Ах, и посмеялись бы над его высокопревосходительством в секретной камере Иркутского острога: талантливые деятели и царские слуги — вещи несовместные! Но в том смысле, в каком произнесено было «они все могут», в таком именно смысле «о н и» действительно и хотели и умели многое.

Генерал-губернатор, поборник законности, не выказывал ни малейшего неудовольствия по поводу незаконного содержания под стражей Германа Лопатина. Озабоченный внедрением законности, Синельников признавал и такую сферу, где ее воздух разряжен донельзя, ибо там вступают в силу соображения, юстицией не предусмотренные.

Еще в Петербурге, на Фонтанке, в шуваловском кабинете с пылающим камином, коврами и фарфором, Синельников выслушал проект «перемещения» Чернышевского, окончившего срок каторги. Проект рассмотрел комитет министров, засим последовало высочайшее согласие. На Синельникова возлагалось исполнение. Но встрял этот Лопатин, ему, Синельникову, совершенно неизвестный. Хоть и не попович, хоть и не семинарский пучок, но от поповичей зачумившийся. Встрял — и пришлось медлить. И на Фонтанке, и здешние жандармские штабофицеры, и он, Синельников, опасались заговора с целью похищения наиглавнейшего государственного преступника. И надо было обнаружить этих иных. Увы, не обнару-

живали. А зима на дворе уже вовсю трещала, Ангара, смирясь, не клубила за окнами сизо-белые клубы пара. И благоразумный, вдумчивый жандармский полковник Дувинг молвил тихо, как на похоронах: «Пора, ваше высокопревосходительство».

По всему пути следования Чернышевского из Александровского завода в Якутию, всем, кому ведать надлежит, были разосланы его приметы: рост два аршина пять с половиной вершков; волосы на голове, бровях светло-русые, усы и борода рыжие; глаза серые; нос и рот умеренные; зубов многих нет; подбородок круглый; лоб малый; одежда: овчинный полушубок, чарки с теплыми онучами, шапка и рукавицы. К словесному портрету прилагался фотографический, снятый в Александровском заводе фотографом Гофманом и отпечатанный в его собственном иркутском заведении.

Генерал Синельников, лично известный трем государям, полновластный распорядитель от Ангары и до Тихого океана, от Амура и до океана Ледовитого, составил инструкцию транспортировки Чернышевского, и знаток подобных транспортировок полковник Дувинг не нашел в ней ни сучка ни задоринки.

Адъютант Иркутского жандармского управления штабс-капитан Зейферт получил предписание, получил и прогонные — 35 рублей 29 копеек. Прогонные платили поверстно: верста — копейка. Стало быть, дорога на почтовых предстояла в три с половиной тыщи верст.

На одни прогонные, известно, не проедешь, энергия нужна, чтоб ямщики не клевали носом. Зейферт был гонцом энергическим. Ямщики от него стоном стонали. Гонял гонец и в Петербург, а бывало, и в Шанхай, и в Японию. Посылали его с важными бумагами, то секретно-жандармскими, то секретно-дипломатическими. Нынешнее поручение было из наиважнейших. Зейферт, однако, огорчился. Во-первых, охота ль накануне рождества отправляться в

дорогу? Во-вторых, приказ настиг в те дни, когда у бедняги обострилась давняя, плохо залеченная тайная болезнь. В-третьих, после долгого перерыва он получил письмо из Константинополя, от брата, посольского чиновника, и, как всегда, испытал острую зависть: Володька нежится в этом турецком раю, у него там пикники на островах Мраморного моря, дамы-бриллианты, а ты тянешь лямку в каторжной глуши. В Иркутске еще куда б ни шло, а то вон куды-ы-ы-ы: лети-ка, брат, сломя голову в Александровский завод, оттуда обратно в Иркутск, добрые люди рождество будут праздновать, а тебе, дураку, еще семьсот с лишним верст на север, на север, на север.

С отъездом Зейферта — две тройки и два жандармских унтера — Синельников телеграфировал в Петербург: «Чернышевского перевожу в Вилюйск».

Чернышевский не знал, куда «переводят».

Чернышевский знал — увозят. И не на поселение. Иначе объявили бы — едете туда-то. Но этого не объявили.

В жарко натопленной канцелярии трещали дрова.

Чернышевский посмотрел в глаза Зейферту, и штабс-капитан, чувствуя себя вестником рока, поджал сухие, обметанные морозом губы.

Еще звезды не поблекли — исчезли тройки. В одной — Чернышевский в тисках жандармских унтеров; в другой — позади, не отставая, штабс-капитан Зейферт.

В первые дни владело Чернышевским позабытое чувство физического перемещения в пространстве. Все поворачивалось, поднималось и опускалось в этом дорожном движении, в этом ровном беге тройки, шорохе полозьев, наклонах чащи, в порывах ветра и разрывах туч, в запахе конского мыла и станционных дымов, в наплыве незнакомых лиц, дальнего охотничьего выстрела, снежной пы-

ли, и это физическое чувство перемещения давало иллюзию начала.

Полтора года отжил он, ожидая перемен. Полтора года с того августовского дня, когда истек каторжный срок. Не свободы ждал — поселения. Об Иркутске мечтал, об окрестностях Иркутска — устроится, жена приедет, дети приедут... Было ему за сорок. В сорок уже не скажешь, что все впереди. Но еще и не скажешь, что все позади. Он жил ожиданьем, ожиданье пахло вострецовским сеном, скошенным в долине Газимура, первозданная тишина опрокидывалась, как купол, над Александровским заводом, в тишине тонко звенело ожиданье.

Он гнал от себя то, что знал, хорошо знал: они могут все. Его осудили незаконно. А теперь медлили поселением, законом установленным. Несколько лет назад, набрасывая сцены очередной повести, он изобразил, как некий правитель губернской канцелярии тщился убедить некоего губернатора поступить согласно Своду Законов. «Закон мне мешает?» — спросил губернатор. «Мешает, ваше превосходительство». Губернатор взял увесистый фолиант, небрежно бросил в ящик письменного стола и запер на ключ. «Ну-с, где он, ваш закон? — спросил губернатор. — Укажите!» Чиновник молчал. Губернатор махнул рукой: «Ступайте, пишите, как я велю»... Чернышевский хорошо знал: они всё могут. Но этого знания не хотела душа. Он жил ожиданьем и не жаловался в Петербург, боясь напоминать о себе, словно бы стараясь перехитрить тамошних, петербургских, пусть забудут о нем, и все сладится в коловращении казенного делопроизводства.

И только на исходе года, в декабре, однажды под утро, забывшись сном, он вдруг, внезапно, без всякой внешней причины вскочил, повторяя растерянно: «Что это со мной? Что это со мной?» А это и было беспощадно-ясным, бесповоротно-разящим осознанием: они могут всё.

Надо было одолеть самого себя. Он взял правилом ежедневно готовиться к неизбежному. Память черпала из родника вековой мудрости. Туча вражьих стрел застит солнце? — прекрасно, будем сражаться в тени. Но из родника струилось и другое: дух веет, где хочет. А его дух веял рядом с той, кого называл он своей милой радостью. Он казнился: ты осудил ее на пожизненное несчастье. И на глазах закипали слезы.

А потом, в жарко натопленной канцелярии, где хлыщеватый штабс-капитан непреклонно поджимал губы, Чернышевского сильно и остро ударило в сердце какое-то дикое изумление, как человека, сраженного пулей: «Я убит?!» Но он не забился, как подстреленный. Нет, явственно ощутил требовательный и гневный взгляд своей жены, своей милой радости. Мгновенно и властно овладело им то, что всегда считал он легковесным, несерьезным, даже смешным,— самолюбие. И он сохранил внешнее спокойствие...

Унтеры сопели рядом, позади, не отставая, мчал штабс-капитан, но теперь были версты, мглистое небо, звон колокольчиков, а потому было и то, что всегда бывает в душе заключенного, когда вдруг обрывается выстуженная, как сизая зола, неподвижность заключения: иллюзия перемены. И слабел, отпуская, гнет вселенской заброшенности.

Однако едва показался Иркутск — освещенные окна, прохожие, сани,— его больно обняло ощущение жизни счастливых, вольных людей, у которых было то, чего у него давным-давно не было: семейный ужин, свечечки на рождественских елках; сладко слипаются детские глазенки, детей отправляют спать, они капризничают, старая нянька ворчит, а кто-то уютно усаживается под лампой с книгой и разрезальным ножом.

Ему и здесь не объявили, куда везут.

Сказали только: «На север». Он понял: везут в Якутию. И, поняв, ни гнева не испытал, ни раздражения.

Устал он, бесконечно устал. Негромко, без жеста, не глядя на офицеров, спросил бумагу для телеграммы родственникам в Петербург. Написал несколько слов, отдал, и штабс-капитан Зейферт с тайным удовольствием поймал на лицах полковника Дувинга и подполковника Купенкова то сознание своей обидной, унизительной «неодушевленности», какое было и у него, Зейферта, во все дни этой проклятой транспортировки.

«Еду на север жить. Поездка очень удобно устроена. Я совершенно здоров. Чернышевский».

Случилось и мне ехать на север. Сперва самолетом, потом вертолетом — и вот он, Вилюйск, бревенчатый городок на вечной мерзлоте. Был конец мая, паводок еще держался, пустынные вилюйские воды сплывали широко. По другую сторону реки, в тайге, очень далеко, куковала кукушка, а чудилось, будто в двух шагах. Ноги вязли в песке мельчайшем, как пудра, с пестрыми камешками.

Я оглядывался, отыскивая острог, где Чернышевский прожил двенадцать лет. Мне сказали, что Вилюй подмыл и размыл берег, острог давно рухнул, а вот полицейское управление, там, повыше, сохранилось, интересно поглядеть, не пожалеете.

Француз-журналист (имени не разобрал) отметил в книге посетителей: «Как хорошо, когда полицейские участки превращают в музей!» Браво, незнакомец.

К Вилюю я вернулся под вечер. Все еще куковала кукушка. Огромное небо изукрасилось малиновыми и свинцовыми разводами. Они отражались на широком разливе, медленно колыхаясь.

Когда-то, в вятских лесах, я видел холодное небо с такими же малиновыми и свинцовыми полосами, видел такой же белесый вечер, и вот давняя тоска ощутилась

телесно-отчетливо. Но здесь, у Вилюя, была она не только моей. Есть пронзительные минуты: твое «я» переливается в другое, давно закончившее земные дни, и меня пробрала тоска одинокого стареющего человека, которого вилюйские школяры рисуют нынче очень похожим на якута.

Совсем маленький первоклассник нарисовал дедушку Чернышевского в гурьбе якутят, затеявших игру в снежки. Может, мальчонка слыхал краем уха, что Николая Гавриловича привезли зимой?

Привезли Зейферт и двое иркутских унтер-офицеров; те, что знали в лицо Лопатина: они сторожили его на гауптвахте. Отныне им было велено сторожить Чернышевского в остроге. Приметы Лопатина штабс-капитан велел записать исправнику, обратив особенное внимание на очки и скорую походку.

Зима матерела в январских стужах. Ни голосов, ни собачьего лая, только легонький звон льдистых блесток, на глаз почти неразличимых.

А в Иркутске был святочный снегопад, медленный, нежный, театральный. И легкая мела поземка, в сотый раз заметая, зализывая стремительный росчерк жандармских саней.

Унося Чернышевского, пробежали кони рядом с губернским острогом, где сидел Лопатин, пробежали Знаменским предместьем, близ монастыря, где сугробами означались могилы декабристов,— пробежали, истаяли в снежном дыму столбового Якутского тракта.

Из секретной камеры, из острожных ворот вышел Лопатин.

Его отдали под гласный надзор, воспретили оставлять Иркутск, он узнал об участи Чернышевского, понял, что

все потеряно, но... О, радость, будто после изнурительной болезни, и эта ликующая сила дневного света и воздуха, исчезновение незримой тяжести на плечах и приливы узнавания обыденной домашности. Ей-богу, не стыдишься сантиментов, когда тебе тычут в лицо бороду, пахнущую табаком. Улыбаясь, принимаешь заботливость людей, едва знакомых. Чертовски хорошо жить!

Щапов с Ольгой Ивановной понимали Германа: после тюрьмы мир прекрасен. Увы, недолго, но прекрасен. А потом этот мир оборачивается тюрьмой.

У Щаповых ничего не переменилось. «Пи-и-исатель»,— на высокой ноте презрительно выпевала попадья-матерщинница; ей казалось, что «пи-и-исатель» наихудшее из непечатного. Вдова имела свои резоны: постоялец вечно тянул с уплатой за постой. Последняя книга «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа» обрела читательский успех, но материальные условия автора не улучшились: слишком много образовалось долгов, чтобы образовались накопления. Ольга Ивановна по-прежнему хозяйственно изворачивалась и учительствовала в женской гимназии. Со своими печалями ходили к ней бабы-соседки.

Щаповы приняли Германа как родного. Неподалеку от своего жилья, на Троицкой, наняли ему комнату в квартире доброго знакомого, взявшегося опекать вчерашнего острожного сидельца. Приискали и службу. На деньги «для Чернышевского» Лопатин табу наложил, служить надо было ради хлеба насущного. И это они, Щаповы, познакомили Германа с Чайковскими — Татьяной Флорентьевной и ее дочерью, шестнадцатилетней Ниночкой. Войдешь в дом, что близ Общественного сада, а в доме цветы, цветы, в корзинках цветы, и в бадьях, и в горшочках. Встретишься взглядом с Ниночкой — и душа словно в бурной мазурке...

Перелистывая тетради с пометкой: «Чайковские», вот о чем вспомнил, о чем подумал.

Было время, занимался я биографией народовольца, погибшего в Алексеевском равелине. Отыскал письмо его двоюродной сестры. Оно поразило меня датой и адресом отправителя: 1934 год, Москва, Мясницкая.

В тридцатых годах, школьником, проходя тесной, людной, трамвайной Мясницкой, я глазел на витрину с огромным, тускло блестевшим шариковым подшипником. Красовался подшипник-гигант на витрине дома, где квартировала кузина погибшего народовольца. И вот десятилетия спустя, обнаружив ее письмо, я был поражен, как мы, в сущности, близки во времени, если кузину моего героя я мог видеть своими глазами.

А теперь эта временна́я близость опять ощутилась — мог бы повстречаться и с Ниной Чайковской. Разумеется, я не назвал бы ее Ниной, как не назвал бы Татой старшую дочь Герцена, которую тоже мог бы видеть, находись она в тридцатых годах в Москве, а не в Париже. Правда, Чайковскую я не назвал бы Ниной не только из почтительности, но и потому, что она была наречена при рождении Антониной, а Нина — это домашнее, усеченное. Не знаю, счастлива была она или несчастлива, но вековала долго; накануне Отечественной я мог бы навестить ее в подмосковной Купавне.

Беринда-Чайковский, отец Нины, ссыльный поляк (вероятно, повстанец восемьсот тридцать первого года), служил горным исправником. Он был женат на Татьяне Булатовой. Жили они с детьми на жалованье в четыреста годовых, при сибирской дороговизне — в обрез. С другими исправниками не сравнишь, те загребали и до сорока тысяч. Как так? А очень просто: исправники «регулировали отношения между рабочими и рядчиками». И не на

одном прииске, а на целой, как говорили, с и с т е м е. Выходит, представитель короны на землях, равных герцогству, княжеству. И плевал он на свой двенадцатый класс по табели о рангах — за версту ломал перед ним шапку рядчик-золотопромышленник. Потому и ломал, что регулировщик не совал нос в регулирование, а совал в карман «оброк». И еще статья дохода, тоже не тощая: зеленый змий, контрабандный. У исправника с его казачьей командой на то и глаза разуты, чтоб своего не упускать. Известно, у каждого ладонь чешется. Только вот какая? Правая — к корысти, левая — к ущербу.

Не зудела правая у Чайковского. Морока была с ним управляющим, артельным старостам, контрабандистам. Но и ему — беда со своей совестливостью. Одна слава — честный.

Если уж чем и вознаградила судьбина, так это Татьяной Флорентьевной. Из тех была она сибирячек, что умели не коня на скаку остановить, а не остановить дело — постоялый ли двор достанься, мастерская, усадьба, промысловая ли артель. И не раба супругу, и не медаль на шее — равноправная. Отвага была в этой женщине, отвага бабок и прабабок, тех, кого родины настигали на обочине иль опушке, кто обухом перешибал хребет матерому волку и не падал лицом в подол, а неутомимо вычерпывал воду из лайбы посреди погодливого Байкала. Но, может, ключевое в том было, что никогда Татьяне Флорентьевне на ум не вскакивало попрекнуть своего Севашу; был Севастьян для Татьяны в точном значении его имени — высокочтимым.

Она выучилась польскому по «Дзядам» Мицкевича. Ах, эта кибитка, летящая в чужой и глухой стороне... Любила ворожить по гадательной польской книге, простодушно радуясь, когда детям ее возвещалось светлое будущее. Нисколечко она не противилась мужниным стараниям внушить им сердечное чувство к далекой отчизне,

крестила ж детей в православии, чему муж не противился.

Переселившись в Иркутск, Чайковские заняли рубленый, в два этажа дом. Татьяна Флорентьевна вступила в соперничество с городскими дамами, мастерицами цветоводства, и вскоре всех затмила своими олеандрами, розами, гелиотропами.

Тогдашний генерал-губернатор Муравьев благоволил неподкупному Чайковскому, а жену его находил здравомыслящей и добросердечной. Чайковские обрели в Иркутске вес. И тем воспользовались. Севастьян Осипович держался чуть в тени, зато Татьяна Флорентьевна ходатайствовала за мужниных компатриотов, ссыльнопоселенцев. В канцеляриях знали о благоволении к Чайковским высшего начальства и зачастую не отказывали.

После смерти мужа Татьяна Флорентьевна, как градом прибитая, все ж не замкнулась в своем горе, а продолжала, и, может быть, еще усерднее, доброхотствовать ссыльным.

Герман навещал Чайковских вечерами после службы. Он служил в Контрольной палате младшим ревизором и получал сороковку, что по иркутским ценам было не жирно. Но служил Лопатин охотно.

В его интересе к службе коренился тот же интерес к материальному устроению, какой был при зачине «Рублевого общества». И та же пытливость, с какой он постигал политическую экономию. Многим сотоварищам, думал Герман, решительно недостает знания, «как государство богатеет», у них, так сказать, общенегодующее, поверхностное представление о чиновничьей корпорации. А он, Лопатин, изнутри разглядит механизм, действующий зубчик в зубчик. К тому же, ей-ей, любопытно вблизи наблюдать тех, кто приставлен к этому механизму.

Но, черт дери, за ним-то самим тоже наблюдали. Нет, не в Контрольной палате. Вне палаты. Предписано было

г-ну Лопатину вертаться домой к семи вечера и чтоб никаких сборищ. Э, бог не выдаст, свинья не съест. Старший сын Татьяны Флорентьевны был исправником полицейского управления, и на поздние возвращения г-на Лопатина к себе, на Троицкую, не долго взирали строго. Что ж до «сборищ»... Если они и случаются, то в доме почтеннейшей Татьяны Флорентьевны, а это уж, пардон, не сборища, а мирные чаепития при звуках фортепиано. Ну-с, а во флигеле на Почтамтской, у г-на Щапова, собеседования академического свойства — география, этнография и политическая экономия. Не надо пугаться, господа, хоть и по-ли-ти-ческая, однако цензурой дозволенная, о чем, глядите-ка, в «Московских ведомостях» черным по белому.

И верно, там, в Санкт-Петербурге, вот ведь какое заключение вывел цензурный комитет об этой толстой книге: «Можно утвердительно сказать, что ее немногие прочтут в России, а еще менее поймут ее». Трехтысячным тиражом отпечатали увесистый фолиант на Фонтанке, близ Обуховского моста. А на Фонтанке, 16, близ Цепного моста, коли спохватятся, то позже. Газеты же между тем извещают о новинке: «К а п и т а л. Критика политической экономии. Сочинение Карла Маркса. Перевод с немецкого. Том первый. Книга 1. Процесс производства капитала. С.-Петербург. Издание Н. П. Полякова. 1872».

Имя переводчика на книге не значилось. Оно значилось в штате Контрольной палаты. И в жандармской бумаге, где было указано: «Лицо круглое, чистое, волосы русые, зачесанные назад, борода небольшая, окладистая, рот и нос небольшие, походка скорая».

Типографического изделия он ждал нетерпеливо, то унывая (запретят!), то бодрясь (проскочит!), и вот свершилось, су-ществу-ет... Казалось бы, грянь, ликуя, во все колокола, как грянуло нынче, в светлое воскресенье. А он, выйдя из дому, поймал в себе какое-то глупое удоволь-

ствие оттого, что на дворе несолнечно, невзрачно, холодно. Он шел к Ангаре, не обращая внимания на праздничность улицы, на принаряженных людей, на пасхальные восклицания и поцелуи, шел, не стыдясь своей горечи и своей обиды, хотя ведь вот же сознавал, очень хорошо сознавал, как они позорно эгоистичны.

Да, ты верил в краткость сибирской отлучки, у тебя была форсистая надежда на повтор вологодской, кадниковской стремительности, удачи почти мгновенной, как с Лавровым,— приедешь, увидишь, победишь. И вернешься, и закончишь начатое в Лондоне. Покидая Петербург, ты толковал Даниельсону: случись задержка, управишься с переводом «Капитала» не хуже моего, а то и лучше. Нет, не кривил душой, но был уверен в скором возвращении. Да уж больно далеко ты заехал, вот она, судьбина-то, и объехала тебя на кривой, и ты идешь и ловишь в душе глупейшее удовольствие оттого, что на дворе невзрачно и холодно.

Лопатин вышел к Ангаре, еще окованной тяжелым, торосистым льдом. Все было серым на белом, белым на сером. Противоположный берег почти неразличимо сливался с рекой, одинокое дерево, к которому прислонился Герман, сунув руки в карманы пальто, слабо и тускло пахло мерзлой корой.

И здесь, в безлюдье, в отдалившемся гуле колоколов, странное явилось ощущение тугих напоров студеных струй под тяжелыми, торосистыми льдами, и, словно беспричинно, сквозь это ощущение проглянули вологодские звезды. Лавров был в огромной медвежьей шубе, Лавров говорил о жажде исторической жизни, владеющей русскими...

И вологодские звезды, и тогдашнее волнение Петра Лавровича, и нынешний подледный ход Ангары сопряженно и внятно отозвались в душе Лопатина глаголом этой вот исторической жизни. Незримо, но мощно пово-

рачивала она к новому небу и новой земле. Ее силы, скучно нареченные производительными, эти демоны-повелители облачатся в поддевку расторопных прислужников пахарей и мастеровых...

Все было серым и белым, слабо и тускло пахло мерзлое дерево, но Лопатину уже нечего было делать на пустынном, безлюдном берегу, ему хотелось увидеть Щапова, увидеть Ниночку, услышать праздничные колокола, и он тем скорым шагом, чуть враскачку плечами, шагом, отмеченным в его, Лопатина, особых приметах, пошел на Почтамтскую...

Афанасий Прокофьевич, вскинув лохматую голову, поздравил достопочтенного переводчика со светлым праздником — и помахал газетой: он тоже, как и Герман, газетное чтение начинал объявлениями книгопродавцев. А достопочтенный переводчик в который раз с похвальной скромностью пояснил, что ему, собственно, принадлежит часть перевода, и опять умолчал, что именно он-то и дал термины, впервые звучащие по-русски, вот хотя бы такой, как «прибавочная стоимость», потер руки: «С ближайшей почтой получим! Ай да Поляков, ай да молодец!»

Щапову ли возражать? Этот издатель Поляков, не страшась конфискаций и разоренья, выдает публике отнюдь не боговдохновенное чтиво, а вот и его, щаповские, социально-педагогические условия тоже ведь Поляков издал. Герман улыбался: «А теперь, Афанасий Прокофьич, мы уж с вами вплотную засядем за «Капитал». Надо и мне многое переварить заново». В этом «и мне» намек был — вам, герр профессор, тем паче. Герр профессор не обиделся, он давно толковал Лопатину: «Много нужно книг, а «Капитал»-то прежде прочих». И, словно поймав его мысль, Лопатин заметил, что и ему приспела нужда в некоторых специальных сочинениях. «Каких же?» — живо осведомился Щапов. На лице Лопатина мелькнуло легкое и радостное удивление, будто он только сейчас, сидя

против Щапова, и сам-то понял, в каких-таких сочинениях есть нужда. «Ну, ну?» — повторил Афанасий Прокофьевич и, услышав ответ, пообещал: «Этим-то хоть сейчас в библиотеке одолжимся!»

А день был праздничный, стало быть, трижды лобызайся с каждым встречным. Охота была с каждым-то встречным? Спешил Герман, спешил к Общественному саду, еще пустынному и нагому, мимо сада спешил Герман — в рубленый, в два этажа дом, где много цветов, и розы, и гелиотропы, и олеандры. Трижды расцеловался с Татьяной Флорентьевной и столько же с Ниночкой. Столько же? Отчего бы и не повторить «младой и свежий поцелуй»? И эта кровь, прилившая к ее мраморному лицу, и трепет ее ресниц. Чертовски хорошо жить не только исторической жизнью, а?

И холод, и безветрие принял вечер от ушедшего дня, но словно в подарок озарился огнями, тени были в окнах, тени были на снегу, бежали экипажные фонари, губы хранили нежный вкус поцелуев, и ощущала душа то напряжение, которое Герман любил как предвестье крутой решимости.

Когда медь меняют на серебро, платят прибавку — лажу. Когда замыслишь обмен особого рода, риск неизбежен, как лажа. Говорят: риск полки водит, как фельдмаршал. Но и фельдмаршалы не большие охотники до «авось». Не поступай напропалую, не желая пропасть. Желая удачи, не действуй наудачу. Все это было ясно, как при ясной погоде.

А погода была погожая: числом солнечных дней не уступал Иркутск ни Милану, ни Флоренции. Из Флоренции, направляясь в Ниццу, идешь берегом Арно. Река Арно нестрашная, а глянь-ка на Ангару, не на пароход «Муравьев-Амурский», собственность оборотистого, загребущего, как пароходные плицы, Рукавишникова, ты на

Ангару, на Ангару гляди, на скорость ее и мощь, и вообрази-ка ты ангарские пороги, где гром и пена, чуть зазевался — и дело табак.

Все это было ясно Герману, как при ясной погоде. Пороги, однако, виделись мысленно, не с пристани, не с крыльца пароходной конторы, а на больших листах исчерченной бумаги, аккуратно наклеенной на шероховатый, в мелкий рубчик, плотный муар. Спасибо Щапову и другу его Бельцову — мерси.

Полковник генерального штаба Бельцов два лета кряду работал на Ангаре, производил изыскания, занимался промерами, Сибирский отдел Географического общества помогал ему и людьми и средствами.

Бельцов был корректен, щеголеват. Еще капитаном приехал он в Восточную Сибирь, давно бы, кажется, расстегнись, а повстречайте-ка на Пестеревской или Большой, так и пахнёт Михайловским манежем в час развода петербургских караулов. Но вы промахнулись бы, приняв полковника за столичную штучку военной фабрикации. И первым бы вас осадил Щапов: «Наш Бельцов честнейший и добрейший,— повторял он. — Недаром в прежние-то годы пользовался сердечной приязнью Тараса Шевченки».

Добрейший и честнейший полковник и не подозревал, как сильно помог он молодому человеку, которого не раз заставал на Почтамтской: Бельцов принес Щапову карту местности от Байкала до Ачинска и отчет о судоходных условиях на верхней Ангаре.

А Щапов приложил все это к нумеру журнала «Морской сборник», где была обширная статья об ангарских порогах. И прибавил выпуск «Известий» Сибирского отдела Географического общества с описанием ученой экскурсии в пятьсот сорок верст от Иркутска вниз по Ангаре. Сказал Лопатину строго: «Просвещайтесь, сударь. Ангара шутки не шутит». Закладками было заложено,

отчеркнуто было щаповским карандашом: «Малейшая оплошность или неловкость лоцмана увлекают судно либо на камни порога, либо на прибрежную гряду»; «Долгий порог сперт отвесными утесами, наполнен острыми камнями, имеет крутой склон протяженностью в 7 верст, которые суда сплывают всего-навсего за девять минут»; «Чтобы свободно проходить пороги и чтобы удобно в них управляться и поворачиваться, суда не должны быть слишком велики».

Не слишком велики, это уж точно. «Муравьеву-Амурскому» там и не поворотиться. Ступай к Троицкому перевозу — зри, как отчаливают в тысячеверстный путь баржи-паузки.

Уже отслужены молебны о путешествующих. И уже пред домашними образами поставлен каравай, стоять ему до возвращенья кормильцев к семейным очагам. А теперь здесь, на берегу Ангары, быстро и широко, гибельно и весело несущей свои холодные, в солнечных искрах воды, здесь, у Троицкого перевоза, под высоким голубым небом с белыми кучевыми облаками, вершатся проводы — без шуток и прибауток, без куража во хмелю, серьезные, истовые, торжественные. Сосредоточенность, родственная той, что ложится на душу перед тяжким ратным делом, владеет бородатыми лоцманами в татарских халатах, отороченных на лацканах заячьим мехом или лисьим, владеет артельщиками в малахаях распояскою, их домочадцами и даже теми, кто любопытствует вчуже.

Все это вместе — искры холодной реки, свежий ветер, дальний блеск куполов, высокое небо и облака, тяжелое колыханье паузков с грузом в тысячи пудов, плеск и гульканье воды, сдержанный говор и вздохи, лоцманы, рабочие-артельщики, бабы, ребятишки,— все это вместе поднимало в душе Лопатина щемящее и светлое чувство кровного (ему мелькало: «химического») родства с тем, что есть отчизна, как начало и конец, исток и устье твоего «я».

А лоцманы уже снимают шапки, артельщики уже поднялись в рост на своих паузках, толпа, умолкая, обнажает головы. И вот уж голоса лоцманов, протяжные, носовые, словно на клиросе, словно из отошедших времен, из других веков, голоса лоцманов выводят протяжно:

— Слуша-а-а-ай, братья... Господи-и-и-и И-и-и-исусе-е-е, сыне бо-о-о-жий, помилуй на-а-ас...

И единою грудью, все, кто есть, и на паузках, и на берегу, и Герман тоже: «Аминь!»

Опять тишина, только плеск, гульканье, скрип деревянных бортов. Опять тишина глубокая, но теперь уж краткая, потому что нечего, братцы, медлить, глаза страшатся, да руки делают. И руки выбирают якоря-кошки, разбирают весла, сжимают верех-руль. Тронулись, пошли, поехали. Путь добрый, путь чистый. И верно, чистый, плыви хоть ночью. Но потом...

Вот это-то «потом» и не выходило из головы. Сколь ни пялься на карту полковника Бельцова, не угадаешь, какая тебе выпадет карта. «Народная молва считает их семьдесят семь от Братского острога до Енисейска, но это число преувеличено»,— пишет автор «Морского сборника», указывая, что порогов — сорок шесть. Невелико утешение. Мало, что ли, сорока шести возможностей безвременно-скоропалительной смерти? «Там есть косое течение,— пишет автор «Морского сборника»,— бьющее прямиком на скалу левого берега, надо держать ближе к ней». И еще: «В жерле порогов есть камни, от коих надо быстро отгребаться. Деревья с сучьями, ветками, корнями, попавшие туда, всплывают на другой стороне, за порогом, со срезанными ветвями и корнями...» Что ни порог, то норов, отраженный названьем — Похмельный и Пьяный, Долгий и Шаманский. И у всех сообща невеселая репутация — душевредные, душегубные.

Риск полки водит? Но не желая пропасть, не поступай напропалую. Тише едешь, дальше будешь. И вот

едешь на «всенощную», как ревизоры Контрольной палаты называют компанейскую рыбалку.

Там и сям ярко горят сосновые шишки, заменяя шлюпочные фонари. И просторно, и высоко, и свежо. Тихо шлепая веслами, подходит, подплывает записной рыболов, большое пухлое лицо розовеет в отсветах горящих шишек, в глазах колючая настороженность, но вовсе не жандармская, не потому вовсе, что тебе, поднадзорному, воспрещены ночные отлучки из дому, а оттого, что непереносимо господину Купенкову, ежели новичок уловом богаче. Но слава те господи, не богаче, куда ему... И Купенков распускает губы в довольной улыбке. Он великодушен: я вам сейчас объясню, как это делается у нас, сибиряков... Лопатин слушает, благодарит, поддакивает. И думает: «Попривыкни-ка к моим ночным бдениям, попривыкни». И они оба смеются. Отчего бы и не посмеяться? Рыбалить невпример веселее, нежели помирать со скуки на допросах. Долго потом слышно, как шлепают весла — уходит подполковник в ночь, в туман, в свои заветные, только ему ведомые речные уголки.

Но и тайны служебные он бережет. Ах, дорого дал бы ты за них, господин Лопатин. Да ты вот, братец, хоть и кандидат университета, хоть и вояжировал в парижы — лондоны, хоть и числишь меня, старого и честного служаку, по ведомству олухов царя небесного, а того и не чуешь, какая острога занесена над твоей бедовой головушкой. А на реке-то, на реке, до чего хорошо на реке — и тихо, и просторно, и высоко, и свежо, шишки горят и потрескивают, рыба снулая на дне лодки. Главное ведь, совесть чистая, вот что главное, чистая совесть. Кости ты нас, братец Герман, не кости, а заарестуем-то мы тебя с чистой совестью.

Ни дорого, ни дешево не дал Лопатин за эту служебную тайну. Широколобый полковник Дувинг приоткрыл ее хранителю законности — губернскому прокурору с пету-

шиной походочкой. А губернский прокурор на другой день изрядно клюнул у председателя губернского суда Булатова. А тот, отдуваясь, платком лоб отирая, вроде бы обмолвкой, ненароком, вскользь — милейшей, почтеннейшей родственнице: Татьяна Флорентьевна, попридержика ты Ниночку подальше от этого молодого человека. И Татьяна Флорентьевна очень внятно поняла, откуда дует ветер. Ниночке не сказав худого, она Герману Александровичу передала худую весть.

Риск? Прекрасно, откажись от риска и, как бычок на веревочке, ступай в тюрьму, как сего требует Фонтанка, ради еще более тщательного расследования попыток освобождения Чернышевского. Вот уж где никакого риска — в тюрьме. И сызнова подвергайся допросам. В дальнейшем дознании нет нужды? Разумеется. Штабс-капитан Зейферт не скрывал, напротив, многим не без торжественности сообщал: этому Лопатину теперь ни туда ни сюда, каждая вилюйская собака знает его приметы, и фотографии посланы, и унтер, тот, что стерег этого Лопатина на гауптвахте, ни на шаг от Чернышевского. Какое же дальнейшее дознание?!

И все же Лопатин медлил. Изготовился, снарядился, как странствующий рыцарь, а медлил, как рыцарь влюбленный, пока не заставил себя рассудить так: нежелание расставаться с Ниночкой есть подлость эгоистическая. Она слишком молода, чтобы ты швырнул ее юную жизнь на душевредные пороги своей судьбы. И потом в ее влюбленности не перевешивает ли дружба? Пылкая, безоглядная, но дружба, которую она принимает за любовь? Пусть Ниночка сама все поймет и оценит.

Рассвет был первым на длинном ангарском пути, рассвет ясный и все же не радостный, а словно бы предательский — было страшно и незащищенно, как голому.

Вчера в Иркутске благовестили по случаю второго

спаса, город объяло праздничное оживление, и Лопатин, принарядившись, тоже пошел в церковь. Не припомнил бы, когда лоб осенял, а тут пошел, обедню отстоял, стараясь, чтоб его видели, замечали. И верно, видели, замечали. Как раз те, кому он и хотел попасться на глаза, а он очень хотел попасться на глаза полковнику Дувингу и полицмейстеру Думанскому с их соратниками. Священник читал из Евангелия от Матфея: «И просияло лице Его, как солнце», а потом читал из соборного послания апостола Петра призыв к братиям, чтобы они делали твердым свое звание и свое избрание, доколе не начнет рассветать день и не взойдет в сердцах утренняя звезда.

Вот день рассветал, но утренняя звезда не всходила в сердце и не сияло лицо, как солнце. Не потому, что беглец решился бежать, как никто прежде не бегивал. И не потому, что он сейчас робел порогов, мелей, скал или черного таежного зверя. Нет, он весь еще был в Иркутске, и еще не бодрило чувство расстояния, отрыва и разрыва с теми, кто бросится в погоню. Он говорил себе, что никому и в голову не вскочит искать на Ангаре, будут искать на трактах, постоялых дворах и станциях, всюду, да только не на водах, широко и шибко несущихся к гибельным порогам, миновать которые под силу лишь во́жам-лоцманам, познавшим Ангару с малолетства. Все это он повторял себе, но душа его будто оглохла.

С полуночного часа, когда ангарская набойница — из долбленого кедра, в два ряда по бортам обшитого тонкими досками,— бесшумно отвалила от деревянного мостка, когда оба они — и беглец, и его лодка, отдались стрежню, и стал слышен ровный булькающий звук, и потянул ровный холодный ветер,— с того полуночного часа минуло слишком мало времени, и Лопатин озирался, втягивая голову в плечи.

Он уже миновал Воскресенский монастырь, красиво освещенный луною, миновал длинный сгусток тени, озна-

чившей контуры Архиерейского острова, миновал бледные предрассветные островки, дробившие реку на рукава, его уносило дальше и дальше, со скоростью узлов в пять, не меньше, а он все еще не мог стряхнуть со своих плеч ощущение близости погони. Странное дело, он готов был примириться с неудачей где-то там, хотя бы на средней Ангаре, но случись поимка, арест, задержание близ Иркутска — нет, этого, казалось ему, он не вынес бы как чего-то постыдного, нелепого, смехотворного, дурацкого.

Герман просил бури, как укрытия от непокоя, день же стоял задумчиво-смирный. Бесконечным был этот первый день бегства, и, когда вечерняя река, вторя вечернему небу, потемнела и словно бы сделалась тяжелее, плотнее, весомее, Герман почувствовал страшную усталость. Все мускулы одеревенели, грянь буря, и, пожалуй, недостало бы сил взяться за весла и причалить.

Огоньки деревень заставляли его ложиться на дно подле мешка с харчами и рыболовной снастью, ложиться в походный запах дегтя, смолы, мешковины, сырого дерева, ощущая грудью, втянутым животом черный шорох глубокой реки.

Иногда попадались большие костры, разложенные неподалеку от причаленных, зараченных, как говорили на Ангаре, паузок-баржей, видны были кони — темно-розовые силуэты с низко опущенными головами. То был ночлег артельщиков, тянувшихся вверх по реке, и чудилось, что его, Лопатина, вот-вот озарит оранжевый отблеск костра, вот-вот заметят, да и кинутся наперехват.

Но с каждой верстой оставалась за кормою толика иркутского гнета, истаивал страх в августовских ночах с огромными звездами и огромной рекой. Когда-то в Ставрополе, мечтая о воле, Герман мысленно уходил в море на турецкой кочерме — бушприт вспарывал ночь, нанизывая звезды, как бублики, а где-то в невообразимой дали брезжил Новый Свет. Все это заглушило эхом Петров-

ского-Разумовского. А потом встреча с Нечаевым обозначила звание и призвание. Случайный сосед в секретной камере, сосед, доставленный из Александровского завода, как бы утвердил Германа в звании этом и призвании. Русские революционеры обрели «Капитал», избавляющий от недоумения перед временем, перед веком. Но русский революционер, вот хоть тот же бородач-крепыш, еще не владел рулем-верехом, чтоб благие порывы не гибли на порогах.

Занимался день, река раздавалась на версты, левый берег очерчивался скалами, девственным лесом, и уже владело чувство избавления от преследования, полноты сил, крепости мускулов, уверенности, почти восторга, и это ощущение сливалось с быстрым и плавным ходом просмоленной лодки. И так же, как однажды, ранним утром, на бледном песке приморского Брайтона, у блеклого утреннего моря, впору было сложить руки рупором и гаркнуть: «Эге-ге-гей...» Он пел: «Уж ты, воля, моя воля, воля дорогая, девка молодая...» Пел, и смеялся, и головой крутил, и кулаком об колено ударял...

Чем дальше плыл он по Ангаре, тем ближе и выше вздымались гранитные и меловые берега в разрезах глубоких, крутых падей. Река делалась уже и стремительнее.

Лишь вечером разрешал себе Герман краткий береговой роздых. Нагретый воздух нянчил разлапистую ель. Ствол сосны был почти коричневым у комеля, постепенно светлея кверху и отливая палевым. И все — ели, сосны, кусты, травы,— все переимчиво блестело или темнело, подчиняясь огню, который то взметывался, то опадал.

Герман не страшился таежного зверя, не напрягал слух и не вздрагивал, и отсутствие этого городского, комнатного страха было ему приятно. Но не было в душе ликующего чувства, какое он испытывал в Брайтоне, далеко убредая по лукоморью, ощущая лодыжками острый холодок соленых брызг, пускаясь вплавь и молотя са-

№27

женками, не было тогдашнего ликующего чувства. Здесь, на Ангаре, знобила душу печаль затерянности посреди огромной, дикой природы, которой нет до тебя никакого дела, хоть сейчас умри. Герман вскакивал, совал за голенище ложку, собирал пожитки, вскидывал на плечо берданку, гасил костер — и спешил, сбивая на ходу камни, комья, хворост, спешил к берегу, к лодке, отчаливал и устремлялся вперед, освобождаясь уже не от давешнего гнета погони, а словно бы от равнодушия огромной дикой природы.

О порогах он так не думал. Там клокотала ярость и угроза открытые, там ждали жернова судьбы. Пан или пропал, будь они прокляты, эти пороги.

Еще в Иркутске Герман читал: пороги подают о себе весть ревом крутых волн, по-ангарски сказать, боярских или толкунов; твердолобые каменья расшибают волны, и они ревут, как на бойне, обреченный рев слышен далеко.

Лопатин знал об этом, ждал этого, особенно теперь, когда миновал сумрачный Братский острог, но, едва заслышав, удивился, как удивляешься дальнему раскату грома, когда все мирно и мягко под полуденным солнышком. Но тотчас же сообразил — это ж весть подает первый за пятьсот с лишним верст пути порог, Похмельный, и, сообразив, почувствовал на спине мурашки. «Мырь играет»,— мелькнуло Герману, как бы соотносясь с ощущением мурашек, но мелькнуло-то потому, что он уже думал о мелях, подернутых мырью, рябью. И точно, впереди-то словно бы побежали, весело суетясь, серебристые косяки рыбешек, и вот она открылась, пространная мель, верный признак близкого порога. Верный, но, пожалуй, никчемный, потому что Похмельный уже возвещал о своем присутствии громом прерывистым, рваным, нестройным.

Все выходило так, как было читано в отчетах, бумагах и журналах, полученных Германом от полковника Бельцова и в библиотеке Сибирского отдела Географического

общества. Так-то оно так, однако и при существенной поправке: эти бумаги, отчеты, эти журнальные статьи запечатлели опыт вожей-лоцманов, познавших Ангару с малолетства и ходивших артелями на больших, тяжелых паузках.

Там, где сейчас наш беглец табанил, с трудом удерживая смоленую скорлупку, вожи действовали испытанной, вековой методой: отдавали якорь, садились в лодку, выдолбленную из кедра или осины, брали еловые жердины с тяжелым камнем на конце и ставили вехи-ориентиры в начале ж е р л а, в начале фарватера. Поставив, зорко наблюдали, не сносит ли опознавательные знаки. Нет, не сносит? Ну, стало быть, вертайся на судно, помолись — и с богом. С богом, ой-ой, не с дьяволом ли, не с шайтаном ли? Взбаламученные воды мгновенно темнеют. Течение, пришпоренное скалами, как шенкелями, обретает сумасшедшую скорость. И вот уж ты, твоя команда, твоя баржа рушатся в клубы пены, в рев, клекот, круговерть, где ни зги... А потом — минуты спустя, вечность спустя ты вдруг замечаешь, как с ребер порога низвергаются чистые, процеженные, каскадные воды. А за последней каменной грядою глубь глубокая. И спяющее небо над нею.

Наш же беглец табанил, тормозил свою скорлупку.

Есть карта, бумажка с пометками: стрелочкой — направление течения, пунктиром — судоходный фарватер, литером «К» — камень, литерами «МК» — малый камень. Но нет у него практики, нет опыта, и потому — страшно, очень страшно.

У него твердеют и холодеют скулы. Он расстегивает ворот, бросает под ноги шапку. Он еще медлит, но он уже в последнем напряжении, не мрачном, не гибельном, а в том, когда будь что будет, и не поминайте лихом.

Убрав гребные весла, сжимая весло правильное, заменяющее руль, стиснув зубы, Лопатин слышал пушечный гул жерла.

Генерал Синельников надел шинель и фуражку и вышел из дому. Вчера еще было ясно и сухо, лето будто и не догорало, а продолжалось вопреки календарю, но минувшей ночью, как ножом срезало — сразу натянуло осень: дождь и порывистый ветер.

Генерал жил у старинного приятеля, на Английской набережной, все можно было видеть из окон, но старик, будто назло кому-то, вышел в дождь, в непогоду. Нева была буро-лохматой, носилась водяная пыль, дождь падал клочьями. Хмуро насупившись, Синельников слушал орудийный гул, мерно потрясавший волглый воздух. Сквозь лайку перчаток генерал ощущал твердый холод гранитного парапета, но руки не убирал, и это тоже было кому-то назло.

На реке показался деревянный ботик с серым парусом, старик выпрямился, встал во фрунт и взял под козырек. Не обращая внимания на торопливых прохожих, вцепившихся в зонтики, он стоял во фрунт и держал под козырек, глядя, как идет по Неве «дедушка русского флота», первый кораблик Петра Великого.

Петровским ботиком и пушечным салютом завершались в столице торжества, начавшиеся еще весною, по случаю двухсотлетия со дня рождения царя-преобразователя.

Тогда, весною, отъезжая из Иркутска, генерал Синельников был бодр. Министры изволят гневаться? Поговаривают об его отставке? Пустое!.. Все, что делал Николай Петрович в Восточной Сибири, казалось разумным и полезным. И государь, столь высоко вознесенный божьим промыслом, отвернет лицо свое от петербургских визирей.

В Москву Синельников прибыл на фоминой неделе. Пахло оттаявшими нужниками, кричали галки, город будто снял шубу и вывалил брюхо.

Проездом на юг, в Ливадию, находился в первопрестольной государь. Хозяин Москвы, князь Долгоруков, давал праздничный обед. Синельникова пригласили на Тверскую. Иллюминованная резиденция была полна говора, полковой музыки, звона шпор. Пестрели мундиры и ленты. Князь, старый конногвардеец, прикрывая от полноты чувств пухлые веки, обнял Синельникова, сослуживца и товарища по польской кампании.

Обед был московский, то есть неслыханно изобильный, обед был долгоруковский, то есть с поросятами, откормленными миндалем, с превосходными шоколадом и бисквитами. К гастрономическим изыскам Синельников нежности не испытывал; машинально отведывая блюда, он беспокоился, удастся ль переговорить с государем.

В последний раз Синельников получил высочайшую аудиенцию год назад, отправляясь в Восточную Сибирь. Аудиенция состоялась в Зимнем. В кабинете его величества десятка полтора портретов глянуло со стены на Синельникова, но он заметил лишь один — все прочие были маслом и акварелью, а этот черно-белый, фотографический: картузника Осипа Комиссарова, толкнувшего под локоть негодяя Каракозова и тем спасшего царя от пули. Суровое, грубое лицо генерала дрогнуло, глаза наполнились слезами, он припал лбом и губами к плечу государя. «Спасибо тебе, старик»,— произнес Александр слабым голосом завзятого курильщика и в знак особого благорасположения подал Синельникову руку. Аудиенция была краткой. Единственное, высказанное определенно и точно, сводилось к тому, чтобы генерал обратил сугубое внимание на строгость содержания государственного преступника Чернышевского. Отпуская Синельникова, император прибавил с проникновенной и доброй улыбкой: «Да поможет тебе бог оправдать мое доверие»...

Именно потому-то Синельникову было необходимо нынче же переговорить с государем. Государь был весел,

оживлен, приветлив, но глаза его поскучнели, встретившись с глазами Синельникова, и тот понял, что недругивизири уже успели нашептать императору о надоедливом прожектерстве сибирского генерал-губернатора.

Злые языки мололи, будто император не вникает в суть государственных дел, подмахивает бумаги не глядя, может-де подмахнуть и указ о назначении архимандрита командиром гренадерского корпуса. Синельников этому не верил, как не верил и тому, что император лишен силы характера. Правда, если уж начистоту, Николай Петрович отнюдь не сочувствовал чрезмерной, всем известной доверительности царя с шефом жандармов и начальником Третьего отделения, но притом находил, что граф Шувалов отнюдь не ничтожество.

К Шувалову он и обратился с просьбой о нынешнем приватном разговоре с государем. «Не время, Николай Петрович, не время»,— любезно отвечал граф, весело глядя на старого генерала черными, как изюминки, глазками. Синельников терпеливо повторил, что без его величества не найдет поддержки ни у министра внутренних дел, ни у министра финансов и что ради этого-то и получил высочайшее дозволение покинуть Иркутск. Округлив яркие, свежие губы, Шувалов отвечал тоном человека, покоряющегося обстоятельствам, но, впрочем, не уверенного в том, что у него будет возможность исполнить просьбу Синельникова:

— Идите, пожалуйста, в лимонную гостиную.

Ожидание длилось не меньше получаса. Входили и выходили мундирные господа, вовсе Синельникому незнакомые или знакомые шапочно. Генерал колюче посматривал на них сквозь толстые стекла очков. Провинциальной мешкотности он не испытывал, хотя и прослужил почти всю жизнь вне столиц, а испытывал чувство превосходства перед этой челядью, танцующей, словно бабочки-эфемериды, вкруг светоча державной власти, в то

время как люди, подобные ему, Синельникову, работают до изнеможения.

Император вошел красиво колеблющейся походкой. Александру было за пятьдесят, но манеж, охота и прогулки избавили его от полноты. Его лоб увеличивали залысины; крупный, хорошо очерченный подбородок глянцевито поблескивал; длинные усы соединялись с бакенбардами. «Здравствуй, рад тебя видеть,— сказал Александр. — Здоров ли?» — и Николай Петрович, как всегда при редких свиданиях с государем, ощутил то горделиво-скромное, интимное чувство своей долгой, беспорочной службы, которое связывало его с ныне царствующим не только присягой и не только с ним, царствующим благополучно, но и с Россией.

Шувалов, стоя на полшага сзади государя, строгим мановением бровей удалил публику из гостиной и следующим — намекающим — мановением бровей дал понять Синельникову, что государь не расположен к продолжительной беседе.

Александр несколько отяжелел после обеда. Однако не в этом была причина его нежелания длительного разговора с Синельниковым. Император знал, о чем будет речь. И знал, что будет соглашаться с Синельниковым, хотя раньше соглашался с недругами сибирского генерал-губернатора.

Привычка повелевать была у Александра; не было привычки доверять самому себе. Втайне он сознавал, что ему недостает внутренней мощи для полновластного распоряжения людьми и событиями. Случалось, он впадал в уныние посреди невероятной путаницы страстей, интересов, противоборств. Ему казалось, что никто не понимает, как ему трудно, душно, неловко, а подчас и боязно. Но вместе и радовало, что никто этого не замечает и не понимает.

Слегка наклонив голову, отчего его залысины словно

бы удлинились, Александр слушал генерал-губернатора. То, что Синельников служил еще покойному государю, вызывало у Александра двойственное чувство: меланхолической снисходительности к старому, преданному слуге дома и острого подозрения, не отдает ли старый, преданный слуга предпочтение барину прежнему, как это нередко свойственно старым, преданным слугам.

С той прямотой, которая старомодно считалась солдатской, Синельников несколькими резкими чертами обозначил «разные отрасли сибирской жизни» — вышло мрачно. И столь же резкими чертами обозначил неумение министров усваивать эти «отрасли» — вышло опять-таки мрачно. Александр поднял голову и, глядя мимо Синельникова, произнес ровным, благожелательным тоном:

— Благодарю за откровенность. Вижу с удовольствием, что ты вполне понял тяжелую обузу, которую я на тебя возложил.

В душе Синельникова шевельнулось что-то похожее на жалость к этому человеку в генеральском мундире, к вялой белой руке его с алмазным перстнем на безымянном пальце.

— Ваше величество,— начал было Синельников, но Александр тотчас приказал Шувалову: телеграфируй в комитет министров — пусть все решат быстро и непременно в присутствии Николая Петровича.

Синельников вытянулся и почтительно уронил голову. Он был доволен. Пусть-ка теперь эти визири, утопувшие в чернильницах, посмеют смотреть на него как на приставалу из Гостиного двора.

На другой день, совершенно уже летний, генерал был на вокзале в толпе провожающих, видел, как царь шел к вагону, лицо у царя было счастливое, и Синельников подумал, что этому человеку вовсе не хочется державно править, а хочется пожить частной, домашней жизнью.

В этот же день Николай Петрович собрался в Петер-

бург. Долгоруков предложил погостить в первопрестольной, упирая на то, что в невской столице обнаружились призраки не то холеры, не то оспы, от чего Москва-матушка избавлена заботами власти. Николай Петрович, улыбнувшись московскому патриотизму, отвечал князю, что непременно и с удовольствием погостит, но на обратном пути, возвращаясь в Иркутск, а теперь-де спешит, пока государева телеграмма в комитет министров «еще свеженькая». Московский генерал-губернатор в свою очередь улыбнулся энтузиазму сибирского генерал-губернатора и сказал, что Михаил Христофорович упрям и несговорчив, Александр же Егорович занят своими статуэтками, а не Россией, которой не знает.

Незнание России было обыкновенным упреком, адресованным министрам, Синельников тоже так полагал, но сейчас, после прямого телеграфного указания государя, это, как казалось Николаю Петровичу, не имело существенного значения. Достаточно было того, что генерал-губернатор Восточной Сибири знает нужды вверенного ему края. Сказано: «Ты вполне понял тяжелую обузу, которую я на тебя возложил».

Петербург встретил Синельникова погодой редкостной — во всю ширь Невы ратно двигался ладожский лед, солнце так и ломило, и звуки города — стук экипажей, окрики кучеров, бой часов — казались новенькой чеканки, будто из Монетного двора. Все ходили без калош, легкой, праздничной походкой. И Николай Петрович, к Петербургу равнодушный, вдруг проникся к нему симпатией, сродной той, что иногда озаряет сумрачных стариков при виде шалящих мальчуганов.

«Сибирские отрасли», горячо занимавшие его, упирались в две цитадели — министерство внутренних дел и министерство финансов. Соответственно и министров: того, кто увлекался ваянием,— Тимашева и того, кто отличался упрямством,— Рейтерна.

Оба и вправду дулись на Синельникова.

Во всем они были несхожи, Тимашев, выходец из школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, и Рейтерн, воспитанник Царскосельского лицея. Но оба сходились на том, что Синельникову недоступна высокая политика.

Он в службе служил без году полвека. Но именно в это ясное лето до конца сознал непреложное, непреходящее: никому ни до чего нет дела. Сознал равнодушие. Оно не было болезнью, пусть застарелой или даже неизлечимой, не было чьей-то злой волей, а было естественным, коренным, имманентным, стихийным, при известной доле иронии над самим этим равнодушием. Напротив, неравнодушие было б неестественным. После севастопольской встряски все продрали глаза: царица небесная, да как же мы живем?! Ну, огляделись, ну, потянулись, ну, почувствовали зуд в плече, ну, рукав засучили и... не успели засучить другой, как напала неодолимая зевота. И опять сомкнулось равнодушие, нечто стихийное и вместе уютное, как халат.

Государь вернулся из Ливадии. Синельников испросил высочайшую аудиенцию. Ему передали высочайшее благоволение. И приказание возвращаться в Сибирь. «Вижу с удовольствием, что ты вполне понял тяжелую обузу, которую я на тебя возложил»,— вспомнил Николай Петрович. В ту ночь старик не спал, слушал дождь и порывы ветра — осень наступила сразу.

А утром Нева была буро-лохматой, над Невой носилась водяная пыль, дождь был разорван в клочья. Орудийный салют мерно сотрясал воздух. Синельников стоял во фрунт и думал о том, что опоздал родиться.

В Москве, даже и не вспомнив приглашение князя Долгорукова, с поезда петербурского Синельников пересел на нижегородский, а потом — пароходом вниз по Волге, вверх

по Каме — до Перми. И далее, далее, далее. Он был сумрачен, все торопился, как убегал. Он говорил себе, что получил горький урок и что энергия его разрушена.

В Томске, в гостиницу Краузе, к нему пожаловали губернатор и полицмейстер. Визит был вроде разведочного. Слухи об отставке грозного Синельникова не утихали, визитеров свербило любопытство.

Николай Петрович раздражился: ишь шушера, так и принюхивается, так и принюхивается — и стал говорить о свидании с государем, о том, что государь был внимателен и ласков, интересовался отраслями сибирского дела, изъявил благоволение и благодарность. Подали шампанское.

Последовали приглашения отдохнуть с дороги по-домашнему, а не в гостинице, Синельников повторял «спасибо», «не беспокойтесь», повторял без раздражения, как бы даже и довольный тем, что сообщил томской администрации нечто очень необходимое и приятное для них же самих. Подали еще шампанского, пошел разговор, что называется, общий, а потом визитеры, дополняя друг друга, выложили новость, взволновавшую третьего дня «весь город».

Дело было не в том, что здешний исправник заарестовал беглую личность, такое приключается нередко, а дело-то было в том, каков хват попался. Он, ваше высокопревосходительство, только волосами встряхнул, эдакая шельма. Встряхнул, да и говорит: «Сорвалось!» Тут бы волком взвыть, ан нет: «Сорвалось!» — и только. Имя беглеца было известно Синельникову, как было известно и то, что беглец исчез бесследно. Об этом происшествии ему сообщили в Петербург. Сообщение, не ошеломив, вызвало ответную депешу об усилении надзора за Вилюйском, за Чернышевским, сам же по себе беглец не занимал Николая Петровича. Но сейчас, слушая едва ли не восторженные «шельма» и «хват», слушая об одолении в оди-

ночку всех ангарских порогов, а потом и Старо-Ачинского тракта, а потом и... Сейчас Николай Петрович не сумел бы толком выразить свое отношение к этому происшествию, потому что оно казалось ему чрезвычайным совсем не в служебном, не в административном смысле, а в каком-то ином. В каком именно? Вот это-то он и затруднился бы сказать и не захотел бы: тут что-то и как-то соприкасалось с его сумрачным удовольствием от противостояния всему давешнему, петербургскому.

Это он там, в Томске, волосами тряхнул: «Что ж делать! Сорвалось!» — и беспечально усмехнулся. В «железном уборе» везли Лопатина из Томска в Иркутск, а тайга вставала в своем уборе, осеннем, и небо было высокое, «гусей крикливых караван тянулся к югу».

Он пошучивал, посмеивался: «Что ж делать! Сорвалось!» Неудачный побег арестанты называли «простоквашей» — прокисло, дескать, молоко. Не было охоты походить на простоквашу. Вот и усмехался, пошучивал.

Впереди коней молва ручьилась. На станциях, пока запрягали подставу, толпился, глазея, разный народ. Эх, барин, барин, такие напасти своротил и так нелепо в Томске попался. Германа пошучивал, а на душе-то никогда так скверно не бывало.

На Боковскую станцию приехали затемно. До Иркутска оставалось тринадцать верст. У крыльца дожидались тройки. В освещенном дверном проеме Германа увидел испитое лицо Зейферта. Тройки и этот иркутский штабс-капитан неприятно поразили Лопатина: вот так Чернышевского доставили в Вилюйск, не уготована ли и тебе какая-нибудь «замерзайковская» волость?

— С приездом,— осклабился Зейферт.

— Бонжур,— буркнул Лопатин. — Надеюсь, Крахмальные ворота иллюминированы?

— Еще бы! — расхохотался штабс-капитан. — Все плошки пылают: такой у нас гость!

Тройки взяли с места как оглашенные.

Зейферт, сидя рядом, полуобнял Лопатина.

— Да уберите-ка ваши грабли,— обозлился Герман,— с меня и этого довольно! — Он брякнул кандальной цепью.

— А с меня довольно рыскотни по вашей милости,— огрызнулся Зейферт.

Вскоре послышался шум Ангары, в темноте загорелись два высоких огня, не дрожа горели, не смигивая, как глаза драконов. Сильно и холодно пахнуло огромной, быстрой водой. Тройки загремели по бревнам обширного парома. Десятки возов переправлялись на нем в Иркутск, сейчас был он порожним.

— Шевелись, канальи! — гаркнул Зейферт в темноту.

Невидимые паромщики отдали концы, налегли на руль, ворочая поперек течения, а оно уж своим норовом, своим обычаем легко принимало тяжелый бревенчатый плот, плотным гулом загудел канат, разматываясь на шпиле все быстрее, быстрее, быстрее. Не паром, говорили в Иркутске, а самолет, и вот он лётом, будто сам, летел наискось по течению, черная вода бурлила все громче, а наверху, во тьме, мчались, как бы отдельно, два немигающих мачтовых фонаря.

Все вместе — скорость движения и слитность с нею, гул и бурление, сильный, холодный, свежий запах воды и эти два огня-метеоры, все вместе было пронзительной болью, как бы сошедшейся в точку. Со дня томского ареста и до этой минуты Лопатин словно бы не вполне сознавал беду свою, несчастье и катастрофу, но вот и сознал, оказавшись на этой бешеной, огромной, черной реке.

Паром ткнулся в деревянные мостки, коляски шатнулись и сдвинулись. Жандармы стали сводить лошадей под уздцы, лошади пугливо всхрапывали.

Паром пристал у Триумфальных ворот, по местному

речению — Крахмальных. И ворота, некогда возведенные в честь вступления русских войск в Париж, и, главное, этот тихий ровный шорох под колесами, шорох мелкой речной гальки, устилавшей улицу,— все повеяло на Лопатина шелестом парижского асфальта.

Едва развиднелось, Герман приник к зарешеченному окну: не в секретную посадили — оконца секретных, он это знал, упираются в бельмистую стену, а тут... В крупную клетку, как пейзаж для копииста, было расчерчено Знаменское кладбище. Кладбище кудрявилось кустами, обрызганными золотом. Высокое стояло небо, синего хрусталя, как по дороге из Томска.

Минула неделя — все переменилось.

Горбилось кладбище бурым и черным, в свинцовой штриховке осенних дождей. И припомнилась эпитафия, читанная где-то, когда-то: «Убыль его никому не больна, память о нем никому не нужна».

Далей не было, был смурый гнет. Мама при смерти, час ее близок, зовет она своего Германа. Странно: он не тревожился за отца, за сестер и братьев, ничего с ними не случилось. А мама, чудилось, при смерти, час ее близок, зовет она своего Германа. Он слышал не голос, а запах вербены, похожий на музыкальную ноту «ми», отходил от окна, лежал, смежив веки, но бурое и черное видел и во сне, как видишь осенний подлесок после долгого сбора грибов.

Минули недели — все переменилось.

Еще не поднявшись, едва скосившись на окно, он почувствовал эту перемену каким-то давним, праздничным гимназическим чувством: «Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед...» Вскочил, подбежал, обеими руками ухватил решетку: снег, снег! Он засмеялся, во все глаза глядя на белое... В белоснежной блузке была Ниночка Чайковская, они целовались, как язычники,

ничуть не помышляющие о «воскресе»... Белые блузки меняют на белоснежные платья, назовись невестой — и дадут свидание. Да, да, милая Ниночка, барышне-невесте дают свидания с заключенным-женихом. Право, Ниночка, не так уж и трудно назваться невестой, лишь назваться. Шепните почтеннейшей маменьке, она без затей, поймет, а ведь к ней-то, к Татьяне Флорентьевне, благоволит наш доблестный калиф Синельников. Ей-богу, Ниночка, назовитесь невестой! Никаких жалоб, черта с два вы увидите вашего покорного слугу в лучах славы.

Он иронизировал, а и вправду так было.

Беглец? Эка невидаль! Сотни «рысаков» ежегодно снимались с места, зачарованные вешним кукованьем. И перли на запад, и дохли в глухомани, и попадали под меткий выстрел забайкальского таежного охотника. Бедолаге мужику выгоднее было истратить заряд на своего же брата, чем, скажем, на зайчишку-тушкана или на белочку-попрыгунью. А как же? Живые деньги, прости господи. Длинный генерал за беглую головушку награду сулил, а генерал-то строг, да справедлив — не обманет... Нет, не был такой беглец невидалью. Другая статья, совсем другая, ежели ударился ты, что называется, «на ура», въявь, на счастье. И не с поселения, а прямиком из-под караула. Вот тогда уж действительно удалец, честь тебе и место, ласка и уваженье.

За Лопатиным как раз и числилось это «въявь», это «на ура» — побег с жандармской гауптвахты. Но все внахлест перекрыло ангарское, тут уж и старожилы ахнули.

Острог оказывал ему особенное внимание. Через уголовных, выносивших парашу, передавали и сахарок и махорочку, прохудившиеся сапоги починили, хоть сейчас в путь-дорогу, изодранное платье залатали, как вновь построили. Он солгал бы, не признав, что все это было ему приятно и лестно.

Устоялась зима, Лопатина перестали держать под

замком и щеколдой. Его камеру, как и прочие, отворяли после утренней поверки.

И началось: «Григорий Лександрыч, пожалуй к нам, коли не брезгуешь». Он раз, другой поправил: я, дескать, не тем именем крещен, не Григорий я. Ему объяснили: «Германы — эти из христопродавцев будут: ну какой ты Герман? Григорий ты, Григорий Лександрыч, вот так».

Общее расположение к Лопатину приняло оттенок почти богомольный с того дня, как взялся он за всяческого рода прошения. Он умилял клиентуру не только ладом и складом, а и чистотою письменной отделки. Адвокат-доброволец особое предпочтение отдавал двум острожникам, и хоть они не просили юридической помощи, но подолгу оставались в его камере.

Мокееву Степану было около тридцати. Чернявый, сухой, горячий, быстрый, он обладал железной и цепкой физической хваткой, которую словно бы производили не мускулы, а нервы. Мокеев не принадлежал ни к пришлым этапникам, ни к бегунам-«рысакам». Забайкальский уроженец, он робил на прииске мильонщика Базанова. В острог пригнали Степана день в день с Лопатиным. Числилось за Степаном покушение на жизнь скупщика золота. Крутая перемена судьбы ошеломила Мокеева. У него была потребность в слушателе, хотелось избыть свою ошеломленность. А вместе с тем он что-то судорожно нащупывал, пытаясь вытащить на свет божий злодейскую причину этой перемены, чувствуя, что кроется она не в одной наглости витимского скупщика.

Лопатин сострадал Мокееву. Но состраданием не все исчерпывалось. Этот Степан Мокеев был первым рабочим, не мужиком, не ремесленником, а именно первым промышленным рабочим, с которым можно было толковать не мимоходом, не наскоро. И как раз о том, о чем можно было толковать лишь здесь, в Сибири.

Еще в ставропольской ссылке припал Лопатин к марксовой критике политической экономии. И очень развеселился, прочитав, что даже любовь не сделала стольких людей дураками, как мудрствования по поводу сущности денег. Он не сделался дураком от любви к вдове полковника фон Неймана. И не одурел от мудрствования по поводу денег. Первым он был обязан самому себе. Вторым — доктору Марксу.

У врат науки Маркс выставил строки Данте, предпосланные путешествию в ад: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда; здесь страх не должен подавать совета». Как тяжко ворочались эти фунты кофе, аршины холста, этот анализ товара, меновая стоимость и рыночная цена. А метаморфозы благородных металлов? Извлеченные из мира подземного, они излучают самородный свет, озаряющий мир земной. Золото и серебро по своей природе не деньги, но деньги по своей природе — золото и серебро. Они — продукт природы, и они — продукт общественного процесса.

И вот он, прямой добытчик самородного света Степан Мокеев. И уж Герман Лопатин постарается, чтобы этот прозрел. Но и Лопатину необходим не книжный «агент производства», а этот чернявый, сухой, горячий сибиряк с приисков мильонщика Базанова.

В его потребности были не только «химические» сродство и связь, которые Лопатин ощущал и в степных ставропольских станицах, и в приангарских деревнях, а была еще и взаимная зависимость по душе и судьбе: и этот Степан Мокеев и он, Лопатин, шли одной дорогой, где «страх не должен подавать совета», дорогой в царство, не обозначенное на географической карте, но уже возвещенное знаменем Коммуны на парижской ратуше.

Мокеев отчетливо сопоставлял фунт лиха с золотником благородного металла. Золото и лихо держались в обнимку на берегах дикой реки. Роясь во тьме ущелий

и грохоча в валунах, она грызла горные хребты, потом текла в долине посреди сосняка, посреди кедровника, вливаясь в Лену тремя рукавами: река Витим — золото и лихо.

— Как учнут поднимать в третьем часу утра...

Желваками играл Степан Мокеев: не вспоминал он, не рассказывал, не жаловался, а словно опять лежал на полу земляного барака.

Лопатин видел лондонское «воронье гнездо» — Сент-Джайлс, читал у Энгельса о трущобах. Видел и ночлежки, в каждой комнате по пять-шесть коек. Земляных же нор без окон и воздуха, без коек не видел — выспрашивал подробности. Мокеев усмехался: изволь, Лександрыч... Потом продолжал:

— Учнут нас будить в третьем-то часу утра, так мы повскакиваем, точно полоумные. Ходим, как отравленные мухи, сталкиваемся друг с другом, ничего не понимаем. Другого и не добудишься, пока не вытянут плетью. Опомнишься порядком уже на утреннем ветру, по колено в воде, в забое.

Опять Лопатин мягко тормозил Степана: до забоя надо ж что-то опустить в желудок? Он читал, как штрафуют английских лавочников за низкое качество мяса и овощей.

— Штрафуют?! — Степан скрипел зубами. — А не жалаешь ли, как праздничка, солонинки, от которой воротит рыло? Чай да краюха с солью — жуй, запивай. А коровьим маслицем заправлен чаек — благодать.

Герман читал у Энгельса о тифозных, чахоточных, рахитичных, цинготных; не по карману английскому работнику частный врач, обращается в благотворительные учреждения, их множество; все равно недостаточно, но множество, и больницы и аптеки.

— А как же? — ощеривался Степан Мокеев.— И у нас больничка, и у нас фершал. А только кто он такой, Ксенофонтыч? Он же от Базанова Ивана Иваныча нанят,

стало быть, не жди, чтоб дал тебе дух перевесть. А ежели и положит на койку, так день, другой — и поплыл туда, где нет ни забоя, ни кирпичного чайку.

Что такое truck-system, Лопатин знал: в хозяйских магазинах при фабриках рабочему вместо денег платили товарами. Оказалось, что и на приисках, в базановском княжестве такую же хитрую механику устроили.

— Ты берешь,— рассказывал Мокеев,— а тебе записывают в расчетную книжку. Всякая дрянь рублями пахнет... Но погоди, до расчетной книжки — цельная вечность. Ты подымайся затемно, в третьем часу, ты шабаш затемно, в девятом часу. Это сколько выходит, а? Вот то-то! Напоследок робишь при факелах, так и трещат берестой. А глядь-поглядь — мать честная! — опять кубик не додал, урок не сполнил. Уж, кажись, и не разгибался, без мешка за спиной горбачем был, а нет — не вытянул. Коли так, волочи свою недоимку на другой день, на следующий — нипочем от этой волокуши не отцепишься. А времечко идет, и вот наползает середка сентября. Над каждой головушкой возносит приказчик расчетную книжку. Кричи не кричи, матерись не матерись, а весь ты как есть — со своим «забором», штрафами и кубиками... Однако припрятано то, что зовется «подъемным», а еще зовется «пшеничкой». Не каждому давались они, фартовому давались! Ради того и старались старатели. И прятали «подъемное» золотишко, прятали «пшеничку» кто в горбушку, кто в каблук. Обыск такой, что ни в каком остроге. Ну а потом — идите, ребятушки, не поминайте лихом, а того лучше выставляйте-ка своеручный крест на листе с контрактом: даст бог сезон — даст и пищу. Не жалаешь, рыло воротишь? Ну что ж, не каторжный, ступай — впереди слобода Витим...

Шли горбачи — мешок на хребте, вот и горбатый,— шли таежными тропами, берегами трех рукавов, впадающих в Лену. А на другой, высокой стороне Лены дымили

печные трубы. Там, в слободе Витим, и бабы и мужики обитали как птицы небесные — без пахоты, без сева, без жатвы: ниспосылалась им манна — витимские приискатели. Выйдут из тайги одичалые, лохматые, в отрепье — страда в кабаках, в избах, в лавках с товаром, доставленным илимским волоком. Жарят, парят, мужики у ворот зазывалами.

Гуляет Витим, гудит Витим, гармонь и балалайка. Веселая слобода! В каждой избе два входа-выхода: один на улицу, а другой на зады, к реке. Ляжет ночка, уделяют горбачу обыск, да и выволокут бесчувственного на зады. А зашебаршит, подаст признаки жизни — река рядом. Ха-ха, ну что ты, право, какая там земская полиция? Пустое! Ищи-свищи. Да и на кой ляд? Прибило мертвяка к берегу — толкани шестом, плыви, брат, к белым медведям.

Гудит Витим, гуляет Витим. И вот они, скупщики «подъемного». Это ты верно: золото — не деньги, но деньги — золото. Вот он и говорит, морда этакая, скупщик: «Ну-кась, давай-кась пшеничку-то. Делать неча, по два с полтиной. Сколь тут, а? — Взвешивает сукин сын.— Тэк-с, сорок золотников. Значится, должон я тебе сто рублев. Сичас принесу».

Три года Степан имел дело с рябым Бурдиным. А на четвертый — минувшей осенью: сичас, говорит, принесу. Уходит за перегородку, жду, все хорошо. Вдруг — выскакивает и орет: «Ты кто такой? Чего надо? Какие деньги?! Да ты что? Чтоб я краденое скупал! Ах, ты... твою мать! Сичас в волость стащу! Эй, люди!»

Не то чтобы Степан про такое и слыхом не слыхал. Нет, бывало. Редко, но бывало. И тут уж беги, не оглядывайся. Да ведь с рябым не впервой, без опаски. И какое же «краденое», ежели найденное? А ежели и краденое, то у первейшего вора Базанова! Горячий-то он, Степан, горячий, а вроде бы оледенел. Чудно даже: кровь

кипит, а сам ледяной. И за голенище... Без ножа нельзя, народ на приисках ндравный, быстро сатанеет, нельзя без ножа... Вытянул из-за голенища, а рябой ни с места. И вдруг то-о-оненько, как заяц. Ну и Степана Мокеева вдрызг разнесло, вот так, никогда нож не кровянил, а тут-то и приключилось.

А Витим гулял разгулом особенным — уже с надрыва. Почему с надрыва? А вот почему: базановские приказчики пошныривали. Они как? Тронутся горбачи из тайги — приказчики полегоньку подаются следом, туда же, на гульбище. Иные из Иркутска поспешают. И зачинаются свадьбы. «Что, малый, в полугаре прогорел? Ничо, не ты первый, не ты последний. Вот тебе контракт, вот тебе задаток, изволь пачпорт. Не кобенься, с тобою по-божески, а ты носом вертишь». Гудит Витим. Вот такая политическая экономия.

А Шишкин ронял: «Все от власти происходит».

Глаза у Шишкина черные, пристальные, медленные. Таких, как Шишкин, Лопатин еще не встречал. Да только ли он? Каторжан-«рысаков» навидалось начальство, приставленное к каторге, а шишкины были внове. Оторопь брала, руки опускались, как плети, а плети повисали, как руки. Одно ему было определение, равно и от каторги и от начальства: «Не наш». Будто явился он из незнаемого, неведомого. Говорил, остались в России, в деревне, жена и дети. Не вор Шишкин, не убийца, не разбойник — кто же? Одно слово: не наш. Не было для Шишкина ни загадок, ни тайн, а было неприятие и отрицание. И бога не было. Говорил: «Вашему богу нет до меня дела, а мне нету дела до вашего бога. Да и на вас он плюет. В здешнем-то зáмке, почитай, с полсотни невинных наберется. Попы гундосят: волос-де не упадет без божьего соизволения. Так чего ж он? Все до единого в каторгу пойдут».

Сам-то Шишкин уже ходил в каторгу.

Не вор, не убийца, не разбойник, бог весь за что был он некогда сослан из Калужской губернии в губернию Иркутскую. Трижды ее покидал и трижды был изловлен. На третий раз присургучили каторжные работы на промыслах.

Пришел он с партией душ в триста. Близ тюремных ворот — стол, за столом комиссия. Начался прием: в комплекте ли казенная одежа, хороши ли кандалы с подкандальниками, потом сортировка по разрядам, то есть бессрочных — к бессрочным, долгосрочных — к долгосрочным, малосрочных — к малосрочным. Выкликали по списку. Каждый, гремя железом, подходил, обнажал голову и подвергался досмотру, осмотру, зачислению в такой-то или такой-то острог.

Выкрикнули:

— Шишкин Василий.

Он подошел: высокий, костлявый, годов под пятьдесят, бородища чернее ночи.

— Шапку! — крикнул полковник.— Шапку долой, мерзавец!

И все услышали безучастный громкий голос:

— Шапка не твоя, а моя. У тебя своя есть, ты ее и сымай.

Полковник растерянно мазнул ладонью по лбу. И взорвался:

— Что-о-о? Что ты сказал?

Пауза была гробовая. Только в каторжных шеренгах кто-то брякнул цепью. Шишкин безучастно повторил свое. С минуту и полковник, и его подчиненные находились в параличе. Потом полковник, пригнувшись, мотая руками, выбежал из-за стола, подбежал к Шишкину, ударил по лицу, брызнула кровь, Шишкин упал, а полковник, хрипло матерясь, принялся бить ногами лежачего. Наконец вскрикнул, как придушенный: «Розог! Розог!» — и пошел прочь шаткой, пьяной походкой.

Шишкина положили ничком на скамью для экзекуции. «Пейте кровь,— молвил он.— Пейте, захлебнетесь». Истязание вынес молча. Его бросили в карцер, он был уже без чувств.

Год, другой и третий обламывали Шишкина. Сашке-палачу наказывали: лупцуй до смерти. Год, другой, третий валялся Шишкин в карцерах. Пробовали усовестить: «Не хорошо-с, Шишкин! Казна кормит, обувает-одевает, а ты знай жрешь и не отрабатываешь». Он отвечал: «Казна не моя, а твоя. Мне до нее дела нету. Ты меня засадил и бьешь — а за что? Не крал, не убивал, не мошенничал. И ты это знаешь. А выпустить не можешь. Захоти по совести — не можешь. А ты выпусти, я себя прокормлю, твоя казна тебе останется. Здесь все ваше, а не наше, мне ничего вашего не надо».

Начальники втихомолку ежились: любая христианская душа треснула б, раскололась, а этот только глазищами ворочает. Оторопь брала смотрителей, конвойных, офицеров, полковника. Такая оторопь, что, право, лучше уж подальше от этого Шишкина. А нельзя! Вот ведь у каторжных в какой чести: мученик, блаженный. Каторжные ему сполна доверяют, заведется копейка — Василию Яковличу на сохраненье, этот не зажилит. Какой пример! Это что же получится, коли каждый шишкиным обернется? Конец и разруха государственному устроению. Чистый нигилист. Нет, нельзя без внимания — пример безобразный, возмутительный.

Упрятали Шишкина безвыходно в карцер. И будто забыли. Не месяц, не два, полгода минуло. Смотритель однажды заглянул в карцер — впотьмах слышалось слабое сопение. Зажгли свечу, склонились над Шишкиным. Глаза были закрыты. Лицо, борода, грудь белесо шевелились мириадами вшей. Босые цинготные ноги распухли, кандальное железо огрузло в язвах, не то черви, не то

вши копошились в изъязвленном теле, сизый язык и десны тоже были во вшах...

По отбытии пятилетнего срока определили Шишкина на житье в одну из забайкальских волостей. Он дождался лета и — в путь, в дальний путь, домой, на родину. Байкал пересек счастливо, но был пойман близ Иркутска.

И надо ж было так случиться, что в Иркутском остроге Шишкин в первый же день попался на глаза губернскому прокурору. Тот наведывался в острог, обходил общие камеры, заглядывал и в секретные. Ну и понятно, в одной из общих: «Эй! Какая там каналья в шапке сидит?!» А в ответ ровный, безучастный, громкий голос: «Шапка не моя — казенная. Коли нужно, так и сымай». Смотритель шепнул прокурору: «Сумасшедший». Юстиция оборотилась тылом и вон из камеры, а в след юстиции — ровный, громкий голос: «Дубина, какой ты начальник? Вот кабы ты исправника в тюрьму упрятал да еще кое-кого, ну, тогда стоило б тебя начальником звать. А то что? Нашел харю, и вся недолга».

Лучше выдумать смотритель не мог: «не наш» — умом тронутый, с него взятки гладки, себе ж дороже. Стал Шишкин жить-поживать, дожидаясь судебного решения «по новой», зная, что выйдет по-старому. Был смирен, никому не набивался, отвечал нехотя, будто б цедил сквозь зубы: отвяжись, дескать. Но к Григорию Лександрычу его тянуло. Может, потому, что молодой барин уходил и «на ура», и с поселения, а может, и оттого, что угадал непримиримость, похожую на свою. Как бы ни было, а в камеру к Лопатину хаживал.

Послушав Степана Мокеева, ронял:

— Все от власти происходит, вся беда, все беды.

Лопатин нарочито вопросительно поглядывал на вчерашнего горбача-приискателя: что, мол, скажешь? И вот ведь неожиданность: просыпáлся в Мокееве «государственник».

— Э, дядя,— возражал он,— это ж с какой стороны оборотить. Без власти тоже нельзя.

— Ты мужик ничего, и умишко у тебя зубастый,— говорил Шишкин Мокееву,— а вот трухлявый орешек раскусить не умеешь. Пусть ее, власти этой, тыща человек будет. Ну из них пусть сто, двести с совестью. Остальные что же? Остальные одно знают: «мое», «мне», «себе». И ничего не получается. И нипочем не получится.

— Ты, дядя, разбери,— горячился Степан.— Давай так возьмем: вот на тебе рубаха. Она мне ндравится, а я тебя, скажем, сильнее — взял да и отнял. Кто сильнее, тот и прав. Что ты со мной сделаешь?

— А что я с тобою теперь сделаю? Рубахе полтина красная цена. А чтоб мне ее обратно получить, истратишь рубля три, а не истратишь, ходи гольем.

— А без власти и за три не вернешь,— возражал Степан.

— Ну, врешь. Ты силен, а за меня такие же слабые встанут, мы тебе холку-то и намнем. Глядь, другому, такому силачу, и неповадно.

— Ну и зачнутся, дядя, убийства. Убивать будут друг друга, а работать когда?

— Небось! Еще как чудесно жить станем. Не по приказу, не поклоняться, не подчиняться — все равные.

— Такому не бывать! — гвоздил Мокеев. И объяснял: — Хоть каждый и сотворен по образу и подобию, а в голове-то разное, и руки разные, и сметка, и прочее.

— Древние люди в равенстве жили,— продолжал Шишкин.— А потом вышли от вашего бога указы: делай так, а не эдак, то исть делай, как он хочет. А ежли я по образу и подобию, зачем он мне приказывает? Я вот без бога живу, а не делаю никому худо. А я что за птица такая? И у других совесть есть, да только спит беспробудно. Даже и у хороших людей спит, не умеют они по-своему жить. Возьми дохтура, на каторге который.

Я ж видел: душа у него плачет, когда человека бьют. Да ведь когда бьют, без него нельзя, и его, дохтура этого, беспременно зовут. Ну а ты не ходи! Один не пойдет, другой не пойдет — шабаш извергам. А то ведь дохтур хороший, душа плачет, а все едино — наемник. Нет, ты делай, как думаешь, это вот и есть главное. Им надо подати, пачпорты, а мне не надо. Им надо, чтоб я работал, а работа не моя, я и не работаю.

— Вот они из тебя и кровь ведрами.

— Верно, парень, их сила. Ан не только сила: боятся, вот что. Тебя-то они не боятся, хоть ты на них с ножом кинься, с топором и вилами. Не в том соль, что у них пушки. Пусть и у тебя пушки будут. Не в том соль. Они знаешь чего боятся? Они того боятся, что душу мою взять не могут. Все взяли, а душу не могут. Им и страшно.

— Может, и боятся, да ведь все равно пригибают.

— До поры.

— Когда рак свистнет?

— Вот тебе задача. Тебе скоро в каторгу. Так? Так. Ты, говоришь, сильный, вот они тебе и скажут: иди, Мокеев, в палачи заместо Сашки-палача. Что ответишь?

Степан как захлебнулся:

— Я?! Мне?! Да никогда! Да нипочем!

— В палачи заместо Сашки не хочешь,— отметил Шишкин.— Теперь дальше. Когда истязуют на кобыле-скамейке, из нашего же брата четверо за ноги, за руки держат. Вот тебя и назначат. Пойдешь?

Мокеев перекрестился.

— Пойдешь? — настаивал Шишкин.— Не пойдешь, сам на скамью ляжешь.

— Ну не я, так...

— А я не про другого, я про тебя — Степку Мокеева... Ладно, не к тому, чтоб тебе кишки мотать. А вот что в палачи не пойдешь — верю. А что это значит? А то,

что рак-то уже и присвистнул. Чуток, а присвистнул. Понял?

Маркс сказал однажды о ярлыках на системе взглядов: в отличие от ярлыков на товарах, они подчас обманывают не только покупателя, но и продавца. Бакунин был из таких «продавцов». Шишкин в ярлыках не нуждался. Цельный был, без трещинки. И обходился без гипотезы о боге. «Ничего у меня нет, одна душа. Попробуй — отыми. Это у вас,— говорил Шишкин,— есть русские, жиды, татары, а у меня — все люди, только что не так говорят. Обычаи разные, да они не помеха, всем земли и воды хватит». Альфой и омегой было Шишкину *всяк сам по себе*. Не отсюда ли, думал Лопатин, и начинать?

Необитаемым островом, робинзонадой начал Лопатин. И едва моряк очутился на необитаемом острове, едва оказался «сам по себе» — большие, темные, в рубцах и ссадинах, узловатые руки Шишкина оставили возню с коробочками и свистульками — он вечно мастерил их в подарок ребятишкам: здешним, тем, что со своими мамками нережидали в казенном доме, когда отцов-кандальников погонят дальше, за Байкал.

Герман уже приступил вместе с Робинзоном к гончарному и портняжному делу, когда в камеру проскользнул помощник смотрителя. На простецком круглом лице была смесь растерянности и почтительности. Мокееву с Шишкиным он досадливо рукой махнул, к Лопатину же обратился, изобразив нечто вроде полупоклона: в острог приехали господин генерал-губернатор, и оне сей секунд направляются к господину Лопатину.

Как и прежде, до горькой поездки в Петербург, Николай Петрович неукоснительно держался спартанского правила — вставал спозаранку, обливался студеной водою, растеревшись докрасна и надев свежую рубашку, кушал

кофий и тотчас приступал к занятиям. Как и прежде, не запирался от посетителей любого чина и звания, наряжал следствия, карал взяточников, все желал объять своим неусыпным попечением. Ничего будто бы не переменилось, а между тем петербургский урок не прошел бесследно, и Синельников втайне испытывал то, что сам же и определил «полуразрушенной энергией». И это сознание надорванности, разрушенности точило все сильнее и больнее по мере приближения пятидесятилетнего юбилея его службы.

Однако желанье испросить отставку, упредив получение ее без всякой просьбы, Синельников гнал. Тут было и упрямство, и самолюбие, но было и то, что он называл надеждой все же принести пользу вопреки комитету министров. И вопреки слухам об учреждении Сибирского наместничества с вручением оного великому князю Алексею Александровичу, за которым Синельников, говоря по совести, не числил ума государственного.

Совершенно же внове было то, что он стал посматривать на подчиненных с иного, нежели прежде, ракурса: ревниво, болезненно, стариковски-подозрительно, исподтишка: не примечают ли за ним убыли энергии, слабости, нерешительности? Он сделался еще более скор на гнев, на бранный разнос с топотом и сотрясанием кулаков, солдатское лицо его грубо багровело, и он переставал различать предметы, словно был без очков. Но гнев, топот и крик не давали, как бывало, облегчения, потому что теперь он неизменно ощущал свое бессилие переменить «отрасли сибирского дела».

Ужасным следствием его тогдашнего душевного состояния было происшествие в театре.

Городской театр недавно закончили постройкой. Поднять занавес Синельников решил непременно накануне Николы зимнего, не позже. Но последние отделочные работы еще не завершились, чего-то не хватало, что-то не

ладилось. В другое время Синельников вник бы — как, что, почему, а тут... Был он не в генеральской шинели, а в шубе, без адъютанта и полицмейстера, вроде бы инкогнито обозревал свою столицу, да и нагрянул в театр.

Там пахло краской, клеем, беспорядок был, стружки, доски, Синельникову показалось, что все бездельничают ему назло, он сразу повысил голос. Явился бледный, запыхавшийся десятник Эйхмиллер, седенький, в очках, и то, что десятник был тоже в очках, почему-то особенно разозлило генерала. Он зашелся в ругани и, замахнувшись тяжелой тростью, наступал на десятника. Тот пятился, но вдруг остановился, и генерал внезапно и близко увидел, как у этого мерзавца быстро-быстро вздрагивают губы, увидел — и в ту же секунду обрушил трость. Удар пришелся по загривку, очки у десятника слетели и разбились, кто-то из рабочих громко охнул, а генерал, еще пуще озлясь, что ударил неловко, снова занес трость, но в то же мгновенье пошатнулся от крепкой затрещины.

Последующее Синельников вспомнить не мог, да и старался не вспоминать, а помнил только, что мотал головою, будто стараясь стряхнуть, сбросить эту пощечину, и еще помнил дурацкое желание спросить, что же такое с ним произошло.

Ссыльнопоселенец Игнатий Эйхмиллер, краснодеревец и резчик, человек тихий, незлобивый и даже, как всем казалось, робкий, был тотчас арестован.

Подполковник Купенков обещал Эйхмиллеру полное прощение, ежели тот, умолчав о генеральских побоях, всю вину возьмет на себя. Странно: Эйхмиллер знал, что пан Купенков большой курвин сын, но послушался, поверил.

Суд был краток, как и следствие. Военные судьи могли бы натянуть: близорукий Эйхмиллер не разобрал, кто перед ним; могли бы заключить: генерал, одетый в партикулярное, не находился при исполнении служебных

обязанностей — и все обернулось бы иначе. Но курвин сын был начеку. Господа, сказал он военным судьям, не мне объяснять вам, *кого* представляет в Восточной Сибири их высокопревосходительство генерал-адъютант свиты его величества Николай Петрович Синельников; господа, сказал он военным судьям, решайте по совести и долгу, а генерал-губернатор, несомненно, смягчит ваш приговор ввиду полного раскаяния преступника.

Военный суд приговорил Эйхмиллера к смертной казни через расстреляние. Эйхмиллер спокойно выслушал приговор — ведь он поступил так, как советовал ему господин штаб-офицер.

В тот вечер «весь Иркутск» был в театре. Давали старую пьесу «Дедушка русского флота». Синельников сидел в ложе. Публика рукоплеща, поворачивалась к нему: Николая Петровича поздравляли и с премьерой и с днем ангела... Минувшей осенью он стоял на Английской набережной — был ветер, дождь, палили пушки, Синельников мрачно думал об утрате петровского духа и петровской дубинки. Он и сейчас, в театре, думал об этом, но как бы не впрямую, а по касательной... Главная же, сквозная мысль была вот о чем: нынче, утвердив приговор, он исполнил долг. Суровый, беспощадный, в точном соответствии с буквой и духом петровского регламента... И еще он думал о ссыльном Рогинском — он, Синельников, ходатайствовал о возвращении бывшего мятежника в родные польские пределы... Но именно потому, что Синельников как бы убеждал себя в своем беспристрастии, именно потому, что он как бы призывал Рогинского в свидетели своей справедливости, Николай Петрович сознавал — все это сейчас нужно ему, чтобы не думать об Эйхмиллере, которому уже объявлен смертный приговор.

После спектакля длинный поезд экипажей устремился к дворцу генерал-губернатора, где имел быть парадный обед по случаю именин его высокопревосходительства.

За обедом произносились речи. Синельников благодарил. Обычно весьма умеренный, он нынче испытывал потребность в выпивке, как случалось в те давние годы, когда он служил под Аракчеевым и все было ясно, определенно, четко.

Коротким офицерским броском отправляя в рот рюмку, Синельников, однако, не хмелел, а чувствовал все большее напряжение, словно ожидая чего-то до крайности неприятного. Насупясь, он слушал, что говорил этот Шелашников, пустобрех и лежебока, его, Синельникова, подколодный друг.

Толстый генерал Шелашников, военный и гражданский губернатор Иркутска, молол и молол, превознося именинника. Но вот, заканчивая, высоко поднял бокал:

— Господа! Его высокопревосходительство третий год твердо стоит на ногах, подобно своему ангелу-хранителю Николаю Чудотворцу, который, едва родившись, три часа кряду стоял в купели, никем не поддерживаемый. Ура!

Вот в этом-то «никем не поддерживаемый» и прятался скорпион-намек, тотчас всеми понятый: намек на петербургское отношение к Синельникову. И не только петербургское.

Синельников не сразу расслышал «ура», а когда расслышал и машинально встал во весь рост, то не увидел лиц в отдельности, а увидел какую-то огромную харю с множеством злорадно разинутых ртов, и в ту же минуту ему все сделалось решительно безразличным и скучным.

Заиграла музыка, начинался бал, составлялись партии вистующих. Синельников был среди гостей, в толпе, что-то говорил, кому-то даже и улыбался своей как бы неумелой улыбкой. Он любил бальную музыку в исполнении полковых оркестров, особенно полонезы, напоминавшие молодость, шляхетские усадьбы, голубую пани, за которой он, карабинер, смиренно и неуклюже волочился. Все это и сейчас явилось ему в ясновельможных звуках

Огиньского, но сразу и замглилось, сменившись тяжелым, муторным ощущением приближающегося рассвета, когда пехотная полурота расстреляет Эйхмиллера.

Николай Петрович почувствовал свою глубокую, угрюмую старость, но не растрогался, не пожалел себя, а с грустным, тихим удовольствием подумал, что не так-то уж и долго нести крест, пожил, потрудился, совесть чиста. Ему вспомнилось, как покойный граф Аракчеев упек на гауптвахту молоденького поручика за дерзость полковому командиру; поручик Синельников был прав своей, личной, малой правотою, генерал же Аракчеев — высшей, дисциплинарной, государственной, потому что полковой командир — полковой командир, и поручик не смеет дерзить. Но, думая так, Николай Петрович сознавал, что и в этом его воспоминании и рассуждении тоже звучит полонез Огиньского и тоже брезжит рассвет, а вместе и сознавал, что всем этим, как и чувством своего холодного, угрюмого стариковства, он заслоняется от давешнего приговора.

Негодяй же Шелашников плыл к нему в толпе гостей, жирное лицо было озабоченным, а следом двигался жандармский полковник Дувинг, тоже взволнованный и озабоченный. «Едет»,— обрадовался Синельников.

Все последние недели он был раздражен, недоволен великокняжеским набегом, а сейчас обрадовался, как подарку судьбы. Ничего неожиданного не было в том, что великий князь направлялся в Иркутск. С того дня, как младший сын государя, совершив дальнее плавание, высадился во Владивостоке, телеграфные депеши извещали генерал-губернатора, где и что великий князь Алексей. На всем пути императорского высочества полоскались флаги и пылали иллюминации, а ночами через каждые сто сажен горели на дороге высокие костры.

Синельников не ошибся: Шелашников и Дувинг поспешали известить его, что великий князь завтра будет

в Лиственничном. Весть о близости торжественной встречи тотчас распространилась, гости, откланиваясь, повалили вниз, дворец опустел, и Синельников ушел к себе. Тут только Николай Петрович почувствовал, как он измучен. Бессонница была бы и вовсе некстати. Однако водка, выпитая за обедом, не опьянив, взяла свое как снотворное.

Он спал недолго, в пятом часу уже бодрствовал. Но хотелось лежать не двигаясь и ни о чем не думая. Он нашарил очки, протер стекла, и эти привычные утренние движения напомнили Николаю Петровичу о разбившихся очках Эйхмиллера.

Синельников заставил себя встать и выйти в соседнюю комнату, где его ждал денщик с большим кувшином холодной, снеговой воды и грубым солдатским полотенцем. Полчаса спустя генерал уже находился в служебном кабинете.

Развиднелось. Поступили рапорты о готовности к приему его императорского высочества. Синельников, вздохнув, надел парадный кавалерийский мундир, мельком подумал, что пора бы уж, пожалуй, быть полным генералом, а не генерал-лейтенантом, подумал без огорчения, и отправился на загородную дорогу встречать великого князя.

В Иркутск они въезжали в одном экипаже.

Резиденция генерал-губернатора наполнилась свитскими, атмосфера сделалась светской, но не чопорной, а фривольной, как всегда в окружении великого князя, ценителя слабого пола и наполеоновского коньяка. Он любил дальние морские плавания, первым из Романовых пересекал океаны, первым ступил на берег Нового Света, а теперь вот первым ехал через всю Сибирь. Малый он был любезный, горя от ума не ведал, на жизнь смотрел легко, но, вероятно, впал бы в черную меланхолию, если бы хоть раз в году не ветрился в Париже, где метрдотель

«Максима» показывал посетителям его кабинет. Пребывание в Иркутске не вызывало у Алексиса ни малейшего интереса, но он готов был вынести всю программу, в том числе и посещение острога, дабы не лишать верноподданных счастья быть верноподданными.

Воспользовавшись послеобеденным отдыхом высокого гостя, генерал-губернатор, без адъютанта и полицмейстера, в легких одноконных санях подъехал к ядовито-желтым воротам острога. Начальник караула выскочил, как чертик из коробки, и отдал рапорт. Синельников прошел в кордегардию, оттуда в канцелярию; все были на местах, и уже одно это демонстрировало готовность тюремной администрации. Правда, от его бдительности ускользнуло исчезновение старшего ключника: тот помчался затворять камеры.

Разговаривая со смотрителем, стоявшим, как и все прочие, во фрунт, навытяжку, генерал вдруг вспомнил, что в остроге содержится знаменитый ангарский бегун. Как бишь? Лопатин? Да, да, Лопатин, Германом звать, Герман Лопатин... Еще в Томске, известившись об ангарском бегстве, Синельников любопытствовал взглянуть на эдакого молодца, да все недосуг было. Но сейчас генерал нахмурился. Эдакой хват мог, пожалуй, решиться на дерзость в присутствии великого князя. И генералу представилось необходимым произвести рекогносцировку, определить возможность чего-либо подобного.

— Покажите мне его,— сказал Синельников.

Ежели старший ключник ринулся марш маршем, то помощник смотрителя стреканул еще шибче. Круглое простецкое лицо его выражало недоумение, растерянность и почтительность: сообрази-ка, отчего генерал-губернатору понадобился арестант Лопатин?! Помощник несся через две-три ступени, благо ключники и надзиратели уже разогнали каторжную сволочь по общим камерам.

К Лопатину влетел он в ту самую минуту, когда

Лопатин повествовал о Робинзоне, а Шишкин, из «не наших» который, слушал, позабыв про свистульки для ребятишек и поталкивая локтем Степана Мокеева, вчерашнего добытчика витимского золота.

Помощник смотрителя выпалил про генерал-губернатора и, словно обессилев от волнения, не приказал, а почти умоляюще пригласил «не нашего» с Мокеевым очистить помещение. Просительный тон озадачил Шишкина, и Шишкин не ответил так, как ответил бы на окрик: тебе, мол, надо очищать, ты и очищай, это твое, а не мое.

Едва утих кандальный перезвон, послышался шум множества «вольных» шагов, и вот уже камера Лопатина озарилась мундирным шитьем: Синельников как был в параде, так и приехал. Мановением руки он удалил в коридор чиновников и офицеров. Те гурьбой вышли и притворили дверь, оставив, впрочем, щелку ради безопасности его высокопревосходительства.

Лопатину было известно, что генерал-губернатор — старик со всячинкой. Знал, разумеется, и то, что он, Герман Лопатин,— и как чиновник Контрольной палаты, и как поднадзорный и беглый — состоит, что называется, в высшем ведении генерал-губернатора Восточной Сибири, однако серьезного, практического значения этому не придавал. Зачем, по какой причине сановник пожаловал к нему, Лопатин не мог взять в толк, очень удивился и выжидал, что скажет этот костистый длинный старик с солдатским, начисто выскобленным подбородком.

В тусклой духоте тюрем у Синельникова всегда возникало ощущение низких потолков, он нагибал голову, опасаясь стукнуться о притолоку. Сутулясь, генерал смотрел на молодого человека, находя его внешность ничуть не вызывающей и даже, если угодно, приятной. «И эти очки...» — быстро подумал Синельников, ощутив что-то похожее на удовольствие: покоритель Ангары, оказывается, близорук. Николаю Петровичу не пришло в голову

объяснить самому себе, почему же очки десятника Эйхмиллера разъярили его, а вот эти, на Лопатине... Нет, не пришло в голову, и генерал ровным голосом объявил, что будет откровенен и надеется на встречную откровенность.

Лопатин сразу же подумал — сейчас начнется в духе Купенкова: «Признайтесь, вы явились освобождать Чернышевского...» — ну и так далее... Сообразив же, что речь идет о посещении острога императорской кровинкой, Лопатин не сразу понял, при чем тут он, Лопатин... Ах, вот что, необходима благопристойность?..

— Гордиев узел легко разрубить,— предложил Лопатин.

— Да, да, я слушаю...

— Видите ли, находясь в ставропольской ссылке,— охотно продолжал Лопатин,— я служил младшим чиновником для особых поручений. Так вот, когда через наш город великие князья езживали на кавказские воды, губернатор говаривал: «Послушайте, Герман Александрович, а не заболеть ли вам?» И я благодарно заболевал... Вы предложили откровенность на откровенность — извольте: не имел и не имею ни малейшего желания представляться их императорским высочествам. Не лучше ли мне заболеть?

«Ловок, однако!» — с какой-то веселой сердитостью подумал Николай Петрович. Ему понравился фланговый заход Лопатина. Но выполнимо ль? Больных — в больницу, больницу же великий князь не минет — непременный жест милосердия. «А квартира смотрителя? Ежели под особым караулом-то, а?» — подумал Синельников и, ощутив, как дуновение, давность мальчишеских проделок в кадетском корпусе, не без труда подавил усмешку.

— Вот как, вот как,— неопределенно произнес генерал-губернатор и задал ординарный вопрос: «Жалобы есть, претензии есть?»

Лопатин посмотрел ему в глаза:

— Было бы глупо не ухватиться за соломинку. Но позвольте обдумать.

Синельников тоже посмотрел ему в глаза: «За соломинку»? Это он-то, генерал-губернатор, «соломинка»? Николай Петрович чуть заметно усмехнулся: «Ловок, однако!»

— Обдумайте,— сказал генерал и, кивнув, вышел.

В тот же день в журнал высочайшего путешествия было занесено, что великий князь Алексей Александрович соизволил осмотреть все тюремные помещения, а вечером принимал участие в танцах.

Еще день спустя его высочество, отстояв молебен, уехал. Все в Иркутске перевели дух. И Синельников тоже: не было и намека на устроение наместничества Восточной Сибири для этого любезного, но пустого малого, младшего сына государя.

Время от времени Синельников вспоминал Лопатина. Прошение из острога не поступало. Обдумывает? Или впрямь счел «соломинкой»? Николай Петрович чуял лукавство: Лопатин уцепнул струну самолюбия — ты, дескать, и высокопревосходительство, а супротив-то графа Шувалова куды-ы-ы... Но главное было другое: Николаю Петровичу нравилось вспоминать молодого человека.

Синельников справился о нем у Дувинга. Жандармский полковник показал аттестацию Третьего отделения: умен, настойчив, умеет расположить в свою пользу, способности большие, натура кипучая, требующая деятельности, но деятельности в противоправительственном духе...

Осведомлялся Синельников и о ходе следствия. Ему докладывали, что беглец упирает на незаконность запрета выезда из Иркутска — он-де уплатил сторублевый штраф ввиду проживания по чужому документу; упла-

тил, хотя и была патяжка, он никому не предъявлял этот чужой документ, пусть не успел, но ведь не предъявлял же. Хорошо, уплатил. А ему стали докучать слежкой, надзором. Вот он и побежал, надеясь в Европейской России найти хорошего юриста и отдаться покровительству прокурорского надзора, коль скоро в Сибири все еще царит произвол дореформенного судопроизводства. Последнее было неприятно Николаю Петровичу. Не то чтобы он полностью одобрял новый судебный порядок, введенный по ту сторону Уральского хребта, однако отсутствие его в Сибири как бы указывало на отсталость и второстепенность края. Это-то и саднило. «Ах, ловок, ах, ловок!» — подумал Синельников, находя, впрочем, некоторый резон в доводах молодого человека.

С другой стороны, как не признать высшие резоны Третьего отделения — комплот вокруг Чернышевского необходимо обнажить до самого донышка. Синельников не слишком бы удивился главной роли Лопатина: ангарские пороги ручались за то, что такой сумел бы и на ковре-самолете летать. Кипучая натура, требующая деятельности. Однако не безрассуден же! Сколь ни кипуча натура, а и ее остудит приполярный Вилюйск, невозможность побега... Но какая преданность! Годы и годы Чернышевский, этот отравитель и совратитель, вне жизни, а забвения нет. Помнят, ждут, рискуют. И Синельников ловил в себе странную зависть к вилюйскому узнику.

Не потому ли, посещая Лопатина, как бы примериваясь к нему, не потому ли генерал и думал и примеривался, что покусывала, посасывала эта странная зависть? И не все ли это вместе слилось в потребность общения с арестантом Иркутского острога? Останавливало не положение, то есть то, что остановило бы всякого другого генерал-губернатора, нет, отсутствие неличного повода. Да, но Лопатин служил при ставропольском губернаторе, Лопатин служил в Контрольной палате. И тут уж возникало

неличное: Россия нуждается в дельных, честных, умных. Сибирь в особенности.

В общении с калифом, как Герман окрестил Синельникова, не видел он ничего предосудительного. Он ведь не барышня-нигилистка. У тех было в обыкновении где-нибудь на Невском непременно задеть локтем сановного господина, прошипев: «Захребетник!» Но если серьезно, он отнюдь не отождествлял революционера с фанатиком-сектантом. То было не только убеждение, но и свойство натуры. Мир социальный занимал его, социалиста, во всех ипостасях, тонах и полутонах. И не только в категориях отвлеченных. Надо знать, чтобы понимать. И наоборот. Высший сановник Восточной Сибири? Прекрасно! Тем паче что бурбон-то, сдается, не совсем бурбон. Или совсем не бурбон.

Практика Синельникова не была для него книгой за семью печатями. И неистовая грызня с чиновником-взяточником. И то, что газету «Сибирь» дозволил. И схватки с промышленниками. Правда, последнее объяснялось не филантропией, а благоразумием: стриги овец, но не сдирай с них шкуру.

О, как пылко обрушились бы на Германа многие из «братий», услышь они рассуждения о предпринимательстве в Сибири. Да и витимский горбач Степан Мокеев тоже бы выкатил глаза. Это что же, это как же? Лопатин и Синельников сошлись на том, что толстосум, воротила, предприниматель — благо, ниспосланное временем?

Синельников был доволен. Нигилист-то не пер на рожон, рассуждал государственно. Господи, за чем же стало? Иди в подчиненные, будем дело делать. Вы полагаете, сударь, что ежели на мне эполеты, мундир, ежели я полвека в службе, то мне не дорого то же, что и вам? Жестоко ошибаетесь, сударь мой.

— Вот здесь, вот здесь,— повторял Синельников, прихлопывая ладонью по левой стороне груди,— несу любовь,

да, да, горячую любовь к нашему разнесчастному серому простолюдию, к иванам-дуракам. Видел и в городах, и в отдаленнейших деревнях, под снегами, и в строю, под ружьем, и в тюрьмах видел, в каторге: душа народа всему доброму открыта, всему честному, и как мало-то надо для счастья, и как готова на подвиг, высокий подвиг готова. И вот, знаете ли...— Он глубоко вздохнул.— Ведь счастье, право, счастье такому народу послужить. Счастье родиться русским гражданином, числиться русским гражданином, потому что...— Николай Петрович как бы застеснялся, нагнул коротко остриженную седую круглую голову, искоса поглядывал и вопросительно, и сердито, на самого себя сердился, на этот свой порыв, на эту свою откровенность.

— Я верю вам, Николай Петрович,— вдумчиво ответил Герман, впервые называя Синельникова именем-отчеством.— Да, велико счастье...— И замолчал, разбираясь в путанице чувств и мыслей.

Один предмет любви — и такое громадное противостояние. И каждый не может иначе. Не видел Синельников простого и непреложного, того, что ему, Лопатину, было простым и непреложным. И Лопатин сознавал бессилье свое. Проживи хоть год под одной крышей с Синельниковым, не сумеешь объяснить старику то, что уже объяснял вчерашнему витимскому горбачу. Не сумеешь объяснить, что самодержавство сильно лишь злом. Не убедишь, что, остервенясь на проявления зла, надо остервениться на сущность зла. Некогда здесь же, в Иркутске, умнейший Сперанский сотнями отрешал казнокрадов и лихоимцев и сотнями принимал новых, свежих, к тому ж и более хищных, ибо они еще не нажрались, еще не обленились в сытости. Так было, так будет, пока бюрократия об руку с верховным деспотизмом парализует все... Бедный генерал от кавалерии, убежденный в том, что мильонщик из бывших дворовых п о д ним, а мильонщик-то —

над вами, генерал. И вы надеетесь умерить его аппетит? Вы надеетесь образумить его в видах его же пользы? Полноте! Он же тогда рухнет в самоотрицании.

— Ад вымощен добрыми намерениями... ваше превосходительство,— сказал Лопатин, в последнее мгновенье деликатно изменив фразу; он хотел сказать: «Добрыми намерениями вашего превосходительства».

— Э, софизмы! Есть дело прямое и честное, надо его делать, а не риторить.

— Дело?

— Ну-ну, прекрасно понимаете, прекрасно понимаете. Уж, конечно, я не о том, что́ делают...— Синельников поискал, как бы ему выразиться, не обижая молодого человека.— А, ладно. Вы и это тоже понимаете.

— «Это»,— нажав голосом, подтвердил Лопатин.— Вы держите на уме сторонников социального переустройства?

— Точно так, точно так,— подхватил генерал.— Эвон Париж-то коммунарский всем показал, куда заворачивают, куда поворачивают. Я вам непременно пришлю, прочтете, из Петербурга получил, с французского переведена — «Черная книга», да, да, черная, про Коммуну, разоблачения Интернасионаля, непременно пришлю.

Лопатин посмотрел на него, будто молвил: «А зубы-то у вас, генерал, зубы!» — и Синельников раздражился пуще.

— Коммуна! Убийства, грабежи, поджоги — это что? это как? это, по-вашему, дело? Вот вы мне верите, спасибо. А я вам, сударь, не верю, чтобы все это по душе-то было.

Лопатина не потянуло толковать о праве угнетенных на насилие, но и промолчать было б негоже, и он сказал, что история писана огнем и мечом.

— А! — вскинулся Синельников.— Я на войне бывал, знаю-с. Но тут другое, тут внутренний огонь жжет. Нечаева вашего как забыть? Процесс был, читали? — У Си-

нельникова голос пошел фальцетом: — «Мы за народ! Мы за народ! Все народу!» — Он вдруг хрипло и коротко рассмеялся.

Дикарь, невежда, подумал Лопатин, нечего бисер метать... Но это — «ваш Нечаев», это подчеркивание общности с Нечаевым было непереносимо.

В революцию, сказал Герман, не сваливаются с луны, идут из общества, пораженного гангреной, и, случается, мечены пятнами. А жизнь не ждет явления ангелов, забирает наличность, но это, генерал, вовсе не означает, что в самом ходе вещей худшее не меняется к лучшему.

— Слова,— властно выставил Синельников.— А впрочем... что же... Гм, вот вы, стало быть, уповаете на обращение чертей в ангелов. Ну, пусть не в ангелов, так в полуангелов. Хорошо-с! В таком разе позвольте вопрос: а почему же мне, который ночей не спит, стараясь... Да. Почему мне-то не надеяться? И я на ангелов не надеюсь, а все ж есть достойные люди, способные обновить и укрепить администрацию? Есть, сударь! Да, на беду-то, не туда на подмогу валят.

— Вы забыли: новое вино не вливают в старые мехи.

— Эва, господи! Я жизнь прожил, мне лучше видать: мехи-то обновились.

— Николай Петрович, как не понять: старая погудка на чуть-чуть новый лад.

— И отлично! Чуть и еще чуть, да еще чуть... Прорастет! — Он умолк словно бы в каком-то озарении. И будто удивился. И склонил голову набок, стараясь не упустить, не утратить. Потом сказал рассудительно: — Порвать связи с прошедшим, со всей русской исторической жизнью порвать и все начать сызнова? — Покачав головой, прибавил сокрушенно: — Какое опасное обольщение.

Он уже не ходил в штыковую, не гневался, не хмыкал. Он чувствовал то самое бессилие, которое давеча чувствовал Герман.

Пауза в посещениях острога вышла долгая.

Оба скучали друг без друга. Не будь обоюдной честности, все решилось бы просто: бог с тобою; черт с тобою. Но эта обоюдная честность, эта искренность, эта убежденность звала к единоборству. Неправоту другого осмысливал каждый по-своему. Опять было противостояние. Но на разных уровнях.

«О божественном праве» порядка существующего и «божественном праве» порядка рождающегося помнилось Лопатину из Гегеля. В столкновениях двух «прав» возникали молнии. При бескорыстии и убежденности виноватых не было. Однако нравственное оправдание принадлежало поборникам нового, рождающегося. Как говорил Герцен, вечная игра жизни и смерти, неизбежная и неотвратимая.

Все это было в горних высях. Но была и сиюминутность, было с е й ч а с. Заскрипит тяжелая, в железных накладках дверь, сутулясь и нагибая голову, переступит порог длинный костистый старик, и этому старику не откажешь ни в уме, ни в честности, ни в бескорыстии. Старик деспотичен и самолюбив, свой деспотизм обручил старик с пользою самодержавию.

Старик же генерал отродясь не читывал Гегеля, «божественное право» понимал как миропомазание в Успенском соборе. Неправоту арестанта-собеседника находил преходящей — ведь вот же открестился от этого урода Нечаева! Стало быть, исцелится заблудшая душа. И порукой тому не только разум, но и гордость: молодцом держался — не льстил, не вилял, ни о чем не просил.

И хотелось Николаю Петровичу верить, что найдет он в Лопатине неподкупного помощника, даже содеятеля. А ведь один, другой, третий такой же, и вот она бы и восстановилась, его, Николая Петровича Синельникова, полуразрушенная энергия.

О, этот вздох, занесенный в тетрадь, не предназначен-

ную стороннему глазу: «Я занимался буквально день и ночь, год за годом, пока видел пользу трудов моих, наконец силы подорвались...»

Тяготясь «подрывом», скучая по Лопатину, Николай Петрович и обрадовался и испугался, когда адъютант есаул Винников подал пакет, надписанный Лопатиным и запечатанный печатью смотрителя тюремного замка. Обрадовался: «Прошение!» Испугался: «Неужели дрогнул?»

Письмо Лопатина прочел Синельников единым духом. И все понял. Но вместе будто б и не понял — Николая Петровича словно бы оглушило. Он стал перечитывать. Лопатин поднимал забрало: я не ищу ни милости, ни снисхождения. Лопатин сбрасывал кирасу: вот мое революционное прошлое, вот мое знакомство с великим ученым Карлом Марксом, вот мое преклонение перед великим гражданином Чернышевским. Да, я приехал в Сибирь, чтобы спасти Николая Гавриловича Чернышевского. Но клянусь, я действовал в одиночку, на свой страх и риск. Коль скоро я обнаружен и обезврежен, зачем же мучить Чернышевского в гибельном Вилюйске?.. Верьте: если б было возможно, если б было приемлемо, он, Лопатин, не медля ни минуты, заменил бы вилюйского узника: каждый честный солдат готов заслонить грудью любимого генерала...

Нелепость этого предположения (или предложения?!) выпирала, как кость при открытом переломе. Синельникову стало досадно за себя и неловко за Лопатина. Досадно, да-с. Благоволишь человеку, а тот норовит провести тебя на мякине благородных чувств. И неловко, да-с. Умный человек Лопатин, да вот ведь сфальшивил, пустил петуха.

Но уже в следующую минуту Синельников усомнился. Как раз глупостью и было бы счесть Лопатина столь уж глупым. Тогда что же? Что же тогда в этом лопатинском «если бы»?.. На Синельникова вдруг пахнуло дав-

ним, военным, бивуачным; молодой лихостью пахнуло, как жженкой. Все это разительно отличалось от повадок чиновной публики, состоящей при чернильницах. Прости господи, позавидуешь такому «генералу», как Чернышевский, ибо есть у него такой солдат, как Лопатин.

И Синельникову захотелось тотчас увидеть Лопатина.

В острожной камере Николай Петрович начал с того, что сказал Лопатину — письмо ваше получил, доверием вашим тронут; жаль, очень жаль, могли бы отдать отечеству свои недюжинные силы, однако предпочитаете терпеть неудобства содержания под стражей.

Лопатин отвечал, что «неудобствами» обязан нарушителям законности и это весьма обыкновенно в отечестве, где служивые алтарю от алтаря и кормятся. В старчески нечистых глазах Синельникова появилось выражение неудовольствия. Но Лопатин продолжал:

— Вашему превосходительству не хуже, а может, и лучше меня известно, как был осужден Николай Гаврилович Чернышевский: никаких юридических доказательств. Еще студентом я слышал от верных людей, что и в Государственном совете не находили достаточных улик. И что же? Является шеф жандармов, показывает — издали! — какие-то бумаги, и этого у нас достаточно: Государственный совет проглатывает язык. Какие же бумаги? Секретные! Но зачем же скрытничать, ежели располагаешь доказательствами? В приговоре упоминались статьи из «Современника». Хорошо! Если тут криминальность, то не цензуры ли в первую голову? У нас же без цензуры ни шажка. Так в чем же дело? Нет, поступлено было не только незаконно, но и жестоко. И не только жестоко, но и неосмотрительно: негодовали не одни «красные», а и очень, очень умеренные. Но что же теперь? Незаконное наказание истекло, а Николая Гавриловича заживо погребают в ледяной могиле!

Господи, Синельников наперед угадывал: об этом-то

и зайдет речь. И наперед определил выставить высшие соображения, нравственную убежденность в виновности Чернышевского. А сейчас и увял. Но про запас было другое, важное и сокрушительное. Он откроет глаза этому молодому человеку — и довольно, пусть решает сам.

— Мне положительно известно,— сухо и строго начал Синельников,— да-с, положительно известно следующее. Согласно моей инструкции приняты все меры, исключающие что-либо предосудительное. Об исполнении мне доносят с каждой вилюйской почтой, то есть еженедельно. Так вот, унтер-офицер и урядники, приставленные для непосредственного наблюдения, а равно местный исправник обращаются с господином Чернышевским кротко, вежливо, без досадительности. Находится он в доме для важных государственных преступников. Воздух чист, сух, все удовлетворяет санитарным требованиям. Здоров, живет покойно. Письменные занятия дозволены, прогулки, разумеется, тоже. Выказывает недовольство запрещением печатания его сочинений, что отнимает, по его мнению, тысяч десять годовых и заставляет брать средства у семьи. Но, во-первых, он и осужден за идеи, проводимые в сочинениях, а во-вторых, получает от казны достаточно — семнадцать рублей двенадцать копеек помесячно.— И генерал развел руками: мол, чего же еще?

— Ничего не скажешь, куда как весело в золотой клетке.— Лопатин вспыхнул.— Убивающие мысль хуже убивающих тело. Вы говорите: находится в доме! В таком же, как здешний. Нет, в мильон раз ужаснее: о д и н.

— Ну, так вострите уши,— почти зловеще произнес Синельников.— Слушайте внимательно,— повторил он веско и холодно.— Изволите: «золотая клетка», «убивающие мысль»... А между тем государственный преступник Чернышевский вовсе не же-ла-ет оставлять эту «золотую клетку». Не улыбайтесь! Тут не до шуток. Не же-ла-ет!

— То есть как? Не понимаю...— Лопатин подался вперед, чувствуя колотье в груди и мгновенный отток крови с лица.— Не понимаю!

— Сейчас поймете,— продолжил Синельников все так же холодно и веско.— Когда вы, безумец, ударились в бегство, вместо того чтобы дождаться моего возвращения из Петербурга и... Так вот, вы бежали, тотчас принялись ловить вас в окрестностях Вилюйска. Чернышевскому же было объявлено: нелепости ваших друзей не только отнимают возможность пересмотра дела, а, напротив, вынуждают брать противу вас еще более строгие меры... Он ответил: «Я никогда не просил умыкать меня. Я их друзьями не считаю. Я о них только и узнал, что из газет, читая процесс Нечаева. И я никогда не согласился бы. Из простого благоразумия. Скрываться не умею, замерзнуть или утонуть не желаю. Натура моя не выносит физических усилий. Конечно, я не прочь оставить Вилюйск, но... Но только при тех же условиях и удобствах, с какими был сюда доставлен. И я надеюсь, что именно так буду возвращен, правительство еще будет во мне нуждаться».— Сделав паузу, Синельников негромко добавил: — Теперь вы поняли, Герман Александрович?

Он в первый раз назвал его не «сударем», не «молодым человеком». Он не злорадствовал, а радовался. Он не торжествовал, а доказал. Он не сомневался, что Лопатин ему верит. Ведь он же не лгал, он повторил то, что ему сообщали, письменно сообщали штаб-офицеры корпуса жандармов.

Лопатин уронил руки, уронил голову. Он не верил. Не хотел верить. Не мог верить. И все же... и все же... и все же... И вдруг вскинул голову, блеснул очками, выдохнул:

— Отчего же не просит?

Синельников еще не схватил сути вопроса, как уже ощутил всю его неожиданность. А Лопатин на лету пой-

мал это ощущение Синельникова, встал, скрестил на груди руки.

— В таком случае, ваше превосходительство, отчего же Николай Гаврилович не просит помилования?

Странно, как в тике, дернулась щека Синельникова. И в этой мгновенной дрожи отозвалось упрятанное, унизительное, страшное — то, что произошло в театре, когда упали и разбились очки проклятого десятника. Неподвижный, багровый, совсем не тот, что минуту назад, Синельников ответил сдавленным голосом:

— А откуда вы знаете? Может, уже и обратился?

Лопатин онемел.

Из множества требовалось выбрать одного, обладающего деликатностью и вместе настойчивостью. Но и этого мало. Синельников не сразу определил, что же еще необходимо; потом определил — сочувствие. И выбрал Винникова, личного адъютанта.

Синельников как-то застал Винникова погруженным в чтение. Тот сделал было движение спрятать книгу, но тотчас отдернул руку и покраснел. Читал он статьи Чернышевского, вырезанные из давних номеров «Современника» и заботливо переплетенные. Прямота Винникова была известна Николаю Петровичу, он не стал ни о чем спрашивать, ничего домогаться, но Винников, устыдившись своего испуга и своего желания спрятать книгу, тотчас высказался в том смысле, что автор — личность выдающаяся, наделенная способностью логически проницать будущее. И заключил: «Да, ваше высокопревосходительство, вот так и живем: лучшее ссылаем, а худшее оставляем на развод». Синельников не вспылил, однако отрезал: «Ну-ну... И никогда ни с кем не говори о нем».

А вот сам же и заговорил.

Он выдал Винникову предписание о ревизии Вилюйского окружного полицейского управления. Сказал: «Реви-

зию проведете краткую, взгляните, и только». И тут же вручил другую бумагу. Сказал: «Григорий Васильич, об этой никто знать не должен. Ни якутский губернатор, ни вилюйский исправник. Это поручение главное. Я прошу и надеюсь, что оно будет исполнено осторожно и деликатно. Вы обязаны доставить мне ответ, тот либо иной, но доставить».

Теперь Синельников дожидался его возвращения из Вилюйска. Дожидался спокойно. Дело казалось верным. А потом он добьет упрямого арестанта. Ишь ведь каков! «Золотая клетка», «убийцы мысли», о себе ж ни гу-гу, будто и не расслышал приглашения к службе. И не у какого-то там коллежского асессора Бутыркина, нет, у генерал-губернатора Восточной Сибири.

Наконец Винников приехал.

Генерал посмотрел на Винникова, тот отвел глаза. Синельников выкрикнул:

— Что?!

— Нет,— тихо ответил адъютант, протягивая бумагу.

Синельников увидел: «От подачи прошения отказываюсь. Николай Чернышевский». Генерал круто отошел к окну. Остужая лоб оконным стеклом, заложив руки за спину, приказал:

— Садись. Рассказывай.

Винников не сел. Рассказывал стоя.

— Исполняя ваше приказание, я явился к господину Чернышевскому без сопровождения, один, под видом опроса претензий. Он был в рваном халате, на бледном лице его не выразилось ко мне никакого интереса. Я представился и сказал: «Николай Гаврилович, я прислан с специальным поручением господина генерал-губернатора. Не угодно ли прочесть и дать мне ответ в ту или другую сторону». Он молча взял. Прочел и вернул. Потом поблагодарил за труды. И сказал: «В чем же я должен просить помилования? Это вопрос... Мне кажется, я сослан

только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер. А об этом-то разве можно просить помилования?» Признаюсь, ваше высокопревосходительство, я потерялся. Минуты три — болван болваном. «Так, значит, отказываетесь, Николай Гаврилович?» Он смотрел просто, спокойно: «Положительно отказываюсь». Позвольте, говорю, просить вас дать мне доказательство, что я вам предъявил... «Расписаться в прочтении? — спрашивает.— Пожалуйста, с готовностью».

Генерал был в ярости. Семинарист, замешенный на пугачевщине, обманул его. Кругом обманул! Ишь, мученик! Гордость какова! Э-э, «гордость», «гордость» — наглость, вот что, наглость. Голова, видите ли, не так устроена! Сжимая кулаки, Синельников бранился площадной бранью.

Отгремев, сел в кресло. Достал флакончик с ароматической солью. Приложился одной поздрей, другой. Благовоние утишило гнев. В конце концов была бы честь предложена. Николай Петрович перечел: «От подачи прошения отказываюсь. Николай Чернышевский». И подумал: «На какого Николу-то — на зимнего или на вешнего?» Вопрос был пустой, пустота наполнилась мрачной горечью: вспомнились именины, речь этого борова Шелашникова, ощутилась пощечина. И Синельников, как тогда, в театре, замотал головой.

Несколько дней Николай Петрович глядел тучей.

Медленно вызревало в душе одно намерение. Он не хотел признаться, что оно, это намерение, следствие обиды, стыда, оскорбленного самолюбия. И совсем уж не хотелось признать, что есть в его намерении и глухо бередящее чувство вины перед треклятым Эйхмиллером. Еще чего! Он, генерал-губернатор, поступил как должно, и баста. А чувство не унималось, бередило глухо.

В намерении Николая Петровича было желание добра. Желание почти болезненное: ах, вы со мною так, ну а я

с вами эдак. В другое бы время генерал прикинул расчетливо: поспешай медленно. Но сейчас ему все надо было заглушить пушечным выстрелом.

В пятом часу утра со свежей головой и в твердой памяти генерал-губернатор Восточной Сибири, генерал-адъютант свиты его величества Николай Петрович Синельников сел писать ходатайство в Петербург, в Зимний, на высочайшее имя — о Чернышевском: перевести из Вилюйска в Якутск; о Лопатине — назначить жительство в Иркутске, отменить полицейский надзор и определить в службу. И, сняв очки, легонько надавливая пальцами глазные яблоки, подумал, как давеча, но уже легко и покойно: «Ах, вы так со мной, ну а я с вами эдак». И опять, как в именинный вечер, осенился тихой, печальной отрадой: недолго уж крест нести, потрудился, совесть чиста.

Месяц спустя Петербург ответил сокрушительно на его ходатайства: о Чернышевском — молчанием, столь же красноречивым, сколь и грозным; о Лопатине так: государь император не соизволил прекратить дело Лопатина, предосудительный образ действий которого памятен его величеству.

Странно, Синельников не растерялся, не обиделся, не посетовал на свой «пушечный выстрел», не прогневался на визирей, подсунувших государю неодобрительные отзывы на ходатайства,— тяжелая безысходная апатия овладела Николаем Петровичем.

Следствие по делу Лопатина продолжалось. Можно было и гордиться, не испытывать удовольствия, но гордиться: его образ действия оказался весьма памятным государю императору.

Теперь делом Лопатина занимался губернский стряпчий. Арестант поначалу не тяготился вызовами в суд. И сама эта ходьба, и улицы, и прохожие, экипажи, ло-

шади, дети — все было как внове. Глаз радовался, возникало приобщение к живой обыденности.

В Сибири судебные следователи еще не водились. Следствия вершили земские заседатели и губернские стряпчие. Лысенький, востроносенький, безбровый Горяев в прежние годы корпел секретарем суда и все, что называется, превзошел, то есть и с завязанными глазами настрочил бы: «Сия записка из дела учинена правильно, и узаконенные приличия приведены и более приличных узаконений не имеется, в чем и подлежу ответственности по законам за всякую несправедливость».

Он был неглуп, стряпчий Горяев, и дело о самовольной отлучке из-под полицейского надзора бывшего чиновника Контрольной палаты вел спустя рукава — брал в соображение благосклонность их высокопревосходительства к Лопатину.

По сей же причине и смотритель тюремного замка, и помощник его, и старший ключник не ограничивали свидания господина Лопатина с барышней Чайковской.

Год почти не виделись Герман и Нина. Оба переменились. В ней исчезла угловатость плеч и ключиц, она уже была не то чтобы совсем на выданье, но к тому близко. Ее белое, одушевленно-мраморное лицо казалось Герману прекраснее прежнего, голубые глаза потемнели, чуть-чуть, но потемнели. А Герман казался Ниночке таким, каким ее брат возвращался с медвежьей охоты — некомпатным, недомашним. Пахло от Германа казенным, сиротским, солдатским, однако этот запах не вызывал жалостливого чувства, какое всегда возникало у нее при виде марширующих нижних чинов.

Главная же перемена была иная, и они мгновенно и вместе ощутили ее и будто б не взглянули друг на друга, а переглянулись с кем-то третьим, невидимым, переглянулись недоуменно и почти испуганно. Господи, они же поняли, все поняли, но смутились, точно бы виноватые,

не сразу поняв, что перемена эта обоюдная, общая и, стало быть, ничьей вины нет. А поняв, рассмеялись и смеялись долго, держась за руки и уже совсем смело глядя друг другу в глаза. Все это было бы невозможно объяснить, вздумай они объяснять, но они просто смеялись и радовались один другому, принимая свою любовь не такой, какой была она до ангарского побега, ибо в этой, теперешней любви не было чувственности.

— А знаете, Герман...— Она уже не смеялась, но глядела весело.— Знаете, у нас же с вами amitié amoureuse,— и опять рассмеялась, слегка покраснев, будто конфузясь выражения, выхваченного из романа,— влюбленная дружба, дружеская любовь.

— И хорошо, и прекрасно,— быстро, как с разбега, ответил Герман. И повторил это, но уже отводя глаза и потирая лоб...

В последнее время он явственно ощущал душевную неловкость, неподвластную иронии, теоретическим или практическим соображениям, как бы и не зависящую от него самого.

Нечто подобное Герман испытывал, совершив ставропольский побег. Гарнизонные офицеры доверяли, мирволили ему, а он взял да и улизнул с гарнизонной гауптвахты. Правда, он никому не давал никаких обещаний. Правда и то, что дисциплинарное взыскание, наложенное на офицеров за побег арестанта, наверняка искупилось их удовольствием при виде вытянутых физиономий губернских жандармов. И все же, и все же... А Нина, Нина фон Нейман, вдова полковника? Ей он тоже не давал никаких обещаний. Отказаться же по сей причине от ее помощи значило бы свалять дурака. И все же, и все же...

И вот он попал в Иркутск, стал вхож в дом добрейшей, честнейшей Татьяны Флорентьевны; положа руку на сердце, говорил себе, что влюблен в Ниночку Чай-

ковскую; вниз по Ангаре ринулся лишь после того, как решил, что даст ей срок распознать, отвечает ли она взаимностью... Под конвоем, силком возвращенный в Иркутск, сидя в остроге, еще и не повидавшись с Ниночкой, верил: Ниночка любит, как говорится, со всем пылом молодости. А он... он — странно?! — он уже не мог произнести: я — тоже. Между тем, замышляя новый побег, зная, что навсегда исчезнет из Ниночкиной жизни, Герман рассчитывал на ее содействие, хотя и усматривал в том уклонение от принципов порядочности.

А теперь... Помилуй бог, в ту самую минуту, когда он услышал о дружбе, пусть и влюбленной, но лишь о дружбе, в ту самую минуту ему бы передохнуть освобожденно и радостно, так нет, нет же, печаль прихлынула и даже обида — отведя глаза, потирая лоб, повторил принужденно, разочарованно: «И хорошо, и прекрасно...»

Помолчав, спросил, продолжается ли его «сватовство»?

— Да, да, продолжается,— поспешно и серьезно ответила Ниночка, не только отчетливо понимая, о чем спрашивает Герман, но и разделяя его печаль и словно бы уже сомневаясь в том, что испытывает к нему лишь дружбу, пусть и влюбленную, но только дружбу.— Конечно, продолжается,— смущенно сказала она, привстав на цыпочки и проводя кончиками пальцев по его плечу.

С этого дня они очень старательно поддерживали статус жениха и невесты. Так убедительно и старательно, что и в жандармском управлении не сомневались: Лопатин и младшая Чайковская — хоть сейчас под венец. Так убедительно, что и генерал-губернатор, снисходя к просьбе почтеннейшей Татьяны Флорентьевны, дозволил недозволенное: арестанта Лопатина нет-нет да и отпускали погостить в доме будущей тещи.

Щапов приходил в этот дом через заднюю садовую калитку, приходил, якобы не замеченный конвоиром по имени Егор, по фамилии Здорный. Егор Здорный был

мужчина невздорный, сидел себе в кухне, угощался, держась надежного солдатского и арестантского правила: не видел, не слышал, не знаю.

Во всем Иркутске не было Лопатину никого ближе Щапова. Не потому лишь, что Афанасий Прокофьевич, штудируя русский перевод «Капитала», радовал переводчика новым взглядом на сибирские экономические условия, обнаруживая в них крутое нарастание господства класса капиталистов, а потому, главное, что очень уж полюбился Германну этот человек с изможденным пергаментным лицом и неотвязно-тяжелой думой о тысячелетнем русском горе-злосчастье. Ох, как хотелось, чтобы и Афанасий Прокофьевич оказался в Европе! Германн привел бы его на Мейтленд-парк-род, привел бы под купол Британского музея... У Щапова никла совсем уж седая голова. Нет, нет, его Оленьке невподым дальняя дорога, а без нее он никогда, никуда.

Опять и опять обсуждали они проекты лопатинского побега. Призывали Татьяну Флорентьевну. Втроем пряли нить, как богини судьбы. Пряли так, чтоб не перерезали жандармские ножницы.

И еще надо было успеть написать в Петербург, на Большую Конюшенную. Непременно успеть. Это ж оттуда, из Петербурга, долговязый Фриц (вот кличка — прилепилась смолоду), да, оттуда Даниельсон извещает своего лондонского корреспондента, каково живется-можется «сибирскому путешественнику», которого и старик Маркс, и его сподвижник неизменно называют «нашим общим другом».

А в предвечерье, когда оседает розовая пыль и утихает город, прекрасная панночка провожает жениха в острог. Рядовой Здорный, мужчина деликатный, все на свете понимающий, держится поодаль, однако зорко — не напороться бы на отца-командира.

Все уже слаживалось окончательно, отмеренное не

семь раз, а семью семь, но была тайная помеха, никому не высказанная. Даже Щапову. Сдается, и Афанасию Прокофьевичу эдакий препон показался бы глупым, смешным, каким-то, прости господи, дурацко-рыцарственным, нелепым.

Помехой, препоной был Герману... Николай Петрович Синельников. Он, Герман, открылся Синельникову до конца, и Синельников его не выдал. Правда, никаких обязательств не дано. Он, Лопатин, вовсе не клялся сидеть на цепи, как собака. Правда и то, что, думая о Синельникове, Лопатин не выдумывал Синельникова. Деспот, лишенный своекорыстия; крутой калиф, ласковый к серому люду; старый человек, положивший жизнь на служенье своей идее... И все ж в этих определениях Николая Петровича оставалась какая-то незавершенность, неполнота была, и она-то, сколь ни странно, замедляла прыжок на свободу, пока... Пока не узнал о расстреле Игнатия Эйхмиллера. Мгновенно вообразил тусклый зимний рассвет, щуплую фигурку приговоренного, близоруко мигающего на черные дырочки дульных отверстий... И ужас осужденного сильно и больно отозвался в душе Лопатина.

Все это резко высветилось ясным летним утром и хотя не уничтожило глубоко затаенную признательность старику генералу, рухнула тайная помеха, заставлявшая медлить побегом. Теперь Герман был готов, совершенно готов. И не только он, но и все те, кто ему помогал. Нынче вызовут к лысенькому стряпчему. Во дворе окружного суда, у крыльца, будет ждать лошадь. Оседланная. И непривязанная. Будто по рассеянности, будто по забывчивости. Он посидит в канцелярии, делая вид, что пишет показания, потом пойдет напиться воды. И не хлопнет дверью, а притворит дверь.

Острог пробудился, гремело железо. Герман пожалел, что не увидит, не простится с Мокеевым — еще весною

угнали парня в какой-то улус, на поселение. Да, со Степушкой не попрощаешься. Герман спустился в первый этаж, в общие камеры, отыскал «не нашего», сделал ему знак и вернулся к себе.

Шишкин, придерживая кандалы, пришел тотчас. Уставил на Германа пристальные темные глаза, выдохнул сиплым шепотом: «Отчаливаешь, старик?»

Свой замысел Герман не таил от «не нашего», и вековечный каторжанин звал его «стариком» — в знак высшего уважения.

Шишкин обронил кандалы, короткий окаянный стук ударил Германа по сердцу, словно бы сейчас, в эту минуту, в этом железном бряканье была вся исхлестанная, измордованная житуха «не нашего», не признающего ни бога, ни черта, верующего лишь в пробуждение совести человеческой. А он уже тискал Германа своими мосластыми руками, да вдруг и отстранился, нащупав под его рубахой револьвер.

— Послушай, старик, послушай... Не напускайся с легким сердцем на чужую жизнь.

— Что ты, что ты! — шепотом отозвался Герман.— Но вернуться сюда не согласен, и добром меня не возьмут!

— А! Вот это другое дело. Чем можешь, как можешь — защищай свободу, не давайся до последнего, хоть зубами!

Они обнялись.

Помаленьку припекало, когда рядовой Здорный, деликатный мужчина, все понимающий, нынче даже и не конвоир, а так, подчасок, при одном штыке, привел арестанта в окружной суд.

Лошадь стояла во дворе, у крыльца. Здорный замедлил шаг и восхищенно причмокнул:

— Конистый конь, умеющий.

— Чего «умеющий»? — ухмыльнулся Лопатин.

— А вот чего: везде пройдет. По болотам и то пройдет. Неумеющий ногу-то прямо и быстро поставит — ну и хлопнется по брюхо. А этот не-ет, шалишь, этот себе на уме. Он сперва аккуратно переднюю поставит, а заднюю-то эдак плашмя положит, вот и пройдет где хошь...— Егор Здорный будто б спохватился: — Ну, вам в канцелярию, а я, значит, туточки, за уголком засмолю — у-у, крепок, малороссийский, куда-а-а...

Лопатин пошел в канцелярию. Обернулся: прекрасным, влажно-агатовым глазом конистый конь косился на Лопатина. Деликатный конь, все понимающий.

«Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль...»

Любил Лопатин эту песню, и моя мама-покойница когда-то любила ее, вот и слышу теперь эту песню, будто льется она над кандальными верстами.

Конь не выдал, и не выдал тихоход-пароход, ударяя звучными плицами от томской пристани до тобольского причала. А потом опять гужевой скрипучий путь, мужицкие обозы и, наконец,— отрада индустрии — железная дорога из Нижнего в невскую столицу.

На Большой Конюшенной, в доходном доме, что солидно скучал рядом с финской церковью, обнял беглеца долговязый Даниельсон и поспешно отвернулся, скрывая слезы. И это ж там, в Петербурге, при виде Лопатина, выдубленного ветрами, непогодами, солнцем, блеснула улыбкой женщина с прекрасным и смелым лицом...

Чую, опять, опять поддаюсь мощному, порожистому течению жизни Лопатина, а ведь есть у меня свои заботы в иркутском архиве, и потому пора ухватиться за якорную цепь, звенья которой — строки двух писем.

Оба датированы ноябрем восемьсот семьдесят третьего года. Одно послано из Лондона в городок Харрогет, куда адресат отправился лечиться, отправился со своей дочерью Элеонорой, по-домашнему Тусси; второе — ответное — из Харрогета в Лондон.

Энгельс — Марксу: «Дорогой Мавр! Лопатин вчера вечером снова уехал в Париж, он намерен вернуться через 1—2 месяца, к этому времени и Лавров переберется сюда со своей типографией...»

Маркс — Энгельсу: «Очень жаль, что славный Лопатин не застал меня; как удачно этот юноша выпутался из беды!»

СВЯЗКА ВТОРАЯ

I

После долгого отсутствия вновь берусь за картонки и папки с казенными и частными документами.

Почина ради представлю художника Горского. Он займет некоторое место в моих письмах. И весьма кстати подтвердит, что жизнь предвосхищает изобретательность сочинителей.

Лет пятьдесят назад в Москве, у Патриарших прудов, обитала моя тетка. От Соломенной сторожки далековато, но я навещал ее: она жарила отменные пирожки с капустой. Особенно вкусные после того, как набегаешься с ребятами в скверике у Патриарших прудов.

На скверике сумерничали старики и старушки, почти все тут были знакомы, как на посиделках. Один из тех старичков мне запомнился — аккуратненький, в рубашке апаш и парусиновых туфлях, выбеленных зубным порошком «Здоровье». Запомнился, ибо именно он пащупал колечко с пометкой «1613», колечко, вросшее в хвост древней, осклизлой и, должно быть, слепой щуки. Какой-то малец ненароком выловил ее в Патриаршем пруду. Все сбежались, ахали, пихались, гомонили. А этот аккуратненький и обнаружил кольцо. Подумал и определил: «1613 — год воцарения Романовых!» Все дивились на рыбищу, достойную музея, и удивлялись сообразительности старичка. Тетка, цапнув меня за локоть, прошипела: «Художник Горский» — и значительно поджала губы — дескать, какие люди-то у нас, в центре.

«Щучье» происшествие загнало имя Горского в закоулок-тупичок памяти. И вот, представьте, сравнительно

недавно встретилось мне в письме женщины, некогда очень близкой Лопатину. (Дабы не возбудить сомнений, сообщаю: отдел рукописей Третьяковской галереи, шифр 1/1257.)

Прочитав это письмо, я кинулся на Патриаршие пруды, давно уж названные Пионерскими. Я понимал, что не застану в живых худенького, легонького старичка в рубашке апаш и парусиновых туфлях. И все же торопился, будто опасаясь упустить какую-то последнюю возможность, последнюю ниточку.

Да, медленная Лета поглотила художника Горского; он чуточку не дотянул до девяноста и умер в годину Отечественной войны. Но ниточка нашлась. В коммунальной квартире с латунной табличкой «К. Н. Горский» я допоздна беседовал с его родственницей, очень приветливой и разговорчивой.

— Здесь-то,— сказала она,— Константин Николаевич поселился только после революции, а тогда, профессором, жил на Мясницкой.

На исходе прошлого века, в начале нынешнего Мясницкая застраивалась высоко и тесно, превращаясь из дворянской, ампирной, с конюшнями и оранжереями, в буржуазную, деловую, спекуляторскую. А чаеторговец Перлов та-акую азиатчину взбодрил, что стой-осади и руками всплесни: на изогнутой кровле блескучая золотая чеканка, медные драконы пышут желтой опасностью, фризы узорчатые, каждый этаж на особицу — синий, карминный, зеленый. Скажешь, что живешь рядом с Перловым, не объясняй, где это, всей Москве известно.

А рядом помещалось Училище живописи, ваяния и зодчества, и профессор Горский, преподаватель головного класса, занимал казенную квартиру; это называлось «с отоплением и освещением». Пахло в комнатах чаем-лапсином от Перлова и масляными красками от Досекина.

К лету училище пустело, учеников отпускали на вакаты, и профессор Горский с женой Зинаидой Степановной и пасынком Бруно перебирался на дачу, в Соломенную сторожку.

С мальчишества помню эти дачи, принадлежавшие некогда г-же Купецкой,— резные наличники на окнах и большие веранды, открытые или застекленные цветными ромбами. Дачи примыкали к нашему лесу, могучему и стареющему лесу Петровского-Разумовского.

Солнце встает со стороны Останкина, птицы щебечут, и я вижу, как идет Горский с мольбертом своим и складным стулом. На Горском полотняные серые брюки, синяя блуза и белая панама, такие теперь уж и дети не носят.

Погожее летнее утро, светлое солнце в старых деревьях, и роса, и птицы, и привычный вес художнической снасти — все, казалось, должно было бы радовать тихого, скромного профессора, но нет, Константин Николаевич удручен и подавлен: он предчувствует разлом, утрату.

Пасынок Горского, каникулярный студент Бруно Барт, вчера уехал в Вильну не потому, что скучал на даче, а в Москве, по-летнему опустелой, не находилось ни дела, ни безделья: уехал для серьезного разговора с дядей Всеволодом.

Едва Бруно отправился в Вильну, как Зинаиде Степановне сделалась непереносима Соломенная сторожка. Сославшись на неотложные заботы, она вернулась в город. А какие ж заботы? Положим, решила с осени продолжить медицинскую практику; правда, не в области душевных болезней, хотя именно психиатрию она штудировала в Париже, а в области болезней соматических, телесных; да, она решила поступить в штат лечебницы для бедных на Сретенке, но ведь все уж условлено и с заведующим, и с попечительским комитетом, так что — какие ж заботы? Зинаида Степановна слукавила, вышло грубыми

стежками, это было неприятно, но, останься она на даче, пришлось бы лгать и притворяться, незаслуженно оскорбляя мужа.

На Мясницкой в училище почти никого не было. Почему-то задержалось семейство коллеги Горского, профессора Пастернака, да и оно уже хлопотливо грузилось на извозчиков, и у пролеток вертелся, припрыгивая как черный козленочек, Боренька Пастернак.

Такой пустынной была летняя Москва. Ни езды дуга на дуге, ни театральных афиш, разве что под вечер увидишь дачных супругов со свертками снеди, которую надо тащить, обливаясь потом, в Кунцево или Пушкино.

Все поникло, все замерло в долгом, душном, пыльном затишье; Зинаиде Степановне чуялась близость грозы.

Она некогда штудировала курс душевных болезней Шарко и практиковала в парижской лечебнице св. Анны, а вот и оказывается, что не чужая душа потемки, а своя собственная. Странные потемки — блистающие виденья, вызванные тем — и Зинаида Степановна это сознавала,— что ее сын уехал в Вильну, к дядюшке. И еще она, доктор медицины, знала, что это вот — то, что с ней сейчас происходит,— называется навязчивыми представлениями. Нет, не искажают прошлое, однако и не истаивают, а неукоснительно-упорно, неподвластные усилиям воли, остаются с тобою, в тебе. И деться некуда, и нет рассеяния.

Лишь одно в этой летней, пустынной Москве умеряло му́ку ее навязчивых впечатлений, необъяснимо, но умеряло: запах свежих стружек и свежей известки — Училище живописи ремонтировали.

До рождения сына они бодро рекомендовались «состоящими в браке не совсем респектабельном».

Впервые они смерили друг друга взглядом на квар-

тире артиллерийского офицера — был зимний день семидесятого года. В тот день Лопатин духом примчал в Петербург бывшего полковника артиллерии Петра Лавровича. Поднялась кутерьма, с Петра Лавровича стаскивали тяжелую медвежью шубу, а похититель Лаврова из вологодской глуши, похититель-освободитель незаметно исчез.

В ту пору она уже не была Зиной Корали, а была Зиной Апсеитовой, женой отставного поручика. Ах, славный, славный Мишенька Апсеитов! Поклонник Лаврова и враг деспотизма, включая домашний, Апсеитов вступил с ней в фиктивный брак, избавив от родительской опеки. Она могла жить самостоятельно и учиться на педагогических курсах. К Мише она питала признательность и очень горевала, когда тот скоропостижно скончался.

Числясь вдовой поручика Апсеитова, она получила заграничный паспорт, уехала в Париж, поселилась в Латинском квартале, стала изучать медицину, сочетая науку с практикой. Однако совсем не медицинской: Зина Апсеитова была усердной помощницей Лаврова. И это по его поручению — поручению нелегального свойства — наведалась она летом семьдесят третьего года в Петербург. И вот тогда... Нет, не сразу узнала она Лопатина. Впрочем, и не мудрено. При встрече мимолетной, на Конногвардейском, имя его никто не назвал. При встрече же второй, спустя три года, был он бородат, стрижен под горшок, одет мужиком, пахло от него лошадьми, пылью, баранками.

Он представился:

— Я — Герман Лопатин. Бегу из Иркутска.

Это «я — Герман Лопатин» произнесено было весело и вместе так, как нечто пояснений не требующее, и в душе Зины шевельнулось колкое сопротивление его победительному обаянию. Но, правду сказать, ей-то нечего было объяснять, кто он такой, этот Герман Лопатин. Сто, нет, тыщу раз Петр Лаврович рассказывал об этом человеке,

терзался его участью, острогами, сибирским заточением и, отвернувшись, совал кончик платка под очки... Ну так что же, любовь с первого взгляда? У Германа было так, он на этом и позже настаивал. А она... Она словно бы сама себя сдерживала. Никакого жеманства. И никаких тайных знаков судьбы. Отчего же сдержанность? И это у нее, у Зины Апсеитовой, серьезной нигилистки. Да, серьезной! Она и в грош не ставила бунт против общества куреньем пахитосок, вызывающе короткой, недевичьей стрижкой, нарочитой неопрятностью в одежде и развязностью манер. Серьезность предполагала негромкую, будничную, муравьиную подготовку революции. И личную, домашнюю независимость, сиречь прокорм свой от трудов рук своих. Как было ей, русской, не кивать энергичной француженке, автору книги «Освобожденная женщина»: в браке — мы рабыни, в гражданском отношении — ничтожества, в политическом — нули... И как было не рукоплескать этой госпоже д'Эрикур за ее темпераментную отповедь Прудону? Подумать только, социалист Прудон — противник женского равноправия. Точь-в-точь филистер в вязаном колпаке: кухня — дети — церковь... У Германа не было и крупицы мещанской, но в рассуждения о женском равноправии он не пускался — губы морщились снисходительной иронией. А Зина настораживалась. «В браке — мы рабыни»? Черта с два. В ее натуре был камень принципа — звякнет коса и зазубрится.

Но правы Сен-Симон и Фурье: если нет фальши и нет подчинения одного другому, плоть не нуждается в индульгенциях. И они, посмеиваясь, называли себя «состоящими в браке не вполне респектабельном».

В Париже была ликующая близость. Общие заботы по изданию и доставке в Россию газеты «Вперед!», поездки к Тургеневу, усиленные труды в библиотеке св. Женевьевы, занятия у профессора Брока, поборника жен-

ского медицинского образования. Была общая радость, когда он держал корректуры, присланные из Петербурга, корректуры переводов с английского сочинений Спенсера, а она, сдав экзамены, присоединила французский, на пергаменте, диплом бакалавра медицины к диплому русскому, на гербовой,— домашней учительницы.

Потом эта блаженная поездка в Англию. Ему привалил гонорар, она получила жалованье, и они отправились. Лунной ночью пересекли Дуврский пролив, на восходе увидели меловые скалы, стояли на палубе, взявшись за руки.

В рыбацком и курортном Гастингсе жили славно, очень весело они там жили. Ах, шумный раскат кипящих валов! Не устоишь на ногах, и, ойкая, балансируя, она обхватывала его мокрые, глянцевито блестевшие плечи, его мокрую шею, был привкус морской соли на губах, прижатых к губам. Неподалеку, у речки, под вязами паслись сусекские коровы, над зелеными холмами кучились белые облака — детские переводные картинки. Вечернее море говорило на языке, позабытом людьми, и все ж было внятно, что море говорит о блаженстве мгновений и о том, что такое вечность. При лампе читали они «Сказания» Колриджа, щека к щеке склонялись над гравюрами Доре. И вдруг хохотали: по соседству на веранде кто-то чертовски неумело пиликал на скрипке.

Лавров жил тогда в Лондоне, там же находилась и наборня «Вперед!». Так ведь нет, разбойники, не навестили они Петра Лавровича даже и в день рождения. А гостинец отправили почтой — огромного краба. Старый Лавров не обиделся — какие претензии, ежели он, не глядите, что книжник и кабинетный затворник, отведал на своем веку пылкие страсти и отлично все понимает.

Потом они опять жили в Париже.

Беременность досталась тяжелая, таскала ноги, как отравленная. А после родов болела. У нее пропало мо-

локо. Оставалось только завидовать, глядя, как мальчонка, причмокивая и разевая ротик, припадает к соскам мощной кормилицы-бретонки. А она все «валялась», и Герман говорил, что это от мнительности.

Он очень обрадовался необходимости съездить в Лондон. Развернул плечи, сбрасывая проклятое домашнее «благоустройство». Улыбаясь, кивал на бело-розовое запеленутое существо в белоснежном чепчике: ишь, не успел родиться, а уже заставляет отца пересекать Ла-Манш. Можно посмеиваться над не совсем респектабельным браком; нельзя не прикрыть наготу младенца листком-метрикой. У Германа, эмигранта, был пас на имя некоего англичанина Барта. Посему и пришлось ехать в Лондон, выправлять там метрику новехонького подданного британской короны Бруно-Роберта-Германа Барта.

Но то были пустяковые хлопоты. Худо было другое. Герман бился в тенетах безденежья, кляня «порабощенье» и «впадение в первобытную дикость добытчика».

Зина не укоряла, не жаловалась — была гневно-мрачной.

Как-то раз Тургенев сказал: «Несокрушимый», сказал улыбаясь, видны были сквозь белые усы и белую бороду мелкие, чистые зубы. Но в ту минуту Зина не разделила восхищения Ивана Сергеевича. Очень жаль, что Герман такой уж несокрушимый. Если бы она знала, какие бездны...

Удар пушки Петропавловской крепости, возвестивший полдень отозвался в архиве с распахнутыми по-летнему окнами тихим ропотом потревоженных теней, я прочел: «Этот мрак в семье, общий упадок духа, тоска, раздражительность и прочее просто сводят меня с ума. Уверяю Вас, что если бы не некоторые нравственные принципы да не некоторые смутные проблески отдаленной надежды, я бы давно наложил на себя руки».

Мне сделалось не по себе. Не оттого, что «несокрушимость» Лопатина как бы на моих глазах дала глубокую трещину. Сказать правду, я вообще-то недолюбливаю твердокаменных. Да и Тургенев имел в виду не отсутствие эмоций, другое... Нет, тут вот что. Случаются в архиве минуты, когда ненароком, с разгона налетаешь на интимное и тотчас чувствуешь себя юрким соглядатаем, почти бесстыдником из ведомства, читающего в сердцах. Чужая интимная тайна — всегда тайна. Даже если она и рассекречена временем.

Горестное признание Лопатина предназначалось тому, кто жил на улице Сен-Жак.

На улице Сен-Жак, у флигеля невзрачного дома номер 328, однажды, в феврале, два дня кряду дрогла на сыром ветру толпа парижан. Были рабочие и работницы, студенты и литераторы, были даже офицеры.

Выстраиваясь очередью, они молчаливо втягивались в подъезд и медленно, прижимаясь к перилам и пропуская встречных, уже уходивших, поднимались на лестничную площадку, к квартире с настежь распахнутой дверью.

Выждав, когда немного опустеет прихожая, люди заполняли маленькую приемную и небольшой кабинет, осторожно, бочком протискиваясь между высокими, до потолка, некрашеными книжными полками.

В кабинете за столом стоял во весь свой могучий рост пожилой статный человек, пухлое круглое лицо которого с нехоленой рыжевато-седой бородою и мягкими серыми глазами освещалось задумчивой, рассеянной, смущенной улыбкой. Склонив голову, он выслушивал то, что говорили и повторяли ему незнакомые люди. А они говорили гражданину Лаврову, что он мужественный борец за свободу, великий социалист, что они, парижане, видят в нем вождя той России, которая жаждет избавиться от деспо-

тизма. И вдруг какой-нибудь блузник из предместья молча прижимал к своей груди папашу Пьера, мгновенно возвращая Лаврова в незабвенные времена Коммуны. Он благодарил, голос его пресекался...

В те дни газеты извещали, что Лаврова гонят из Парижа. Он был сильно виноват перед русским царем. Виноват и по совокупности и преступлением свежим — участвовал в создании Красного Креста, призванного поддерживать русских политических заключенных. Елисейский дворец не желает ссориться с Зимним дворцом, пусть русский эмигрант убирается из Франции, из Парижа. А Париж шел на улицу Сен-Жак. Вот она где, вот она в чем, всемирная-то отзывчивость.

Лавров задерживал дыхание, боясь слез.

Но как раз в эти мгновения, словно наперекор растроганности, почти сентиментальной, пронизывали его ощущения другого дня, тоже февральского, но непарижского. Вернее, не дня, а студеной ночи с ясной луною в тусклом луннике — глухо, быстро и дробно стучали копыта, звезды мчались в снежной пыли, кренился лес, как эскадра, а рядом в санях плотно и крепко держался Герман, совсем еще молодой Герман Лопатин, и потому в этой скачке, в этом стремительном движении было что-то буслаевское, очень русское, когда черт не брат и нет ничего невозможного.

В череде эмигрантских лет, в невзгодах и утратах, в бесконечной работе теоретика революционного движения, философа, бьющегося над мучительно сложными вопросами революционной практики, Лавров метил красным годовщину бегства из Кадникова. Но, кажется, именно теперь, в ненастные февральские дни, когда парижане шли на улицу Сен-Жак, может быть, только теперь он сознавал поворотное, рубежное, рубиконное значение этого бегства. Не потому, что слышал — «великий борец», «признанный вождь» (все это Петр Лаврович относил на счет

галльской пылкости), а потому, что после той февральской ночи началось, как он сам определил, его явное и определенное присоединение к походным порядкам действующей армии социалистов.

Изгнанный из Франции, он уехал на ту сторону Ла-Манша, отсутствовал не очень-то долго и вернулся в Париж: на улице Сен-Жак поселился г-н Кранц. А если у консьержа спрашивали, как пройти к г-ну Лаврову, привратник, не моргнув глазом, указывал на двери г-на Кранца. Каждое утро в квартиру г-на Кранца поднималась старушка соседка, она приносила молоко и булочки-круасаны. Обедал г-н Кранц в скверном ресторанчике, хозяйка, мадам Трэн, приветливо кивала: «Бонжур, мсье Лавров». Тождество г-на Кранца и г-на Лаврова не было, разумеется, загадкой и для комиссара полиции, однако обладатель трехцветного шарфа не проявлял служебного рвения: велено наблюдать, а не выселять — хотя декрет об изгнании и не отменен, но в республике существует такое неудобство, как общественное мнение.

Дважды в неделю он обедал плотнее и вкуснее — у семейных товарищей, французов и русских. Ежедневно два часа отдавал посетителям. Случалось, наведывались фигуры весьма подозрительных качеств. Лопатин сердился: «И охота вам, Петр Лаврыч, пускать к себе всякую дрянь?!» Лавров благодушно разводил руками: «От двух до четырех ко мне может заявиться даже шпион, и я приму его». Лопатин, ласково улыбаясь, пожимал плечами и думал про себя, что в шутке Тургенева есть, пожалуй, доля правды: от Петра Лавровича припахивает липовым медом и отдает ландышем. Изредка он посещал театр. «Опять мелодрама?» — трунил Лопатин. Петр Лаврович конфузился: «Питаю слабость...»

Из прежних петербургских привычек — ах, милый дом на Фурштатской — он сохранил обычай журфикса: прошу пожаловать вечером в четверг. Председательство-

вал самовар, объемом не меньше вокзального, в свитском окружении белых тарелок с бисквитами. Приезжие из России, прозябшие в ссылках, задерганные всяческими начальствами, изгрызанные нуждой, оттаивали и согревались. Приезжие из Цюриха или Женевы, словно позабыв колючие раздоры, обнаруживали, что в политике не обойтись без компромиссов. Заглядывал кто-нибудь из трех мушкетеров марксизма — Гед, Дюваль или Поль Лафарг. Отвесив общий поклон, элегантно поцеловав ручку мадам Лопатиной, красавец Лафарг бурно приветствовал Германа: «Салют московиту!..» Зять Маркса давно уж не жил на тихой Шерш-Миди, где когда-то писал письмо, рекомендуя своему тестю гражданина Лопатина. Лафарг жил на бульваре Порт-Рояль неподалеку от тюрьмы Сент-Пелажи; Энгельс, сообщая товарищам адрес Поля, однажды невесело пошутил — удобно на случай, если посадят. Случай не замедлил, и Лопатин вместе с Лавровым еще недавно ходил на тюремные свидания с креолом... «Салют московиту!» — сверкнул Лафарг белозубой улыбкой и замкнул уста свои, приложив палец к губам: Лавров перелистывал томик Шекспира.

Петр Лаврович обладал внятным, сочным голосом. Грассировал он не шибким парижским манером, а широко и вольготно, звучало усадебное, старозаветное, вольтерьянское, но, читая Шекспира, он преображался — вулкан страстей: этот мягкий, деликатный кабинетный человек обладал душой неукротимого мятежника.

Расходились поздно, предварительно одолжившись у Лаврова книгами. Говорили, что у него пять тысяч томов. Лопатин ворчал: «Утащат, Петр Лаврыч, ей-ей, утащат. Так уж заведено у россиян: не отдавать долги и не отдавать книги». И опять веяло липовым медом: «Ну-ну, не беда, право, не беда...»

С восьми утра, ни дня не пропуская, Лавров работал. Низко склонившись, елозя бородой по бумаге, писал,

как мотыжил, переписывал наново неразборчивым почерком, приклеивал длинные лоскуты — вставки, похожие на ярлыки рецептов к аптечным склянкам, а к этим вставкам приклеивал сверхвставки — рукописи взъерошивались, топорщились, шелестели, сердито сетуя на чрезмерные усилия автора. Автор, однако, полагал, что даже гений без трудолюбия смахивает на шарлатана.

Оставив Россию императорскую, Лавров оставил России революционной свои «Исторические письма» — евангелие тех, кто шел в народ. И за границей писал он не ради заграницы. Все, что печатал в эмигрантских наборнях или на гектографе с каучуковым шрифтом, все, что отдавал легальной периодике, могло бы иметь такой же заголовок, как и его брюшюра о Парижской коммуне,— «поучительные выводы для русских».

А еще накапливались выводы не только поучительные. Можно было бы сказать и «нравоучительные». Но от этого слова во рту кислятина, а перед глазами классный наставник с розгами в руках... Направление многолетних раздумий проложил Лавров строго: «Социальная революция и задачи нравственности». Длительность размышлений не укорачивала роковой вопрос. В кабинетной тишине не глохли его раскаты.

И общий план работы, и некоторые частности ее были хорошо известны Лопатину: идеал развитой личности и идеал нравственного общежития... личность и общество... нравственность социалистическая... Петр Лаврович всегда нуждался в общении с Лопатиным. Тосковал без него; случалось, даже и унывал, как-то по-детски унывал; всегда нуждался в общении с ним, а теперь — особенно: вплотную подошел к прикладным вопросам нравственности. Они вихрились в специальных условиях борьбы, которые история навязала России. И тут уж не обойдешься ни домашней библиотекой, ни библиотекой св. Женевьевы.

Лопатин необходим, Лопатин. Не потому лишь, что

ты согласен с Марксом: ясный ум, критическая голова... Не потому лишь, что там, в Лондоне, Маркс говорил тебе о любви и уважении к Герману... Даже и не потому лишь, что Герман, как бы разбежавшись в эмиграции, ныряет в глубины русской жизни, русского подполья... Все так, да главное-то вот в чем: всей своей сутью он назначен, призван решать прикладные вопросы — вопросы нравственности русского социалиста, русского революционера. Те, над которыми ты бьешься в кабинете. Лопатин нужен, Герман Лопатин, ибо прав старик Гёте: «Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни...» Коль скоро революция у дверей Истории, нечего пятиться: примирись с неизбежностью насилия, крови, оружия. Как примиряются с хирургом, с хирургической операцией. Фатально, фатально... Из-за этой-то неизбежности, из-за этой-то необходимости и вглядись пристальнее в хирургов. Развитая личность, пусть и солидарная идейно с другими ее же калибра, непременно стремится к самостоятельности оценок и поступков. Отсюда опасность двоякая: анархические крайности, это раз; жажда монополии, это два. А монополия есть охранение себя самой, охранение, губящее цель и смысл борьбы... С кем, как не с Германом Александровичем, держать совет? Страшно упустить время нравственной выделки, ибо в ходе революции народной, рабочей, энергические элементы непременно испытают искушение сомнительными средствами борьбы. Фатально, фатально. С кем обсудить, как не с Германом Александровичем?..

Едва раздавался лопатинский, однажды и навсегда условленный дверной сигнал, Петр Лаврович устремлялся в прихожую, мимолетно улыбаясь своей неизменной ассоциации — она была отзвуком давней-давней юности: фейерверк, а может, уже портупей-юнкер Лавров слышит полковой оркестр, исполняющий «Под штандарты».

Дом Петра Лавровича всегда был Герману отчим домом.

В его чувстве к Петру Лавровичу сливалось как бы и неслиянное — высокое, неколебимое уважение и некая покровительственность, словно он, Лопатин, был старше, хотя Петр Лаврович родился на двадцать с лишним лет раньше.

Не редкость, когда высота уважения определяется единомыслием. Редкость, когда высота уважения не снижается разномыслием. А оно случалось, это разномыслие Лаврова и Лопатина, правда, редкое и, пожалуй, несущественное. Гораздо серьезнее, существеннее, основательнее были расхождения у Петра Лавровича с Марксом и Энгельсом. Они упрекали его в эклектике, нежелании (или неумении) видеть корень борьбы с бакунизмом, с бакунистами. Маркс и Энгельс писали Лопатину, что они весьма симпатизируют «другу Петру» как человеку, но никак не могут одобрить его примиренчество. А Лопатин не только симпатизировал Петру Лавровичу; Лопатин его любил, а всего больше ценил свойство нутряное: свое человеческое достоинство Лавров являл и в том, что никогда не унижал достоинство другого. В общении с Лавровым не утрачивалась независимость. Собственно говоря, независимость лопатинского «я» не утрачивалась ни при каких обстоятельствах, но тут было и то, что Петр Лаврович не посягал на эту независимость, не хотел поглощать, не хотел подчинять.

Прекрасно. Но как быть с неким чувством покровительственности? С чего бы оно и откуда? А просто, очень даже просто. Это чувство властвовало при «увозе» Петра Лавровича из вологодской ссылки — он, Герман, командовал, Петр Лаврович подчинялся. А потом... Вологодская дворянская опека приняла на хранение двести рублей в процентных бумагах и пятьдесят шесть рублей восемьдесят девять копеек наличными, доставшимися ей

«от бежавшего за границу полковника Петра Лаврова, состоявшего под надзором полиции». А житейская неумелость, житейская рассеянность достались под надзор и опеку бежавшему за границу коллежскому секретарю Герману Лопатину. И при первой возможности, и при последней возможности он заботился о житье-бытье Петра Лавровича. И уж коли не приходится повседневно рассчитывать на Зину, занятую не только медициной, но и Бруношей, следует приискивать патронесс из русских эмигранток.

Петр Лаврович был настолько близок Лопатину, что в душе Германа струилось и совсем уж сыновнее ощущение, какое бывает у сыновей даже изрядного возраста, давно живущих по-своему, пусть даже и равнодушных к родителям,— ощущение едва ли осознанное: Петр Лаврович стоял перед ним, заслонял его. Ведь старики, подобно заставам, принимают половецкие набеги смерти. Они дробят ее натиск, как волнолом. Но все это осознается позже, когда их уже нет, а ты, ты сам оказываешься на порубежье.

Если Герман беспокоился о Петре Лавровиче, то Лавров испытывал мучительную тревогу — нет, не тогда, когда Герман был рядом, а едва лишь этот «несокрушимый» заговаривал об очередном отъезде в Россию. Не довольно ль дразнить судьбу? Ту, что в голубом мундире; ту, что хотя и со шпорами, да вот подбирается-то бесшумно. Не довольно ли, не хватит ли? Ведь уже более чем достаточно для рыцарского романа с приключениями. Не так ли? И не извольте гневаться, Герман Александрович, не извольте гневаться.

Герман сердился. Рыцарский роман? Э, он, Лопатин, не донкихотствует, хотя без донкихотов все пресно, как без специй. Приключения? Его, Лопатина, отнюдь не прельщают авантюры, хотя, видит бог, без крупицы авантюрности, как без крупицы соли,— скулы вывернет вели-

копостной скукой. А ежели серьезно: «Вперед!», и только «Вперед!».

Наедине с собою Петр Лаврович подумывал не без горечи: все Герман да Герман, есть же другие, есть ближайшие, непосредственные сотрудники по изданию «Вперед!», возрастом равные, даже моложе, могли бы, кажется, ехать в Россию, так нет, годами в безопасном далеке... В глубине души он понимал, что несправедлив... не совсем справедлив, скажем так... Но горечь была, горечь наедине с собою, и, пожалуй, несколько эгоистическая, потому что именно ему, Лаврову, так одиноко без Германа.

Петру Лавровичу говорили: имя Лопатина гремит в русском подполье. Петр Лаврович мог гордиться, и он гордился, подобно отцам, которым сообщают о храбрости сыновей: а ваш-то, ваш-то не кланяется и под прицельным огнем. Да ведь какой отец, получая такое известие и зная, что этот огонь не на маневрах под Красным Селом в присутствии августейшей фамилии, какой отец надувает щеки и выпячивает грудь? Но ведь проворнее Германа никто не управлялся там, в России. Совсем не фразерство: «Вперед!», и только «Вперед!». Тут пропаганда, дело-то не казовое, не на публику, не «гром победы раздавайся» — будничное, капля, точащая камень, крот, который хорошо роет...

Лавров отдал годы журналу «Вперед!» и годы отдал двухнедельнику «Вперед!». Когда Герман вырвался из иркутского плена, Маркс в бурном восторге швырнул перо и в обнимку со своей дочерью Тусси закружился по комнате. Кому, как не Лаврову, понять этот восторг? А Герман, не переводя дыхания, взялся за гуж; в артели «впередовцев» его приняли братски. Он вскоре принес в редакцию сибирские очерки, решительно убыстрил издание «Писем без адреса» Чернышевского, и это ему, Лопатину, передал Глеб Успенский другую рукопись вилюйского узника — «Пролог»...

Не колеблясь ни минуты, Лавров бы встал под верховное командование Николая Гавриловича, хотя встарь, еще в Питере, не очень-то они ладили; да, встал бы не колеблясь, однако чему не бывать, тому не бывать, приходилось самому редактировать «Вперед!». Предложил было Герману соредакторство — кто мыслит ясно, у того и слог ясен, но Лопатин уклонился: пропасть нелитературных забот, коробы нелитературных хлопот, и потом он, Лопатин, долго не усидит в эмиграции, ему необходима Россия, он в России послужит и журналу и двухнедельнику, он обязан пропагандировать «Капитал», освещать опыт европейского рабочего движения.

Еще в первой книжке «Вперед!» сказано было: «Вдали от родины мы ставим наше знамя, знамя социального переворота...» Нужны были бумага, шрифт, краска, оборудование; нужны были помещение, отопление, освещение. И нужен был хлеб насущный. Бóльшая часть небольших денег поступала от русских кружков: в эмигрантской среде тоже добывался металл отнюдь не презренный; пособлял и Тургенев, пособия свои вручая Герману.

Знамя поставили вдали от родины, но так, чтоб родина видела знамя. Нужно было брошюровать и паковать, грузить и доставлять. Нужны были комиссионеры, контрабандисты, свои люди в портовых пакгаузах и пароходных трюмах, на железнодорожных дебаркадерах и в конспиративных перевалочных пунктах. Возвестить слово — это ж значило и донести слово. Тенью минуй таможенные шлагбаумы и проскользни, не поскользнувшись, меж волчьих ям губернских жандармских управлений.

Артельно, по-бурлацки тянули журнал, словно тяжелую волжскую барку-беляну. Артельно, по-бурлацки тянули двухнедельник, будто вышневолоцкую барку-белозерку. «Чтобы барка шла ходчее, надо гнать царя в три шеи»,— затягивал Герман «нашенскую Дубинушку» и

шутил: «Эх, братцы, работушка сибирная, знай не ленись».

И вот опять собирался в Россию. И опять на душе Петра Лавровича и страх, и гордость, и надежда на благополучный исход. Но теперь Петр Лаврович думал не только о Германе — о Зине тоже.

Он познакомился с Зиной задолго до того, как она вышла за Лопатина. Зина была такой же ревностной сотрудницей, как сестры Субботины и сестры Карагановы. Таким же неустанным добытчиком средств на издания «Вперед!», как Ильин или Соловьев. Не позабыть минут, когда хоть в петлю, а тут-то и услышишь: «Мне удалось собрать с добрых людей триста рублей...» И не позабыть ее обыденной заботливости, всегда деликатной, всегда так, точно бы без усилий и беготни, без траты учебного, сорбоннского времени.

Герман и Зина — ему казалось, что они счастливы. Признание Германа — «мрак в семье» — поразило и ужаснуло Петра Лавровича. Никогда, ни на минуту не приходило в голову хоть что-нибудь похожее, отдаленно похожее. Господи, да как же так, растерянно думал Петр Лаврович, хотя давно уж запретил себе даже и машинальное употребление атавизмов, подобных «господи», что же это такое, господи?.. Бесстрашный и неутомимый в решении сложнейших вопросов философии и социологии, он решительно не умел сообразить, чем поправить житейское горе. И, подчиняясь привычкам мысли, поднимался в сферы своего духовного обитания.

Слово «любовь», размышлял Петр Лаврович, не поддается введению в точную научную терминологию. Однако для нашего исследования согласимся на том, что любовь есть сильная, или даже сильнейшая, привязанность одного существа к другому. Далее. У многих натур привязанность эта — следствие побуждений эгоистических: плотское наслаждение, игра воображения, порабощение другой

личности. У иных натур, коим свойственно забвение «я», тут самоотвержение. Надобно, однако, не упускать из виду следующее. Коль скоро речь идет о привязанности, она, стало быть, подвержена колебаниям, изменениям, затуханиям... Погодите, сударь, осаживал себя Петр Лаврович, взгляните на вопрос исторически. Итак, пока женщина стояла ниже мужчины, она могла найти в нем свой идеал, однако сей идеал был идолом. Мужчина, впрочем, тоже мог найти свой идеал, но какой? — только эстетический: красота, грация... Настоящий, подлинный идеал возникает и упрочивается лишь тогда и там, когда и где обе стороны (взаимное физиологическое увлечение условие непременное), так вот, когда обе стороны разделяют одинаковый нравственный идеал, вследствие чего изгоняется даже тень лицемерия... Мысли Петра Лавровича текли плавно, он парил в сферах своего духовного обитания, да вдруг словно бы телесно ощутил, как ослабели крылья — его потянула книзу властная сила земного притяжения. Боже мой, окончательно растерялся философ, даже и машинально не отметив недозволительность обращения к потустороннему, боже мой, ведь все эти критерии прочного союза... Ну, конечно, конечно, все это присутствует в брачном союзе Зины и Германа, а вот поди ж ты... И ведь есть же Бруно, прелесть мальчик, а в детях — вспомнилось из Гегеля — в детях-то и обретают супруги свое действительное единство. Но Петр Лаврович не додумал, отчего ж и единства недостаточно, ему опять прозвучало из гегелизмов: что-то не очень внятное о нежнейшей ткани человеческих отношений, а следом как металлом звенящее: любовь — чудовищное противоречие, неразрешимое для рассудка. И едва отчеканилось, Петру Лавровичу словно бы легче стало. Неразрешимое для рассудка... Он усмехнулся: «А ежели я и ошибаюсь, то зато в компании с Гегелем». И ему стало еще легче — он не считал себя вправе объясняться с Германом или

Зиной. Не то чтобы замкнул бапально: пусть, мол, сами решают, нет, не вправе, и точка.

Но ни Герман, ни Зина и не искали случая прильнуть к нему. Петр Лаврович был этому втайне рад. Однако радость свою не малодушию, не бессилию приписал, а отнес на счет тех надежд, о которых упоминал Герман: если бы не некоторые смутные проблески надежды... В самом деле, заключил Петр Лаврович, раз уж они намерены вместе отправиться в Россию... то есть и не совсем, так сказать, технически вместе. Зина легально поедет вместе с Бруно, Герман аттестует: «мой авангард», а сам Герман, нелегальный, двинется позже, «глазные силы»... Итак, раз уж они намерены вместе отправиться, выходит, уже и не проблески, а какие-то огни, что-то маячное. Герман обновится, Зина погостит у сестер, обоих уврачует родная сторона, глядишь, все и образуется...

Ночь была глубокая, давно бы почивать, с восьми работать — нет, не спалось. Когда такое случалось, он знал причину, печальную причину: ему-то не дано обновиться на родной стороне. Нынче, однако, подумалось не о доме на Фурштатской — привиделся сентябрьский день, то дождик кропил, то солнышко светило, хоронили декабриста Штейнгеля, почти восьмидесятилетнего старца, гроб несли на руках, он тоже нес, полковник артиллерии Лавров, кавалер орденов Анны и Станислава,— перешли Троицкий мост, поравнялись с кронверком, где некогда казнили пятерых...

Ясным днем — чисто, ни тучки — они приближались к городу в полукольце исполинских тополей, фруктовых рощ и виноградников. Позади остались громадные степные версты.

Как задумали, так и сделали: в Петербург прибыл «авангард» — Зина и Бруно; следом прибыли «главные силы». Минуло несколько недель, и черти, которые не

дремлют на земле, пока бог витает в облаках, взяли след Лопатина. Тяжелая карета проехала Троицкий мост и свернула в Петропавловскую крепость.

Теперь, спустя месяцы, и «авангард» и «главные силы» приближались к месту ссылки, назначенной известному государственному преступнику Герману Лопатину. За черной пустошью начинался русский квартал — отсюда, с этого направления несколько лет тому императорская армия штурмом взяла Ташкент.

Дома с плоскими крышами, под окнами уложен дерн, травке не дали выгореть, и этот дерн, эта травка умилили Зину — такие они были родные после степей и пустынь в тучах пыли. Но Герман не желал селиться в русском квартале. В Париже жаловался — недостает русских лиц, русской речи, а тут и нахмурился: «Очутись я в Индии, нипочем не стал бы жить рядом с англичанами. Ты думаешь, восставшие индийцы бесчинствовали? Да, ужасно насильничали над европейцами, но тысячу раз прав старик Маркс: поведение мятежников-сипаев зеркально отразило отвратительное поведение захватчиков-британцев. Орудие возмездия куют сами угнетатели. А у меня, Зиночка, ни малейшей охоты уподобиться господам ташкентцам».

Пришлось, однако, смириться: ради хлеба насущного служи, а где ж служить, как не в Новом Ташкенте, центре администрации? Герман сказал: пришлют деньги — ни дня не останусь. Служить же пошел кассиром и бухгалтером. Говорил: дед мой Никон Никонович подвизался уездным казначеем.

Азия вчуже казалась Зине романтической. Азия в Азии оказалась прозаической: серые туземные домишки, глинобитные и саманные, с оконцами из промасленной бумаги, кривые вонючие улочки, базар, повитый темным жужжаньем мушиной армады. А тут еще зарядили длинные желтые дожди.

Германа выручил старый приятель — Ванечка Билибин. Выручал еще в Ставрополе, выручал и в Париже, вот и в Ташкенте достал нескудеющей рукой — переводи, брат Герман, пользуйся добротою почтеннейшего издателя-воротилы Ивана Иваныча, получи-ка аванс. Прислал Билибин сочинение английского физика Тиндаля. Искусный экспериментатор и блистательный лектор, этот Джон Тиндаль пером владел, громадным спросом пользовались его книги. И слава те господи, аванс не был тощим.

Выручил Германа и новый приятель — ровесник и почти однокашник, он тоже прошел курс естественных наук, только не в Петербургском, а в Московском и вот уж лет семь-восемь жил на краю Ташкента, заведуя шелкомотальной фабрикой и школой шелководства при ней, занимался и энтомологией. Жил добрейший Василий Федорович в доме о три комнаты, под камышовой кровлей, а в доме — роскошь! — деревянные полы, ступням приятно после глиняного. «Располагайтесь, коллега»,— пригласил Ошанин, такой же, как Герман, рослый, бородатый и очкастый. «А тебе, малый, надо б ружьецо,— шепнул он Бруно.— Знатно поохотишься»,— к стене была прибита шкура королевского тигра. Бруно не сводил с нее глаз. Ах, почему же дяденька смеется? Дяденька признавался, что выложил за тигра всего-навсего двенадцать целковых.

Ташкентская весна возвратила Зине и Герману дыхание далекого Гастингса. Будто никогда не было ни домашней неустроенности, ни изнурительных денежных забот, ни взаимного раздражения. Боже мой, как неистово светила луна из этой бездонной, безмолвной черноты.

Ошанина опьяняла жажда странствий. И Германа тоже. Куда как живописны были они в белых блузах и широкополых шляпах! Дорожная сумка и жестяной ящичек для насекомых, лупа на шнурке у пояса, подушечка с булавками, как у модисток, и сачки на длинном шесте.

Они насвистывали, напевали, вскрикивали, ударялись бегом и застывали на месте, приседали, подпрыгивали, бежали дальше, блузы серели от пота, в глазах щипало, ребра рушились и вздымались, они ничего не замечали. И, сойдясь близко, сдвинув лбы, нацелив лупы: «Ну-с, а это и вовсе чудо!» — «Тэкс, пожалуйте в ящик!» — «Те-те-те, эдакого я еще и не видывал, а?!» И снова мчались вдохновенно под палящим солнцем.

«Послушайте, Герман Александрович,— толковал Ошанин,— да ведь вы натуралист божьей милостью. Из вас бы, батенька, крупный ученый выработался».— «Планида иная, батенька,— отшучивался Лопатин.— Иная планида».

Об этой «планиде» Зина думала часто.

Чем дольше знала она Германа, тем больше дивилась щедрости матери-природы: эким мощным умом одарила, незаемным, быстрым и вместе основательным. Но дар стократно превышал реализацию. Поездки в Россию? О, Зина понимала, как это необходимо, признавала завет Герцена, всегда Лопатину памятный: страшись тины эмигрантства. И ничего не имела против его стремления передавать соотечественникам содержание и опыты европейских социально-политических течений. Наконец, она вовсе не считала нужным погрузить его до маковки в глубины естественных наук, ведь она и сама находилась в потоке, который был знамением времени и который властно увлекал от естествознания в обществоведение. Да, так. Но «планидой» Германа была она недовольна и озабочена. Не потому, однако, что спутник этой планеты обрекался на грозовые разряды бедствий. Э, если уж на то пошло, Зина Корали, с юности отвергшая «в браке — мы рабыни», не увязалась бы спутницей за планетой любой яркости. Сменить вослед повелителю, как здешние ташкентские бедняжки, не смеющие взглянуть на мир? Увольте! Нет, ей хотелось, и хотелось страстно, освободить Гер-

мана от того, что она твердо считала зряшной тратой энергии и ненужным риском. Рассудком и сердцем она внимала настояниям Лаврова, обращенным к Герману: избавьтесь от мильона практических обязательств и частностей, займитесь агитационной литературой, вы призваны быть руководителем, главой партии, непростительно терять время и силы на второстепенное, когда есть историческое... А Герман искренне не находил в себе достаточно способностей. А Зина искренне находила в Германе недостаток желания. «Ты зарываешь свой талант в землю»,— твердила она. «Да, но в родную землю»,— усмехался он. И вдруг глаза его обретали стальной блеск... Вот так, должно быть, заблестели они, когда Герман преломил копье с Энгельсом по поводу Бакунина, изгнанного из Интернационала, а госпожа Маркс горячо вмешалась в спор, и Герман отрезал: «Клянусь, мадам, никогда не обсуждать вопросы политики с женщинами, которые делают из них семейное дело». Ну что ж, это не поссорило Германа ни с Энгельсом, ни с Марксом и его домочадцами: отношения не пошатнулись, Герман попрежнему был званым и избранным.

С ней, Зиной, он не зарекался обсуждать вопросы теоретические и практические. И не отрезал, как ножом, ее возражения. Но едва заходила речь именно о нем, Германе, как он усматривал в ее намерениях желание остепенить муженька. Он подозревал дамское тщеславие. И даже, сдается, расчет на эдакий профессорский, литераторский комфорт... Ах, конечно, она, женщина, озабоченная здоровьем и воспитанием единственного сына, холодела при виде розовых картонных билетиков на похлебку с ломтем хлеба — такими билетиками парижские благотворители ссужали парижских люмпенов. И, конечно, до смерти боялась пресловутой ночлежки на улице Токвиля или гадких меблирашек на улице Сент-Оноре. Но, видит бог, никогда она не приценялась к костюмам от знаме-

нитого Ворта и не рассчитывала держать щекастого лакея в красной суконной куртке и серых панталонах. Подозрения Германа оскорбляли Зину.

Была, однако, забота общая.

Великий путешественник, он уже пересекал отечество с запада на восток, с востока на запад — от Невы до Ангары и обратно. Теперь предстояло пересечь с юга на север — от Ташкента до Петербурга. Препятствия вставали громадные, пожалуй, и неодолимые. И они с Зиной отвергли вариант юг — север, как заведомо гибельный.

Возник вариант иной, сложно-маневренный. Он требовал хождения по присутствиям. А это требовало присутствия в Петербурге. И Зина с трехлетним «английским ребенком, находящимся на попечении», отправилась навстречу пыльным бурям и многотрудным хлопотам.

Хлопоты взяли больше полугода. На одном прошении кто-то начертал: «Лопатин, по-видимому, совершенно отрезвился — прошу сообразить, есть ли возможность удовлетворить его просьбу. Лопатина я знаю с 1866 года — не террорист, за остальное не ручаюсь»... Господи, да разве даже и она, Зина, поручилась бы «за остальное»? Просьба ж была о переводе из Азии в Европу. Ну, скажем, в испытанные ссылочные места — в Вятку или Вологду.

Особое совещание, одно из тех, что временно возникали на весьма продолжительное время, сочло наконец возможным извлечь отставного коллежского секретаря Лопатина из-под ташкентского солнцепека.

До Самары он следовал, ибо ссыльные не ездят, а следуют, бесконвойным. Из Самары, однако, велено было следовать подконвойным. Очень это не понравилось Лопатину по причине всем свойственной нелюбви к арестантскому положению. Он подал прошение самарскому начальству: доберусь, мол, самостоятельно. Начальство от-

казало. Канцелярист-проказник подшил бумагу к делу и пробежался резвым карандашиком:

Герман, Герман, милочка!
Шампанского бутылочка,
Полфунтика икры —
Свободен будешь ты!

Старший канцелярист приписал в сердцах: «Идиот! Сам пойдешь за Германом Лопатиным. Социалист чертов!»

Добившись перевода мужа в Европейскую Россию, Зина со своим «английским ребенком» пустилась в губернский город Вологду.

Тамошний полицмейстер давно уж расписался в том, что принял ссыльнопоселенца Лопатина «в исправном виде».

И точно, ссыльнопоселенец, бурно радуясь жене и сыну, выглядел «исправно». Извозчик осадил на Кузнечной, у бревенчатого дома под железной крышей. Кустилась черемуха, неурочно кричал петух — должно быть, по случаю свидания Лопатиных.

Тотчас прихлынула публика. Накрыли стол, Герман выставил сметанное масло, очень свежее и вкусное, в жестяной фунтовой банке со смешной и непонятной надписью: «Кудрявая»...

Ох, напрасно, совсем напрасно рассчитывали в Петербурге на то, что Лопатин «отрезвился»: он тут в такой «запой» ударился — святых вон! Весел был, как взметнувшийся костер, огонь и натиск. И это желанное утоление его неутолимой жажды русских впечатлений, русской речи, русских лиц... Чудилось Зине, будто б он широко распахнул объятия, да и загребал, загребал под свое

крыло публику молодую, нерастраченную, бойкую, воззрений не всегда строго определенных, но всегда красного цвета: ружейного мастера и телеграфиста, почтового экспедитора и акцизного счетовода, семинариста и купеческого отпрыска, учителя гимназии и гимназиста-старшеклассника и уж, понятно, всех до единого студентов-вологжан, недавно вытуренных из университетов.

В честь Зининого приезда в доме на Кузнечной пили пиво, гитара бренчала: «Улыбнись, моя краса, на мою балладу, в ней большие чудеса, очень мало складу». Потом на мотив французской «Марсельезы» пели русскую: «Отречемся от старого мира; отряхнем его прах с наших ног». Герман подмигнул Зине: «Поконспирировали немного, а?»

Это ведь там, у моря, в Гастингсе, где прибой сшибал с ног и они целовались, ощущая на губах соленую влагу, это там, в Гастингсе, они получили однажды листок, исписанный в столбик Петром Лавровичем: «Отречемся от старого мира» — Лавров просил Германа «немного поконспирировать», почему-то не хотелось Петру Лавровичу ходить в авторах, смешно стеснялся, ну и просил Германа перебелить да и послать безымянно в редакцию «Вперед!».

Мы пойдем в ряды страждущих братий,
Мы к голодному люду пойдем...

А с чем пойдете, коллеги? Без капитала в дороге пропадешь, это уж и моему Бруноше ясно. Нуте-с, Зинаида Степановна, выкладывайте: она привезла несколько экземпляров «Капитала».

— Бакунисты,— продолжал он, блестя глазами,— бакунисты талдычат: нечего вносить в массы революционное сознание. «Зачем?» — спрашивают они. И отвечают: «Чернорабочий человек уже потому, что он чернорабо-

чий,— социалист по инстинкту». Мираж. Мираж и нелепость! — Лопатин держал на широкой ладони том «Капитала», держал и покачивал, как бы приглашая убедиться в весомости политической экономии.— А без этого,— заключил он,— мы все обречены на слабоумие.

Белая ночь была в Вологде.

Штабная квартира помещалась на Московской, у сестер Юшиных. Где-то их видела Зина, где-то встречала... И точно, в Питере, на сходке. Ага, слушательницы Высших женских курсов, высланные на родину. И этот студент тоже «возвращен», худющий, бледный, с чахоточным румянцем,— поклонился застенчиво: «Алексей Рукин».

Гурьбой поехали за город.

Как, Зинаида Степановна ничего не знает о Марье Федоровне? Да ведь это ж — Кудрявая! Намекающим жестом Герман изобразил жестяную коробку. Ах, вот оно что: молочная ферма Кудрявой, такая фамилия? Герман рассмеялся. Десять с лишним лет назад, похищая из Кадникова Петра Лавровича, он, похититель, был осведомлен, кто они такие, супруги Кудрявые: помещики, да, но из тех, коими оченно недоволен жандармский полковник фон Мерклин... В доме Кудрявых, что напротив гимназии, всегда жили ссыльные, хозяева поддерживали их не таясь, в открытую; на званых вечерах — непременно присутствовали и крамольники — уж как вам, господа, угодно, коли опасаетесь, вот бог, а вот порог... И ферму с холмогорками, куда сейчас ехали гурьбой, завели ссыльные, дело доходное, на экспорт идет в Москву и Ярославль — голштинское и парижское, а заодно и сыры. И, надо отметить, Марья Федоровна не сидела сиднем, очень она деятельная дама.

Вот уж где проводить лето с Бруношей: хоть одним воздухом питайся, парным и душистым...

Поверите, лишь нынче, вот сейчас, когда я разложил на столе материалы о вологодском пленении Лопатина, бросилось в глаза имя студента Рукина, входившего в лопатинскую «дружину». Между тем сравнительно недавно, рассуждая о смысле и значении архивных разысканий, я, извините самоцитирование, писал: «Для меня записки каких-нибудь безвестных сельских священников Рукиных ценнее высочайшего рескрипта. Рескрипты на поверхности, и они поверхностны. А тут, в большой пожухлой тетради, чудом уцелевшей, тут полуторавековые заметки о семейных происшествиях. Без таких тетрадей нет и быть не может полноты исторической правды».

В статейке, предназначенной научному журналу, я не стал уточнять, что эта самая тетрадь мирно полеживает в соседней комнате, у моего тестя.

Так вот, имя Алексея Рукина бросилось мне в глаза только сейчас, после чего я сам бросился в соседнюю комнату. Тесть достал заветную тетрадь. Надо сказать, что он много наслышан о Лопатине, нас изредка навещает внучка Германа Александровича. И вот нежданно-негаданно: один из родственников моего тестя состоял в вологодском лопатинском кружке.

Мы прочли на стр. 31-й, исписанной, как и вся тетрадь, черными, невыцветшими чернилами, а почерк хоть в набор: «Старший сын дяди, Алексей, старше меня одним годом, даровитый и красивый юноша, успешно в 1877 году кончив гимназию, поступил в С.-Петербургский университет, но учился в нем, кажется, только три года. Он увлекся политикой, попал под суд и, после продолжительного пресмыкания по крепостям и острогам, выслан был на житье в Вологду, где служил в Казенной палате».

Тесть принялся расспрашивать, кто ж еще из его земляков поименован в документах лопатинской поры. Я начал перечислять, но скоро умолк — очередное имя

вызвало дружное изумление и тестя и моей жены: «Кудрявая?!» — воскликнули они в один голос и, перебивая друг друга, заговорили о Мише Кудрявом, погибшем на фронте, о Мишиной жене, она умерла от родов, осталась дочка Оленька, теперь уж совсем, совсем взрослая, хорошо бы сейчас же дозвониться... Вот эту-то Оленьку еще первоклассницей застал и я, наведываясь женихом в арбатский переулок: Оленька, пра-, пра- (а может, и еще раз пра) внучка Марьи Федоровны Кудрявой, жила в большой коммунальной квартире с моим будущим тестем и моей будущей женой, где кроме них обитал взвод мужчин и полурота ударного женского батальона.

Ну а тогда, в Вологде, Оленькина пра-, пра- и, наверное, еще раз пра-, тогда Марья Федоровна Кудрявая помогла снарядиться в дальнюю дорогу жене и сыну Германа Александровича. Они опять были его «авангардом» — уезжали в Париж.

А «главные силы» временно задерживались. Надо было тщательно подготовиться к противозаконному исчезновению. К какому по счету? «Да кто ж их считает?» — смеялся Лопатин.

Несколько месяцев спустя вологодская лопатинская «дружина» получила из Петербурга радостно-ироническую телеграмму: «Здоров, некогда, экзамены».

Есть магическое словосочетание: «странное совпадение». Говорю «магическое» потому, что прочтешь — «по странному совпадению» — и возникает ощущение достоверности. Может быть, именно оттого, что сказано «странное».

Я готов предложить совпадение, по всего-навсего календарное. При желании можно, пожалуй, узреть таинственные токи судьбы, но для меня, грубого материалиста, они неприемлемы.

Было так.

Поздним метельным вечером, в глухом местечке, едва заметной тропкой, известной лишь контрабандистам и кордонным стражникам, подчинявшимся министерству финансов, но кормившимся на финансы контрабандистов, по этой тропке беглый Лопатин пересекал границу Российской империи и Прусского королевства.

В тот же вечер в Париже, в многолюдном зале, ярко освещенном газовыми рожками, разыгрался скандал, и один из присутствующих, а именно художник Горский, снова увидел эту женщину в тяжелой шапке волос темного золота. Она уходила вместе с почтенным стариком, с которого он, Горский, мог бы писать умного боярина времен Московской Руси, если б нынче не услышал, что это и есть Лавров, «коновод нигилистов и цареубийц»...

Вот уже год, как Горский жил в Париже пенсионером российской Академии художеств. Каждое утро, легкий и стройный, сбегал он со своего пятого этажа и весело кланялся консьержу. Дородный привратник улыбался: этот русский — обворожительный малый.

Горскому было безразлично, сухо на дворе или панель при дождике подернута эдаким жирком, который, пардон, пованивает. Где бы ни застигал голод, Горский беспечально утолял его сосисками и сидром. И с удвоенной энергией посещал ателье парижских мастеров. На свою мансарду он возвращался сквозь рой каретных фонарей — красных, зеленых, белых. Отлично! Ты укладываешься в академический пенсион, нет нужды стучаться в дверь с объявлением: «Консульство предупреждает соотечественников, что не выдает никаких денежных пособий».

Первые месяцы Горский не брался за кисть. Была освобожденность. Не праздная, а праздничная: он посещал ателье парижских мастеров. Даровано было Горскому свойство, в живописцах нередкое, в поэтах и прозаиках редчайшее: умение оценить даже то, что чуждо, ощущение цехового братства. Он посетил Жерома и Лоранса,

Бонна и Мункачи. Он увидел наконец работы Мане.

Горский писал этюды, писал и консьержа. Польщенный толстяк доставал бутылочку: «Настоящий кюрасо, мсье». А винцо-то было дрянное, на тех апельсинных корках, которые грудами выметали из парижских театров, сбывая дошлым виноделам. Не нравился Горскому этот «кюрасо». И свои этюды тоже не нравились.

Это, однако, не убивало его интереса ни к выставкам акварелей на Вандомской площади, ни к встречам с собратьями в кабачке «Пуаро», ни к вечерам в клубе на улице Тильзит, или, как запросто говорили наши, на Тильзитке.

И в клубе, и в Обществе взаимного вспоможения русских художников старшим на рейде был Алексей Петрович Боголюбов — седоусый, седовласый, и эта зоркость серых глаз, как у впередсмотрящего на фрегате. А может, такая же, как у его деда, у Радищева.

Ну-с, что же нынче у нас на Тильзитке? Какая-то декламация? Пожалует сам Тургенев? Прекрасно!

В ярко освещенном зале, увешанном полотнами, рисунками и шаржами, Горский увидел завсегдатаев, но заметил и пришлых, прежде здесь как будто невиданных. Сюда, в клуб, где суетливым домоправителем распоряжался пейзажист Сакс, сюда-то эти люди пришли, кажется, впервые. То, что называют печатью среды, выдавало в них демократов, радикалов, а то и вовсе революционеров.

Вечер еще не начался, не было ни Тургенева, ни Боголюбова. Одни рассаживались, другие прохаживались, зал полнился гуденьем, все было б обыкновенно, когда б ни некоторая напряженность от присутствия «не своих» да не мелькал бы невсегдашний, какой-то оробелый Сакс, похожий на пастора, которому грозит отлучение от церкви (если, конечно, пасторов отлучают).

Здороваясь с приятелями и оглядывая собравшихся, Горский увидел молодую даму, ту самую, которую приме-

тил недавно на выставке акварелей, поразившись тициановскому золоту ее волос. Издали наблюдая за ней, как она наклоняется, всматривается, отступает и опять приближается, он почувствовал, что главное в этой женщине не внешняя прелесть, не гибкость и не тициановское золото, а что-то невнешнее. Горский думал о ней и потом, когда она ушла, думал, покуривая в маленьком кафе и внезапно решил: самостоятельная! Да, да, самостоятельная, независимая, отважная. Сейчас эта женщина стояла за спинкой кресла, прямая, горделивая и сумрачная, как Диана-охотница. Горский обрадовался, будто давно и тщетно искал ее, но тотчас понял, что радуется тому, что она не парижанка, не француженка, а русская, и это почему-то было очень важно и существенно. В кресле, за которым она стояла, положив руки на высокую спинку, сидел почтенный старик с лицом — так Горскому подумалось — умного боярина времен Московской Руси, и Горскому мелькнуло, что было бы куда как замечательно изобразить их вместе, эту Диану и этого боярина... В зале произошло движение, собравшиеся потеснились, сдвинулись, Горский тоже; он оказался среди тех, кто окружил Боголюбова, появившегося в клубе.

Алексей Петрович, апоплексически красный, вздернув брови, допрашивал пейзажиста Сакса. Тот отвечал запинаясь, тоном человека, которому позарез необходимо напомнить пословицу о повинной голове и несекущем мече.

— Какие-то... неумытые,— кипятился Боголюбов.— Да кто они? Откуда они? Кто пригласил?

— Право, не знаю, Алексей Петрович,— лепетал распорядитель-пейзажист.— Вроде бы ниоткуда... Сами пришли, ей-богу...

— А этот? Вон тот, в кресле-то, длинноволосый, этот кто?

— Лавров... Коновод нигилистов и цареубийц,— совсем смешался бедный Сакс.

— Батюшки,— ахнул Боголюбов,— да кто же этого-то звал?

— А он говорит: Иван Сергеич.

— Эка, Тургенев...— с сердцем молвил Боголюбов.— Ну, положим, Иван Сергеич и пригласил, а он, видишь, всю свою челядь навел.— Боголюбов в страшной досаде ляпнул себя по ляжкам.— Решительно невозможно! А что же Иван-то Сергеич, а?

Боголюбову отвечали, что Тургенева не будет — прислал сказать, что заболел. У Алексея Петровича как гора с плеч, ну, стало быть, и вечер отменяется, нельзя без нашего принципала. Так и объявим! А не захотят, велю погасить освещение... Боголюбову стали возражать, что выйдет скандал, но тут в зале зашикали, Горский обернулся, увидел — чернявый молодой человек, мгновенно напомнивший Горскому его задушевного друга Левитана, вышел на средину, угловато поклонился и стал читать стихи. Стихи были о том, как Каракозова ведут на казнь, а он думает свою последнюю думу о народе и свободе. Боголюбов опять ахнул, длинным белым пальцем забросил за ухо седую прядь, отчего стала видна его большая, словно кипятком обваренная, пунцовая ушная раковина, заговорил зычным голосом:

— Цель нашего общества и нашего клуба мир, а не революция! Это против устава и программы! И мы не позволим...

Все вскочили, стали стучать стульями и кричать; чтец-декламатор, бледный как мел, что-то сказал Лаврову, и «нездешняя» публика устремилась к выходу, походя костеря жрецов искусства трусами, лизоблюдами, глупцами, филистерами...

Горский, ошеломленно озираясь, на минуту пересекся взглядом с Дианой-охотницей, взгляд у нее был презрительный, и Горский быстрым шагом, как к барьеру, пошел вслед за «коноводом нигилистов и цареубийц».

На улице у подъезда Горский обратился к Лаврову: ему, художнику Горскому, стыдно за своих собратьев, но пусть господин Лавров не считает всех до единого подобными Алексею Петровичу Боголюбову, он, Горский, смеет заверить, что не только он стыдится, другие тоже, Алексей же Петрович попросту не желает получить выговор от посла, дойдет до Петербурга, но вообще-то черт с ними со всеми... Горский был очень взволнован и очень искренен, Лавров протянул ему руку, и эта женщина протянула руку, и еще кто-то, и еще. Горский пошел вместе со всеми, Лавров, усмехаясь, сказал, что все они подвергнуты остракизму, и «афинские изгнанники» вдруг страшно развеселились. Горскому тоже стало весело. Он взял фиакр и предложил отвезти домой господина Лаврова, любого, кто пожелает, он сейчас возьмет еще один фиакр, потому что вчера получил пенсион и богат, как Крез, и может себе позволить... Горский болтал, был развязен, сознавая, что поступил хорошо, благородно и это оценено, замечено, этому отдано должное, и он совершенно свободно обращался к Зинаиде Степановне, сидевшей с ним рядом в фиакре, в окошках которого мелькало и кружилось белое, красное, зеленое.

В мае он поспешно убрался из города.

Горский тосковал по пейзажу, это было как голод. Но это было и не совсем так, ибо он искал спасения — он больше не мог жить там, где жила Зинаида Степановна.

Он следил за ней в Латинском квартале, из углового кафе, дожидаясь, когда она со своим златокудрым Бруно отправится на прогулку. Он попадался ей навстречу будто б ненароком. Она пеняла ему, что он перестал бывать у Лаврова, а он, краснея, оправдывался работой над этюдами.

Е.К
Н.К

Он не показывался на улице Сен-Жак после того, как там, у Петра Лавровича, познакомился с мужем Зинаиды Степановны. Она сказала: «А вот и мой беглый каторжник». Лопатин, замедлив поклоном, пристально взглянул на Горского. Потом, дома, художник мучительно вникал в смысл этой пристальности и нашел иронию, тревогу, надменность.

Горский твердил, что он нисколько не виноват перед Лопатиным. И все-таки чувствовал себя мазуриком. Это было непереносимо, надо было бежать. Он сказал Зинаиде Степановне, что собирается в деревню, на пленэр. Они стояли под платаном. Потупившись, Горский ощущал, как дрожит лист на дереве. Да, да, мямлил Горский, уезжаю в деревню — пленэр, знаете ли, открытые пространства, вот только не могу решить, куда ехать... Она сказала: «Пожалуй, в Буживаль».

В Буживале, от Парижа недальнем, Горский нанял квартирку во втором этаже, над молочной. В молочной можно было столоваться не только молочным: аромат бараньего рагу раздразнил бы и ипохондрика. Колокол романской колокольни возвещал время. Буживаль называли деревней. Горский назвал бы селом — и церковь есть, и жителей тыщи три.

Из знаменитостей в этот сезон никто, кажется, не жаловал Буживаль, наезжали лишь будущие рембрандты в компании с «лягушками», то бишь резвыми созданьями, не слишком благопристойными. Будущие мэтры щеголяли в лихо заломленных мятых шляпах и в блузах, заляпанных краской; горластые, они обращались друг к другу не иначе как «идиот», «кретин», «осел». Их подружки, презирая купальные костюмы, прелестно обнажались под ивами и лезли в воду, хохоча и брызгаясь.

Если у берега свернешь направо и поднимешься по крутому проселку в красивый английский парк с

каштанами и ясенями, увидишь небольшую двухэтажную виллу «Les Frênes» *.

Вилла не нравилась Горскому своей архитектурной слащавостью. Еще учеником Академии художеств он побывал в Риме, в окрестностях Вечного города были точно такие же. Но, глядя на тамошние виллы, Горский не испытывал недоумения. А здесь, в Буживале... Автор «Бежина луга», «Хоря и Калиныча» — и эдакая напыщенность?

Между тем именно эта вилла овеяла Горского как бы внезапным и радостным озарением. Он хлопнул себя по лбу: как было не догадаться еще там, в Париже, под платаном? Нет, не догадался, сдуру предположил, что Зинаида Степановна посылает его в Буживаль как в традиционную мекку живописцев. А теперь-то и сообразил, понял — ведь Зинаида Степановна (впрочем, ее муж тоже, но это неважно, это не имеет значения) в давней дружбе с Тургеневым, а стало быть, в Буживаль ей ездить куда как удобно.

И влюбленный Горский стал ежедневно заглядывать на железнодорожную станцию. Он расхаживал по дебаркадеру, напустив на себя вид рассеянной независимости. Но едва слышался свисток локомотива — замирал. Увы... И оставалось наблюдать, как клочья паровозного дыма, перетекая деревья, дают листве причудливые оттенки.

Зина и вправду намеревалась часто навещать Тургенева: рядом с виллой, где жила со своим семейством мадам Виардо, был деревянный домик с мансардочкой и островерхой крышей. В оконной раме — вид на излучины Сены. В настенных рамках — виды Орловщины: «Береза с сороками», «Взбудораженное поле», «Долина с колодцем», «Дорога вечером»... Одна из сорок смахивает

* «Ясени» (*франц.*).

на цаплю, поле немного серо, а придорожная больница, пожалуй, уж слишком бела. Что за беда, если все так гармонично, так мягко, хорошо и верно. Да ведь и он сам, Иван Сергеевич... Иные находят в нем нечто от Юпитера! Этого нет, есть гармония и мягкость, все так хорошо и верно, даже этот слабый рот и тонкий голос. Посылая Горского в Буживаль, Зина намеревалась бывать там часто. И, может быть, не только ради Тургенева. Но теперь, после того как там побывала Скворцова, Зина б о я л а с ь Буживаля.

Зинина подруга недавно ездила в Буживаль. Мадам Виардо, желтолицая, похожая на мула, владычица и усадьбы, и судьбы Тургенева, высказала мадемуазель Скворцовой резкое порицание: он утомлен визитациями, вот только что была Тата Герцен, он очень плох, нельзя же так... И вдруг огромные, прекрасные глаза ее наполнились слезами. «Идемте»,— сказала мадам Виардо.

Тургенев лежал на застеленной постели. Он был в сером просторном костюме, в петличке — цветок. Он поднял большую тяжелую, словно литого серебра, голову; приглашающим жестом повел кистью руки, у него была широкая белая ладонь. Мадам Виардо вышла. Скворцова присела у изголовья. Перемена в облике Ивана Сергеевича сразила ее. Тургенев был измучен донельзя, морфий лишь на краткий срок утишал муки. Он смотрел молча. Потом сказал, трудно ворочая языком:

— Видите, в каком я положении. Страдаю невыносимо. Помочь никто не может, кто бы ни лечил... Послушайте, я человек неверующий и вправе распоряжаться своей жизнью. Прошу вас, дайте мне отраву, и я покончу с этими мученьями.

— Что?! — вскрикнула Скворцова.— Что это вы говорите, Иван Сергеевич!

Она успела взнуздать себя: ты врач, тебе не пристала истерика. И заговорила тем деланно ровным тоном, со-

лидным и уверенным, каким врачи говорят с пациентами, а взрослые с детьми: ваша болезнь, Иван Сергеевич, нервная, науке известно, что поправка иногда наступает скорее, нежели предполагают; мы, почитатели вашего гения, еще очень многого ждем от вас, и я уверена... Он словно бы отодвинулся во тьму. Потом сказал, впадая в забытье:

— Да ведь я и так уже отравлен. Как же вы не понимаете причину моей болезни? Я же отравлен... Привезите мне отраву.

Он медленно смежил веки. Скворцова выбежала на цыпочках.

Вернувшись в Париж, не заходя домой, помчалась на улицу Гей-Люссак.

Германа не было. У Зины сидела Гончарова, красивая, полная, черноглазая дама. Первой из россиянок Екатерина Дмитриевна училась на здешнем медицинском факультете. Гончарова уже заканчивала, когда Зина и Скворцова еще только поступили. Поклонницы Писарева, они не боготворили Пушкина, но в их отношении к Екатерине Дмитриевне, племяннице жены поэта, сквозила особенная нежность, отсвет детского, гимназического, семейного. У Лаврова же и Лопатина были с Гончаровой дела практические: на ее парижский адрес поступала корреспонденция из России.

Скворцова упала в кресло, на востреньком личике кончик носа белел, как отмороженный. Они были подавлены ее рассказом. Им было страшно. Убеждение Ивана Сергеевича в том, что он отравлен... Мадам Виардо? Боже мой, как к ней ни относись... Германн судит строго: мадам экспроприировала Тургенева у России... Но это? Это исключено! Рассудок Ивана Сергеевича мутится от нечеловеческих, нестерпимых болей, от частого приема морфия... Они были подавлены, им было страшно. Кто б ни отправился в Буживаль, рискует услышать ужасную

просьбу. Право на смерть не принадлежит ни одному медику в мире. Но у кого есть право рассуждать об этом бесправии у одра умирающего в муках?

А дня три спустя пришел из Буживаля конверт. Зина успела прочесть записку раньше Германа и тотчас спрятала ее. Теперь она не могла не ехать: надо было опередить Германа. Энгельс, это она знала от Лаврова, говаривал: наш общий друг — смелый, до безумия смелый... И если Герман решится... Господи, он же потом не простит себе, до гроба не простит...

Зина поехала в Буживаль. Сеялся дождик, окно слезилось, холмы и рощи затянуло мглою, придорожные вязы вскипали и метались. На дебаркадере Зина раскрыла зонтик. Длинная улица была пустынной. Только сейчас она подумала о Горском. На минуту ей вспомнилось, как он бурно взволновался, знакомясь с Германом. Она подумала: бедный Костя.

На маленькой площади у реки тускло блестел булыжник и клеенчатые накидки рыбаков. Яхтсмен в полосатом трико, отважный, как Лаперуз, выбирал якорь. Зина свернула на дорогу к вилле.

Иван Сергеевич спросит: отчего не приехал Герман? Она солжет: Герман отлучился в Лондон. А Ивану Сергеевичу нужен именно Герман. Тургенев говорит: «Несокрушимый». Ему нужен «несокрушимый». Когда они были в России, Герман навестил Тургенева в гостинице. Иван Сергеевич закричал: «Безумный, отчаянный вы человек! Уезжайте, бегите! Не сегодня завтра вас арестуют...» Герман, смеясь, ссылался на неотложные дела. И был арестован. Иван Сергеевич строил проекты освобождения: «Сделаю все, что могу». И вздыхал: «Да могу-то слишком мало... А перед такими, как он, я, старик, шапку снимаю...» Теперь просил: приезжайте в Буживаль, надо поговорить об очень, очень важном. Ему нужен безумный, отчаянный человек. Именно он, Герман,

а не они, дамочки-эскулапки, со своей медицинской этикой.

Сеялся дождик, аллея шумела. Она увидела белую парадную лестницу и замедлила шаг. Господи, разве солжешь об отлучке Германа? Да, но прежде-то ее встретит мадам Виардо. И выкажет неудовольствие, как Наде Скворцовой... Зине вдруг страшно захотелось, чтобы мадам Виардо не пустила, прогнала ее. Но нет, подумала Зина, этого не случится, этого не случится, они ведь в дружбе давно, поди, уж лет десять, еще с того времени, когда Иван Сергеевич передавал через Германа деньги на издание «Вперед!». А музыкальные вечера? И там, в Париже, на улице Дуэ, и здесь, в Буживале... Герман не очень-то жаловал мадам, но ее меццо-сопрано повергало его в трепет — мороз, говорил, подирает по коже от этого надломанного голоса. Почему-то ему слышалась надломанность. Не Сен-Санс или Мейербер «забирали», он к ним равнодушен, а романсы на слова Фета, Пушкина, Тургенева, на музыку положенные самой певицей. «Друг мой, я звезды люблю — и от печали не прочь...» Нет, они с мадам Виардо старые знакомые, и мадам Виардо не встанет поперек. И ты придешь к Ивану Сергеевичу и станешь уверять, что Герман совсем ненадолго отлучился, непременно нагрянет в Буживаль, какие сомнения, непременно... А дома, в Париже, ты положишь конверт с запиской в стопку свежих писем, Герман прочтет, но прочтет-то позже, после того как ты скажешь, что была в Буживале, что Ивану Сергеевичу сейчас ни до каких, пусть и самых важных, разговоров, следует подождать, и Герман, конечно, согласится...

Не резкий раздраженный отпор встретил Зину — сосредоточенная, скорбная неприступность. Испанские глаза были сухими, отсутствующими, лицо изжелта-бледным. И в голосе мадам Виардо впервые расслышала Зина ту надломленность, которую всегда слышал Лопатин.

«Нельзя, мой друг. Это не каприз. Он близок... У него жажда смерти»,— сказала мадам Виардо.

Приглашение к обеду показалось диким. Не раскрыв зонтик, она пошла на станцию. Шла, не огибая лужи. Длинные коричневые скамьи на дебаркадере были мокрыми. Зина села. Появился служитель, предложил укрыться под станционной крышей. Она поблагодарила и не двинулась с места, отдаленно, как о посторонней, подумав, что это и глупо, и простудливо...

Горский курил в станционном зале.

Он нынче не встречал утренний поезд — кто же отправится в Буживаль при такой непогоде? К утреннему, из Парижа, не ходил, а к дневному, на Париж, прибежал — в Буживале стало невмоготу.

Он увидел ее на дебаркадере. Поезд гулко отдувался. Зина спешила к вагону, взъерошенная, мокрая, как бы даже и ростом была меньше, ох, совсем не Диана-охотница. Жалость, восторг, смятение бросили Горского к ней, за ней, в тот же вагон.

Поезд ушел, оставил острый запах дыма, и меня, слитно с этим запахом, охватило неприятное опасение — из всего сказанного не возникнет ли у кого-либо подозрение о треугольнике, набившем оскомину: муж — жена — любовник?

Нет, мои герои не из постного сахара и ничто человеческое им тоже не чуждо, однако чего не было, того не было. Пресловутый треугольник неуместен в материалах к роману.

Уместно другое, совсем другое.

Лопатин в ту пору собирался вновь покинуть Францию. Он почти не надеялся еще раз увидеть берега Сены. Роковые сложились обстоятельства. О них — чуть позже. А сейчас о сугубо личном.

Расставаясь с Францией, Лопатин расставался с Зинаидой Степановной. Это расставание, обоюдно мучительное, называл Герман Александрович последним актом семейной драмы. Некоторое время она писала ему в Петербург. Я читал эти письма: «Милый Герман...» Потом наступило молчание. «Оттуда не выходят, оттуда выносят»,— говорил шеф жандармов: Лопатина поглотил каземат Шлиссельбурга. Его жизнь кончилась. Ее жизнь продолжалась. Милейший художник, безоглядно влюбленный, стучался в двери. Она вышла за Константина Николаевича...

Слышу: «Э-э, батенька, вы что-то скрываете!» Полно сердиться, я ведь не скрыл, как задолго до появления Горского... Вспомните: глухой удар полуденной пушки Петропавловской крепости отозвался в архиве ропотом потревоженных теней, и я прочел горестное признание Германа Александровича — этот мрак в семье, тоска и раздражительность сводят с ума.

Скрыть можно то, что знаешь, а я знаю лишь то, что ничего толком не знаю. Вот если бы... Я вопросительно смотрю на фотографический портрет, такие когда-то называли кабинетными. Бруно давно уж не золотоволосый мальчик в парижском костюмчике с белым батистовым воротничком, Бруно Германович уже в летах, у него дочки Нина и Леля... Я смотрю вопросительно, он отвечает мне взглядом жестким, почти презрительным: «Подите прочь!» И, смущенно потупившись, я думаю о том, что даже в своем домашнем кругу Бруно Германович никогда не допускал расспросов о давней семейной драме.

Веселый запах белил и стружек властно вторгался в профессорскую квартиру на Мясницкой — Училище живописи, ваяния и зодчества ремонтировали. Зинаиде Степановне чудилось, что она век тому оставила дачу, оста-

вила Соломенную сторожку и давным-давно обитает в своих навязчивых впечатлениях.

Но вот звонил ближний звон, медленный и тягучий, будто огромный желток растекался в белесом сумраке, и под этот вечерний благовест Флора и Лавра она робко, печально и радостно ощутила какую-то завершенность, только ощутила, не сознавая смысла ее.

Она сидела у окна, закинув ногу на ногу, сцепив руки в замок на колене и покачивая ногой, и от этого мерного движения большая стеклянная стрекоза, приколотая к широкому поясу юбки, то вспыхивала, то угасала в отблеске закатного солнечного луча.

Словно без связи с тем, о чем она думала, Зинаида Степановна вспомнила, как дожидалась Бруношу минувшей весной у этого же окна. Универсанты бастовали, Бруноше грозило исключение, она и гордилась сыном и боялась за его будущее. А за окном, во дворе, слезал с лошади насупленный всадник в поддевке; поджарая, нервная лошадь, пританцовывая, брызгала талым снегом, и Лев Николаевич как-то смешно и сердито притопывал, сбрасывая грязь со своих сапог,— Толстой приезжал из Хамовников на Мясницкую, приезжал к скульптору Паоло Трубецкому. И, глядя на него из окна, Зинаида Степановна, поджидая Бруношу, улыбнулась своей похожести на графиню Ростову, на матерей, для которых превращение сына-мальчика в сына-мужчину всегда неожиданность и всегда печаль пополам с радостью.

Нынче, однако, вот сейчас, когда звонили у Флора и Лавра, все это лишь мелькнуло, потому что была иная печаль, иная радость, какое-то завершение было, слитное с медленным благовестом.

То, что открылось ей, было посвященностью: однажды и навсегда ты включена в круг жизни Германа. Эта посвященность не зависит от желания или нежелания Гер-

мана. И не зависит от того, что в круг ее, Зинаиной, жизни включен Горский.

Когда Германа навечно поглотил Шлиссельбург, было отчаяние, одиночество и была нежная благодарность Горскому, тихому, деликатному Косте, от которого она не прятала свою скорбь. Но ни тогда, в Париже, ни потом, в России, вот до этого вечернего часа в пустынной и душной Москве не открывалась ей посвященность ее: однажды и навсегда...

Она сидела у окна, стеклянная стрекоза вспыхивала осколком заката, на душе воцарялось необыкновенное спокойствие... Пошабашив, уходили со двора рабочие, впереди шел насупленный старик-плотник, похожий на Толстого, и Зинаида Степановна опять подумала о Бруноше — прежним ли будет после свидания с дядюшкой, не переменится ли, ведь там, в Вильне, могут наговорить бог весть что... Но сейчас тревога не была пронзительной, а звучала, как под сурдинку, в ее печальном и радостном спокойствии.

Тамбовская улица, недальняя от вокзала, не могла похвастать старинными строениями, почтенный возраст которых, будь они даже и безобразны, сообщает улицам необщее выраженье. Нет, Тамбовская была обыкновенной губернской улицей с деревянными домами, в садах с жасмином и сиренью.

На Тамбовской в несобственном доме жил Всеволод Александрович Лопатин, тысяча восемьсот сорок восьмого года рождения, православного вероисповедания, беспоместный дворянин, семейный (жена и дочь), служащий бухгалтером на железной дороге. Младший брат Германа Александровича Лопатина, бывший студент Московского университета, из храма наук изгнанный по причине неблагонадежности, в тюрьмах сидевший, особым присутствием правительствующего Сената судимый по процессу

193-х народников-пропагаторов, из судебного зала удаленный за упорный отказ отвечать на вопросы господ сенаторов, отбывавший ссылки и пребывавший то под явным, то под тайным надзором полиции.

Некогда они с Германом составляли домашнюю «партию», она не враждовала с «партией» двух других братьев, но, что называется, думала по-своему. Те двое — славные ребята — двинулись по военной линии и теперь уже дослужились до штаб-офицеров, исправно командуя армейскими подразделениями. Продвижению в чинах ничуть не препятствовало то обстоятельство, что брат их родной был известным всей России государственным преступником и находился в пожизненном одиночном заключении в каторжной тюрьме, тоже известной всей России.

Всеволод Александрович не мог бы и словечком попрекнуть мундирных Лопатиных: они сострадали Герману. То было стародавнее фамильное чувство: в русских дворянских гнездах не так уж и редко возрастали крамольники. С тем же чувством помнил Германа и отец. Умирая в Ставрополе, батюшка отметил в своем завещании — шесть тысяч рублей моему несчастному сыну. На краю вечности отец все еще надеялся, что заточение Германа не будет вечным.

Но в отличие от братьев и сестер сострадание Всеволода определялось еще и духовным побратимством с Германом: оба, пусть и в разных рангах, числились в списках экипажа, потерпевшего крушение. И то, что он, младший, спасся, уцелел, живет-поживает среди садов губернской улицы, греется у домашнего очага, ходит в гости, прогуливается с дочерью по холмам, дышит вольным воздухом, может ехать в отпуск, куда хочет,— все это увеличивало напряженность сострадания Герману.

О судьбе его думал Всеволод Александрович пристально. Ездил в Питер, к Даниельсону, тот по-прежнему жил на Большой Конюшенной и по-прежнему служил в Об-

ществе взаимного кредита. Собрал книги, переведенные старшим братом, изданные в России, одни с именем переводчика, другие безымянно. Ряд увесистых фолиантов замыкала тоненькая брошюрка, отпечатанная много лет назад за границей,— «Процесс 21-го». И беседы с Даниельсоном, и книги, и то, что случалось узнавать от товарищей, рассеянных бурями, и это изначальное родство по душе — все вместе постепенно, но пронзительно, ибо тут участвовало сердце, осветило последние полтора десятка лет жизни старшего брата: от сибирской одиссеи до роковой железной калитки в угловой башне Шлиссельбургской крепости.

Обращение к переводам Спенсера не было всего лишь способом материального существования. То была потребность духовная. И вместе практическая. Коренные вопросы морали Герман приложил к тем революционным действиям, что отозвались эхом выстрела в Петровском-Разумовском. Тут мысль была долгая и почти фанатическая. Знаток «Капитала», Герман не склонен был все списывать на классовые отношения и социальные условия. Он не отрицал исторической активности личности и не усматривал в революции испепеление морали. И ему внятна была роль случайностей. Не замедляй они или не ускоряй «ход вещей», история была бы слишком мистической штукой. Нет, Герман не отрицал случайности, особенно такие, как душевный склад лидеров, движителей кружков и партий. Маркс выходил из мира чистой этики в мир материальный, из мира персональных отношений — в мир социальных, Герман шел вслед, но оборачивался, оборачивался.

Мир утрачивал этику религиозную. А где же этика нерелигиозная? А между тем «ход вещей» все круче сворачивал к террору. Пропаганда в народе увяла, «романтики» уходили в катакомбы конспираций. Герман невесело трунил: «Держатся кучками, точно тараканы». Он от-

рицал пальбу по одиночным мишеням. «Романтики» тщились забрить ему лоб. Герман уклонялся, не завязывая диспутов: «вожди» поглощены делом, а «публика» поглощена обаянием «вождей». К тому же нельзя было не признать, что практика «романтиков» действительно устрашала неприятеля.

В уклончивости Германа многие усматривали нежелание состоять нумерованным членом такой-то или такой-то организации. Всеволод не соглашался, но, правду сказать, угадывал в натуре старшего брата русскую чуждость внешним формам — жмут под мышками, застят глаза, как шоры; эдакая, прости господи, прелестно-дворянская разбросанность.

И вдруг: Герман в самом центре, в самой гуще организации. Стремительно покидает Париж, мечет судьбина по городам и весям России... И ведь когда же, в какое время? Ветераны погибли на эшафоте: Желябов, Перовская... Сгинули в казематах Михайлов и Фигнер... Последний из старой гвардии — эмигрант Тихомиров — не смел показаться в России... «Народная воля» лежала в руинах; шнырял Дегаев, предатель, и реял, как нетопырь, обер-шпион Судейкин... Герман не примыкал к «романтикам», пока те были в силе. И протянул руку, когда их дробил молот репрессий. Не весь ли в этом незабвенный Герман?

Была, однако, т о ч к а — прикосновение к ней отзывалось болью; боль эта держалась как бы в стороне от большой, непреходящей. Именно эту точку, случалось, сильно трогали некоторые из друзей по минувшим временам и делам: Герман, конечно, вне всяких подозрений, но, падая, как подрубленная сосна, он сокрушил подлесок.

Это было верно: подобно скале, низринутой подземным толчком, Герман увлек за собой десятки, сотни камней — его арест был прологом многих арестов. Это было так, но это было не совсем так, и Всеволод Александрович мог бы поклясться... Что толку в клятвах? Опустив глаза,

мучайся и невозможностью защитить Германа, и тем, что такой человек нуждается в защите.

Многие роковые обстоятельства предопределили катастрофу, но Всеволоду Александровичу были они неизвестны. Их знали и понимали те, кого судили вместе с ним, и они снимали с него нравственную ответственность. Но голоса тех людей звучали в четырех стенах военного суда, а потом заглохли в каторжных норах.

Знали об этих обстоятельствах и по ту сторону баррикады: Отдельного корпуса жандармов полковник Оноприенко, сухощавенький, черноглазенький, с нервным, желчным лицом; корректный и педантичный жандармский ротмистр Лютов; генерал Цемиров, военный юрист с повадками квартального; и, наконец, лощеные, светски-невозмутимые гвардейцы в штаб-офицерских эполетах, заседавшие за столом военно-окружного суда.

Но и они молчали. Да и о чем говорить? Все сказано государем! «Надеюсь, что этот раз он больше не уйдет»,— написал Александр Третий на докладе о поимке Лопатина.

Огромные фолианты — жандармские и судебные — грузно, как корабли, обреченные забвению, потонули в сумеречных, беззвучных пучинах.

Но и эти обломки подвластны глубинным течениям, и то, что некогда лежало под спудом в Петербурге, медлительно и валко переместилось в Москву.

Я не люблю архивы в новейших зданиях из стекла и бетона. И не люблю документы на микропленке, галантерейной, как целлулоидные воротнички. Я люблю архивы в старинных зданиях с «архитектурными излишествами» и люблю первозданность документа, даже если он в мертвенно-синей обложке департамента полиции.

В Москве совпало все.

Дворец, возведенный Петром для Франца Лефорта (дым стоял коромыслом в часы громокипящих ассамблей), дворец, доставшийся потом светлейшему Меншикову, но сохранивший доселе имя Лефортовского: въезд огромный, хоть верхами по четыре в ряд, и тяжелый, гаубицей не прошибешь; аркады, словно аккорды, взятые органистом, коринфские пилястры, элементы нарышкинского стиля — короче, выдержанность и законченность классических принципов. И потому уместна тут строгая, как фортификация, табличка: «Центральный Государственный военно-исторический архив».

Лет пятнадцать — семнадцать назад в читальном зале не мыкались в поисках рабочего места. Рачительная хозяйка привечала по-домашнему, я и теперь признателен милой Надежде Павловне. И признателен архивистам, еще не успевшим широко внедрить микрофильмы, хоть и понимаю, что срок носки целлулоидных воротничков дольше, нежели матерчатых.

Итак, я приступил к чтению огромных фолиантов.

Поначалу надо вникнуть в тексты, выполненные разными почерками, и нередко такими, когда даже принципиальный противник телесных наказаний горько жалеет о мягкосердечии учителей чистописания. Впрочем, усидчивость, усидчивость. Ну, вот уже не спотыкаешься, не морщишь лоб, не чертыхаешься. И теперь... Мальчишкой, бывало, едешь зимою в трамвае, сложив ладонь трубочкой, дуешь, дышишь на махристое от инея стекло, пока медленно не расплывется иллюминатор-пятачок, и, прильнув, видишь прохожих, пивной ларек, ломовиков, грузовик... Все это видел тыщу раз пешеходом, ан нет, глядишь, словно бы впервые, радостно-обновленным оком... Архивное не прочитывать надо, надо продышать, отогреть дыханием лед времени и разглядеть, расслышать... Не скажу: «минувшее», не скажу: «былое» — то, что неот-

ступно движется вслед за нами, да мы-то редко оглядываемся, еще реже задумываемся...

Где-то там, за стенами Лефортовского дворца, шуршат календарные листки, а здесь, в покое Лефортовского дворца, простерлись годы девятнадцатого столетия — восемьдесят третий, восемьдесят четвертый... Еще едва слышен, но все ж уже слышен шаг восемьдесят седьмого: «Подвергнуть смертной казни через повешение...» А ты не в силах задержать, остановить приближенье, потому и медлишь в восемьдесят третьем, в восемьдесят четвертом.

Оказывается, британский подданный коммерсант Норрис нанял квартирку в Малой Конюшенной, рядом со Шведской церковью. Ты ведешь глаза к высокому потолку, вспоминая что-то близкое по созвучью: ну как же, это в двух шагах от Финской церкви, от Большой Конюшенной, где имеет жительство бухгалтер Общества взаимного кредита г-н Даниельсон. Но нет, если верить пухлому фолианту, г-н Норрис не посещал г-на Даниельсона. И хорошо, и слава богу, Николай Францевич мог спокойно продолжать занятия политической экономией, спать мог спокойно.

Русобородый коммерсант ни ногой ни на биржу, ни в банк. Скорой походкой, плечами враскачку, будто б и следов не оставляя, исчезает в питерских проходных дворах, коим несть числа. А в квартире у мистера Норриса не гроссбух — брошюра Энгельса о научном социализме, фотография Веры Фигнер, недавно арестованной, и конверт с парижскими письмами, на конверте пометка: «Зина».

Тот, кто г-ну Норрису едва по плечо, человек, то ли язвой измученный, то ли алкоголем изжеванный,— этот штабс-капитан ужасно боится встреч с Норрисом, но и не встречаться тоже боится... Слышен в покое Лефортовского дворца осторожный стук и приглушенное шлепанье, пахнет сырыми листами подпольной газеты, но это ж не

Питер, нет, маленький, уютный Дерпт... И вдруг середка декабря трещит, будто рванули кусок коленкора: стреляли из револьвера номер 17 891, стреляли в тринадцатой квартире, в доме с двумя выходами — на Невский и на Гончарную. Туда, на Гончарную, опрометью выбегает, едва не обронив барашковую шапку, выбегает в расстегнутом пальто бывший штабс-капитан... В тот же вечер труп опознан: особый инспектор секретной полиции, главарь и мастер всероссийского политического сыска... Рассеялся пороховой запах, сменился паровозной гарью — мистер Норрис в Москву, мистер Норрис в Ростов, мистер Норрис в Одессу. Велика, однако, география его коммерции. Он снова в Петербурге, надо получить почту, он ни ногой на почтамт, он всегда в редакцию «Новостей», к секретарю редакции Феденьке Грекову, а я-то читал, не здесь, не в Лефортовском дворце, но читал письмецо сильно постаревшего Феденьки Грекова, слезное письмецо, о котором, впрочем, позже. Норрис опять в Петербурге, острым жаревом пахнет в греческой кухмистерской, он наскоро закусывает, а четверть часа спустя на Невском, где клодтовские кони, слышен его яростный вопль. И вот уж под сводами Лефортовского дворца — тяжелый гул жандармских карет на железном ходу...

Пора упорядочить записи.

Во главу угла — отчеркнутое красным, начинающееся данными г-на Норриса, то есть Германа Александровича Лопатина: «39 лет, православный, русский, дворянин, отставной коллежский секретарь». И далее: «К организации партии не принадлежал и членом Исполнительного комитета не состоял. Относясь сочувственно ко многим пунктам программы и деятельности этой партии, далеко не разделял безусловно всех ее взглядов. Но так как я призван отвечать за свои поступки, а не за многие, то посему и не вдаюсь в подробности изложения пунктов согласия и несогласия моего с партией». И еще: «Вслед-

ствие сделанных мною в Париже знакомств, состоял в очень близких дружеских отношениях со многими выдающимися членами партии «Народной воли» и оказывал им всяческие услуги, как личного, так и политического свойства. Но от подробных объяснений моей деятельности в этом направлении отказываюсь, за исключением тех случаев, когда мои объяснения могут облегчить положение невинно страдающих людей».

Не к побеждающим, а к погибающим пришел Герман Лопатин.

Бывали хуже времена, но еще не было подлей. Ладно скроенный и крепко сшитый Судейкин, инспектор секретной полиции, подполковник Отдельного корпуса жандармов, заслуживает репутации не только искусного сыщика, а и сыщика-новатора: он ставил свои ставки на темную и резвую лошадку провокаций. Георгий Порфирьич не сразу, однако весьма скоро нашел центрального исполнителя — бывшего штабс-капитана Дегаева. Нашел, как по запаху, от него пахло болотным газом метаном. Для всех других был он рыцарем в доспехах народовольца желябовской поры.

Не стану тщательно анатомировать ни натуру Дегаева, ни поведение Тихомирова, уцелевшего члена Исполнительного комитета «Народной воли» первого состава, ни нескольких других эмигрантов, примыкавших к Тихомирову,— факты, одни факты.

Дегаев — Судейкин, Судейкин — Дегаев (от перемены слагаемых сумма не меняется) уловляли души десятками. Но оставались «кончики» подозрительных обстоятельств. Они ничем не грозили инспектору: тот не обретался в революционном подполье. А Дегаева все круче гнул и прижимал страх возмездия. Быть может, сильно преувеличенный, но оттого не менее ужасный. Дегаев, сломя голову, бросился за границу. Он покаялся. Но и в пароксизме страха оставался реалистом — предупредил:

многое, мол, из моих сообщений Судейкину тот не доверил ни высшему начальству, ни своим бумагам, оставляя до поры при себе. Выходило, что смерть Дегаева не избавит от гибели уже проданных и преданных. Выходило, что обреченных спасла бы только смерть Судейкина.

Дегаеву предложили умыться его кровью. Дегаев согласился, выставив два условия. Первое: все останется тайной для русского подполья, ибо инспектор заслал туда столько шпионов, что даже и ему, Дегаеву, они не ведомы. Второе: убрав Судейкина, он, Дегаев, уберется из России. Навсегда. На всю жизнь... Ну что ж, с ним не спорили.

Предлагая народовольцам свою «шпагу», Лопатин догадывался, что серия чудовищных провалов — результат предательства. Принимающие «шпагу» даже не намекнули о Дегаеве. Все искажают кривые зеркала заговоров: дали, видите ли, слово мерзавцу хранить его тайный замысел, а Лопатину, несмотря на «дружеские отношения», не сказали ни слова.

Поражают, однако, не кривые зеркала, они неизбежны. Поражает другое. Уже в России Лопатин, как сказали бы нынче, вычислил Дегаева. Тот сделал свое дело и унес ноги. Но дело, за которое взялся Лопатин (он говорил: «собрать рассыпавшуюся хоромину»), дело это только начиналось. Возникала «молодая партия». Быть может, со временем Лопатин надеялся влить в новые мехи новое вино. Быть может... Он едет в Дерпт — там налажена нелегальная типография. Едет в Москву, в Ростов, в Одессу, связывается с другими городами, ищет, находит, одни нити закрепляет, другие нити сучит, у него десятки адресов, фамилий, кличек, дюжины срочных дел, он озирается, чуть ли не каждый может носить маску. Он ведет торопливые заметки на тонюсеньких листках, заметки всегда с ним, он спит, а под подушкой револьвер, голыми руками не возьмешь, он все успеет уничто-

жить, непременно успеет, так ведь бывало не однажды.

Его взяли голыми руками. Средь бела дня. На Невском, близ моста, где вздыблены кони и напружены мускулы юных атлетов. На него напали сзади, он закричал от ярости, его втолкнули в пролетку, он изловчился, вывернулся, успел выхватить свои листки и бросить их в глотку, его шею заклешнили, сдавили, он захрипел, закатывая глаза и мгновенно синея.

О, как торжествовали на Фонтанке — в департаменте полиции, в штабе корпуса жандармов. У директора департамента г-на Плеве, всегда анемично-бледного, розовели щеки и блестели глаза, когда тонким своим перышком, фиолетовыми чернилами писал он доклад на высочайшее имя. О, как о н и торжествовали в ту проклятую субботу: затравить и свалить матерого Лопатина, а в придачу готовенький проскрипционный список. Аж троих чиновников — скорее, скорее, скорее — засадили строчить «Копии заметок Германа Лопатина, отобранных у него при задержании 6 октября 1884 г. в Санкт-Петербурге». Одиннадцать страниц большого формата: имена, адреса, имена, адреса. Римские проскрипционные списки ставили людей вне закона; эти, здешние,— под его молот. Одиннадцать страниц — имена, имена, имена. О каждом шифрованная депеша. И каждая депеша открывает перечень страданий и лишений, продолжая общий, всероссийский мартиролог...

Меня охватила странная тупая апатия. Я вяло спустился по лестнице, сумеречной даже в ясные дни, вышел во двор, стал ходить по асфальтовой дорожке и курить, никчемно шевеля носком ботинка опавшие листья.

Там, наверху, меня ждали документы судебного процесса.

Там, наверху, в дворцовом покое, собрались военные судьи — этот Цемиров, генерал с замашками квартального надзирателя, эти светски-лощеные, невозмутимые гвар-

дейцы штаб-офицерских чинов. И уже появились жандармский полковник Оноприенко, сухощавенький, черноглазенький, с желчным лицом, и его сослуживец жандармский ротмистр Лютов, корректный и педантичный, у него, трудолюбца, столько забот — еще не закрыв дело Лопатина, он уже открыл дело Александра Ульянова.

Там, наверху, ввели подсудимых и некто Вейгельт, льняной, светлоглазый, говорили, отменный исполнитель цыганских романсов с собственным аккомпанементом на семиструнной, титулярный советник Вейгельт прочищал горло для чтения обвинительного акта, предрешавшего смертный приговор Лопатину и Саловой, Сухомлину и Якубовичу, Иванову и Кузину, Гейеру и Ешину, Конашевичу и Стародворскому.

Пятого июня 1887 года военный суд вынесет резолюцию.

Пятнадцатого июня 1887 года приговор войдет в силу.

Несколько дней и несколько ночей приговоренные к смерти будут ждать тихого, торжественного и, случалось, грустного: «Пожалуйте».

Я знаю, императору угодно будет всемилостивейше повелеть: смертную казнь заменить каторгой, Лопатину и еще четверым — бессрочной, вечной. Я-то все знаю, успел взглянуть на последние листы пухлого фолианта. Но они... они ждут смерти.

Я хожу по асфальтовой дорожке, курю, шевелю опавшие листья. Бывают и в архиве такие дни... Герман Александрович сказал бы «нервоедящие».

Спустя лет десять после исчезновения старшего брата в потустороннем шлиссельбургском заточении Всеволод Александрович в один отнюдь не прекрасный день решился ехать в Петербург, на Фонтанку. В пути из Вильны он твердил себе, что ничего, ничего, ничего не добьется,

ничего, ничего, ничего даже и намеком не услышит про Германа, но этот рефрен как раз и означал, что Всеволод Александрович все же питал какую-то слабенькую надежду.

В Петербурге он и разговаривать не стал с мелкой сошкой, а сразу записался на прием к директору департамента полиции. Пришел в назначенный день и, мельком взглянув на других просителей, тотчас сам себя ощутил мелкой сошкой. Чувствуя эту унизительную, постыдную свою незначительность, он сидел, сжав зубы, уставившись в карминный, тускло-блескучий паркетный узор.

В приемной было то, что всегда там бывало в приемные дни. Длинный и плоский, как рейсшина, дежурный чиновник, стараясь избавить высшее начальство от скуки общения с этими женщинами в трауре, с этими исплаканными старушками, со всеми, кто значился в списке, предлагал: «Прошеньице напишите-с... Прошеньице напишите-с...» И оттого, что он прибавлял «с», почему-то чудилось: «Авось и обойдется, все хорошо будет...» Однако редкий просил бумагу, и дежурный чиновник опять припшепетывал: «Прошеньице напишите-с...» На него переставали обращать внимание, говорили вполголоса: «А ваш-то за что?» И непременно оказывалось, что «наш-то» совершенно ни за что, может, кто другой и не безвинно, а «наш-то», ей-богу, безо всякой причины... И в этих настойчивых повторах таилось упование убедить не соседа, а вон того, кто скрывался за высокими дверями директорского кабинета. И еще перепархивало с уст на уста доверительное, не соотносившееся с тем, кто в кабинете: «А знаете ли, мне знакомый прокурор говорил, что вскоре выйдет общее решение относительно облегчения... Нет, нет, весьма осведомленный господин, о-о-о...»

Пригласили Всеволода Александровича.

Они давно были знакомы, Дурново и братья Лопатины. Как же, встречались! Сановник, блеснув пенсне, бряк-

нул звонком, приказал принести какую-то папку, Дурново перелистнул бумаги, стал читать вслух, Всеволод Александрович, потерявшись от волнения, удержал в памяти лишь обрывки: «Единственное существо, по отношению к которому на мне лежат при жизни нравственные и материальные обязательства, это мой сын... Мать его состоит в русском подданстве... В последний раз я видел его в Париже... Дальнейших сведений не имею...» Всеволод Александрович не мигая смотрел на папку, как на свет в оконце, Дурново захлопнул ее, как ставни. Всеволод Александрович пробормотал: «Мы посылаем племяннику деньги».— «И отлично делаете,— похвалил Дурново.— Дети всегда страдают безвинно».— «Позвольте я напишу брату»,— попросил Всеволод Александрович.— «Это наистрожайше воспрещено,— ответил директор департамента.— И не мною, не мною, вы знаете,— поясняюще прибавил он, воздевая указательный палец.— Я уж и без того преступил инструкцию.— Дурново как бы в задумчивости усмехнулся.— Все-таки в некотором роде старые знакомые».— И, наклонив коротко остриженную, в иглах седины голову, потянулся к звонку.

С той приметливостью к пустякам, какая ослепительно кратко возникает в минуты сильного волнения, Всеволод Александрович навсегда запомнил ручку этого бронзового колокольчика — грустный вислоухий спаниельчик на задних лапках...

«Нравственные и материальные обязательства»,— эхом доносилось из каменной могилы. Материальные посильно исполнялись, а нравственные... Пока Бруно бегал в коротких штанишках, ничего нельзя было поделать, находясь за сотни верст. Но минули годы, Бруно — студент, дозволена переписка, из каземата доносится: «Всего чаще мерещится мне Вологда» — и решительное «нет» переписке «с моим милым мальчиком». Стало быть, долг за ним, дядюшкой.

Всеволод Александрович пригласил племянника в Вильну. Дожидаясь, тревожился, не откажется ли Бруно? Конечно же по наущению матери. И не обнаружатся ли в племяннике невнешние черты той женщины, что оборвала в душе Германа все струны жизни? Да и сумеешь ли воздействовать на молодого, однако, вероятно, вполне сложившегося человека примером и обликом отца? Примером и обликом, надо полагать, искаженным. Пусть и не нарочито, а с безотчетностью, свойственной бывшим женам... О семейной драме старшего брата Всеволод Александрович знал только то, что эта драма завершилась разрывом, но, как бывает даже с людьми достаточно объективными, безоговорочно принял сторону Германа. А много спустя расслышал из загробного, шлиссельбургского: «В силу разных интимных причин все струны жизни были порваны в моей душе еще ранее окончательной катастрофы со мной»,— расслышал и испытал такое чувство, словно Зинаида Степановна нанесла ему личное оскорбление...

Племянник предварил приезд телеграммой.

Всеволод Александрович словно бы и незаметно для самого себя очутился на вокзале за час раньше срока. Он тут был со всеми знаком, с ним здоровались, спрашивали, по какой он надобности, Всеволод Александрович радостно объяснял, что вот-де встречает племянничка-студента.

Из вагонов высыпали приезжие, Всеволод Александрович быстро отыскал глазами Бруно — вот он! — походка была отцовская: плечами враскачку, и эта походка казалась очень уместной на деревянном перроне, похожем на палубу. Всеволод Александрович шагнул было навстречу племяннику, но тотчас остановился: узнает ли Бруно своего дядюшку?

Всеволод Александрович не находил в своей внешности разительного сходства с братом, но в желании, чтоб Бруно

узнал, было нечто экзаменационное: если меня узнает, стало быть, и отца помнит. И в этом своем желании ощутил он двойственность: будто б и Герман стоял рядом, стоял и тоже ждал, узнает ли сын иль не узнает?

Высокий, стройно-сухощавый, гимнастической выправки студент, в форменном сюртуке белого полотна и легких серо-синих брюках, поставил у ног саквояжик и, обмахиваясь фуражкой, всматривался в лица встречающих. Он дважды пересекся взглядом с Всеволодом Александровичем, но вскользь. «А походка-то, как у Германа, адмиральская»,— опять подумал Всеволод Александрович и, сняв шляпу, направился к Бруно.

Бруно показалось, что он давным-давно знает не этого чернобородого человека, машущего шляпой, а вот этот улыбающийся очерк рта. Они обнялись, пошли об руку, размениваясь вопросами-ответами, ничего, в сущности, не значащими, но дело-то было не в словах, а в том, что дядюшка и племянник словно бы примеривались один к другому, весело сознавая, что это им удается, как удается идти в ногу, не толкаясь локтями.

Еще в Москве, получив приглашение в Вильну, Бруно почувствовал мамино смятение и понял, что это оттого, что ему предстоит наведаться во «вражеский стан».

О семейной драме они никогда не говорили. Не запрет был, не табу, а словно бы все само собою разумелось, и это не тяготило, не мучило, потому, вероятно, что жилось покойно, уютно, и Бруно любил Горского. Разрыв же отца и матери представлялся очень, очень давним. То было почти в младенчестве, в Париже, а Париж тоже очень давно истаял в сером, лиловом, туманном, остались разве что интонации «истого парижанина», какими русские гимназии не одаряют даже пай-мальчиков.

И все же, подрастая, Бруно думал об отце. Расспраши-

вать маму он не решался. В его детской робости была недетская деликатность. Нет, он не предполагал встретить холодный мамин отпор, а боялся своими расспросами причинить боль отчиму.

Победило, однако, любопытство не совсем ребяческое, потому что Бруно хотелось знать человека, которого постигло такое непоправимое несчастье.

Они были вдвоем, она стала рассказывать, в чертах ее прекрасного лица проступало выражение молодой отваги, и Бруно чувствовал восторг участия в невероятно опасных приключениях, не книжных, не майн-ридовских, а взаправдашних.

Изо всего, что она и в тот раз и потом рассказывала, Бруно особенно приник к истории, как папа плыл в лодке-душегубке по огромной бешеной сибирской реке со страшными скалистыми берегами, поросшими девственным лесом, где водились косматые звери и бродили беглые каторжники.

Он уже был студентом, когда прочел биографическую заметку об отце, написанную Лавровым в Париже лет десять тому назад. Мама сказала: «Нелегальное издание» — и прикусила губу, Бруно заметил тень обиды и гнева: «Это ведь мой почин, это ведь я многое сообщила Петру Лавровичу».

Бруно понял, что тут какая-то размолвка с Лавровым и какая-то связь с той драмой, которую они с мамой не трогали. Бруно почти не ошибся, почти догадался.

Петр Лаврович был привязан к обоим — к Герману и к Зине, разрыв переживал горестно, но сентенциями не кадил, справедливо полагая, что нет ничего гаже принудительного, «в законе» супружества. Потом, когда Герман оказался в бессрочном заточении, а Зина сошлась с живописцем Горским, Лавров ничего не имел против этого человека, но Германа-то любил наравне с дочерью Маней и ничего поделать с собою не умел, и ему не хоте-

лось обращаться к Зине с чем-либо относящимся к Герману. Она это заметила, обиделась и разгневалась. И все ж не хлопнула дверью, а продолжала бывать в давно знакомой квартирке на улице Сен-Жак — помогала собирать материалы к биографии Лопатина. Просила лишь об одном: чтоб ничего не было «сугубо личного».

Но как раз именно это л и ч н о е, как полагали втайне друг от друга и Зинаида Степановна и Бруно, не могло не возникнуть в Вильне. И Бруно изготовился к сопротивлению на тот случай, ежели его маму заденут хоть намеком.

На Тамбовской, однако, был задан лишь этикетный вопрос о здоровье Зинаиды Степановны. Казалось бы, вежливо отвечай, вежливо благодарствуй, и баста. Ну нет, в банальной краткости вопроса, в мимолетности вопроса Бруно и усмотрел враждебность к его матери. И едва Всеволод Александрович осведомился, видел ли племянник нелегальную брошюру «Процесс 21-го», Бруно, выпрямившись и твердо глядя на дядюшку, в свою очередь осведомился, известно ли Всеволоду Александровичу, что именно Зинаида Степановна подала Лаврову мысль приложить к брошюре биографическую заметку, и не только мысль подала, но и деятельно способствовала сбору материалов? Всеволод Александрович не удержался от удивленного восклицания и смущенно забрал в кулак свою длинную, черным веером бороду, а тетка Лидия Яковлевна, к которой, правду сказать, Бруно не проникся симпатией (ее хлопотливая заботливость казалась ему не совсем искренней), потупилась.

Все эти дни Бруно не разлучался с Всеволодом Александровичем. За полночь сидели под круглой висячей лампой; обедали в чистеньком общественном саду, где журчал фонтан; брели тропой вдоль железной дороги, в сторону бывшего монастыря, а теперь летней резиденции виленского епископа.

И это там, на повороте тропы, увидев сквозь листву старинную часовенку в солнечных пятнах и шевелящихся тенях от высоких сосен, это там Всеволод Александрович остановился, задумался, вычерчивая тростью зигзаги, потом сказал как бы и не племяннику, а себе: «Говорят, древний герб нашего города...» — и спросил: «Ты знаешь о святом Христофоре?» Бруно повел плечом: что-то, где-то, когда-то не то вполуха слыхал, не то мельком читал о каких-то подвижниках, о каких-то королях или герцогах.

Был гул литовских сосен, облитых полуденным солнцем. Большое доброе лицо Всеволода Александровича светилось удивлением и радостью — он сознал самое главное, самое существенное. Христофор, святой Христофор... Если быть точным, Христофором-то стали звать потом, после подвига, когда уж, наверное, и на земле его не было, да дело-то не в этом, совсем не в этом, ты слушай, Бруно, слушай... Вообрази: Христофор, могучий, исполненный сил, стоял, опираясь на посох, близ бурного потока. Скалы, кустарник жесткий... И тут подошел к нему младенец, голенький, кудрявый, и попросил перенести на другой берег. Христофор поднял младенца на плечи, понес наперерез стремнине. Ох, каким тяжелым оказался этот младенец, каким тяжелым даже для него, могучего Христофора. А поток ревел все грознее, все глубже был поток. Христофор выбивался из сил, мелькало — не могу больше, не могу, не могу, но он нес младенца, а тот был все тяжелее, тяжелее... Ты понял, Бруно? Он нес на себе Грядущий День.

«Я понял»,— сказал Бруно.

Вечером Всеволод Александрович отдал ему весточки, полученные из Шлиссельбурга.

Бруно взял листки и затворился в комнате. Положив на столик, коснулся, как незрячий, подушечками пальцев — в шероховатости бумаги ощутилась шероховатость

казематных плит. Он стал зажигать лампу, спичка дрожала. Разлился свет, выступили строки — ровные, как по ниточке, каждая буква, мелкая и отчетливая, будто галька на дне ручья, и Бруно у с л ы ш а л гармоническую ясность этого почерка.

«Сыну я писать не буду, потому что слишком люблю его, чтобы огорчать его молодость мыслями о трагической судьбе отца. Было бы лучше, если бы Б. считал меня давно умершим. Затем по характеру моих отношений с его матерью, мне нельзя было бы не внести в переписку с ним или фальшь или сдержанность, чего я не умею и не хочу. К тому же самый факт этой переписки едва ли был бы по сердцу его матери, а я не желаю ни за что на свете портить их взаимных отношений внесением в них каких-либо диссонансов. Одним словом, писать ему не могу и не хочу, как он ни дорог мне. Большое спасибо тебе за сообщение кое-каких сведений о Б. Я очень рад за него. Пусть он живет занимательно, ярко, со всей полнотой и разнообразием житейских впечатлений! Пусть даже самая наука будет для него ответом на спрос собственной души и на требования жизни, а не формальной обязанностью, наложенной обычаем в заранее предустановленных рамках. Больно и унизительно мне иной раз подумать, что я ничем не помог ему в этом отношении, тем больше чести его матери, которой удалось справиться с нелегкой задачей в одиночку. Дай бог и дальше им обоим всяческих успехов и счастья! Лицом Бруно вылитый портрет своей матери. Иной раз я просто вздрагиваю, взглянув нечаянно на его фотографию: точно из рамки вдруг взглянула на меня его мать! Сам я могу реализовать себе взрослого Бруно только умом; в памяти же моего сердца ему всегда не больше семи лет. Всего чаще мерещится мне: Вологда, раннее утро, Бруно наскучило утреннее одиночество; и вот я чувствую, как легкие детские пальчики осторожно поднимают мне веки и как ти-

хий детский голосок спрашивает робким шепотом: «Папа, ты спишь?» Затем раздается радостный вопль: «Нет, ты не спишь! У тебя губы смеются!» И те же дерзкие детские пальчики начинают ерошить сверху мои усы, чтобы обнаружить ясней эту предательски обличительную улыбку губ...

О том, как я живу, ты можешь судить и по догадке. Сладости подневольного житья-бытья известны тебе немножко из собственного опыта. Прибавь сюда, что эти сладости вкушаются уже годы и годы. По-видимому, ты все же разделяешь общераспространенное в «публике» мнение о плодотворности уединения для спокойного, систематического мышления. Но ведь это только всеобщее простодушное заблуждение. На деле плодотворно только уединение добровольное и временное. Но довольно. Я мало склонен к меланхолическим излияниям, элегическим жалобам и тому подобным вздорным сентиментальностям».

Бруно бросился ничком на постель.

Потом, позже, не мог припомнить, как оно подошло вплотную, это ощущение, но самое ощущение помнилось даже как бы и не памятью, а телесно, всем существом: бесконечное одиночество в замкнутом пространстве, из которого выкачан воздух. В слова э т о не вмещалось. Не жизнь и не смерть? Но т а к о е невообразимо...

На другой день он уезжал. Глядя из окна вагона на улыбающегося Всеволода Александровича, Бруно внезапно догадался, отчего, впервые увидев дядюшку, узнал этот очерк губ под усами: «Нет, ты не спишь! У тебя губы смеются...» — дядюшка Всеволод улыбался так же, как отец.

Высунувшись по пояс из окошка вагона, Бруно долго махал фуражкой.

Зинаида Степановна вдруг решила, что Бруноша, минуя городскую квартиру, возьмет с вокзала прямиком к

Страстному монастырю, а оттуда — паровичком — к Соломенной сторожке, и тотчас поспешила на дачу.

Бруноша, действительно, вечером появился на даче, Зинаида Степановна просияла: нет, не переменился, вот ведь, едва расцеловавшись, стал рассказывать, ну точь-в-точь как и мальчиком, поспешно, залпом, доверительно выкладывал все, все, все.

Но по мере того, как Бруно рассказывал, Зинаидой Степановной сильнее и сильнее овладевали навязчивые впечатления, те самые, что владели на Мясницкой, смешиваясь с запахами ремонта и колокольным звоном, однако сейчас они не перетекали одно в другое, а сливались друг с другом, вызывая необыкновенное душевное состояние, не радостное и не мрачное, иное, которое она и не умела, и не пыталась определять, а только опять сознавала свою посвященность Герману. Она ходила по веранде, садилась, вставала, тянулась к ветвям бузины, срывала листок, прикусывала зубами и опять ходила, пересекая наклонный сноп солнечных, уже тусклых лучей, и лицо ее, оставаясь бледным, словно бы вспыхивало, шелковая блузка отсвечивала багровым, и вся ее фигура, несколько располневшая, обретала на минуту летящую легкость.

Нежелание Германа вносить диссонанс в ее отношения с сыном больно поразило Зинаиду Степановну, и Бруно напряженно выпрямился в плетеном кресле, как в Вильне, когда он опасался, что дядюшка с теткой заденут его маму, а сейчас он боялся, что мама как-то заденет отца, и это будет непереносимо.

— Он вернется,— негромко, но отчетливо молвила Зинаида Степановна, стоя посреди веранды и прижимая руки к груди.

— Да! Да! Да! — вскрикнул Бруно дрожащим голосом, полным внезапных слез.

Горский с мольбертом и складным стулом, тихий живописец в синей блузе и в белой панаме, какие теперь не носят и дети, шел домой.

Бывают минуты, когда ловишь в себе как бы присутствие родственника, которого ты, может, никогда и не видел, но все же знаешь, что это именно он, или совсем и не родственника, а человека хорошо, близко тебе известного, пусть и умершего. Вот так и Горский в эту минуту, когда садилось солнце, смолкал птичий щебет и только нет-нет да и прикаркивало воронье в той стороне, где маленький пруд и развалины грота, который одни называли ивановским, другие — нечаевским,— вот так и Горский необъяснимо и неизъяснимо ощутил себя старым, несчастным Саврасовым. Когда-то Горский учился у него. Большой, нескладный, лохматый, похожий на доброго уездного лекаря, Саврасов косноязычил вдохновенно: «Ступайте в природу. Она дышит, песня и тайна. У дубов кора подсыхает — смотри. И фиалки. Чувствовать надо, душа задумывается». Он был в опорках, в драной шляпе, а на плечах — грязный клетчатый плед. Ученик Костя Горский переглядывался со своим однокашником и задушевным другом Исааком Левитаном, обоим хотелось плакать от любви, от жалости к Саврасову.

Уже близко была дача. Жук жужжал, и комары звенели, тянуло дымом вечерних чаепитий. Неподалеку, в Зыковой роще, у депо Виндавской железной дороги, плакались гармошки. Было слышно, как пирожник призывает нараспев: «Подходи, дружки, набивай, брюшки».

Нынешним утром Горский не радовался ни восходу солнца, ни привычной тяжести художнической снасти, ни блеску росы, ни птичьему гомону: им владело предчувствие беды, утраты. И эта беда, эта утрата соотносились не только с неожиданным и никчемным отъездом в город Зинаиды Степановны, но и с вильненской поездкой Бруно.

Сейчас, подходя к своей даче, Горский не ощущал отрадной усталости и веселого голода, как, бывало, после трудов праведных, а с еще большей силой чувствовал неминучесть беды и утраты и опять поймал в себе что-то саврасовское, его потянуло прочь, потянуло в Петровский лес — «Ступай в природу, она дышит, песня и тайна...» — но он толкнул скрипучую калитку и, увидев на веранде Бруно, просветлел: «Сын приехал». И следом за этой радостью мелькнуло болезненно и остро то, о чем он, кажется, никогда и не вспоминал... Давно, Бруноша еще совсем мальчуганом был, Горский подал прошение: «Желая дать образование сыну моему Бруно Барту, имею честь просить...» Инспектор Петропавловского училища, взглянув на бумагу, вопросительно поднял брови: «Сыну? Вы — Горский, а тут — Барт...» И Горский формальности ради поставил сверх зачеркнутого: «пасынку». Господи боже мой, мелькнуло сейчас Горскому, ведь это «сын» не было опиской, именно сын...

Длинноногий Бруноша, такой же золотоволосый и красивый, как мать, быстро шел ему навстречу своей упругой гимнастической, немножко враскачку походкой, махал рукой и улыбался смущенно, и это смущение тоже болезненно кольнуло Горского в сердце — он понял, что Бруно испытывает что-то похожее на вину перед ним, дядей Костей. «Ах, милый,— вздохнул Горский,— ни в чем ты не виноват».

II

В девятьсот первом Бруно Барт окончил университет.

Зачисление в адвокатуру, или, как тогда говорили, в адвокатское сословие, требовало «юридической связи индивидуума и государства». И английский подданный Бруно-Роберт-Герман Барт получил русский паспорт.

Университетский диплом, однако, не давал права само-

стоятельной практики: полагался пятилетний стажерский искус. Барта взял помощником Карабчевский, адвокат по месту жительства петербургский, а известности всероссийской. О да, Николай Платонович ценил московскую юридическую выучку. Но тут и другое много значило: Карабчевскому не было секретом, кто отец этого молодого человека весьма поэтической наружности.

Бруно Германович Барт появился в «Смирновке».

Там пахло чернилами, чаем, сигарами. Столы под зеленым сукном освещались висячими лампами с зелеными абажурами, лампы можно было опускать и поднимать, они двигались на белых фарфоровых роликах величиною с хорошее яблоко. Вряд ли кто-либо помнил, когда воцарился здесь старик курьер с пепельными бакенбардами и шаркающей походкой, но каждый сознавал, что без ворчуна Смирнова не было бы «Смирновки» — адвокатского капища в здании Петербургского окружного суда.

С Бассейной, где поселился Барт, до Литейного, где суд, рукой подать. И патрон, и коллеги — все жили окрест, но патрона не зря окрестили Летучим Голландцем: был легок на подъем вальяжно-барственный и грузно-осанистый Карабчевский. Барт ездил с ним на Украину, потом — в Кишинев.

На Украине все началось в огромной латифундии герцога Мекленбург-Стрелецкого. Его владения славились агрономическим и промышленным благоустройством: необозримые черноземы и тучные пастбища, заводы конский, винокуренный, крахмальный, паровая мельница и механические мастерские. По весне, когда земля млела, к господским амбарам, сараям и скотным дворам тронулся на подводах кабальный, зимою вконец отощавший арендатор: «Бери, браты, это ж наше!» И летучим огнем понеслось враскидку: «Пали панов!»

На клич «пали» ответили командою «пли», и генерал Драгомиров вскоре отметил в приказе: «Войсковые части, призванные к подавлению вспыхнувших в двух уездах Полтавской и одном Харьковской губернии беспорядков, исполнили свой долг безукоризненно».

В Харькове, у вокзала, на запасных путях, остановился поезд министра внутренних дел. Должностным лицам велено было представиться после полудня; лишь окружного прокурора г-на Лопухина министр пригласил к завтраку в салон-вагоне. Плеве потребовал «изложить ход событий»; сухим, без модуляций голосом формулировал: «ход массовых грабежей, учиненных толпою». Плотный чернявый прокурор, сознавая чрезвычайную занятость г-на Плеве, был краток. Но вот что важно: Лопухин формулировал основательнее министра — не грабежи, а первое в наступившем столетии социально-революционное движение, произведенное народом, более прежнего сознающим вопросы общественной жизни. И указал на обнаружение у мужиков нелегальных брошюр и газеты «Искра».

Плеве слушал бесстрастно. Потом сказал: «Я давно слежу за вашей деятельностью, Алексей Александрович, и мне доставляет истинное удовольствие признать ее в высшей степени полезной». Министр не льстил, Лопухин заслуживал похвалы, особенно теперь, когда привлекал к суду без малого тысячу душ. Плеве обещал прокурору августейшее повеление — произвести судоговорение при закрытых дверях.

Несколько месяцев спустя в Харьков и Полтаву приехали петербургские и московские адвокаты. Приехали доброхотно, безгонорарно, еще раз подтверждая свою либеральную и радикальную репутацию. Карабчевский остался в Полтаве, его помощник отправился за семьдесят с гаком верст, в Константиноград, тонувший в осенних садах, ласково пригретых прощальным солнцем.

Барт не был столь наивен, чтобы ожидать изящного юридического ристалища. Изучая право, он познал силу российского бесправия еще на университетской скамье. Но в махоньком городке в судебном зале он впервые проникся щемящим сознанием своего постыдного бессилия. Он, Бруно Германович Барт, интеллигентный человек во фраке с адвокатским значком, прочитавший бездну книжек, прекрасно сознающий свой долг перед многострадальным народом, вот он сидит рядом с сеятелем и кормильцем своим, и на него смотрят с последней надеждой, а он жалок и никчемен, с ним нагло, в открытую не считаются, и он отводит глаза, перебирает бумаги и пощелкивает портфелем, не зная, куда деть свои бессильные, жалкие руки.

Три помощника присяжных поверенных и один присяжный поверенный решились наконец прибегнуть к способу, который считался крайним и назывался «кричащим». Их ждало суровое порицание, вплоть до исключения из адвокатуры. Но то было единственное, что они могли сделать, ибо этот способ подчеркивал: суд — шемякин, а приговор — предрешен. Они объявили:

— Защите известно, что подсудимые были подвергнуты тяжелым телесным наказаниям. Защита просила дополнить судебное следствие выяснением этих обстоятельств. Ходатайство защиты отклонено. Не находя возможным исполнить согласно требованию закона и нашей совести обязанности наши по отношению к подсудимым, мы отказываемся от защиты.

И покинули зал заседаний.

В гостинице Барт слег. У него был жар и озноб.

Не так уж много времени минуло — телеграфные аппараты Старого и Нового Света отстучали название другого города Российской империи: Кишинев. Пахло пале-

ным и прелым. Солнце, поднимаясь, съедало тени. Все казалось разъятым, нагим, в острых углах. И здешние люди, чудилось, тоже из острых углов, в каких-то странных изломах. Темное, скользкое, брезгливое чувство овладело Бартом. Он ужаснулся: и это — я? Тот, кто дома, на Мясницкой, держал портрет капитана французской армии Дрейфуса, имевшего несчастье родиться евреем и посему обвиненного в шпионстве...

Кружил и всплескивал белый пух. «Тополиный?» — недоуменно подумал Барт. Соколов ответил, не дожидаясь вопроса: «Перинный». Во дворе у поленницы рыжело большое пятно. «Девчушку убили одним ударом»,— сказал Соколов. Слышно было, как в мертвом доме пищат крысы. Барт изнемогал, хотелось поскорее вернуться в опрятный номер с балконом на Александровский проспект, где запах винных погребов и приятное, хотя и обманчивое, ощущение близости южного моря. Хотелось уйти, но Соколов не отпускал: «Смотрите, Бруно Германович, смотрите. Запомните на всю жизнь». Они оба вздрогнули, услышав неуверенный постук палки, осторожное шарканье. Оглянувшись, увидели старика в темных очках и драном лапсердаке.

— Меер Залманович,— окликнул старика Соколов. — Я здесь.

— Ой, мосье Соколов,— обрадовался старик,— иду, иду. Мне сказали: Меер, там мосье Соколов опять приехали. Ой, думаю, надо бечь. Здравствуйте, мосье Соколов, здравствуйте, дай вам бог здоровья.

Соколов сказал слепому, что рядом господин Барт, помощник присяжного поверенного; полноте, не надо благодарить, они, петербургские адвокаты, выступят на судебном процессе от имени потерпевших.

Старик горестно кивал, его длинная борода колыхалась.

— Спасибо, мосье Соколов. Суд будет, это да, но что из того, мосье Соколов? Нас наказывают бичами, детей наших накажут скорпионами... Я очень извиняюсь, что я вам скажу так. Вот они спросят: «Вейсман, кто тебе отнял глаза?» И я скажу так: «Откуда я знаю, господа суд? Они ловили меня, целая толпа». И я не скажу: «Там был христианский мальчик, господа суд. Он имел гирька на ремешке, этот мальчик. Когда я упал, они заворотили мою голову и сказали: «Бей, мальчик!» И мальчик бил по глазу гирькой, потом бил по второму глазу гирькой... Как я могу такое сказать, мосье Соколов? Они мне скажут: «Что ты врешь, жидовская морда! Как это может христьянское дитё бить по глаза?!» Я очень извиняюсь, они так скажут, уж лучше я не скажу ничего.— Он помолчал, елозя палкой, опустил голову, в черных стеклах погасли солнечные искры. Он сказал: — Цепи ада облегли нас, и сети смерти опутали нас, так было, так будет, мосье Соколов.

— Я вечером зайду, Меер Залманович,— пробормотал Соколов, пожимая локоть старика.— Если разрешите, я навещу вас с моими коллегами.

Старик поклонился.

Соколов и Барт сели в коляску. Соколов сказал: «А я, Бруно Германович, я, знаете ли, все думаю: с детства для каждого из нас этот день — торжество из торжеств. Ведь правда? «От смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос бог нас приведе, победную поющия». Барт понял, о чем он: погром начался на пасху, на праздник из праздников.

Трезвон был во храмах, христосовались люди, убивая людей. Походным порядком вступили в Кишинев батальоны. И встали биваками. Офицеры курили и переговаривались. Из окон еврейских домов выбрасывали скарб. Лачуги взялись трескучим огнем. Ротмистр барон Левендаль медленно объезжал улицы. Городовые козыряли рот-

мистру. Все было ясно. Ан вдруг и приказ — будя. И мало «прекратить», а какие, значит, усердно старались,— в кутузку. Эва, начальство! Вроде бы правая рука одно, а левая другое.

Те, которые «старались», сидели в губернской тюрьме. Барт опрашивал их в тюремной канцелярии. Он не был сторонником теории прирожденности преступного типа. И все ж полагал найти в громилах какое-то отличие от зауряд обывателей. А на поверку? Никакого!

Карабчевский рассуждал о невежестве, о психозах в истории, о законах подражания, изложенных Тардом, о бехтеревском сюжете — роль внушения в общественной жизни. Соколов брал глубже, брал напрямую: когда большую нацию хотят удержать в тюрьме, ей вручают ключи от карцера, где сидит малая нация; и если говорить о главных виновниках погрома, то они там, в Зимнем и Петергофе, умственная голытьба.

III

Разбирал нынче бумаги шлиссельбургского узника, прочел: «В мое окошко снова начала заглядывать желтая звезда Арктур, обычная для меня вестница осени».

Вестница была обычная, да осень-то выдалась необычайная — девятьсот пятого года.

Давно и беспорочно служил полковник, и вдруг все навыворот, все наперекос. В туповатом и вместе тревожном недоумении он постоял-постоял посреди комнаты, обдернул мундир и пошел вроде бы поверять караулы, сознавая, однако, что вроде бы и ни к чему поверять их.

Было еще рано, слышно было, как за крепостной стеной весомо и хмуро хлюпает большая вода. Полковник

сумрачно огляделся, в душе его кипела обида: велено спускать флаг, а он мог бы еще держаться и держать. «Твердыня»,— подумал полковник и вздохнул. Не о себе печалился, не о должности, не об эдаком: жаль налаженной службы, порядка жаль, надежного и прочного. Пахло дровяной сыростью, и в этом запахе тоже была печаль: припасены дрова на зиму, а теперь-то и ни к чему.

Зазвенели шпоры. Ротмистр козырнул, хотел что-то сказать, но, поняв душевное состояние начальника, промолчал. Полковник молвил как сонный:

— Ну, хорошо, хорошо... Давай к десяти.

— Всех разом? — опасливо осведомился ротмистр.

— Всех разом,— обреченно махнул рукой комендант.

Он понял ротмистра. Благонадежнее было б объявлять каждому порознь, это уж точно... Почти неделю как взбаламученной Расеюшке известен указ «Об облегчении участи лиц, впавших в государственные преступные деяния». Да, почти неделю. Но министерство мешкало, департамент полиции мешкал: авось, как бывало, до шлиссельбургских заключенных касательства не выйдет. Но теперь-то та-акие несуразности по всей империи, что и здешних коснулось. Нет, не вовсе на волю, а в разные сибирские отдаленности, ан со Шлюшиным * все ж ни в какое сравнение. Нда, они там, на Фонтанке, мешкали, а теперь и приказали: объявляй! Легко сказать: самые что ни на есть закоренелые натуры. Ну-ка, глядишь, и спросят: «А когда указ вышел? А почему так долго держали?» Эва, долго! Кто двадцать и более годов, кто чуть меньше, а каждый отжил свое в Шлюшине, ну какой, скажите, счет — день, другой, третий? А могут форменный бунт учинить, и ни карцером не урезонишь, ни лишением переписки. И полковник почувствовал прилив злобы. Собственно, не к этим нумерам, не к лицам, дав-

* Обиходное, разговорное название Шлиссельбурга.

ным-давно, еще в прошлое царствование, а то и позапрошлое осужденным, а к тому, что вот же, черт дери, приходится опасаться за порядок. Вот такое же злобное опасение ощутил он совсем еще зеленым офицером корпуса жандармов, когда из тюрьмы на Шпалерной спроваживали на Семеновский эшафотный плац Желябова и прочих цареубийц, а ему досталось усаживать на позорную колесницу Перовскую, он ей руки скручивал за спиною, она прикусила губу: «Больно!» — а он и процедил: «Ничего, после больнее будет». Он тогда разве на Перовскую злобился? Нет, как и теперь, нервничал, опасаясь заминки в исполнении приказа.

Тяжко отдуваясь, полковник поднялся на вышку. Никакой в том надобности не представлялось. Он на вышку эту поднялся словно бы наперекор своей обиде, с горьким сознанием своей исправности в службе, которую нынче уж никто не оценит. Привалившись животом к поручням площадки, отирая вислые, грубые щеки, комендант смотрел, как прогуливаются во дворах-загончиках эти восемь нумеров — отрешенно, будто подчиняясь тугой незримой пружине. Но тут появился хромоногий ротмистр, его окружили унтер-офицеры, потом мундирный круг распался, унтеры, придерживая фуражки, разбежались по закуткам-дворикам, и тотчас лопнула тугая незримая пружина. Все смешалось.

Сиплым раскатом взялись бить часы, некогда московские, с Сухаревой башни, старинные часы, отмерявшие время в крепости, где время было упразднено. Пора было сойти с вышки. Полковник, однако, медлил. Служба дала ему опыт. Он знал, что каторжных мучит неизвестность предстоящего. Ничего, пусть подождут. Ожидание умеряет страсти. И никто из начальства не попрекнет промедлением. Приказано объявить нынче. Хочешь утром, а хочешь вечером. Его воля. И ежели вникнуть, он еще и снисходительность выказывает.

Они ждали полковника, все восемь бессрочно-каторжных.

Он пришел, в руке держал бумагу. Взглянул на тех, кого всегда называл таким-то и таким-то нумером. Он чувствовал, как они напряжены, и понимал это напряжение — никогда ничего не ждут хорошего. И вдруг, совсем неожиданно, в душе толстого, обрюзглого полковника, прозванного Бочкой, шевельнулось не то чтобы сожаление, а как бы своя, личная причастность к этим нумерам. За спиной коменданта дышал хромоногий ротмистр, поскрипывала амуниция унтеров, а комендант ощущал причастность к этим людям в халатах и бескозырных шапках, которых он знал еще до Шлюшина, еще в Петропавловской, знал молодыми, полными сил, а потом сосуществовал с ними посреди ладожских и невских волн, на камне и в камне, как и они, старея и разрушаясь, как и они, сплывая в никуда. Он пошевелил бровями, словно удивляясь, потом поднял руку с бумагой и стал читать о том, что во исполнение указа предписано отправить в Петербург... На минуту опять удивился, но это уж было совсем другое удивление — ему надо вслух и громко произносить не привычные нумера, а имена, отчества, фамилии.

Не тишина воцарилась — безмолвный обморок.

Холодно и слабо светило латунное солнце.

Лобастый плотный старик с седой бородой вперился в полковника, и тому мелькнуло, что этот номер двадцать седьмой, этот Лопатин, испуган. Полковник опять удивился, и опять не так, как прежде, а просто оттого, что впервые увидел испуг на лице двадцать седьмого. И, ободрившись, дрогнув щеками, продолжил без бумаги.

— Поздравляю с приятной новостью! Государь всемилостивейше повелеть соизволил...— Он все это выговорил голосом, окрепшим от удовольствия и усердия, и стал выстраивать дальше слова и фразы парадного строя,

вскидывая подбородок, словно при звуках встречного марша.

Он, может, еще и еще ударил бы в литавры, да вдруг и поскучнел, встретив колючий взгляд двадцать седьмого. «Вот коршун-то»,— мелькнуло полковнику, и он услышал строго-шамкающий, едва ль не начальственный голос:

— Как прикажете понимать? Когда был дан указ Сенату? А? Отчего ж вы задержали нас?

Полковник проглотил слюну. Ну вот, начинается. А ты по рукам и ногам, никаких у тебя средств, и за всю твою службу, за Станислава и Анну, выплевывает почти беззубый каторжный рот: «А по какому праву?»

— А по очень простому,— скорбно ответил полковник, возводя глаза к холодному латунному солнцу.— Мне уж и в газетках грозились судом, да-с.— И с внезапной злостью ткнул пальцем вверх: — Распоряжения не выходило... Я... Они...

— Хорошо, господин комендант,— глухо, как из-под подушки, проговорил кто-то из недовешенных висельников.— Скажите, когда получено э т о предписание?

— Ночью,— брякнул полковник, уставив глаза в изломанный ряд тупорылых каторжных башмаков-бахил.— Нынче ночью.

Он соврал. Он промедлил сутки. Но, черт возьми, соврал во избежание форменного бунта, то есть во имя службы. И висельники заткнулись. Он не потерялся, он молодцом.

— Будьте готовы,— бодро распорядился комендант.— Подадут пароход — и с богом, с богом.

Через дворы пошли и ворота, через дворы и ворота, унося на загорбках десятилетия каторжного срока, шли гуськом среди железа и камня, окунаясь в тяжелый запах окалины и дресвы, шли, не выдавая себя ни словом,

ни жестом, бесстрастной одеревенелостью защищенные от того, что в книжках называют превратностями судьбы, они-то уж знали, хорошо знали, какие штуки выкидывает судьбина.

Они приближались к угловой башне с коваными воротами и маленькой дверцей — в незапамятные времена эта маленькая дверца впустила их в крепость. Кирпич все так же был в мшистых лишаях, но они не слышали знобящего, сырого запаха, потому что тысячу лет только и слышали запах кирпича в мшистых лишаях.

Клацнул замок, и засов клацнул, все восемь каторжан, пригнувшись, прошли под сводами — и на них обрушилось пространство... Ничего — ни пристань, ни берег у крепостной стены в валунах и чахлом кустарнике, ни вода — огромное пространство. А крепость не отпускала, крепость удерживала, у нее была гигантская сила магнетического притяжения, и они не могли отлепить, отодрать себя от тяжко-расчетливой совокупности железа и камня. Но вот порывом вольного ветра переплеснулись полы длинных арестантских халатов, и словно бы ослабела эта темная магнетическая сила, различима стала вода, живая, казавшаяся черной, как тушь, и различимы лица солдат, офицеров, их жен и детей, всех, кто сбежался на пристань, и что-то больно и сладостно оборвалось в груди изжелта-серых людей в бескозырных шапках.

Они увидели два пароходика, слабый дым из высоких труб, но хотя и сказал полковник, что вот подадут — и в Петербург, хотя и предупредил, а никто из них в те минуты словно бы не сознавал, что эти-то пароходы и присланы за ними.

Их уже повели к берегу, когда от негустой толпы отделилось несколько солдат. Приблизились. Один — седоусый, морщинистый — снял фуражку, поклонился: «Простите нас, такая уж у нас служба». Кивнул на провожающих: «Там и моя старуха, видите? Велела сказать: «Дай

вам господь всего хорошего хоть теперь». Кто-то из тех, что были нумерами, расцеловался с солдатами, кто-то подал им руку, и все это оцепенело наблюдал полковник-комендант. «Сажайте! Сажайте!» — закричал он, как очнувшись, некомандным, чужим, тонким голосом.

Пароходики приняли каторжан, приняли конвойных, задребезжал звонок в машину, все сдвинулось, поплыло, и вот уже ширилась, раздаваясь, полоса черной живой воды.

Никто не приказывал сойти с палубы, и восемь каторжан — по четыре на каждом пароходике — молча смотрели на с в о ю крепость. Крепость покачивалась, вторя покачиванию суденышек, и оттого, что покачивалась, будто бы вздыхала. Она медленно убывала в размерах и медленно тонула в черной воде, но, отдаляясь и убывая, не переставала быть с в о е й.

Не потому, что так-де всегда в начале пути — и мыслью и чувством ты все еще там, откуда уехал. И не потому даже, что там оставалась громада изжитых лет, оставалась братская могила, казематы, где некогда рыдали и выли сошедшие с ума, оставался карцер, из которого долго несло тухлой керосиновой вонью, смешанной с непереносимым сладковатым запахом обугленной плоти, тот карцер, где сжег себя один из их старых товарищей. Нет, Шлиссельбургская крепость была своей, потому что все они, годами грезившие о воле, сейчас боялись и не хотели новой жизни, которую надо было начинать и которая, кажется, уже началась.

Большая река шла широко и плавно, болотами пахло и прелью. Все прозревалось, как в первый день творенья. Поражали величиной своей и массой и эта вода, которую там, у себя, в крепости, видели они в банном чану, в дворовых бочках, в кувшине и кружке, и это небо, открытое и распахнутое, которое там, у себя, в крепости, они видели с овчинку. И еще было совсем, совсем позабытое ощу-

щение движения в пространстве, независимое от мускульных усилий, но отдающееся во всех мускулах стуком машины, мерным сотрясеньем палубы. Все вместе ощущалось реальным, но частности реального — домик в роще, прибрежная дорога и лошадь, и встречный пароход загородной линии,— частности казались картинками из тех журналов, что попадали к ним в казематы лишь в последние годы заточения.

Вечер натекал пасмурный, дальний горизонт был завален тучами, они рдели, просвеченные заходящим солнцем. По-прежнему широко и плавно неслась Нева, стучала машина и подрагивала палуба, но уже угасал запах болот и прели, уже натягивало иное — запах мокрого антрацита, солярового масла, мятого пара, мокрых бревен, и уже заблистали, роясь и мигая, огни Петербурга, желтизну этих огней рассекали черные вертикали заводских труб.

Конвойный офицер не приказал, а пригласил арестантов сойти вниз, в каюту, и они послушались, не спорили, потому что уже изнемогали от обилия и пестроты впечатлений, хотя что уж тут было пестрого в этом сумрачном осеннем закате, в этой монотонности берегов, в желтизне огней и черных вертикалях предместья.

Внизу, в каюте, ждали чай и бутерброды, и даже бисквиты, гостинец той старухи, которая благословила их на низеньком каменистом берегу. А пароходики наддавали ходу, торопясь домой к причалу. С застекленного потолка каюты дважды пролился электрический свет: под мостами Литейным и Троицким.

Еще немного, и пароходики застопорили машины. И все восемь каторжан услышали тишину. Не полую, не мертвую, не шлиссельбургскую, нет, другую тишину, неслыханную: негромкий, но внятный рокот большого города, и этот рокот отозвался в их душах внезапной, как спазм, тоской по годам, размолотым в труху.

Потянуло холодом от гранитных плит Комендантской пристани. Не бодро-порывистым, как на реке, а неподвижным, постоянным, циклопическим, ибо то был холод огромной покойницкой.

Рассеянный свет точила луна на тосканские колонны Невских ворот. С огромной высоты скатился круглый как шар металлический звук, потом еще и еще — хроматическая гамма вещих курантов Петропавловской крепости.

Рокот города, услышанный каторжанами как негромкий, но внятный, поглотил стук поезда, прибывшего из Вильны. Измученным пассажирам давно надоело ругать обер-кондуктора и надоело спорить о том, о чем спорили повсеместно: манифест, свободы, выборы в думу, амнистия. Все матерщинники и диспутанты, подхватившись, повалили на перрон...

Дома, в Вильне, набрасываясь на газеты, Всеволод Александрович, ликуя, читал о стачках — вздымались они все круче, все выше. А нынче, угодив, как под колеса, в стачку путейских, чертыхался втихомолку, хотя и признавал, что железнодорожные рабочие отнюдь не обязаны считаться с тем, что коллежский асессор Лопатин спит и видит, как бы поскорее попасть в Санкт-Петербург.

Долгие стоянки, медленность поезда, нарушение расписания, железнодорожная забастовка — все это представлялось ему тем стечением обстоятельств, которое могло сыграть роковую роль в судьбе его старшего брата Германа. Всеволод Александрович знал, и знал твердо, что на сей раз, когда манифест и амнистия не дарованы свыше, а нахрапом выдраны всем ходом событий, теперь уж никакая сила в мире не удержит Германа в застенках. И все равно нервничал, ему казалось, что своим опозданием в Петербург он как бы опаздывает на выручку к старшему брату.

Бруно не встречал дядюшку на Варшавском. И немудрено — не торчать же часами на вокзале. А может, и не получил телеграмму. У забастовок, как и у всего на свете, есть свои минусы. Всеволод Александрович не огорчился: племянник все еще казался ему молодым студентом, лучше уж поберечь Бруношу и в одиночку наведаться в проклятый вертеп.

Всеволод Александрович поехал на Фонтанку. Никаких «покорнейше прошу» и так далее. Он спросит без обиняков — отчего Герман Александрович Лопатин доселе не на свободе, хотя указ об амнистии вот уже неделю как распубликован?! А будут мямлить, будут отлынивать, передаст письменный протест в редакции левых газет, обратится к гражданам России, которым вот уж десять дней как возвещены политические свободы. Он старый, неисправимый идеалист? Прекрасно! Есть времена, когда идеализм личности сильнее правительственного материализма.

Едва извозчик осадил, Всеволод Александрович, чувствуя прилив необыкновенной, как бы и даже баррикадной энергии, бросился к подъезду департамента полиции, а встречь ему прыгнуло объявление: «Прием прекращен впредь до распоряжения». Он едва не попятился: да что ж они, тоже бастуют, что ли?! И Всеволод Александрович рассмеялся: ах, мазурики, ах, семя проклятое, труса празднуете, а? Ну, коли так, значит, на нашей улице праздник. «Впредь до распоряжения»? Дудки! Кукиш! Вот он отсюда, с Фонтанки, от Цепного моста, да на Мойку, к Поцелуеву мосту... Совсем стемнело, Петербург как затаился, тяжело цокала лошадь — и все это отозвалось в душе Всеволода Александровича грозно-веселым: «Ужо тебе!..»

У медленной Мойки, у Поцелуева моста, в сумрачном доме жил Дурново. Дом принадлежал министерству внутренних дел. Внутренние дела подлежали Дурново.

То ли из-за позднего часа, то ли еще почему, но просителей не было. Зевали два пожилых охранника в штатском, совершенно неотличимые друг от друга. За ярко освещенным столиком читал газету чиновник для особых поручений. Он недоуменно взглянул на Всеволода Александровича. Тот назвался, объявил, по какому делу.

— Вообще-то, господин Лопатин,— начал было чиновник, но вдруг улыбнулся не без кокетства: — А впрочем, что же-с, его высокопревосходительство Петр Николаевич отменили предварительную запись. Благоволите подождать, доложу.— И не то чтобы ушел в кабинет начальника, а бесплотно просквозил, словно бы и дверей не отворяя.

В продолговатом кабинете с глухими шкапами и портретами министров, убитых террористами, тайный советник — коренастый, с прилизанными грязно-седыми волосами и совсем белыми, снежными усами на лице, как бы изжеванном страстями,— занят был тем, что управлял внутренними делами империи, то есть читал бумаги с карандашом в одной руке и сигарой в другой.

Неслышно, словно летучая мышь, скользнув к огромному министерскому столу, чиновник, переломившись в поясе, едва успел назвать имя просителя, как Дурново, не поднимая головы, сказал: «Ага!» И прибавил, словно бы осипнув: «Тени минувшего...»

Зачем пожаловал коллежский асессор Лопатин, это, конечно, угадать не стоило труда. Труднее было определить, что же ответить коллежскому асессору, который, сомнений нет, тотчас побежит к левым, в редакции и к адвокатам. Дождались, подумал Дурново не без злорадства, будто и он тоже не «дождался». Впрочем, он тоже. Ведь вопрос-то о дальнейшей участи шлюшинцев зависит не от него, управляющего министерством внутренних дел — никому не подконтрольная сила прет управлять делами внутренними. Он, тайный советник, советовал

дать амнистию широкую и скорую. Как не понять? Надобно выпустить пар из котлов! Так нет, в Зимнем талдычат: сослать, сослать, сослать. И куда? В Восточную Сибирь — вот куда. Помилуйте, и это после бессрочного заключения! Нельзя не согласиться с левыми: пожизненное заключение — идеальная форма медленной смерти. Как заживо в землю, как заживо в стену. Но есть, господа, и такие времена, когда надо считаться с чуткостью и совестливостью русской души. Да, да, есть и такие времена. Он, Дурново, почел бы за благо немедленно распатронить этих шлюшинцев, отдав на поруки родственникам. Вот хоть этому Лопатину, что сейчас войдет. Войдет, а он, тайный советник Дурново, станет разводить турусы на колесах, не зная, что ответить.

Дурново приподнялся, блеснув стеклышками пенсне и опираясь на стол обеими руками. Долю минуты они смотрели друг на друга, оценивая, каково расправляется времечко с каждым из них.

— Прошу,— Дурново указал на кресло и покивал головой, давая понять, что нет нужды объяснять что и зачем.— Видите ли, господин Лопатин,— начал он, легким движением, точно бабочку, снимая пенсне и устало прижмуриваясь.— Видите ли, я сознаю ваши чувства, ваше нетерпение, но...— Он помедлил, отвел руку с пенсне в сторону.— Я буду откровенен: вопрос окончательно не решен, и я затрудняюсь высказать вам что-либо определенное.

— То есть? — сухо и, как послышалось Дурново, угрожающе спросил Всеволод Александрович.— Амнистия распубликована на всю Россию, а вы, лицо, от которого зависит исполнение указа, вы мне говорите... Я отказываюсь понимать ваши «затруднения». Да, нам, россиянам, многажды давали примеры: не верь тому, что напечатано, только оттого, что это напечатано. Мне напоминать не надо. Но понимать вас отказываюсь.— Все это было про-

изнесено тоном совершенно непросительным, а дальше-то и вовсе зазвучал ультиматум.— Прошу разъяснить: первое — подлежит ли амнистии Герман Александрович Лопатин; второе — если подлежит, то когда он будет освобожден от незаконного содержания под стражей; третье — где в настоящее время пребывает; четвертое — когда мы, то есть я и мой племянник, присяжный поверенный Бруно Германович Барт, сын Германа Александровича Лопатина, получим свидание.

Дурново смотрел на коллежского асессора: похож на доброго сельского батюшку, сейчас, однако, гневного. Дурново не хотел, чтоб левые газеты и митингующая общественность вопияла со всех крыш, особенно теперь, на пороге всероссийской стачки, а то и вооруженного мятежа. Но не только государственное, министерское соображение было у тайного советника. Было и какое-то иное, и это иное возникало из интонаций Лопатина-младшего, в которых различалось южное, близкое к малороссийскому, и еще потому возникало это иное, не государственное, не от ума, а от сердца идущее соображение, что Петр Николаевич, слушая «просителя», нет-нет да и посматривал на высокие, глухие, одностворчатые шкапы своего кабинета.

О да, там были двери одностворчатые, высокие, глухие. Он шел длинным коридором, увлекая за собой гул шагов, бряканье сабель и звон шпор: его сопровождали комендант крепости и жандармские обер-офицеры. У каждой двери комендант называл нумер заключенного и, склонившись к уху, шепотом называл фамилию, а он, Дурново, только что плотно закусивший, румяный от портвейна, «делал смотр» каторжанам. Спрашивал: «Нет ли заявлений?» — и, получив угрюмое «Нет!» — бодро бросал: «Ну и отлично!» И дальше, дальше, увлекая за собой гул, бряканье, звон, нигде не задерживаясь.

И потом, возвращаясь из Шлиссельбурга в столицу, и сейчас, в кабинете, когда все это давнее очнулось в памяти, Дурново не умел внятно сознать, почему в каземате двадцать седьмого он оставался полтора часа. И выслушал все, что было произнесено, вразумительно и твердо, с интонациями южными, мягкими, близкими малороссийским, как и в голосе этого коллежского асессора, требующего сейчас «разъяснений». Полтора часа! А должен был бы оборвать на первой же фразе, ибо первой же фразой: «Я буду говорить не о себе»,— двадцать седьмой нумер нарушил высочайшую инструкцию, воспрещающую говорить о других. А именно о других-то и говорил Лопатин-старший. О соузниках. О больных. О сходящих с ума. О необходимости лечения, усиленного рациона. Дурново должен был выйти. Нет, слушал. Не посмел выйти. Да, да, надо признаться самому себе: не посмел. И не потому, что Лопатин назвал гнусным лицемерием замену смертной казни бессрочным заточением. И не потому, что этот Лопатин и в Третьем отделении, и потом, когда отделение преобразовали в департамент полиции, пользовался какой-то необщей репутацией, нет, странно, он, Дурново, как бы и помимо воли, как бы безотчетно покорился властному достоинству, естественной непринужденности, с в о б о д е этого вечного узника, против фамилии которого в ведомостях, представляемых комендантом, обыкновенно значилось: «Мрачен, молчалив, иногда резок». Дурново знавал всех крупных революционеров, двадцать седьмой был из наикрупнейших, но вся штука в том, что Лопатин не подходил ни под какой калибр, и Дурново покорила его особенная стать.

А младший брат этого шлиссельбуржца ждал «разъяснений».

Дурново отвечал по пунктам: амнистия, несомненно, распространяется на господина Лопатина; господин Лопатин доставлен нынче в Петербург; освобождение из кре-

пости воспоследует в самое непродолжительное время; свидание будет дано. И он стал писать что-то в блокноте с грифом: «Для памяти».

Коллежский асессор, произнеся нечто отдаленно похожее на мерси, пошел к дверям.

— Мда... Вот что,— остановил его Дурново.— Передайте Герману Александровичу мой поклон, я по-прежнему отношусь к нему с уважением.

Дверь затворилась.

А ведь только то и решат, поморщился Дурново, недовольный собою, что ты, брат, либеральничаешь с перепугу. Эх, господа, ведь и вправду жаль сверстников, жизнь положивших на прожектерство.

В Петропавловской крепости бывал я и в молодых летах, и в тех, что называют зрелыми, бываю и теперь. Но памятны мне, резко и сильно памятны два посещения.

В послеблокадное лето крепость, вернее, музейная тюрьма Трубецкого бастиона поразила меня какой-то зловещей зияющей пустынностью. Сухой ветер гонял мусор, что-то позвякивало, где-то бренчало. Казалось бы, чего уж тут странного и таинственного, если в тогдашнем Ленинграде даже и в воскресенье на Невском не было толп, там и сям зияла пустота, да и в моей комнатенке на Васильевском острове в ветреную погоду всегда что-то бренчало и позвякивало. Объяснить не умею, но именно пустынность и заброшенность тюрьмы Трубецкого бастиона поразила мое воображение.

Лет тридцать спустя я был там, в уже налаженном музее, был с Еленой Бруновной Лопатиной. Выщербленной каменной лестницей, крутой и узкой, мы поднялись во второй этаж и сразу увидели то, ради чего пришли: почти напротив лестничной площадки была камера номер сорок. Елена Бруновна переступила порог. То был каземат ее деда...

Вот так: «на круги своя» — он опять в Петропавловской крепости. И опять в Трубецком бастионе, где некогда ему объявили о замене смертной казни вечным заточением. А еще раньше, в каких-то немыслимых далях времени, сиживал он в куртинах Екатерининской и Невской. Можно, пожалуй, заняться и проклятущей арифметикой: сколько на воле и сколько в неволе.

Не до геометрии с ее кругами, не до арифметики с ее четными, нечетными: тихая, ноющая боль — он тосковал по шлюшинскому каземату. Опять, как на тамошнем каторжном дворике, опять, как в ту минуту, когда комендант возвестил отъезд в Петербург, испуган был Лопатин внезапным переломом, возвращением в живую жизнь, все счеты с которой давным-давно покончил. Или это только чудилось? Пароходик «Полундра», дрожь палубы, стук машины, широкая и вольная вода (река поначалу казалась как тушь черной, лишь позже глаз различил оттенки), эти желтые огни, трубы, рокот города... Нет, лишь чудилось, что ты изжил все счеты с живой жизнью. Но оттого, что лишь чудилось, нет радости, а есть тихая, ноющая тоска. И тут не униженье, не рабство, тут ужас из ужасов: ты не готов к этой живой жизни. К эшафотной смерти ты был готов, оставалась борьба и трепет плоти, а душой был готов. И тогда, после объявления бессрочной каторги, тогда тоже надо было принять жизнь. Пусть навечно в камне, пусть и не жизнь — медленную смерть. А теперь?

Он ходил по сороковой камере, она не была его, не была своей. Ходил, разговаривая вслух, курил не переставая, мутило, сердце стучало неровно. Под жестяным рефлектором, в колпаке толстого корабельного стекла, горела электрическая лампочка, ее жидкий, лимонный свет словно вспухал и опадал, вспухал и опадал.

Под утро, когда сквозь замызганное окно сочилось,

как сукровица, осеннее ненастье, Лопатин задремал, забылся совсем обессиленный.

И дрогнул как от удара: длинный худой штаб-офицер стоял посреди камеры. Лопатин вскочил. Не в испуге — в ярости. Он и всегда-то не терпел, когда к нему врывались эдаким хозяйским обыкновением, а тут едва не затрясся от гнева. Но — странно — тотчас и успокоился: будто б его сильно тряхнуло и все встало по местам.

— Надо приготовиться,— сказал длинный офицер линялым, бесцветным голосом.— Разрешено свидание. Придут брат и сын. Обязан предуведомить...— Заведующий арестантскими помещениями стал излагать какие-то правила, что-то о запретах.

Лопатин видел, как шевелятся губы и щеточка усов, но не слышал, не слышал ни слова. Подполковник Веревкин умолк, на блеклом лице его проступило выражение неслужебное, он проговорил: «Мой вам совет...» Но Лопатин, ухватившись за край столика, намертво прикрепленного к стене, спросил глухо: «Свидание через решетку?»

Он страшился свидания, он про решетку-то только для того, чтобы отказаться от свидания — к черту такие милости. Не брата боялся увидеть — сына. Вот и д о м а, в Шлюшине, боялся рассматривать его фотографию.

— Согласно инструкции,— ответил Веревкин,— вам, как отбывшему наказание и следующему по назначению к месту жительства, свидание предоставляется в комнате без разделительной решетки.— На малокровном лице подполковника опять мелькнуло выражение неслужебное, нетюремное: — Мой совет: словно ни-че-го не случилось. Я и родственникам вашим скажу: словно ни-че-го не случилось. Приготовьтесь. Через час за вами придут.

«Мой дорогой Всеволод! Боюсь, в душевном смятении, я вчера не сумел выяснить тебе тех причин, которые заставляют меня наотрез отказаться от твоего или чьего

бы то ни было поручительства, а потому попробую сделать это письменно.

Конечно, со стороны беззубого, полуслепого старика по седьмому десятку, с ревматизмом во всех костях, гипертрофиею сердца, одышкою и т. п. немощами, после всех перенесенных им испытаний, после тюремного заключения, продолжавшегося более 21 года подряд, а в общей сложности более четверти века,— смешно было бы опасаться каких-либо поползновений к новым авантюрам, так что, конечно, не страх скомпрометировать тебя, не оправдав твоего бессрочного поручительства, удерживает меня от принятия твоей братской помощи. Но именно старику, которому не так уж много осталось жить, неприлично покупать эти жалкие остатки жизни ценою унижения в собственных глазах, ценою пожертвования простым человеческим достоинством.

Я всегда платил сам за разбитые мною горшки. Прибавлю, что я желаю видеть в брате — брата, в жандарме или полицейском надзирателя-полицианта, а соединять брата и надзирателя в одном лице я не согласен. Иное отчасти дело с р о ч н о е поручительство, обусловливающее срок возвращения для решения дальнейшей участи. Его я был бы готов принять, т. к. это есть срочное обязательство за полученную льготу, а не пожизненная кабала невесть за что и ради чего. Покажи это письмо Бруно и скажи моему милому мальчику, чтобы он не огорчался».

На тюремный столик, где было написано это письмо, Елена Бруновна Лопатина положила гвоздики.

Мы вышли из крепости. Смеркалось, лил дождь, прямой и холодный.

Лил и тогда дождь.

Гасли окна департаментов, и чиновники разбегались: призрак возмездия гнал за домашние портьеры. Пищала флейта, и стучал барабан, но в воинских ритмах не было святости присяги. Из подпольных арсеналов натекал душный запах ружейного масла. Позавчера и вчера повторяли: «Они будут отправлены в Восточную Сибирь». Но это уже не зависело от Зимнего, а зависело от машинистов и стрелочников — поезда в Сибирь не шли. Потом сказали: «Бессрочное поручительство». И еще через день: «Не о бессрочном речь — именно о срочном».

Дождливым вечером, при фонарях, подполковник Веревкин распахнул дверцу громоздкой кареты, усадил Лопатина, сел рядом, следом — двое унтер-офицеров, и лошади взяли в несколько сильных рывков, разбудив прощальный гул Петровских ворот, потом — Иоанновских.

Свернули на Троицкий мост, блики электрического света, проницая миткалевые шторки кареты, отразились на лице, и Лопатиным овладела бурная телесная тревога, страх обвала, но едва миновали мост, едва ход кареты — на мосту плавный, приглушенный деревянным настилом — сменился тряской ездой по булыжнику, как исчезло ощущение пустоты и глубины и телесная тревога сменилась острым, непереносимым желанием отдернуть эти проклятые шторки. Но подполковник намекающе повел подбородком: «Если б унтеры были в штатском».

И вот уж тяжелый ход кареты сделался прерывистым, подъезжали к Варшавскому вокзалу, и кучер, соображаясь с движением, то осаживал, то припускал лошадей. Остановились не у главного подъезда, а где-то в стороне в какой-то подворотне, там поджидал станционный жандармский офицер. Лопатина провели в служебное помещение, унтеры встали за дверью, а станционный жандарм и Веревкин, указав Лопатину стул, сели рядом на диване.

— Герман Александрович,— объявил подполковник,— за четверть часа до отхода поезда на Вильну вас примет

ваш поручитель.— И слегка развел руками: так-с велено-с.

— Господи,— вздохнул Лопатин,— до чего же вы все мне осточертели.

О времени отъезда Всеволод Александрович известил лишь двух-трех старинных друзей, а племянника уломал не объявлять коллегам: нервы у твоего отца натянуты до предела, я боюсь за него.

Барта огорчила процедура освобождения: хотелось участвовать в шествии к вратам русской Бастилии, хотелось, чтоб там было громогласно сказано, что только его величеству народу обязаны старые бойцы своим освобождением, чтоб там, у ворот, вспомнили всех, погибших в русских бастилиях, начиная с декабристов, словом, чтоб выход из крепости был событием общественным, знаменательным, а не вершился тишком-тайком.

Скрепя сердце Бруно согласился с настояниями дядюшки, но сейчас, в пассажирском зале, взглянув на тесную группку пожилых мужчин и женщин, Барт подумал, что все эти люди уж очень «плюсквамперфектные», как эти бледные иммортели у сухощавой дамы в черной вдовьей шапочке. То была Мария Петровна Негрескул, дочь покойного Лаврова, Маня Негрескул, стариннейшая из друзей Лопатина. Она недавно вернулась из ссылки. Сказала: «Вашего отца, Бруно Германович, помнят и в Вологде. Там говорят: «Лопатин дал нашему развитию настоящий толчок».— Печально и нежно смотрела она на Бруно.

Уже двинулись к перрону артельщики с багажом: «Па-азволь... Па-азволь...» Уже опустел ресторан, где скрипки румынского трио оплакали «Последний нонешний денечек». Барт, нервничая, то и дело выходил из поезда. Разбрызгивая лужи, подкатывали извозчики. Барт озирал-

ся — отца не было. У Барта дрожали веки, он тем же скорым, нервным шагом возвращался в пассажирский зал, уже подхваченный предотъездной суетой и, казалось, полный гулких вздохов локомотива.

— Спокойно, Бруноша,— шепнул Всеволод Александрович, указывая на двух субъектов в одинаковых котелках и одинаковых прямых длинных пальто, из-под которых виднелись сапоги.— Понимаешь? Стало быть, все прекрасно: он сейчас будет.

При виде филеров все «плюсквамперфектные» молодо улыбнулись, потому что агенты наружного наблюдения означали лишь одно: есть порох в пороховницах, о н и и теперь боятся Германа.

Лопатин изнемогал в служебной комнате, куда доносились свистки и гудки, от которых он всякий раз вздрагивал, как, бывало, в Шлюшине, погрузившись в свои думы, в свои воспоминания, вздрагивал от любого стука в тюремном коридоре. И совсем уж несносна была тонкая дробь ложечки в чайном стакане, возникавшая от тяжелого, слитного движения за стеной на железнодорожных путях. Все сильнее овладевало то острое и почти жуткое желание, с каким он давеча в карете едва не сорвал миткалевую шторку, и опять подполковник Веревкин посмотрел на Лопатина с укоризною, а потом, как в карете, повел подбородком, но уже не в сторону унтеров, а в сторону ротмистра, как бы умоляя и убеждая Лопатина: если бы не этот, ей-богу, не стал бы дожидаться предписанного мне срока. Но едва он так подумал, как и не выдержал, не дотянул двух-трех минут, встал, отворил двери, сказал унтерам: «Проводите» — и посторонился, уступая дорогу: «Пожалуйте, Герман Александрович».

Все последующее различалось смутно.

Его окружили, лица были мокрые, в слезах, ему жали руку, обнимали, он взял иммортели, сказал: «Маня, ты?» — и машинально, с дрожащими губами, что-то кому-то отвечая, вышел вместе со всеми на перрон, в дождливую темень, в желтизну фонарей, в запах металла и каменного угля. У вагона ему опять жали руку, он целовал кого-то. «Пора, входи»,— говорил Всеволод.— «Идем, идем»,— вторил Бруно, и Лопатин, пригнувшись, быстро, будто спасаясь, вошел в вагон и уже не увидел, как подбежала, запыхавшись, молодая женщина, как Бруно успел принять у нее букет: «Спасибо, Катя» — и она счастливо расплакалась.

Зимовал Лопатин в Вильне.

Поселился, где и Всеволод, на Тамбовской. Но в другом доме, желая независимой уединенности. В первый же день побывал в полиции — «вчинил явку». Поднадзорность, собственно, началась еще на Варшавском вокзале. Теперь вот «нищий» шлялся у забора. Или околачивались двое олухов.

В филерской среде окрестили Лопатина топографической кличкой Тамбовский. Считался он «важнеющим социалом»: в газетах-то сразу пропечатали. А слежку за ним держать хлопотно: на ногу шибкий и большой любитель пешего хождения, невзирая на мерзейшую погоду. И чего его носит? Сидел бы, старый черт, на печке. Не гляди что в очках, «хвост» мигом замечает, да еще и палкой грозится — отвяжись, мол, худо будет. И что думаешь? Очень даже и такое может приключиться — подстрелят; из-за старого этого черта еще как и подстрелят, за милую душу, ой-ой. В городе, известно, то шествия, то митинги, то столкновение с войском, то вооруженные нападения. И пальба, пальба. Очень даже возможно — Тамбовский в чести, всегда это у него кто-нибудь гостит,

всегда это к нему приходят, приезжают. Э-эх, коченей, как пес, да зыркай вправо-влево.

Его звали, «на него» приглашали. Он испытывал неловкость не только от здравиц, но и от людности. В клубе на Георгиевском проспекте (назывался клубом лиц интеллигентных профессий) рояль струнным стоном стонал от грома оваций: революция — народ — борьба — конституция. Уличные митинги как рухнувшие запруды, кипящая масса ремесленников и гимназистов: «Тише!» — «Дайте оратору высказаться!» — «Браво!» — «Долой!» А это громадное шествие, когда восстала Москва? А лихая стрельба железнодорожной дружины? А мастерские Либаво-Роменской? Он был там вместе с Всеволодом. Эсеров зовут «серыми»; эсдеков зовут — «седыми». Мастеровой рассуждает: революцию, товарищи, надобно делать молотом — ударяй так, чтоб в руке играл и рука играла. Социализм, товарищи, это когда всем — всё, никому в отдельности. «Идет, как тень загробная, наш брат мастеровой»? Э, нет, пели «Отречемся от старого мира». Не потаенно пели, как бывало, в первой жизни Лопатина, дошлиссельбургской.

Возвращаясь в мансарду, он прилеплял к печке большие ладони; отогрев, отвечал на письма. Письма двигались лавиной. Писали старые друзья и знакомые — Лопатин всегда был щедр на дружбу, быть может, даже слишком щедр. Писали незнакомые — поздравляя с волей, «ставили вопросы», испрашивали совета. У Лопатина опускались плечи: милые, детски наивные люди воображают, будто он, вчерашний каторжник, может влиять на ход вещей согласно собственным взглядам, урокам истории и политической мудрости...

В том, что он так думал, была не только ирония, обращенная на самого себя,— была трагическая печаль его второй жизни. Впрочем, он говорил иначе: «Дожитие». И прибавлял с обычной своей усмешливостью: «Если пользоваться пенсионным термином».

В каземате ты перемалывал и просеивал минувшее. У каждого — Паскаль! Паскаль! — своя система отвлечения от голого ужаса бытия с его безответным: зачем мы? откуда мы? для чего мы? Перемалывая и просеивая минувшее, отдаваясь ассоциациям, бесконечным и мерцающим, как Млечный путь, ты спасался от замкнутого пространства с выкачанным воздухом. Воссоздавая минувшее, импровизировал вслух диалоги и монологи — в систему отвлечения входила физиологическая потребность голосовых связок. Изнурительное кипение в пустоте? Нет, единоборство с безумием.

Лопатин не стал бы уверять, что там, в крепости, ему было тяжелее, чем товарищам по заточению. А между тем... Конечно, условия существования были одинаковыми, да вот душа-то существовала не слитно с товарищами. Тех соединяла не только общность доктрины, которую он, Лопатин, далеко не полностью разделял, но и капитальная складка психики — им была свойственна жертвенность. Через тернии к звездам? Да. Но для них — тернии, а звезды — поколению грядущему. Тернии они брали себе, и отсюда жертвенность, переходящая в желание настрадаться. Вот это желание страдания душа Лопатина не принимала, гордыня не принимала. Не та гордыня, что двойник высокомерия, а та, что держит позвоночный столб.

Теперь, на воле, все переменилось решительно и круто. Посреди ледохода надо определить, кто ты и что ты, ибо в революции нет пенсионеров — либо сегодняшняя сила, либо ничто. А он ощущал провал, разрыв, и в этом провале, в этом разрыве был трепет д о ж и т и я.

В увесистом томе Большой энциклопедии он разглядывал таблицу «важнейших открытий и изобретений». За годы, слизанные Шлиссельбургом, человечество обогатилось опытным подтверждением электрической теории света и бездымным порохом, трансформатором и фтором

в чистом виде, способом прокатки труб, рентгеновскими лучами, беспроволочным телеграфом, цветной фотографией, электрическим локомотивом... В книгах по естествознанию, на которые Лопатин набросился с жадностью, чуялся гул решительных перемен в знании движущих сил природы, тех перемен, что размывали все, что казалось непреходящим.

«О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух и опыт, сын ошибок трудных...» Да, готовят. Но просвещается ли дух? И старый каторжанин, сидя в своей мансарде, пишет: «Встретились мы с одним моим посетителем самым сердечным образом, но как только в моих речах стали мелькать такие выражения, как «социальная справедливость», «нравственная ответственность» и т. п. обветшалые слова и понятия, так легко и быстро упраздняемые в периоды великих общественных смут, когда в потоках крови гаснут моральные критерии, и вот уж физиономия моего собеседника стала затумaниваться и выражать горькое изумление, явное разочарование. Расстались мы, правда, сердечно и тепло, но мне показалось, что мой гость уходит как бы обманутым в своих лучших чувствах и надеждах. Да, я нахожусь между Сциллою и Харибдою: мне приходится или повторять слепо и доверчиво слова и лозунги, т. е. терять уважение к себе, или же рассуждать своим умом, открыто высказывая критические замечания и сомнения, т. е. терять уважение других (и очень хороших) людей, которые станут, может быть, видеть во мне выжившего из ума старика, далеко отставшего от века и малодушно трепещущего за жалкие остатки жизни. Я неисправимый самоед, вечно поглощенный самоосуждением, вечно недовольный самим собою, а потому и мало склонный к осуждению других. И здесь, в многолюдстве, я глубоко одинок. Верно, пожалуй, то, что побороть это одиночество и вернуть меня самому себе может только друг-женщина. Но стоит ли думать и говорить о неосуществимом...»

Пришел Всеволод Александрович, взбодрил печь, огонь взялся гулко. Лопатин оставил перо, придвинул стул, сел рядом с братом, протянул руки к огню; большие, лобастые, бородатые, сидели они у печи и вдруг, как бы и беспричинно, прониклись особенной, кровной, фамильной близостью, но словно бы и не сиюминутной, а ставропольской, гимназической, когда жили в одной комнате, в отчем доме.

Всеволод Александрович раздобылся нынче сборником «Социал-демократ», давней книжкой, женевской, там была библиографическая заметка Плеханова, Плеханов упоминал о Германе, хотелось показать брату, но сейчас все отодвинулось, затушевалось покоряющей фамильной близостью, нерассудочной, а живой, трогательной, грустной.

Это же чувство в душе его брата как бы продолжилось и слилось с написанным минуту назад, еще и чернила не высохли, слилось, подступило вплотную, и Лопатин произнес: «Зина... Зинаида Степановна...» Всеволод Александрович знал, что она уже несколько лет как рассталась «с этим своим живописцем», знал, что Герман получил от нее письмо, но не расспрашивал: Герман не дает поводов, стало быть, не лезь сапогом в душу... А сейчас — произнес: «Зина, Зинаида Степановна», звук этот отозвался состраданием, жалостью к Герману, и с той нежной чуткостью, какая могла возникнуть лишь в мгновения безотчетной, живой и полной близости, Всеволод Александрович уловил в душе брата ответное горестное движение.

— Нет, это неосуществимо,— сказал он, будто отвечая своим мыслям, но вместе и обращаясь именно к нему, к Всеволоду.— Это неосуществимо, так-то...— И рассказал, что Зина некоторое время жила в Париже, практиковала, как в молодости, в психиатрическом отделении приюта св. Анны, потом вернулась в Россию, получила место

близ Пскова, квартира, электричество, ванная. Словом, лучшего и не придумаешь, чему он, Герман, искренне рад.

— А не повидаться ли? — осторожно спросил Всеволод Александрович.— Нет, в самом-то деле?

Лопатин вздохнул: «Это неосуществимо». И, помолчав, добавил: «Если б ненароком и встретились, то вышло бы так, я наперед знаю: открытое, но холодное признание ее действительных достоинств; благовоспитанное молчание о ее недостатках. Вот и все, дальше этого не пошло бы».

Большие, бородатые, лобастые, они сидели у печи под скошенным потолком мансарды, был гулок огонь, была на дворе вьюга, чувство особенной, изначальной близости не утрачивалось, но Всеволод понимал, что есть нечто, пред чем бессильна самая горячая и безоглядная братская любовь.

Даже и с братом не следовало говорить о Зине. Вот и расплачивайся: руки пляшут, а хуже того — бессонница.

Сон всегда освежал его, потому что снов не было. Как ни странно, а казематы, башни, карцеры, ничто тюремное, шлиссельбургское, ни разу не снилось Лопатину. Сон всегда освежал, а нынче — бессонница. Не дай бог привяжется, как бывало в Шлюшине, да и размочалит нервы.

Он зажег лампу-молнию, взял сборник «Социал-демократ», оставленный Всеволодом, женевский сборник восемьдесят восьмого года, перелистал и нашел статью Плеханова — давний отклик на давнюю брошюру «Процесс 21-го». Вот уже несколько недель эта брошюра была у Лопатина, он страшился прикоснуться к ней. Два с лишним десятилетия протекло с той поры, как военный суд судил Лопатина и его молодых сотоварищей-народовольцев, а рана не рубцевалась: он по-прежнему винил себя в арестах давно ушедших дней — не успел уничто-

жить кипу конспиративных бумаг. А что же пишет Плеханов?

И, медля чтением, Лопатин стал думать о Плеханове. Они были некогда дружны. Однако не столь тесно, как следовало бы, исходя из общности многих точек зрения. Да простит Георгий Валентиныч, известный в оны годы по кличке Волк и Оратор, он, Герман Лопатин, не тянулся к нему сердцем. Худо, а так было... Лопатин думал о Плеханове, опустив глаза на страницу «Социал-демократа»,— прочел машинально: «Во всем, что касается революции, мне не 60, а дважды 30 лет»,— воскликнул как-то старик Либкнехт в одной из своих речей...» Прочел и прислушался: нет, не аукнулась душа со стариком Либкнехтом. И потому, что этого не было, Лопатин почувствовал готовность испить чашу до дна. Ну, давай, Жорж, давай, Волк, бей до смерти.

«Нам могут, пожалуй, привести в пример Г. А. Лопатина и сказать, что вот, мол, был же человек, который основательно прошел школу научного социализма и все-таки нашел возможным пристать к «партии Народной Воли», ясно, стало быть, что программа этой партии не противоречила коренным убеждениям его. На это мы ответим, что Г. А. Лопатин мог пристать к «партии Народной Воли» по тем или другим политическим соображениям, не разделяя даже большей части положений ее программы... К тому же надо заметить, что и самое убеждение Г. А. Лопатина в том, что «другого исхода нет» и что ему нужно пристать к «партии Народной Воли», было совершенно ошибочно. Его бесспорно огромные силы принесли бы гораздо больше пользы делу русского социализма, если бы он, не пытаясь возвратить невозвратное и оживить умирающее, энергично взялся за создание *новой* партии в России».

В Шлюшине, пожалуй, было теплее... Поверх одеяла набросил Лопатин пальто. Дьявольски холодно, подумал

он опять, но уже думая о холодности Плеханова. Да, да, ты прав, Георгий, прав, но прав-то умом, не сердцем. У тебя скальпель, препарируешь, как в анатомическом театре, рассуждая, мой милый, задним числом. Ну как было оставаться на другом берегу, вчуже взирая на «стан погибающих»? Все держал, все веревочки дергал этот предатель Дегаев, второе «я» мерзавца Плеве и обер-шпиона Судейкина, все держал, всех обрекал, и бедные, отважные «романтики» бились в сетях провокаций, бились и гибли, а я не брал в руки скальпель, не рассуждал задним числом, ну и выходит, что каждому — свое... Гм, лестно: «бесспорно огромные силы». Но не тешит, не тешит. Шлюшинским молотом расплющило, вот так-то, Георгий Валентиныч. Оченно теперь спорны эти «бесспорно огромные силы», да-с. Старик Либкнехт был молодцом: шестьдесят — дважды тридцать. А мне, батенька, за шестьдесят... Давненько уж случилось встретить в остроге соузника Чернышевского. Спрашиваю: а что, мол, Николай-то Гаврилович читывал «Капитал»? Отвечает: читал, однако не принял. Вот так! Я, помню, вспыхнул: за Маркса обиделся, вознегодовал на автора «Что делать?». А потом, после уж и подумалось: порог есть, барьер, от нас не зависящий — не понимаешь и не принимаешь идеи, слишком удаленные от идей твоей молодости. Ньютона возьми, гениального Ньютона — отверг колебательную теорию света. Или Бэр, почти гениальный Бэр, отвергающий Дарвина. «Фатально, фатально»,— печалился некогда Петр Лаврович. Вот и он, сдается, не поспевал бы нынче за теми, кто широко шагает. Приходится, увы, согласиться: на каждой исторической ступеньке остаются люди, которые не в силах подняться на следующую. И вы, Георгий Валентинович, знаете это не хуже меня. Четверть века назад вы говорили о новой партии, повторяя: не следует думать, как Вольтер, во времена, когда Вольтер думал бы иначе. И что же? Новая партия есть,

существует, борется, а вы-то во-он где — в арьергарде. Именно так. И потому слышите горячие попреки от большевиков, от Ульянова, но взглянуть на самого себя вчуже подчас невмоготу даже и очень искусному диалектику... И если об Ульянове... Знаете, мне думается, судьба старшего брата сильно отозвалась на работе его мысли и не дала увлечься иллюзиями, пронзительное горе было, а вместе и необычайная трезвость. Мы, шлиссельбургские, узнали про казнь годы спустя, от дежурных узнали, она ночью свершилась, белая ночь была, майская; двор, где казнили, примыкал к нашей тюрьме, но оконца казематов глядели в другую сторону, ничего мы не слышали, ни звука, мы спали, и снилась нам воля...

В Шлиссельбурге жил вороненок. Всей каторжной артелью выходили его в сильного ворона, он однажды улетел и не вернулся — свои у ворона заботы. Как раз в ту минуту хриплым раскатом ударили старинные крепостные часы, унтер объявил: «Прогулка кончилась...» За метелью, в косом снегопаде, означалась водонапорная башня с перпендикулярной железной трубой. Издали чудилась она огромным вороном. «Да, Петруччо,— сказал Лопатин,— прогулка кончилась...»

В Петре Якубовиче любил Лопатин редкостную искренность. Звал его ласково — Петруччо. Их судили одним судом, приговорили к виселице. И помиловали каторгой: одного бессрочной, одиночной, казематной; другого — срочной, восемнадцатилетней, карийской и акатуйской... Бывший Петруччо приехал из Петербурга — поэт и прозаик, автор очерков «В мире отверженных», сподвижник Короленки по «Русскому богатству».

Якубович сказал, что Литературный фонд назначил Герману Александровичу небольшую пенсию — сорок рублей в месяц.

— Достаточно,— перебил Лопатин,— я ж только был переводчиком. Да и батюшка кое-что завещал, беру проценты, получается сносный уровень.— Он рассмеялся.— Как у конторской барышни.

— А Короленко просил передать: ждем. Вы должны сами написать, Герман Александрович.

— Э-э, мой дорогой... Бывало, Тургенев-то, Иван Сергеевич: пишите, грех вам не писать. А мне смешно: советуют безногому — ну-ка, ну-ка, пройдись. Есть графомания, а есть графофобия. Но ежели серьезно, ежели совсем серьезно...— Уже не улыбаясь, в настороженном прищуре он смотрел на Якубовича, и тот почувствовал близость минуты, из-за которой боялся ехать в Вильну.— Если серьезно, Петр Филиппович, то ведь еще Паскаль сказал... Да, Паскаль: «я» — вещь ненавистная. Не так ли?

Вот она и разразилась, эта минута. Никогда, никогда не забыть, как Герман Александрович, не удержав рыданья, обратился к ним, младшим товарищам, к ним, подсудимым; я виновен за вашу участь — не успел, не сумел уничтожить бумаги с фамилиями и явками. Он просил у них прощенья. И тогда, и теперь Якубович знал, что Герман Александрович, помилованный бессрочной каторгой, не помиловал себя: е г о бессрочная каторга была в его «я», в этой «ненавистной вещи». И потому медлил ехать в Вильну. И знал, что не ехать — значит подтвердить: виновны, Герман Александрович. Но что же теперь? Оскорбить утешеньями? Кого? Германа Лопатина оскорбить утешеньями?! Но и отмолчаться нельзя, а что ни скажешь, все прозвучит оскорбительно-снисходительным утешением. И бывший Петруччо, добрейшая душа, произнес сухо, твердо, строго:

— Ваше «я» принадлежит России. Не говорю «принадлежало», говорю: «принадлежит».— И он ударил ладонью по столу.

— Ну, ну,— потупясь, пробормотал Лопатин,— чего это вы так расходились, Петруччо...

Не о прошлом толковали, а вот возможна ль полная амнистия, чтоб Германну Александровичу перебраться в Питер? Кто ее добьется, полной-то амнистии? Уж не кадетская ли дума? Увидите, говорил Лопатин, эти римские сенаторы окажутся лицемерами... Толковали, а не попробовать ли вершить самовольные набеги в Питер? Измызгали душу в этой Вильне: и неотступное наблюдение, и внезапные обыски, мансарда трещит под сапогом. Позарез необходимы наезды в Питер, временами такая, знаете ли, охота окунуться в кипень социально-политического. И ведь рядом, каких-нибудь семьсот верст,— и ты на берегах Невы...

Лопатин проводил Якубовича на вокзал. Дожидаясь курьерского Варшава — Петербург, они, просматривая свежие газеты, прочли, что во время «аграрных беспорядков» крестьяне не щадят и господских детей. Не обменявшись ни словом, двинулись к выходу — душно стало в зале ожидания, душно.

На дворе мело. Все так же молча зашагали они по перрону, подошли к краю и остановились. Вдали, за косым снегопадом, означалась водонапорная башня, похожая на огромного ворона с железным, беспощадно нацеленным клювом.

Распахнув пальто, пиджак расстегнув, сунув ладонь под жилетку, Якубович потирал грудь тем машинальным движением, какое свойственно людям с больным сердцем — его сердце было надорвано каторгой.

— Я рос в деревне,— сказал он, глядя в пространство.— Усадьбишка была с воробья, а мужики гвоздили меня «барским гаденышем» да «барским змеенышем» и грозились: «Ужо тебя головою об угол»...— Якубович искоса, снизу вверх посмотрел на Лопатина.

Тот стоял напряженно-прямой, сжимая в руке палку,

но не опираясь на нее, в нахлобученной старомодной шляпе с большими полями, стоял, вперив взгляд в дальнюю башню.

— Из Некрасова вспомните,— медленно проговорил Лопатин.— Я, бывало, нередко цитировал, когда нашего мужика почитали шоколадным. Вспомните, как Некрасов, не кто-нибудь, именно Некрасов, поищите-ка большего народолюбца в поэзии, как он про наших мужиков времен нашествия Наполеона. Не помните? Ну, поймали французов — «отца да мать с тремя щенками...» И «тотчас ухлопали мусью, не из фузеи — кулаками!»

— Нет,— признался Якубович,— не помню.

— Вот, вот,— кивнул Лопатин.— И вы и другие не хотят такое помнить. А я — назубок.— И он прочел, будто втискивая в память Якубовича строку за строкой:

Жена давай вопить, стонать,
Рвет волоса,— глядим да тужим!
Жаль стало: топорищем хвать —
И протянулась рядом с мужем!
Глядь: дети! Нет на них лица:
Ломают руки, воют, скачут,
Лепечут — не поймешь словца —
И в голос, бедненькие, плачут.
Слеза прошибла нас, ей-ей!
Как быть? Мы долго толковали,
Пришибли бедных поскорей,
Да вместе всех и закопали...

Якубович сгорбился. Лопатин стоял прямой, напряженный. Потом сказал:

— А на дворе, Петр Филиппыч, война гражданская. А на гражданской лютуют, может, и пуще, нежели в битве с иноземцами. А если мы приложили руку, чтоб выходить вороненка, то вовсе не в расчете, чтоб был руч-

ным. Что же до нас...— Он помедлил, словно жалея Петруччо, заботливо, как маленькому, застегнув пальто, закончил: — Прав был Бакунин, в этом-то прав: погибнем, как Самсон, под глыбами. Прогулка кончилась. Понимаете? Кончилась прогулка, Петруччо.

— Ну, ну, Герман Александрович,— печально усмехнулся Якубович,— чего это вы так расходились?

Подошел курьерский Варшава — Петербург, Якубович уехал.

В Петербурге, в Басковом переулке, в редакции «Русского богатства», будет писать он о мужиках, о земле и воле.

А Греков писал о предательстве и предателе.

Досадливо морща лоб, Лопатин с трудом припомнил, кто такой Греков. Припомнив, презрительно швырнул конверт. Плевать! Тут вот Бруноша Бартик объявился — радость великая!

После первого свидания в Петропавловской крепости, безумного свидания, всё вихрем, всё в смятении, ничего Лопатин так не страшился, как найти в сыне не то чтобы чужого, но чуждого по духу. Когда сын на рождество приехал в Вильну, вышла некая тягостная заминка. Едва Лопатин вымолвил: «А твоя матушка...» — как ощутил колючую настороженность сына, ту готовность к отпору, которая была свойственна и ему самому. А он и спросил только, как она поживает, здорова ли? И Бруно ответил, что называется, от сих до сих и прибавил подчеркнуто-прямым голосом: «Мы с ней очень дружны. Всегда дружны». Опять наступила пауза, но уже не тягостная, а молчаливого соглашения, и они застенчиво, как равные, улыбнулись друг другу. А потом уж не случалось никаких заминок, и если что-нибудь и счастливило Лопатина, так это их обоюдное доверие и доверительность. Одного лишь старательно-самолюбиво избегал Лопатин: ни за что на

свете не принял бы он ту снисходительность, пусть нежную, пусть самую добрую, какая подчас возникает в отношении хороших, душевных, заботливых взрослых сыновей к своим старикам родителям. Черта с два, он отнюдь не инвалид и вовсе не нуждается ни в поводырях, ни в носилках. Да, он всегда ждет Бруношу, всегда ему радуется, но жизнь самостоятельная есть жизнь самостоятельная, и пусть-ка Бруно не тяготится «обязанностями», нет времени, есть дела, ну и не тащись на Тамбовскую, как в божедомку.

На сей раз, однако, Барт прибыл не только на Тамбовскую: в Вильне судили рабочих-забастовщиков. Лопатин ходил в суд. Впервые наблюдал он сына на профессиональном поприще. Наблюдал придирчиво, цепко, нелицеприятно. И, слава богу, не обнаруживал фразистости, каковой грешили многие присяжные поверенные, эти красавцы в крылатках и в декадентских усах. Правда, усы запустил все-таки декадентские, зато никакой манерности, никакой патетики, нарочитых жестов, актерских модуляций. Бруно бил в корень, реплики были существенны и метки. Герман Александрович, однако, нашел, что основную речь можно было бы отшлифовать тщательнее. Но главное-то вот что: подзащитных оправдали. И это доставило Лопатину тройное удовольствие. Во-первых, за подзащитных; во-вторых, за адвоката; в-третьих, за самого себя. А как же? И Бруно, и его коллеги утверждали, что судьи предрешили приговор, а он, Лопатин, упирал на то, что судьи не захотят подливать масла в огонь, и без того жаркий в Вильне. Вышло так, как он предрекал. И пусть Бартик не очень-то задирает нос.

Поглощенные судебным процессом, а потом и радостью победы, они позабыли о письме, привезенном Бартом, и только в день отъезда Бруно спохватился, отыскав слезницу Грекова, вопросительно взглянул на отца.

— А-а,— небрежно сказал Лопатин,— этот теленок

был у нас «дуплом». Я тогда, незадолго до последнего ареста, жил в Питере, на Малой Конюшенной, жил как британский подданный Норрис — коммерсант, а сверх того преподаватель английского. Из Парижа, от Тихомирова, вся корреспонденция поступала к этому самому Грекову, он отдавал мне, вот и вся «выдающаяся роль». Ну а цапнули за манишку, он и выложил все, за мною увязались филеры... Нуте-с, нуте-с, жив, оказывается, курилка.

«Милостивый государь Бруно Германович! Из газет я узнал, что Ваш отец после 22-летнего заключения освобожден из Шлиссельбургской крепости. Вы, как сын, вероятно, имеете постоянное сообщение с ним. Будьте великодушны, окажите мне следующее одолжение. Передайте вашему отцу, что Федор Греков, бывший секретарь редакции «Новости», всей душой приветствует его освобождение и просит великодушного прощения за н е в о л ь н о е содействие его аресту в 1884 году. Пусть он знает, что провокатором и предателем в с е х н а с был Лев Тихомиров, сотрудничающий ныне в «Московских ведомостях». К сожалению, я не могу изложить в письме подробности этого ужасного дела, но питаю надежду, что это когда-нибудь мне удастся. Хорошо бы до поры до времени сохранить содержание моего письма между нами, т. е. Вами, Вашим отцом и мною».

— «Провокатором и предателем всех нас был Лев Тихомиров»,— повторил Лопатин. И как сплюнул: — Сопляк.

Бруно не понял, кто, собственно, «сопляк»: безвестный Греков или известный Тихомиров? «Греков, кто ж еще»,— сердито отмахнулся Герман Александрович. Он курил задумчиво и хмуро, Бруно медлил расспросить о Тихомирове. Потом сказал насмешливо: «А мы этого ренегата

студентами усердно читывали». Герман Александрович все с тем же хмурым, задумчивым видом взглянул на сына. Бруно пояснил иронически: «Из подлых книжонок выуживали цитаты. Он заграничное обильно цитировал, мы и выуживали. Так-то ведь где ж достанешь? И представь — курьез: по сей причине Тихомирова, большего монархиста, чем сам монарх, книжечки-то Тихомирова стали у нашего брата изымать при обысках».

— Вот как... — рассеянно отозвался Герман Александрович.— Нет, Бруно, этот не сопляк, этот...— Лопатин перебирал угол скатерти длинными сильными пальцами.— Нам в Шлюшине попечительное начальство подсунуло его брошюрку «Почему я перестал быть революционером». Мол, пораскиньте мозгами: умные-то люди отрекаются, а вы, дураки, гниете в казематах. И у нас тотчас две партии — одни стучат в стену: Тихомиров спятил; другие: следовало ожидать его предательства. Всегда, дескать, был трусом, шпиономания одолела; ужасно бедствовал, маленький ребенок болел, едва не умер... Я стоял на том, что ожидать следовало. Но у меня другое. Я знавал его довольно близко. Он отнюдь не глуп. Отнюдь! После того как опочил мой личный друг император Александр Второй, это ж он, Тихомиров, обратился от имени Исполнительного комитета «Народной воли» к наследнику престола. И, знаешь ли, старики, Маркс и Энгельс, нашли в этом обращении не только здравый ум, но ум политический, государственный. Вот так. Внешне-то, это верно, выглядит он мокрой курицей. И в душе у него, видать, слякоть. Но главное вот: гибель партии была для него и гибелью идеала, он изверился в социалистическом идеале.— Лопатин усмехнулся.— А я все ж не думал, что махнет-то он совсем уж на другой полюс. Ты не читал этого номера «Былого»? Тут одна из народниц, прочти, она даже жалеет Тихомирова: нету, говорит, участи горше тихомировской. Я не жалею. Однако вот она в чем

права: Тихомиров никого не предал. В полицейском смысле — ни единого. А мог бы, очень даже мог бы: все конспирации знал, всех и каждого знал — ведь он последним изо всего Исполнительного комитета «Народной воли» уцелел. Он та-акое бы мог господам жандармам порассказать, что многие из сибирской ссылки угодили бы в Шлюшин, а то и на эшафот. Нет, ни единого. Ренегат искренний, идейный, вот где собака-то зарыта. Силен в нем был русский шовинизм, а русский шовинист в конце концов непременно грохнется на колени перед русским самодержавием. И меня ничуть не удивляют его статейки в «Московских ведомостях». Если и удивляют, то нищетой консерватизма, нищетой мысли. Ну и довольно об этом, надоело.

— Ладно,— кивнул Бруно.— Надоело. А с грековской писулькой как прикажешь?

Двумя пальцами Лопатин защемил письмо.

— В Питере, в редакции журнала «Былое»... Знаешь где? Да, да, Спасская, двадцать пять. Бурцеву отдай, Владимиру Львовичу — отец, мол, на ваше благоусмотрение... Ба! Он же, Бурцев-то, говорил мне, что к Тихомирову собирается, в Москву — вот пусть и покажет, кстати, какие поклепы на бедного Тихомирова клепают.

Бруно пожал плечами.

— Э, с него, как с гуся вода.

— Не думаю,— произнес Лопатин, опять становясь хмурым.— Не думаю.

IV

Давно, еще в Париже, эмигрантом, Тихомиров покаялся.

Ему ничего не было нужно, кроме России, русского горя, русской молитвы. Он предлагал свое перо и свой отрицательный опыт. Разве есть что-либо плодотворнее кающейся души? Он не предлагал одного: услуг по части

политического сыска. Разве на духу открывают чужие грехи? Только свои!

Наконец дозволили вернуться.

С женой и детьми обосновался Тихомиров в Москве, сперва на Долгоруковской, потом на Страстном бульваре, при редакции «Московских ведомостей».

Он издавна любил Москву и понимал Аксакова: тот мечтал возвратить престол в белокаменную. Понимал, но не соглашался, ибо запрудила бы Москву бюрократия, та, что стеной из войлока, не пропускающей ни звука, ни воздуха, стоит между русским царем и русским народом. Пусть Москва пребудет Москвой! С ее резедой, голубями, самоварами. И главное — церквами.

И все ж не у московских алтарей, не под московскими звонницами он сознал свое жестокое предназначение — там, у речки Жиздры.

Годы уже отошли после паломничества в Оптину пустынь, а все сохранилось, не пожухнув, в памяти сердца: и эта дорога из Козельска, над которой корабельно скрипел старинный засечный бор; и эти недружные, но отчетливые звуки хозяйственных работ, что начинаются в усадьбах по осени и стихают, как впадая в дремоту, к первому зазимью; и эти встречные монахи, отвечавшие на твой поклон, на твое «здравствуйте» иноческим «спаси вас господь». Пахло ботвой, хлевом, яблоками, землей пахло, отдыхающей под солнышком бабьего лета; и дом Леонтьева близ белых монастырских стен, каменный, в два этажа, под железной кровлей, дом этот тоже был освещен ясным солнышком.

В Оптину пустынь влекла Тихомирова не тень Гоголя, который некогда живал в тамошней монастырской гостинице. И не то, что в Оптиной Достоевский когда-то писал «Карамазовых», а Толстой обдумывал «Отца Сергия». Нет, влекло желание повидать Константина Николаевича Леонтьева: покоряло спокойное бесстрашие фило-

софа, покорял стиль — напряженный, колкий, пагой; чаровала особность — без стана, без стаи. Было и чувство побратимства — Леонтьева тоже мало читали. Хотя Тихомиров и говорил себе, что ему по таланту лишь ваксить леонтьевские штиблеты, но именно то, что Леонтьева не признавали, внушало ощущение одного с ним разряда.

Тихомиров послал Леонтьеву исповедь свою «Почему я перестал быть революционером», послал статьи газетные и приложил тезисы журнальной — «Социальные миражи современности». Обменявшись письмами, получив приглашение, приехал в Оптину пустынь.

Поразительно: таким он и представлял себе Константина Николаевича — сухопарый, с плотно сжатым ртом, с порывистыми движеньями.

В доме, арендованном у монастыря,— ничего монастырского, кроме икон, привезенных Леонтьевым с Афона, да и тех было немного, что удивило Тихомирова, московские комнатки которого напоминали кельи, все чуть ли не сплошь в образах и лампадках. Мебель же стояла барская, кудиновская — калужского имения, проданного Леонтьевым. В Оптиной он жил уже несколько лет — бывший армейский медик, дипломат и цензор, получающий годовой пенсион в две с половиной тысячи.

Тихомирову отвели верхнюю горницу. В горнице все было красного дерева — широкий штофный диван, гардероб, конторка. Пахло кожей, шафраном, старинным житьем. Хорошо! Тихомиров умылся, нажимая, как точильщик, на педаль умывальника — отсутствие водопровода тоже было приятно.

Он рассчитывал пробыть у Леонтьева день, другой (газетный колодник не вправе надолго оставлять редакционную поденщину), а пробыл, не заметив, чуть не полную неделю. Жил среди молний: то слеп от яркости, то видел дальнюю даль, и жутко и весело. И осознал, сколько ж еще надо выдавливать из себя ядовитых ка-

пель западного ученичества, подражательности, пошлейшего европейского «просвещения». Не то чтобы слушая, нет, душой приникая к Леонтьеву, он понял наконец глубину настоящего православия.

Вот, говорил Леонтьев, кажется, немножечко рисуясь своей увлеченностью и, по обыкновению, голосом выделяя, как курсивом, отдельные слова, вот, говорил он, покойный-то Достоевский какую-то всемирную любовь изобрел, какие-то неслыханные идеалы и невиданную мораль в русском народе обнаружил, а русский интеллигент носится с этим подпольным пророком как с торбой. Не-ет, покорнейше благодарим! Тихомиров спросил о назначении России, вопрос задал стихом Соловьева, философа и поэта:

О Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

Леонтьев не ответил однозначно. Выходило так: либо во главе вселенского христианства, византийской стати; либо во главе социалистической Европы. Как бы ни было, будущее — исполинское... Но Леонтьев — Леонтьев, и тотчас удар, разбивающий стекла: прав Лев Николаевич Толстой — сколь, мол, ни старайся, а впереди крушение; я, сударь мой, иногда и в Россию-то не очень верю. Он свел брови к переносице: «И не казнюсь, ибо вера во Христа не означает непременно веры в Россию».

Вот он какой был, всегда против течения, во всем на свой салтык. Но именно Леонтьев пролил бальзам на рану Тихомирова. Оказывается, и Леонтьев в годы оны до зубовного скрежета огорчался тем, что его не читают, не признают. А потом понял: далеко вперед забежал, вот средний-то глаз и не достает, не схватывает. Да, пролил бальзам. Однако главное, самое главное было в дру-

гом. От слова до слова помнилось Тихомирову: «Ваша судьба, Лев Александрович, значения особого — у вас огромный отрицательный опыт, и вы необходимы. Этого сейчас не понимают. Потом поймут, потом, когда наступит полное историческое осознание».

Так он напутствовал Тихомирова, напутствовал незадолго до кончины. Приняв тайный постриг, перебрался из Оптиной в Сергиев посад, да мало вкусил меду, шестидесяти от роду преставился. Во гробе не было на челе его умиротворения, была какая-то злобная решительность. В агонии Константин Николаевич то едва слышно шептал: «Надо покориться... Надо покориться...», то повторял навскрик: «Нет, еще поборемся!»

Под столом, на котором стоял гроб, рассыпали жареные кофейные зерна вперебив смердящему, трупному запаху, и Тихомирову скорбно подумалось: Константин Николаевич ругал Достоевского, зачем в «Карамазовых» от умершего старца Зосимы исходит тлетворный дух? — ведь все почитали старца святым, а тут эдакий «реализм».

Краешком глаза ощущал Тихомиров нежно-рубиновый отсвет лампадки. Жена спала, полное лицо и полная шея смутно белели на белой подушке. Гардины были плотно задернуты, но за окнами среди черных деревьев Страстного бульвара призрак бродил, колыхаясь и покачиваясь. Девятый вал революции угас в крови на Пресне, да Тихомиров-то знал, что страшный суд грядет. Надо покориться? Нет, поборемся!

Проснулся он с сильной мигренью.

Тщедушный, всклоченный, надев очки, вздыхая и морщась, преклонил колена. Помолившись утренним обыкновением, то есть сотворя молитвы, одни на память, другие быстрым заглядом в «Молитвослов», Лев Александрович обратился к образу своего покровителя св. Митрофана с просьбой несколько неожиданной. Неожиданной пото-

му, что св. Митрофан, как известно, исцеляет зубную боль, и это Тихомиров знал по себе, а тут мигрень... И однако едва Лев Александрович позавтракал, а если изобразить дело точнее, едва воспринял пищу из рук жены, как мигрень унялась. Жена, радуясь, поцеловала Левочке сперва одну руку, потом другую, а он поцеловал ее пухлый вялый подбородок.

В кабинете Тихомиров подлил масла в лампадку перед образом св. Митрофана несколько меньшего размера, чем тот, что висел в спальне, и принялся за утреннюю почту.

Отложив ответы на вечер, Тихомиров углубился в чтение гранок, принесенных метранпажем. Запах волглой бумаги, свежей краски и то, что правка чернилами пускала тонюсенькие усики,— все это было по обыкновению приятно Тихомирову, как вещественный знак его мыслительной деятельности. Он бы управился до обеда и еще до обеда начал бы передовицу, если б не посетитель, визит которого предварила третьего дня телеграмма из Петербурга.

Об этом Бурцеве Лев Александрович был наслышан: юношей угодил в ссылку, бежал, печатал против царя, а теперь, видите ли, в компании с историками Богучарским и Щеголевым издает «Былое».

Бурцев был тщедушный, маленький, нервный, с Тихомировым внешне схожий. Пришепетывая, пуская «э» да «ме», говорил, говорил, говорил. Похоже было, что от Тихомирова ждут мемуаров.

— А вы, однако, решительный,— замялся Тихомиров,— экий у вас натиск.

— Натиск? — повторил, как с разбега, Бурцев. И беззвучно рассмеялся.— Да вот, знаете ли, так-то и Вера Николаевна: вы, говорит, налетаете на нас, стариков, как ястреб. — Бурцев косо поднял плечо: — Ну, какой из меня ястреб?

Да-а уж, подумал Тихомиров, Верочка, положим, шутила — так и подумал о Фигнер: «Верочка», по старой, должно быть, памяти. А Бурцев, уминая пальцем крупную надбровную родинку, опять и уж точно по-ястребиному подступил к Тихомирову.

— А вы не спешите, не спешите,— принужденно улыбаясь, сказал Тихомиров, поднялся из-за стола, подошел к шкапу, стал рыться в бумагах.— Я ведь знаю, кто обещал вашему журналу сотрудничество: все из «стан славных», в том числе и шлиссельбуржцы. А я вот лет десять тому опубликовал что-то вроде повести, «Пропагандисты» называлась.— Он нашел какой-то исписанный листок, помахал им в воздухе, продолжал, взвинчиваясь, нервически посмеиваясь, как бы даже и с некоторым самоистязанием.— Воспоминания грустно трогают: ах, Невская застава, я любил ее, мы там пропагандировали. Хорошие были люди, золотые сердца. Но чего не было, того не было: глубины ума. Требовались воспитание, дисциплина ума. А русское общество разве могло дать? Вот и трагизм, вот и гибель. Исторически она, может, и нужна, но от того не легче людям, которыми история жертвует для вразумления нации.— Он опять помахал исписанным листком.— А мне в ответ старый товарищ присылает...— Тихомиров не то саркастически улыбался, не то страдальчески морщился.— Вот послушайте:

Как раб, главу склонивши долу,
Вошел в языческий ты храм
И воскуряешь произволу
Благоговейно фимиам!

Он быстро оборотился к шкапу, ворошил что-то, упрятывая листок, ходили под пиджаком худые лопатки.

— Я прежде-то надеялся, что падших можно поднять,— продолжал Тихомиров.— Теперь не надеюсь.— Он

сел, вскинул ногу на ногу, коленная чашечка остро выперла.— Вы говорите: «мемуары». А вам, думаю, хорошо известно, что я осуждаю самый принцип революции. Побеждена она или победит, я прославлять не стану. Но старых товарищей...— Ладонями, как остужая, провел он по щекам.— Я их и теперь люблю. Не по делам, а за честность убеждений и самопожертвование. И эта моя внутренняя привязанность неуничтожима. Никакими политическими соображениями не уничтожима, понимаете?

— Ну и отлично,— нетерпеливо вставил Бурцев. Он все время был в движении: очечки оправлял, несвежими манжетами встряхивал, шишку-родинку мял.— Я думаю, вы и в своем прошлом любите как раз то, что любите в своих старых товарищах. Отчего бы и не написать?

— Отчего бы и не написать,— повторил Тихомиров. Задумался. Потом сказал: — Вот Плеханов, а он очень неглуп, очень, Плеханов подметил, что я, в сущности, не изменился, а только показал, какие реакционные элементы содержатся в освободительном движении. «Реакционные»! — внезапно озлясь, вскрикнул Тихомиров, но тотчас как бы загнал в себя свою злобность.— Впрочем, вопрос сложный. Есть форма стремлений, есть сущность стремлений, их подчас не различают. В горячке-то событий не различают. Так было и во времена французской революции... Да, сложный вопрос. Может быть, я сам же и оставлю материалы для его разрешения.

— И прекрасно,— опять вставил Бурцев.— Не мешкайте, беритесь. Уверяю вас, «Былое» напечатает. Да и вам нужно, чтоб кривотолков не было.— Он полез в карман: — Герман Александрович поручил мне...

— Лопатин? — зябко поежился Тихомиров.— А вы что же, виделись?

— Да, был у него в Вильне.

— Ну и каков?

— Это потом, вы прочтите,— Бурцев протянул конверт.

Тихомиров взял нехотя, словно бы даже и в какой-то тоске. Медлил он чтением письма Грекова. Черт знает отчего, а медлил. Пересилив себя, не прочел, а мгновенно выхватил: «Провокатором и предателем всех нас был Лев Тихомиров». И вскочил, скрючившись, задрав бородку, погрозил кому-то указательным пальцем. И — как затравленный:

— Я Грекова не знаю...

— Был когда-то передатчиком ваших парижских писем к Герману Александровичу. В Петербурге,— спокойно пояснил Бурцев.— Да вы не волнуйтесь,— мягко прибавил он.— Плюньте, из-за этого волноваться.

— Так зачем же Лопатин мне это передал? — опешил Тихомиров.

— А Герман Александрович сказал: пусть знает, какие поклепы на него клепают.

— Все тот же, все тот же! — встрепенулся Тихомиров, заходил по кабинету, играючи пнул корзинку с обрывками бумаг и гранок.— У него всегда было чисто дворянское чувство благородства! Нет, нет, не думайте, я многое порицал, но в этом-то не откажешь.— Усмехнулся: — Лопатин, полагаю, не очень-то меня жалует? — И настороженно встопорщился, глаза толкнулись справа — налево, слева — направо.

— Без обиняков ежели, то Герман Александрович кратко: «Этого следовало ожидать».

— Следовало ожидать? Забавно.— Не мог Тихомиров уловить, чего тут больше: презрения или снисхождения. И раздражился не столько на Лопатина, сколько «вообще».— Каков ясновидец! — Раздражение усилилось, увлекая в сторону и как бы наискось.— Говорят: Тихомиров — ренегат. А в словарях — синоним: предатель. Да ведь в точном-то смысле — отрицание. В точном — принимаю.

Да-с! И прежде всего отрицаю свое прошлое. Свое! А меня иудой клеймят! — Он разнервничался, было ему почти дурно, он будто нашел что-то, отыскал неожиданно.— Вы картину художника Ге видели? «Тайную вечерю» видели? А какой там Иуда? Какой? А? Вы не думали?

— Не думал,— кивнул Бурцев. Картины он не видел, однако полагал, что иуда всегда иуда.

— А в том и суть! — лихорадочно продолжал Тихомиров.— Разуверился Иуда и уходит, не согласен и уходит. Останься, не уйди — вот оно, предательство: неверующий в личине верующего. И я ушел, я тоже ушел! Да только — разница! разница! — не во Христе разочаровался, нет, в социальных миражах. Я ведь...

Бурцев на часы поглядывал — времени в обрез, с вечерним в Питер. Извините, сказал он мирно, давайте-ка, с чего начали.

Обессиленный Тихомиров, сняв очки, тер переносицу. Но не к тому, о чем думал Бурцев, не к будущим своим мемуарам вернулся Тихомиров мыслью, а к давешним воспоминаниям. И спросил, одна иль две кассы в Шлиссельбургском комитете, который помогает старым узникам. Да, да, в этом комитете, где и Короленко, и Якубович, и Пешков, и Бурцев, а Репин, говорят, с альбомом является, рисует. Так вот, одна касса иль две?

— То есть? — не понял Бурцев.

— Если одна, стало быть, я не могу, не хочу: деньги непременно идут на пропаганду, собрания и прочее. А ежели есть такая касса, чтобы только для вспоможения, тогда дело другое.

— Какое же? — сухо осведомился Бурцев.

— Я говорил: многих старых товарищей люблю. Тут сугубо личное, как бы даже семейное. Я, знаете, человек без средств, убеждениями не торгую, а таким-то нигде жирно не платят. Много дать не могу, а сто рублей подниму. Я знаю, есть из моих прежних товарищей такие,

что и голову-то негде приклонить. А люди немолоденькие, пережили не приведи господь. Ну и...— Он осекся: странно глядел на него этот «ястреб».— А! — догадался Тихомиров, прикусил губу, вымученно договорил: — Они от *меня* не примут?

— Не примут,— отрезал Бурцев.

Тихомиров сокрушенно покачал головой.

— Вот секта-то, вот секта. А почему? Тюрьма! Нечем в тюрьме убеждения поверять. Жизнь за стенами летит, летит и меняется, а в стенах — все мертво. Я совсем молодым четыре года сидел да так ничего и не высидел, это уж потом, в эмиграции все понял. А они-то ведь не четыре года. И не в молодости. Старики! Как теперь перемениться? Это ж все свои муки — в архив.

Бурцев, посматривая на часы, опять сказал про мемуары.

— Помочь готов мелочами, фактами, уточненьями,— вяло отозвался Тихомиров.— А мемуары... Не обессудьте, времени нет. Вы думаете, раз «Московские ведомости», значит, все гладко, без сучка без задоринки? А нам, бывает, ой-ой холку-то мылят. Мы тут не на задних лапках, а в некоторой — консервативной! — оппозиции правительству. Монархической, консервативной, но в оппозиции... Впрочем, я в Питер собираюсь, может, и загляну на Спасскую.

Бурцев ушел, и странное ощущение заброшенности овладело Тихомировым. «Этого следовало ожидать...» Ну-ну, подумал он, помни: «Когда наступит минута исторического осознания...» А пока другая минута — распаялся самовар, и ты, брат, точно выпавший на пол уголек.

Вскоре его вызвали в Петербург.

Председатель совета министров Столыпин — высокий, сухорукий, с бородою как смоль — намеревался определить московского публициста на государственную службу.

В Царском Селе, где жизнь еще продолжалась, но уже перетекала в элегические воспоминания, бывшего члена Исполнительного комитета «Народной воли» хотел увидеть августейший полковник. Тот, что выговаривал «интеллигенция», будто произносил «сифилис», и по-офицерски осенялся крестным знамением — быстро, быстро вертел около груди щепоткой пальцев, словно развязывая невидимый узелок.

Тихомиров остановился у родственников, неподалеку от Таврического сада, на Тверской. Вечерами, нервно брызгая чернилами, он набрасывал горестные заметы. Его записи для печати не предназначались.

«Тотчас по прибытии в Петербург известил Столыпина о своем приезде. Я уже причислен к Главному управлению по делам печати. Теперь передо мною стоит грозный и таинственный вопрос: что такое П. А. Столыпин?

Был в Зимнем дворце довольно долго. Разговор в высшей степени важный, через несколько времени принявший очень интимный характер. Я обрисовал Столыпину положение России, ее нравственное состояние, указал, что она ждет в о ж д я, который сказал бы: «Прошлое с его падениями кончено; начинается новая эра»,— и повел бы за собой сплоченные национальные силы. Я приехал в СПб в ожидании найти что-либо подобное. Ибо, в случае новой эры, такой человек, как я, может пригодиться. Тот вождь, который нужен, должен сомкнуть около себя товарищей, проникнутых тем же новым духом, и сразу систематически двинуть работу возрождения России. Пока же ничего не делается, и не может делаться, потому что все его, Столыпина, министры никуда не годятся. Я их перебрал целую кучу... Итак, чего ждать? Что он намерен делать? От этого зависит не только участь его самого и России, но и моя. Может быть, он не тот, кто

нужен, может быть, придет кто-то другой? Но тогда мне с ним делать нечего, и я уйду к своей кабинетной работе.

В таком роде я изъяснялся ясно до резкости. Он иногда отвечал, слушая все более внимательно. Затем начал он, сказал, что я ему, в сущности, задаю вопрос: что он такое? — Бисмарк или бездарная посредственность, которая может кое-как вести текущие дела? Я подтвердил, что вопрос действительно в этом роде. Столыпин сказал, что это вопрос странный, так как не ему отвечать на него, но вот как он смотрит. Тут он вошел в большие интимности. Он верит в бога, он имеет уверенность, мистическую уверенность, что Россия воскреснет. Он — русский, любит Россию кровно и живет для нее. На себя он смотрит как почти на не живущего на свете: каждую минуту его ждет смерть. Я не знаю донесений, которые он получает, и не могу взвесить, до какой степени он может каждую минуту погибнуть. Что он такое — он не знает. Но знает и уверен, что сделает то, что угодно допустить богу.

Раза три возвращался я к тому, каков *исторический* момент, каковы его требования. Нация разделена: согласить добровольно эти фракции нельзя. Нужно, чтобы явился «капрал», вождь, поднял знамя властно, а на знамени должен быть национальный вывод пережитого. «Равнодействующая линия», вставил он. «Да, именно». И по этой линии должен пойти вождь: без этого не совершаются великие переломы. За ним пойдет большинство, скажет «слава богу, наконец». А несогласные — одни увлекутся потоком, другие подчинятся. Но для всего этого нужно вызвать общий подъем духа, чтобы нация *поверила*.

Он был очень задумчив, долго прощался, сказав, что желал бы еще переговорить, но лучше вечером, когда впереди много свободного времени: «Я ложусь спать очень поздно».

Сегодня представлялся государю императору в Большом дворце (Царское Село)... Нас было немного, все военные, кроме меня. Вводили в кабинет государя. Меня ввели вторым... Государь встретил очень ласково и протянул руку. Я поблагодарил за высочайшие милости и попросил разрешения поднести мои сочинения. Он их стал рассматривать, разговаривая по поводу некоторых статей. Таким образом коснулись нескольких тем. Я, однако, имел в виду самую главную с в о ю потребность и начал разговор на продолжение моей литературной деятельности. Государь выразил желание, чтобы она продолжалась. Тогда я довольно подробно развил мысль, что работать мыслью и пером можно только с в о б о д н о, иначе пропадет и талант и качество мысли. Государь очень подтвердил это, сказав, что это непременное условие. Я сказал, что, однако, для меня требуется теперь дозволение начальства, а это дозволение налагает на начальство ответственность за написанное мною, а потому это стесняет мою свободу. «Я постараюсь вам в этом помочь», — сказал государь. Когда я уже откланивался, он сказал, протягивая руку: «Надеюсь, что видимся не последний раз».

В Главном управлении по делам печати приступил к работе. Куча журналов, читаю, отмечаю. Но до чего все-таки нелепо: я — едва ли не лучший в России редактор и один из лучших публицистов, занимаюсь черт знает какой библиографической ерундой.

У меня готовы мундир и вицмундир, шляпу и шпагу взял напрокат. Произведен в статские советники, что в сравнении с военными чинами выше полковника, но ниже генерал-майора. Значит, я теперь нахожусь у подножия престола.

Получил первый пакет с наименованием «его превосходительству» и предложение начальства принять на себя контроль за Киевским и Казанским комитетами по делам печати, харьковским и одесским инспекторами.

С каждым днем моя жизнь тяжелее, она подавляет меня нравственно, гнетет бессмысленностью. Работать на правительство невозможно, потому что оно идет по пути ложному. Исправить его путь — нет силы. При действии публицистическом, как бы ни было оно безуспешно, есть надежда, что бросаешь все-таки семена, которые могут взойти когда-нибудь. В положении чиновника такой надежды нет: тут все, чего не ввел, погибает. А ввести у них ничего нельзя. Столыпин — это становится все яснее — не хочет меня даже слушать, а не хочет потому, что никаких глубоких реформ просто не представляет себе. Положение он воображает исправить частичными улучшениями. Но в такой работе я не могу быть полезным орудием, потому что вижу ее ничтожность и прямо вред.

Ну, конечно, есть еще государь. Да ведь он, в сущности, похож на первосвященника Илию: тот тоже был всем хорош, кроме слабости воли, отчего не было надзора и всюду пошли безобразия.

Вообще говоря, не видно кругом ни одного «исторического» человека. Мы все опустились в маразм. Россия, сдается, уже отдана на произвол «естественного течения дел». Пропáсть в буквальном смысле она, может быть, и не пропадет, но весь государственный и церковный строй изменится, и даже странно было бы держать формы, утратившие дух, а стало быть, и смысл. Было бы лучше, если бы мы находились под гневом божиим: после гнева и наказания могла бы явиться м и л о с т ь. Но возможно, что мы уже дошли до того, что просто «выпущены на волю» — живите как знаете.

Ужасное время! Русская Россия идет в трубу. Гниль мистического разврата перемешана с тупым неверием и развратом материалистическим. И вся эта грязная тина обволакивает людей до самых верхов.

Ну что же, фантазии исчезают, действительность остается. И как странно: в с е гениальнейшие представите-

ли русского духа — Герцен, Хомяков, Достоевский, В. Соловьев, Л. Толстой,— все только фантазировали. Всё, что искрилось в них национального — в самой-то нации, значит, не существует? А тени Маркса и Энгельса ухмыляются: «Говорили мы, дескать, вам, дуракам, что ничего национального не существует, а все «выразители русского духа» были просто выразителями «классового» дворянского самосознания!»

Если исчезнет Россия, последняя страна, от которой человеческий мир мог бы ожидать нового слова, то и антихристу путь проторен.

Нет у них дела, где я бы годился, лучше уж плюнуть на все и снова стать публицистом».

На крышке серебряной чернильницы топорщил крылья двуглавый орел: он ждал Тихомирова.

Оставляя чиновничью службу, Тихомиров ездил с прощальными визитами. Все они неинтересны, но об одном на Сергиевскую, к ее сиятельству, надо рассказать.

То не был визит вежливости, то было желание заручиться сотрудничеством княжны в «Московских ведомостях». Не потому, что всяческое начальство почтительно выслушивало старую даму с крупным морщинистым аристократическим лицом и гладко причесанными седыми волосами, старую даму, у которой такие прочные связи и при дворе и в церковных кругах. Нет, не связи были нужны Тихомирову, а подвижничество княжны в низших слоях народа. Деятельная доброта основательницы Общины сестер милосердия, попечительницы больниц, вечного ходатая за сирых и обиженных освещалась светом веры, соединявшей твердую неколебимость с нежным состраданием. Вряд ли покойный Леонтьев, сокрушитель розового христианства, счел бы княжну настоящей православной, но Тихомиров, направляясь на Сергиевскую, об этом не

думал, а думал о том, что репутация княжны куда весомее репутации многих иерархов, а потому и глагол ее с колокольни «Московских ведомостей» будет звучнее и проникновеннее.

Бедный статский советник знать не знал об обстоятельствах, которые, надо полагать, побудили бы его отречься от своего намерения. По чести сказать, не знал о них и автор этих писем. И если б так и остался в неведении, то, право, не стал бы сопровождать Тихомирова на Сергиевскую.

Обычно все необычное — следствие терпеливых разысканий. А тут... Возвращаясь из курительной комнаты в архивный зал, я обронил взгляд на стол с грудой папок и картонок, приготовленных не для меня, а для другого читателя, и увидел — *«Дневник неизвестного лица (женщины) о посещении заключенных Шлиссельбургской крепости»*.

Что толковать, вцепился я в эти тетради. Одна была в синей обложке, две — в светло-коричневой. И нечего врать, будто разгадка анонима взяла у меня много времени. Ведь в мемуарах шлиссельбуржцев упоминалась женщина, «выдающаяся по уму и энергии». Летом и осенью девятьсот четвертого она часто переступала порог казематов: единственная из неофициальных лиц, кому это дозволили за все время существования новой каторжной тюрьмы.

Княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова очень хорошо сознавала отъявленный атеизм людей, замурованных в казематах. Но она полагала, что долговременное заточение разъедает даже убеждения гранитной твердости. Она не верила в их неверие. В черных безднах заточения не могли не тлеть искры любви христовой. Сказано: «Невозможное человекам, возможно богу». Гос-

подь обитает в церкви, она, старуха, член церкви, и через нее господь спасет ожесточенные сердца. Раз человек крещен, он не лишен благодати божьей.

Трижды в неделю эта старая, по восьмому десятку женщина садилась в шлюпку и отправлялась из города Шлиссельбурга на остров в Шлиссельбургскую крепость. Возвращаясь в гостиницу, заполняла линованные тетрадки — те, что много лет спустя попали в мои руки.

Ее принимали радостно, с ней говорили откровенно, она была ведь первой о т т у д а, первой, кто пришел не по инструкции, и ей рассказывали о далеком-далеком домашнем, о матерях уже умерших или еще живущих, о своей молодости, о тоске по воле. Но читаешь: «Мне трудно, тяжело было узнать о его неверии»; «Иисуса Христа он любит, но просто как человека»; «Рад был бы веровать, да нету веры»; «К области веры равнодушен»; «На воле пошел бы в церковь, да только не в городскую, а в деревенскую, чтоб на взгорке, чтоб видно было и поле, и лес, как, бывало, в мальчишестве»; «К выходу из крепости равнодушен, ему ничего не нужно, но часто и много думает об угнетенных и страждущих».

«Доченькой» называла Марья Михайловна ту, которую комендант именовал нумером одиннадцатым. А унтерофицер на вопрос княжны, к кому нынче можно пойти, почтительно отвечал: «О н е велели к такому-то».

Нумером одиннадцатым, «оне» была Фигнер.

Читаю: «Глубоко я сегодня страдала от произвола тюремного начальства, не допустившего Веру Николаевну говорить со мною наедине».

Читаю официальное: комендант и его помощник, ротмистр, стояли в коридоре у притворенных дверей, «могли слышать каждое слово и вместе с этим наблюдать в дозорное стекло, чтобы предупредить возможность какой-либо взаимной передачи. Перед допущением ее к заклю-

ченным я сказал ей, о чем она не может говорить, согласно тюремным правилам».

Хлопоча о дозволении проникнуть в казематы, старая княжна твердила: «Еще никто и никогда не обращался к ним со словом любви. Допустите меня к ним. Быть может, сердца их смягчатся, и они обратятся к богу». У Верочки Фигнер не смягчилось ли сердце? Но... «Не осенится ли Вера Николаевна крестным знамением?» — «Нет, это было бы лицемерием».— «Не позволит ли Вера Николаевна перекрестить ее?» — «Нет!»

А один из номерованных узников, тот и вовсе ни разу не принял утешительницу и примирительницу. Говорил иронически: «Заявится — так и шибает ладаном». Говорил: «На что мне эта старушка? Но если и пожалует, я под кроватью не спрячусь». Нет, не хотел видеть утешительницу номер двадцать седьмой. Огорченная княжна смирилась: «Очевидно и такие неверующие, как Лопатин, нужны богу». А своей «доченьке», милой Верочке Николаевне сказала, сжимая ее руки: «Со всеми вашими товарищами, включая и Германа Александровича, чувствую себя членом одной страждущей семьи. О, я понимаю вполне, какие пробелы у меня в смысле знания жизни и людей, но у меня, друг мой, бывают такие зарницы, когда я много, сильно и глубоко люблю человека. И такие зарницы всякий раз, когда я прихожу сюда, к вам».

Ничего об этом знать не знал статский советник Тихомиров, направляясь на Сергиевскую, к Марье Михайловне Дондуковой-Корсаковой.

Была она в темном простеньком платье, в стоптанных башмаках. Мелким глоточком отпивала молоко из чашки, мелким щипком отламывала кусочек розанчика. Милейшая старушенция? О, какой властной энергией дышат крупные черты этого породистого, стародворянского лица.

Один ее пылкий почитатель еще в Москве уверял Тихомирова, что у княжны Марьи Михайловны такие же лучистые глаза, как у княжны Марьи из «Войны и мира»... И точно, лучились, в первые минуты лучились, но, пока Тихомиров развивал план участия в «Московских ведомостях», большие, серые глаза старой княжны не то чтобы померкли, однако лучистость утратили, и Тихомиров явственно ощутил свою обидную ненужность. Казалось, кто ж, как не он, усердный прихожанин, озабоченный и благоустроением простолюдинов, и вопросами церковными, вот и с царем беседовал, и саратовский архиерей Гермоген к нему наведывался, и отец Иоанн Восторгов внимает, кто же, как не он, должен быть значителен для нее, княжны Марьи Михайловны? Стараясь взбодриться, а вместе и чувствуя, как страдает самолюбие, как растет раздражение и обида, Тихомиров стал рассказывать княжне о давнем своем желании переселиться поближе к Троицкой лавре.

— Я туда частенько урывался,— говорил он, стараясь перехватить ее взгляд,— там все-таки лучше, чем где бы то ни было. Там мне все родное: трава, деревья, цветы, птицы, собаки, все прежнее. Люди переменяются, богомольцев все меньше, да святыни-то прежние, свои мне, частица моего «я», пока и оно, подобно прочему, не перестанет быть... Я там, знаете ли, и дачу, бывало, нанимал. Вот все ужасное лето пятого года там прожил, дача монастырская, Вифанией называется, а сторожа Егором звать, монашек занятный... Нет, нет, Марья Михайловна, не нужно мне ничего, я б одного хотел — покоя, тишины, безмолвия, чтобы в душу свою вдуматься, реально, что ли, вдуматься, а не то чтобы теоретически, как многие.

Мелкими глоточками отпивала она из чашки, мелкими щипками отламывала кусочки розанчика. Потом строго сказала:

— Вы все о себе. А на земле много горя, слез много, а вы — «покоя», «безмолвия»...— Вошла горничная.— Ты чего, милая? — спросила княжна.

— Господин Лопатин спрашивают. Прикажете принять?

— Лопатин?! — всплеснула руками княжна.— Проси! Проси! — Большие, серые глаза ее так и брызнули лучами. Она быстро взглянула на Тихомирова: — Э, батюшка, в лице-то ни кровинки. Поди, не проглотит нас Герман Александрович. Хоть и строг, ох, строг.— Она рассмеялась, грозя Тихомирову пальцем.

Ему бы уйти, немедля уйти, а в голове мелькала такая чепуха, ерунда такая — что-то о статском советнике, о мундире и шпаге, дурацкое сожаление о том, что вот он тут в партикулярном костюмишке. И, оставаясь в совершенной растерянности, он увидел Лопатина. Тот показался огромным и могучим: легкое движение бороды — и сметет, как соринку сметет его, Тихомирова.

Глаза их встретились.

— А-а,— тускло протянул Лопатин.— Ка-акой пассаж.— И словно бы заскучал до выворота скул, но тотчас стремительно придвинулся к Марье Михайловне, весь освещенный ее лучистым взглядом.

По Сергиевской, никуда не сворачивая, по Сергиевской, в сторону Таврического сада, весь пылая, негодуя, озираясь... Проклятый д'Артаньян! Книжечки переводил да за бабами бегал! Авантюрист в душе, авантюрист по складу... Через Таврический сад, по Тверской, весь пылая, негодуя и озираясь.

У себя, затворившись, схоронившись, произнес он речь уничижительную для этого, который — «Ка-акой пассаж».

«Ах, мы верны, мы верны, мы верны!» И этой верностью вы, господа, определяете высоту своей нравственно-

сти, но вам и в голову-то не приходит, что ее поверяют непреходящей тревогой: а верны ли мои убеждения? Опыты жизни не существуют для вас, старых пней с младенческими мыслями.

Грозя и проклиная, он торжествовал победу над Лопатиным, над теми, кто «в революции». Но все это было кратко — натекал исподволь запах жареных кофейных зерен, рассыпанных под гробом одинокого мыслителя. И Тихомирову слышалось: «Надо смириться».

К старой княжне наведался Лопатин с единственной целью: теперь, когда он и все товарищи не были номерованными и замурованными, счел необходимым отдать должное ее доброте и ласке.

Она усадила его, расспрашивала о здоровье, о вильненском житье-бытье, испуганно ахнула, услышав, что в Питер он наезжает нелегально, опять расспрашивала, глаза ее сияли. Но вместе она и робела, совсем ей была несвойственна робость, да вот и робела, мысленно подступая к тому, что давно занимало, волновало, представлялось выше сил человеческих. Она много думала о смысле евангельского: «положить душу свою за други своя», много думала, и все же... О, эту шлиссельбургскую историю она узнала от своей ненаглядной Верочки Николаевны.

Каждым из узников владело ощущение, навеянное репродукцией с картины Верещагина. Забытый солдат стоит среди утесов Шипки; буран, ни зги не видать; замерзает часовой, погружаясь в смертный сон, а смены нет. И мнилось в казематах: там, за стенами крепости, все сгинуло, ничего, кроме бесконечной глухой метели. И вдруг в девятьсот первом словно из бездны метеорит — Карпович. Петр Владимирович Карпович решил отомстить за всех забастовщиков — студентов, уволенных, из-

гнанных — и казнил министра просвещения Боголепова... Карпович принес благую весть: не замерло, не сгинуло — возникло на воле рабочее движение, прокатываются на воле стачки. Предрекая близость революции, он воскрешал шлиссельбуржцев наскоро исписанными клочками бумаги, оставленными под камнем в прогулочном тюремном дворике. Но сам он... Его велено было заточить согласно правилам, установленным еще в начале царствования Александра Третьего: ни малейших послаблений, ничего из того, что старые узники выдрали кровью, самоубийствами, протестами, голодовками,— ни книг, ни писем, ни занятий ремеслом или огородничеством, ни общих прогулок, ничего, то есть так, как все они, «коренные», тянули долгие годы. И тюрьма притаила дыхание. Совесть повелевала: добейся для новичка равенства. Увы, ни у кого не нашлось ни сил душевных, ни сил телесных. И лишь один изо всех, лишь номер двадцать седьмой: до тех пор, пока Карпович не будет отбывать срок заточения в тех же условиях, как и я, как и все остальные, до тех пор не выйду из каземата, отказываюсь от книг, писем, прогулок... И Лопатин сдержал слово — он держал его полтора года.

Старая княжна хотела постичь, из каких глубин почерпнул он, безбожник, атеист, и силы душевные, и силы телесные? Но княжна робела — не ровен час, сочтет праздным, дамским любопытством... Робея, все же спросила. А этот безбожник, этот насмешник, этот совсем нестрашный Лопатин просто-напросто руками развел:

— Ну-у, Марья Михайловна, не мог же я по-другому.— И рассмеялся: — А нервы, прах их возьми, измочалил.

— Герман Александрович...— Ее голос пресекался.— Я вам... Я товарищам вашим... Как объяснить?.. Вот Моисей хотел вблизи увидеть неопалимую купину, куст не-

сгораемый, а бог — Моисею: «Сними обувь с ног твоих, потому что земля, на которой ты стоишь, земля святая»... Все вы, все ваши для меня — земля святая.

V

Всякий раз, находясь в Ленинграде, краду служебное время для вылазок на берег Финского залива.

Южная кромка всегда помнится майским днем сорок пятого года: в этот день впервые после войны и блокады ударили петергофские фонтаны, то серебряные под солнцем, то свинцовые под тучами. Немое ликование и затаенная печаль владела всеми, кто был тогда у Большого каскада и Большого дворца, еще поверженного, еще в руинах. Это ликование рождала не всемирная слава оживших водометов, а зримость возвращения к довоенному, доблокадному. А печаль соотносилась не только с руинами Большого дворца — они были знаком невозвратных потерь.

Но теперь меня не очень-то влечет на южный берег залива, к дворцовым ансамблям и паркам, соперникам версальских, в двуспальный шелест громадных автобусов Интуриста. Предпочитаю берег северный. И не в летние месяцы, когда гомон, как на птичьем базаре, а поздней осенью иль в зимнюю пору, когда пусто и тихо и далеко слышно.

Я и сейчас собираюсь туда, вот только бы мне совладать с неким Иксом — ищу, ищу... Впрочем, отпишу все по порядку. Правда, многое не трону, сознавая необъятность необъятного. Однако как не упомянуть о партизанских набегах Лопатина в Питер?

Ему было запрещено появляться в столице. Нет, появлялся. Однажды даже ехал в одном вагоне с вильненским жандармским генералом. Ничего, сошло! «Представь,

Бруно, мы всю дорогу благородно игнорировали друг друга».

Ему был уготован приют на Тучковой набережной, в большой и удобной квартире известного журналиста. Из окон, если наискось, виднелся сумрачный сгусток Петропавловки.

В доме массивная парадная дверь, и Герман Александрович тянет на себя дверную ручку, кованую, медную, тульской работы, с крохотным четким черным клеймом в виде двуглавого орла. Всякий раз, идучи в Пушкинский дом, я ритуально прикасаюсь к этой дверной ручке.

Пушкинский дом совсем рядом, и там, в хранилище рукописей, есть письма Германа Александровича к сверстнику и другу всей жизни, письма девятьсот шестого и девятьсот седьмого годов.

А сейчас высокий крепкий старик в тяжелом пальто и широкополой шляпе, простившись до вечера с хозяином квартиры, идет по стрелке Васильевского острова в распахнутое прекрасное и грозное пространство. Его сапоги стучат по Дворцовому мосту, седая борода разворошена ветром.

На Конюшенной, в доме, который, как и тридцать, как и сорок лет назад, солидно скучал в соседстве со скромной Финской церковью, Лопатин бывал ежедневно: там по-прежнему жил Николай Францевич Даниельсон. И по-прежнему был он Лопатину попросту Фрицем, а Лопатин ему, как и прежде, просто Германом.

Лопатин смолоду любил этого долговязого, спокойно-задумчивого бухгалтера, лишь однажды сильно разгневался на него. Не то в конце семидесятых, не то в начале восьмидесятых, словом, при очередной панике, когда шваркала метла административных высылок, Фриц отпраздновал труса: не пустил ночевать нелегального Германа. Лопатин этого долго не прощал. А потом взял да и отделал на все корки, призывая тень Карла Двенадцатого

полюбоваться жалким потомком шведского рыцарства; хотя, правду сказать, и мизинца не дал бы за то, что Даниельсон рыцарских кровей, а не бюргерских. У Фрица был вид нашкодившего гимназиста. Бедняга краснел и бледнел, едва не разревелся. Лопатин махнул рукой, велел подавать чай, и Фриц был счастлив.

После Шлиссельбурга, при первом свидании на Конюшенной, Даниельсон достал давние письма Маркса, перебирал и указывал — вот, вот, вот: «Здесь получены самые тревожные известия о нашем общем друге...»; «Немногих людей я так люблю и уважаю, как его.»; «Судьба нашего милого общего друга глубоко волнует всю мою семью.»

Герман Александрович отвел глаза и нагнул голову: «Я всегда и все разбирал у старика, когда знал, на каком языке написано то или это». Должно быть, потому так сказал, что вдруг и перестал разбирать, слились строчки, поплыли. И, умеряя тяжелое колотье в груди, пустил в ход спасительную иронию: «А твои нынешние послания ко мне в Вильну — едва разбираю».

Да, Лопатин ежедневно бывал на Большой Конюшенной. Мерной, журавлиной походкой, минута в минуту уходил педантичный Фриц «служить капиталу», уходил, как и встарь, на Екатерининский канал, в Общество взаимного кредита, оставляя Германа наедине с письмами Маркса и Энгельса, адресованными ему, Даниельсону.

Стучали кабинетные часы. К их бою прислушивались книги. Книги выстроились в каре, узко и высоко разомкнутое бледным окном... Помнится, Герцен говаривал, что есть переписка, на которой запеклась кровь событий. В той, что переводил он, Лопатин, переводил не ради упражнения, а публикации ради, струился ток наблюдений и мыслей значения непреходящего.

Отрываясь от работы, закуривая и рассеянно обводя взглядом книжное каре, Герман Александрович думал о

том, что его друга даже и в молодости живая жизнь интересовала лишь в книжных отражениях, в отвлеченном анализе. А вот он-то, Лопатин, всегда был жаден до повседневной обыденности... Он поднимался, выходил в столовую, звал Лиду, сестру и домоправительницу Даниельсона, подступал к ней с расспросами, как они тут жили-были в те годы, которые он, Герман, извел в Шлюшине. На длинном, блеклом лице старой девы, существа добрейшего, появлялось выражение озадаченное и виноватое — она не умела отыскать ничего яркого, достойного внимания. Лопатин настаивал: «Ну-с, Лидусенька?» — «Да будет тебе»,— отвечала она не без досады, но вместе и радуясь, что все же, выходит, Герману вроде бы не о чем сожалеть. И он радовался тоже, понимал, что все это вздор, но возвращался в кабинет, к своей работе, ощущая прилив свежих сил.

Он успел подготовить публикацию писем Маркса и Энгельса, прежде чем пристав отобрал у него паспорт и пригрозил тюрьмой за самовольную отлучку из Вильны.

Мозглым днем Герман Александрович отправился на Варшавский вокзал и уехал. Неделя, другая, и он опять совершит партизанский набег.

Он уехал, а я остался. Я ж говорил: таинственный Икс. Конечно, можно было бы подстеречь незнакомца близ Цепного моста — заявиться к десяти на Фонтанку и внимательно приглядеться к чиновникам департамента полиции. Я, право, уверен, что узнал бы его, этого блеклого, как моль, архивариуса. Но имя... Имя — вот что мне было нужно. Есть тяга избавлять от забвения «малых сих», к истории не пришпиленных. Тяга, стало быть, плебейская.

Казалось, ничто не должно было связывать невзрачного департаментского человечка с Пушкинским домом. Но причины основательные, хотя и косвенные, о которых

распространяться не стану, питали мою надежду «засечь» таинственного Икса именно в отделе рукописей Пушкинского дома. И я упорствовал.

А между тем г-н Икс продолжал встречаться с ведущим сотрудником журнала «Былое», вам известным Владимиром Львовичем Бурцевым.

Нет, архивариус не показывался в редакции на Спасской. Поздними вечерами скользил близ Баскова переулка, где жил тоже известный вам присяжный поверенный Барт со своей женой Екатериной Ивановной: г-н Икс доставлял Бурцеву подлинные документы тайной полиции.

Нетрудно догадаться, что́ ему сулила сия доставка — даже и такой адвокат, как Барт, оказался бы не в силах избавить от каторги. Труднее угадать, что подвигло на сию доставку? Да, человечек-то был, как тогда говорили, двадцатого числа, то есть мизерного жалованья. Однако Бурцев не сумел бы оплатить такой риск. Затрудняюсь отыскать психологическую отмычку. В мемуарах Бурцева ни полсловечка. Может, и нашлось бы что-то в бумагах неизданных, да я не знаю, куда они делись: вечный холостяк умер в опустевшем, трагическом Париже, под грохот и лязг гитлеровских танков.

А сейчас, позабыв о стакане горячего чая, пятная пеплом мятую сорочку, небрежно поправляя пенсне, он быстро, цепко, ястребом просматривает департаментскую документацию. И отмечает закладками то, что не мешкая возьмутся переписывать, снимая копии, Бруно Германович со своей женой Катериной Ивановной. Не мешкая! Бурцев поклялся без промедления возвращать «секретные» и «совершенно секретные»: безопасность архивариуса не терпела пустот в шкапах за железной дверью — там, на Фонтанке, 16.

Они оставались вдвоем, Бруно и Катя. Работали молча, ни минуты роздыха. Склонялись над «секретными», «совершенно секретными», «доверительными», «совершенно

доверительными». За полночь стыли ноги, пробирала дрожь. Можно предполагать «мерзость запустения» в недрах тайной политической полиции, но когда не предполагаешь, а знаешь, то будто б ничего, кроме тягостного озноба, не остается ни в тебе, ни вокруг тебя. Но надо превозмочь отвращение и все успеть к сроку. Не только потому, что Львович, как отец зовет Бурцева, задумал нечто небывалое и чрезвычайно рискованное, а и потому, что отец, глядя шире и дальше Львовича, усматривает в кровавом маклерстве знамение времени, знамение и язву, с которыми смириться не может и не хочет.

Бруно и Катя склоняются над «секретными» и «совершенно секретными», ни минуты роздыха. На рассвете они вернут Бурцеву эти бумаги, а Львович вернет их только ему известному господину Икс.

Но вот уж поздний рассвет, за стеною свояченица собирается на работу, ей на Литейный, в больницу, к рентгеновским аппаратам. Слышу звуки будничного утра, умываюсь, мягкая вода чуть отдает болотом, завтракаю. Но, видит небо, мне не хочется идти в Пушкинский дом. И вчера, и позавчера, и третьего дня рысил, рысил, а нынче...

Я уныло тащусь к метро «Звездная». Неспешный снегопад пахнет полями и перелесками, отсюда недальними. Я вспоминаю лукавого варшавянина-историка: «Не все же, пан Юрий, за книгами сидеть, надо и в шинке посидеть». Справедливо! Да ведь заперто, до одиннадцати заперто. А снегопад пахнет перелесками, я опять думаю об ускользающем Иксе, потом думаю о безднах, отверзающихся в зашторенном кабинете присяжного поверенного Барта, и эти бездны, и этот слабый запах перелесков наводят на мысль о северном береге Финского залива, где зимой и безлюдно, и тихо, и далеко слышно. Там заколо-

ченные дачи, блеклые дюны и лобастые валуны; сосняк там и ельник, есть и дубравы, уютен посвист электрички, а Кронштадт чудится летающим блюдцем, низко зависшим над тусклым льдом... И это там, на северном берегу Финского залива, были завязки и развязки, было то, что давешней ночью отзывалось ознобом у переписчиков «секретных» и «совершенно секретных».

Какие зимы стояли в Петербурге, куда студенее нынешних!

На чугунной рогатине пожарной каланчи увидишь кожаный шар — стало быть, мороз-воевода шагает, двадцать пять градусов, не меньше. (Я прикидываю: это ж по Реомюру считали, а если по Цельсию — тридцать.) Все бегут вприпрыжку, на шубах, на лицах вдруг промельк малинового — от уличных жаровень, от уличных костров. Огненные блики на снегу напоминают мне таежную делянку, но лишь на мгновение, потому что тут не перекур лесорубов, вооруженных бензопилами, нет, ваньки-извозчики в синих зипунах глухо прихлопывают рукавицами. Но чу — зловещий, с подвизгом скрежет! А никто и головы не повернул: всего-то навсего тормозит конка — цепь, натягиваясь, прижимает к колесам тяжелые колодки. За мостом, на Выборгской, стоит черный, как браунинг, паровичок. Похожий и у нас, на Соломенной сторожке, некогда постукивал озабоченно, затихая в той стороне, где пруды и нечаевский грот. А здешний ходит на окраину, в Лесное — хоть сейчас к Бруно Германовичу Барту...

Сам себя хватаю за руку: ты ж писал, что сын Германа Александровича жил в Басковом переулке. Да, верно. Это он после революции, вплоть до тридцать восьмого жил в Лесном, у дороги в Сосновку. Гм, в шинок ты не заглядывал, а во временах заблудился? Нет, не то. Находит стих, и внятно ощущаешь текучесть всех этих «тогда» и «потом». Дробинкой себя ощущаешь в огромной, шаровидной погремушке; бессчетность дробинок, сталкиваясь, пе-

ремешивается. Есть общность твоя с теми, кто был, есть, будет. И с тем, что было, есть, будет. Ощущение, чувство... Разве они криминальны? Кому холодно или жарко, если на Финляндском вокзале я вижу в газетном киоске старомодного старичка киоскера? У него седая бородка с фасеткой, эдакой вертикальной пробритостью. Старичок киоскер не только продает газеты, а и меняет рубли на финские марки. Очень удобно, незачем тащиться в банк.

Великое Княжество Финляндское принадлежит российской короне, но у Великого Княжества Финляндского свое законодательство, свой сейм, своя территория. И свои, стало быть, границы. И свой, стало быть, пограничный досмотр, и, если вы везете, скажем, велосипед, какой-нибудь английский «бэнтам» или французский «анатин», извольте платить пошлину. Господа таможенники, у меня больная почка, привычный вывих плечевого сустава, наконец, радикулит — похож ли я на человека, которому нужен велосипед?

Гукнул поезд, тронулся. Вскоре шатнулись бледные одинокие дымы дачных местностей, летом людных — Озерки и Шувалово, Парголово и Левашово; а потом по холмам и низинам в окрестностях Куоккала, а потом сквозь березняки и ельники Келломяги, что теперь Комарово... И вот уж Зеленогорск, по-старому Терионки, а в Терионках прекрасный станционный буфет, едва ли не лучший на линии Петербург — Выборг. Можно пропустить рюмку вийна, то бишь рюмку водки, и заморить червячка. Надо, однако, задержаться на перроне — этим же поездом, хоть и в разных вагонах, приехали Бурцев и Лопухин.

Бурцев выглядел донельзя усталым. Оно и понятно: взбодрил журнал, посвященный освободительному движению, то есть выхватил из истории самое в ту пору горячее, но вот пошли прижимки, запреты, обыски в редак-

ции, ночные и внезапные, с изъятием рукописей и гранок. Львович понимал, что «Былое» вот-вот прихлопнут, а его вот-вот «захлопнут». Надо было убираться подальше, а ему брезжила идея капитальная, ибо он свел знакомства совершенно неожиданные, и теперь гвоздь программы — господин в высокой каракулевой шапке, в тяжелом драповом пальто с черным каракулевым воротником, импозантный господин, который тоже вышел из вагона.

Об этом господине с темными, чуть раскосыми глазами я мельком упоминал — прокурор Лопухин действовал очень расторопно на Украине и удостоился похвалы министра внутренних дел Плеве, а следом и предложения занять в его министерстве наиважнейший пост директора департамента полиции.

Призвания к сыску Лопухин не чувствовал. Он испытывал, однако, желание подвижничества во имя спасения родины от революции. Ярость мужицких мятежей была предвестьем катастрофы. И Лопухин принял должность шефа тайной полиции.

Очень скоро один из сослуживцев, подольщаясь, шепнул ему: министр распорядился перлюстрировать лично для себя частную переписку вашего превосходительства. Лопухин обиделся. Министр, бесстрастный и бледный, отвечал как бы лиловым, чернильным голосом, что перлюстрируют даже корреспонденцию великих князей, вероятно, и его, министра, переписку тоже, ничего зазорного, такова спе-ци-фи-ка. Лопухин смирился.

Камни преткновения обозначились иные.

Алексей Александрович исключал «второе издание» кишиневского инцидента уже по одному тому, что губернатором в Кишинев назначили его шурина князя Урусова, человека не только умного, а и порядочного, то есть без микробов юдофобства. Однако, постепенно постигая своим прокурорским умом секреты департамента, Лопу-

хин изумленно нашарил тайную пружину погромного механизма. Она была тут же, в департаменте, ему вверенном, и тот, кто непосредственно подкручивал ее, бравый ротмистр, цинически гордился: «Погром можно устроить какой угодно: хотите на десять человек, а хотите и на десять тысяч». Когда шурин приехал в Петербург, Алексей Александрович услышал: «На судьбы нашей страны влияют люди по воспитанию вахмистры, а по убеждению погромщики». Лопухин уважал шурина, но ответил неприязненно: «Ошибаетесь, любезный князь! Есть еще люди истинного государственного творчества».

Увы, он день ото дня убеждался, что это творчество в наиважнейшем департаменте министерства внутренних дел сводилось к творчеству провокационному. Лопухин отлично понимал необходимость всевидящего глаза и всеслышащих ушей. Как же иначе он узнал бы, что на министра снаряжается эсеровская бомба? Как узнал бы об угрозе царскому брату, хозяину Москвы? Да, так, но вот ведь что получилось. Узнать-то узнал, а предупредить и спасти не успел, не сумел. И возникла какая-то странная, пугающая зыбкость. Зыбкость эту ощущал он постоянно — и в служебном кабинете окнами на багровую громаду Михайловского замка, и в домашнем, на Таврической, куда наведывался особо секретный агент, при виде которого Лопухин не мог избавиться от брезгливости, а вместе и ощущения личной опасности. Причиной тому были внятные намеки на возможность террористического акта против него, Алексея Александровича Лопухина. Шантаж? Весьма вероятно. Ибо агент, зыркая кабаньими глазками, ссылаясь на уйму непредвиденных расходов, на частые поездки за границу, добивался (нет, похоже, требовал!) значительной прибавки. И все ж Лопухин не отвергал возможность покушения. Еще совсем недавно была такая прочность, такая устойчивость, такая неколебимость. И вот заря века — в поднебесье взлетают

аэропланы, урчащие авто рвут воздух в клочья, прогресс, прогресс материальный, а регресс-то духовный. У тебя достаточно мужества, чтобы отстаивать свои взгляды на государственное творчество; признавая необходимость политического сыска, ты желаешь сочетать его с твердой законностью — и вот твое мужество круто мелеет. Бомбой в куски! Странно, но ужасали и мучили не мысли о тяжких физических страданиях, а постыдность кусков его мяса и дымящихся внутренностей. Так в Петербурге случилось с министром Плеве, так в Москве случилось с великим князем Сергеем.

И все же Лопухин не просил отставки. У него хватало упорства, пусть и келейно, но обличать департаментские методы, добиваясь обручения сыска с законностью. Его юридический ум отторгал «спе-ци-фи-ку». Но она, как и следовало ожидать, оказалась сильнее. Из-под седалища Лопухина вышибли кресло. А малость спустя и вовсе удалили с коронной службы согласно пункту третьему, то есть «без объяснения причин и права обжалования». Им овладела жажда мести. Не хотите внимать моим настояниям? Прекрасно! Ваши барабанные перепонки лопнут — есть бомбы оглушительнее динамитных. И вы, господа, наконец сообразите, что на вахмистрах и погромщиках державе не устоять, что провокация обоюдоостра и что тайное всевластие тайной полиции чревато гибелью.

Нуждаясь в рупоре, Лопухин искал встречи с Бурцевым. Общих знакомых не было. Была «проследка», заведенная Особым отделом: «О сыне штабс-капитана Владимире Львове Бурцеве» — живет на Невском, в Балабинской гостинице, ездит в Вильну, бывает там-то и там-то. Но Бурцев не значился ни на бланках синего цвета — для социал-демократов, ни на красных — для социалистов-революционеров, ни на зеленых — для анархистов, ни на белых — для кадетов. Сын давно покойного штабс-капитана, Владимир Львов Бурцев, 1862 года рождения,

бывший административно-ссыльный, бежавший некогда из Балаганска Иркутской губернии (государь, тогда царствовавший, не терял, однако, надежды: «Авось еще попадется!»), этот Бурцев формально не числился ни в одной партии. Журнал «Былое» Лопухин читал внимательно. Но ему и в голову бы не пришло искать встречи с Бурцевым, не всплыви в памяти злобное: «Маньяк!» Так обзывал Бурцева сверхсекретный агент: «Маньяк! Я гоню от себя всех, кто с ним знается».

Минувшим летом Лопухин посетил редакцию «Былого». Щупленький, неряшливый господин в косо сидящем пенсне не скрыл радостного изумления, и это шокировало — Алексей Александрович почувствовал некое неприличие своего положения. О да, разумеется, благие намерения, и все же он — Лопухин! — пожимающий нервную, сухонькую, в чернильных кляксах лапку этого республиканца. Разговор был долгим. Они сходились в главном. Но Лопухина не оставляла тревога. Он не опасался за то, что у ж е было им сказано. Он опасался за то, что е щ е не было сказано. Мягко и вместе настойчиво Бурцев давал понять собеседнику — оставьте почву теоретическую, вступайте на почву конкретных обличений. А тут-то и возникло у Лопухина, казалось бы, совершенно неуместное ощущение «двоеженства» и «свинства».

Первое напоминало об отце, второе — о Дурново, а все вместе доносилось словно бы эхом гневного окрика покойного императора Александра Третьего, которого Лопухин уважал за твердость правил, пусть не всегда правильных.

Отец Лопухина, богатырь и красавец, лет с двадцати совершенно седой, умный и веселый, что называется, душа общества, отец, уже женатый, папенькой пятерых сыновей, влюбился в некую блистательную даму. Роман был до поры скрытым: семья жила в Орле, отец сперва в первопрестольной, потом в Петербурге. Адюльтер претил ему,

и он двинулся в обход закона: вышла какая-то командировка в Константинополь, блистательная дама последовала за своим рыцарем, а на Босфоре-то они и обвенчались, получив разрешение греческих иерархов. Вернувшись в Петербург, зажили открыто. Дошло до государя, и государь, истовый хранитель семейной морали, распорядился: «Убрать двоеженца со службы!»

Что же до свинства, учиненного Дурново в бытность директором департамента полиции, то об этом Лопухин слыхивал не однажды; всякий раз и рассказчик и слушатели разражались хохотом. Опять-таки и в этой историйке присутствовала обольстительница. Бо-ольшим женолюбием отличался почтеннейший господин Дурново. А тогдашняя пассия господина Дурново отличалась ничуть не меньшим мужелюбием. И параллельно амурилась с послом испанским. Дурново взбеленился и велел своему агенту, камердинеру испанца, выкрасть письма коварной дамочки. Агент-камердинер спроворил похищение как заправский взломщик. Дурново, брызгая слюной, представил своей пассии неопровержимые доказательства ее подлого двурушничества. Та, ударившись в слезы, кинулась в посольство. Взбешенный дипломат пожаловался государю. И государь надолго оборвал карьеру Дурново: «Убрать эту свинью в двадцать четыре часа!»

Да, странное и унизительное ощущение своего «двоеженства» и «свинства» возникло в душе Алексея Александровича, когда в захламленной редакционной комнате этот «маньяк» Бурцев с мягкой цепкостью толкал его к разоблачениям конкретных провокаторов. Лопухин уклонился, черту не переступил. Не потому, что сознавал, что за нею, за чертой, уже не теоретическое единомыслие, а практическое единодействие, то есть преступление государственное. Он мог бы поклясться — не страх удерживал, а вот это унизительное ощущение «двоеженства» и «свинства».

Он еще и еще навещал Бурцева. Догадывался, что тот нащупывал сверхсекретного обладателя кабаньих глазок. Однако не бурцевская догадка дыбила волосы; нет, своя — Лопухину вспоминались и подчистки в записях-хрониках московских филеров накануне убийства великого князя Сергея, и некоторые обстоятельства убийства Плеве... Он с ужасом думал о том, что практика вершилась помимо его воли, хотя он и возглавлял тогда тайную полицию, и тут уж не зыбкость — топь, подернутая ряской.

А сейчас импозантный господин в тяжелом драповом пальто и высокой каракулевой шапке, отставной действительный статский советник, прошел мимо меня по дощатому, в змейках поземки перрону финляндской станции Териоки, и я, призадумавшись, упустил его из виду.

Впрочем, невелика беда. Недолгим было рандеву Лопухина с Бурцевым. Экая, ей-богу, нелогичность: Лопухин сам же согласился на встречу и опять не дал прямых ответов на проклятые вопросы. Обещал свидеться с Бурцевым за границей, где-нибудь да как-нибудь.

А мне ехать дальше. Такой мороз, такой мороз! Спрошу, когда поезд на Выборг,— и в буфет. Будьте уверены, я там не брякну: «Антака минуллэ ласи майтоа» — «Дайте мне стакан молока».

Выборг... Выборг...

Не так уж и много разбитого, зияющего. Солидные дома с гранитными бельэтажами, особняки угрюмого шведского модерна, старинная цитадель, и кирка, и маленькие площади. Но ни единого жителя. Выборг пуст. А ночью где-то на окраине и в мертвом порту занимается бесшумный, грозный пожар. Ночью по суровой брусчатке, по трамвайной узкоколейке, то исчезая во тьме, то вновь возникая в лунной полосе, движутся крысиные ар-

мады, издавая коротенький пронзительный писк, жутко, как в потустороннем мире. С рассветом наша рота «печатает шаг». Капитан-лейтенант Караваев, косолапо прихрамывая и вытягивая шею, кричит: «Вся рота — джаз! Запе-вай!» — и мы запеваем, мы поем: «Морская гвардия идет уверенно» или «Вин-тами буруны поднимая», поем горласто, выпятив грудь, нам, курсантам, кажется, что мы и впрямь альбатросы морей; а впрочем, почему бы и нет? Недавно все мы ходили в Баренцево, оставляя за кормой полуостров Рыбачий. Рота «печатает шаг», в гулком и ажурном от инея Выборге девятьсот сорок четвертого года.

Но этого Выборга еще нет. Поезд, восемь минут отдыхавший на станции Териоки, петербургский поезд, минуя мост, подходит к вокзалу, и уже видно, что в гостинице «Континенталь» целы все окна. Полисмен предлагает пассажирам жетончики: нужен извозчик? — пожалуйста, вот за таким-то номером дожидается вас на площади.

Город, конечно, не пуст, однако и не многолюден. Все больше финны и шведы, русские же в армейских и артиллерийских мундирах.

Не суйтесь в Военное собрание — штатским вход воспрещен. Да и скука там образцовая, а брань свирепая — так уж заведено при игре в вист. Я приехал в сумерках, но лавки еще не затворили. В доме на улице Серого братства и в магазине Стальберга, на Екатерининской, можно было приобрести огнестрельное оружие по ценам, как гласило объявление, «весьма умеренным». Да-а, порядочки, доложу я вам, ничего не скажешь! А ведь неподалеку, совсем рядом,— что-то вроде съезда Боевой организации социалистов-революционеров.

У меня нет желания вникать в планы боевиков, а приглядеться к главе Боевой организации необходимо. Лет десять с лишним спустя он упокоится близ Берлина, на

сельском кладбище, под дощечкой «446», но пока-то он еще жив.

Надо идти к Рыночной площади, мимо огромного катка, освещенного электрическими фонарями, и я иду мимо катка, прислушиваясь к полковой музыке и завидуя быстролетным кавалерам и барышням в вязаных шапочках. Потом сворачиваю в узенький, темный проулок и попадаю в крохотный отель «Сосьете». Винтовая лестница — в меблированные комнаты второго этажа; двери направо — в зал для табльдота.

В этом низеньком, с потолочными балками зале, у камина, в кресле-качалке сидел старик с белой окладистой бородой. За длинным столом при свечах заканчивали ужинать и начинали курить мужчины и женщины. Никому из них не было и тридцати. Повторяю, собравшиеся (кроме старика) принадлежали к БО — Боевой организации партии социалистов-революционеров. Здесь же находился и один из основателей партии, член ее центрального комитета, руководитель и распорядитель групп, занятых, как он говорил, р а б о т о й в терроре.

Строжайше законспирированная БО была самостоятельной, обособленной, со своей кассой и своими явками, паспортным бюро и динамитными мастерскими. Нынешнее собрание я, пожалуй, обозначил не точно: не съезд, нет, совещание представителей нескольких боевых групп. Они уже все обсудили и все решили, а сейчас, не произнося прощальных слов, прощались друг с другом — ни один не поручился бы за завтрашний день.

В сумраке, в отсветах свечей так тяжко, так печально и тяжко видеть этих молодых людей в минуты молчаливого расставания — ни щепотки сторонней примеси, только застенчивая любовь, сострадание каждого к каждому.

Я вижу склоненную русую голову Сашеньки Севастьяновой — совсем немного до того дня, когда она метнет бомбу в московского генерал-губернатора, у него лишь

кокарду сорвет, а она рухнет на мостовую с выбитым глазом и проломленным черепом; ее перевяжут в Басманной больнице и поволокут на шаткий, наспех сколоченный помост — повесят «неизвестную»: она не назовет своего имени, оберегая от провала товарищей.

Ее соседка, Маша Беневская, разливает чай, розовеет подбородок и тонкое запястье, а руки изранены, правой кисти будто уже и нет — отсечена метательным снарядом на конспиративной квартире, осколками искромсано лицо, то-то глумится смотритель Мальцевской тюрьмы, однако и головой испуганно качает, не понимая, как у этой Беневской Марии достало сил очистить квартиру и запереть входную дверь, сжимая ключ зубами.

Маша Беневская разливает чай, стакан в подстаканнике принимает Лев Иваныч Зильберберг, у него пышные, густые черные усы. Ему вскоре предстоит вывести боевиков на фон дер Лауница, беззаконно убивавшего тамбовских мужиков-повстанцев, а потом и на главного военного прокурора Павлова, законно убивавшего мужиков-подсудимых... Зильберберг наклоняется к Маше Беневской, к Сашеньке Севастьяновой и шепчет, шепчет, счастливо улыбаясь. Уж не о том ли, что стал отцом? Не об этом ли? Из Трубецкого бастиона он вскоре напишет жене: «Я отказался от свидания. Для каждого человека есть предел духовных страданий... Когда я представляю себе ее, эту маленькую девочку, которую я не знаю и которую так люблю, представляю, как она будет смотреть и не понимать, что происходит, быть может, даже заплачет, увидев незнакомое лицо... я не могу. Прощай... Это ужасное слово как будто носится в воздухе и, как звук колокола, замирая, становится все тише и тише».

Но все громче, все громче звучит «прощай» в четком ритме военного парохода: Зильберберга везут и задушевного друга его Митрофана Сулятицкого тоже везут на Лисий нос... Песок и камни и каржавые дубравы и

хвойный лес. Отсюда, с Лисьего, в годы Отечественной переправлялись наши на Приморский плацдарм, а за глухим высоким забором, в бревенчатом неприметном доме лихие ребята в тельняшках снаряжались в смертельно опасные рейды по вражеским тылам... Все громче и громче звучит «прощай» в четком ритме военного парохода — Зильберберга везут и Митрофана Сулятицкого: песок, камни, высокие сосны — прозелень рассвета над виселицей.

Все было бы иначе, если бы тем пароходом командовал лейтенант Никитенко! Кудлатый, узколицый, с ямочкой на подбородке, он курит, прищуриваясь, а я гляжу на него и думаю, как хорош был этот рослый и стройный человек на борту черноморского миноносца. Ему едва за двадцать, Борису, а он уже в отставке, он в штатском сюртуке: мундир и убеждения оказались несовместными. Да, если б Никитенко распоряжался проклятой железной коробкой, в которой возили смертников на Лисий нос. Но месяц спустя, вслед за Зильбербергом и Сулятицким, услышал и он это «прощай», ибо оказался виновным «в приуготовлении к посягательству на священную особу государя императора». Я читал его предсмертные строки: «О себе писать решительно нечего. Скажу только, что спокоен и совершенно готов ко всему».

Вижу его на дамбе, на берегу, на лесной дороге к казарме, к пороховому складу, к виселице. Но нет уже раннего рассвета, а есть уже августовские ночи, и потому у конвойных фонари. Как и всех до него, как и всех после него, ведут Бориса трое жандармских унтеров. И уже не «прощай» гремит в моих ушах, а кандальное железо, ручное и ножное. Казенное это имущество вернут в Трубецкой бастион Петропавловской крепости — кто следующий за флота лейтенантом Борисом Никитенко?

Все пройдет, все минется. Купишь справочник, толкующий названия географических пунктов,— просветишься: на Лисьем-то носу, оказывается, «прекрасный пляж» и

«отель на 400 мест для иностранных туристов», и еще, и еще разное. Да только не прочтешь, кто и когда принял смерть там, где нынче «ведется большое жилищное строительство». Все пройдет, все минется. Роскошным прогулочным теплоходом плыл я из Перми в Ленинград, флаг не был приспущен на траверзе Шлиссельбурга. Хором грянуло: «А молодой туристке дома не сидится, она берет туриста и едет веселиться...» Пройдет все и минется. Но сейчас, в сумраке, в отсветах свечей и каминного пламени, я ловлю взгляд Тани Лапиной. Танечка Лапина, суровая и нервная, ты питаешь безграничное доверие к Ивану Николаевичу, нет тебе человека дороже, ты накрепко связана с ним работой в терроре, а ведь не за горами весна, когда ты пустишь пулю в висок. Не потому лишь, что тебя заподозрят в измене, а потому, что изменник именно этот человек.

Он безобразен, у него широкое, скуластое, низколобое каменное лицо. И каждый, кто сейчас в «Сосьете», впервые встретив Ивана Николаевича, испытал чувство почти отталкивающее, почти враждебное. Испытав — стыдился. Он был столпом партии. Он возглавлял БО. Он всегда и всюду, зримо иль незримо с ними.

Иван Николаевич говорит изредка, нехотя, лениво. Я нет-нет да и задерживаю взгляд на его руках — маленьких, точеных, женственных, словно бы чужих, сторонних громоздкому, тяжеловесному торсу. В этих руках нет ничего зловещего, а ведь они-то и намыливают веревку, ибо тот, кого называют простецкой, конспиративной кличкой, не кто иной, как А з е ф.

А чуть поодаль, у камина, полулежит в ковровой качалке мой ровесник. Он вдвое старше боевиков. Здесь все величают белобородого Марком Андреевичем, и это не кличка, а подлинные имя-отчество. Он вперился в камин. Пламя придает его резко-морщинистому лицу, давно и навсегда обожженному якутскими стужами, сходство с

индейским вождем. На губах Натансона, если наблюдать пристально, ловишь странную полуулыбку — то ли недоверия, то ли презрения. Сознаюсь, мне не по вкусу и взгляд Натансона: не то чтобы смотрит, а как бы ощупывает. Но вот ведь люди, высоко мною чтимые, отмечали его энергию, уверяли, что он пользовался уважением, товарищем был редкого бескорыстия. А для тех, кто сейчас в этом низеньком зале, Натансон Марк Андреевич живая история. У него б ы л о е, о котором еще не успели поведать страницы бурцевского «Былого», две книжки которого я вижу в углу на пустом стуле. Да, живая история: один из учредителей «Земли и воли», участник политической демонстрации у Казанского собора, устроитель побега Кропоткина из тюремной палаты военного госпиталя...

Спору нет, живая история. Но отчего же он молчит, Марк-то Андреевич? Почему он не скажет об уроках прошлого обреченным, жестоко ошибающимся молодым людям? Не потому ли, что и сам не извлек этих уроков? Не потому ли, что пребывает в шорах минувшего? Не потому ли, что глух к опытам революции?.. Какая странная полуулыбка возникает под его усами и, слабо струясь, исчезает в окладистой бороде... Но вот он кладет руки на подлокотники кресла-качалки, кивает, соглашаясь на общие просьбы, и я ловлю в себе почти ненависть к этому человеку с резко-морщинистым лицом. Уж лучше бы он отмолчался, а не приступил к рассказу о своем первом аресте.

Нет, приступил.

Давно, в начале семидесятых, слушателем Медико-хирургической, он горячо ввязался в студенческие беспорядки. И как раз тогда же, нежданно-негаданно получил из Женевы пакет: «Передать Натансону». Отправителем был... Нечаев. Да, да, Сергей Геннадиевич Нечаев. Нет, с Нечаевым он не дружил. Напротив! Ибо в ту пору раз-

мышлял о соотношении этики и революции, прямо-таки болел вопросами этическими. А вот и, пожалуйста, пакет Нечаева с конспиративными поручениями. И ты тотчас, конечно, на крючке у Третьего отделения. Как же иначе? А между тем...

— Я и сегодня здесь, среди вас, на том самом пути, на котором бросил меня Нечаев. Если я имел основания быть недовольным Нечаевым за свой арест, сознательно им вызванный, то моя вечная ему признательность за то, что он разом вырвал меня из окружающей среды и обстановки и поставил на революционную дорогу.

Азеф, бомбический маг, чародей виселиц, растягивал губы в лениво-признательной улыбке.

Старинное заведение на Мойке не было шикарным, как, скажем, ресторан на крыше Европейской гостиницы. У «Донона» не появлялись ни дамы с ридикюлями, где шприц Праваца для морфия, ни загадочные молодые люди с синевою под глазами и томиком Альфонса Алле в руке, ни свихнувшиеся оригиналы с веригами под мундиром, ни золотушные щеголи с бледной гарденией в петлице костюма от Анри... Нет, заведение на Мойке не было шикарным — оно было респектабельным. Не потому, что подавались редчайшие коньяки, а винные бутылки изысканных марок обросли, как мхом, вековой пылью; не потому, что кулинария достигла высшей изощренности; не потому, наконец, что прислуживали лакеи благообразные и бесшумные, знавшие постоянных гостей не только в лицо, но и по имени-отчеству. «Донон» был респектабельным по той причине, что в кабинетах второго этажа с отдельными входами и за столиками маленького садика, напоминавшего монастырский, завтракали или ужинали и лица императорской фамилии, и министры, и сенаторы, и свитские генералы.

В свите его величества генерал Герасимов не числился. Но у «Донона», случалось, ужинал в изолированном кабинете с бордовой плюшевой мебелью, бронзой и фортепиано. Когда в начале прошлого царствования возникла «Священная дружина», пожелавшая управиться с народовольцами решительнее штатной полиции, взволнованные дружинники совещались именно в этом кабинете. Впрочем, Герасимов, человек занятой, историческим воспоминаниям не предавался.

Они сидели друг против друга, и Азеф, насупясь, думал, до чего ж ему не по себе с этим генералом. Лопухин и Герасимов — разница!

Герасимов держал Азефа на коротком поводке. Это было тягостно не потому, что страдало дело, оно-то делалось мастерски. Э нет, другое, глубоко потаенное. И кушем не измеримое. Могут дать больше, могут дать меньше, но настоящей цены нет. Герасимов платит недурно, но Герасимов отнимает наслаждение редчайшее. Кто вот здесь, в кабинетах и в садике, кто изо всех сиятельных, власть имущих, посмел бы играть две роли, исключающие одна другую?

Сотрапезник Азефа понимал, что агента такого ранга и веса не было у него и не будет; понимал и то, что Азефа не сопричислишь к тем, кто баррикадами грезил, но потом предпочел ездить за свой счет в Александринский, нежели за казенный в Якутию. Однако наслаждение Азефа своей двойной властью оставалось для богатыря сыска книгой за семью печатями.

Впрочем, сейчас ему вообще были решительно безразличны любые книги за любыми печатями. У него созрел грандиозный проект. Исполнение требовало безусловного подчинения. И Герасимов нашаривал «пружинку» — его занимала Менкина.

Лет десять тому назад могилевская белошвейка вышла за Азефа. Вот уж несколько лет жила с детьми в Па-

риже, работала секретарем редакции газеты «Революционная Россия». В эмигрантской среде у Менкиной была безупречная репутация. Это-то и устраивало генерала Герасимова. Особенно с тех пор, как он — не без мимолетного сочувствия — уловил привязанность Азефа к своим мальчишечкам, навестить которых, повидать и приласкать в доме на бульваре Распай было Азефу праздником. Не тут ли искомая «пружинка»? Весьма, конечно, хрупкая. Герасимов медлил надавить, нажать. Однако решился. А коли не сорвется, то и приступить к исполнению грандиозного проекта.

Ему были известны ближайшие намерения Азефа: краткое отдохновение на рейнском курорте, потом — конференция в Лондоне. И генерал, словно бы невзначай, спросил, не приедет ли Любовь Григорьевна на рейнский курорт.

— Вам это, собственно, зачем? — Комкая салфетку, Азеф быстро и настороженно взглянул на генерала.

— А что? — ухмыльнулся Герасимов. — Или у вас на примете другая?

— Послушайте,— хмуро сказал Азеф,— мои семейные дела вас не касаются.

Герасимов не обиделся, но уже и не улыбался. Продолжить ли? — вот в чем была загвоздочка. Он взял несколько в сторону.

— Вы в Москве-то знавали Зубатова, я и подумал — у тезки моего со своими сотрудниками было по-домашнему.

— Он не вмешивался.

Герасимов опять улыбнулся, но уже не фамильярно, а как бы предупреждающе и едва приметно нажал «пружинку».

— Ежели угодно, то у нас ведь и семейное соотносится с несемейным.

Азеф набычился.

— Раз и навсегда! не трогайте моих отношений с Любовью Григорьевной.

— Так ведь я вот о чем... — Генерал вздохнул с видом крайней озабоченности. — Понимаете ли, было б крайне прискорбно, если бы какая-нибудь пустяковина, грошовая, мало ли что, и вот жене-то вашей вдруг стало бы все известно.

Азеф, бледнея, опустил толстую нижнюю губу.

— Что... известно?

Герасимов скорбно покачал головой.

— Нда-с, та-кое известие ранило б ее смертельно. Надеюсь, вы поняли, речь не о вашей супружеской неверности.

Играя ножом, он сидел потупившись, внятно ощущая тяжелый, ненавидящий взгляд Азефа. Тот рассмеялся внезапно и хрипло.

— Не поверит! Никому и никогда не поверит!

— Ой ли? — весело спросил генерал, сразу и наверняка поняв, что вот она и выскочила, «пружинка» — большеглазая, большеротая миловидная евреечка Менкина.

Герасимов не ошибался. Он был лишь на дюйм неточен: не одна Люба, а Люба и дети вместе, Люба и мальчишечки, и Азеф все ниже ронял губу. А Герасимов мягким, тигриным шагом пошел к портьерам и, как вышибая, пнул дверь. Снизу, из ресторанного зала, ворвалась музыка, внизу, в ресторанном зале, оркестранты были в темно-красных фраках, и Азефа будто б ослепило багровое.

Из коридора никто не подслушивал. Заперев двери, генерал вернулся к столу. Открытое, холеное, всегда хорошо вымытое и как бы хорошо выглаженное лицо его внезапно избороздили грубые складки. Азеф, угадывая нечто необычайное, с тоненьким присвистом втянул воздух и подобрал влажную губу.

Разошлись они в третьем часу.

Экипаж, длинно шурша, плавно унес генерала. Азеф различил в тишине слабый треск вольтовой дуги — фонари-бра освещали подъезд опустевшего ресторана.

Ревнивец, он запретил ей петь на публике. Амалию это радовало. Она устала от огней, пестроты, шума, флирта, букетов; шампанское от Кюба вызывало у нее тошноту. Конечно, пришлось отказать слишком дорогой портнихе. Но это не огорчало. Ей хотелось тишины. Она звала его «мой Мулат». Он был восхитительно ревнив; однажды даже отхлестал перчаткой по щекам, она, рыдая, клялась в верности. Если б только он знал, как ей хотелось ребенка, его ребенка. И чтоб они уехали в город ее юности. Неслись бы мимо монументальных, тяжеловесных станций, видели железнодорожных начальников в синих сюртуках. А потом, в Берлине, хлынет в окна электрический свет, и шнелльцуг, ноя тормозами, заклубит пар под сводом Центрального вокзала, и она, счастливая, выйдет на Фридрихштрассе и увидит белый угол Централь-отеля.

О-о, в Берлине они стали бы жить очень гигиенически. Она варила бы отличный кофе и подавала бы вкусные хрустящие булочки. А Мулат, сидя у окна в халате и колпаке с кисточкой, курил бы длинную трубку. Они водили бы малыша в Зоологический сад поглядеть на слона. Или на Унтер-ден-Линден поглядеть на кайзера — император прогуливается, из ворот гауптвахты выбегает караул и салютует — айн, цвай, драй! То был голубой цветок — мечта, греза. Но Амалия верила, что все, все сбудется...

Она жила на улице Гоголя. Квартирку нанял Азеф. Ему там все нравилось. И то, что в спальне с синими обоями свешивались с потолка новомодные фонарики.

И то, что Амалия встречала его в розовом платье с букетиком фиалок на поясе. И то, что в гостиной висел «Остров Мертвых» в багетовой рамке, а «Дневник горничной» Октава Мирбо на круглом столике с раковиной-пепельницей всегда был раскрыт на одной и той же странице. А главное то, что он как-то очень, очень подлинно чувствовал себя здесь удачливым коммивояжером «Всеобщей компании электричества», то есть именно тем, за кого и выдавал себя этой глупышечке.

Мечту-грезу она не таила от Азефа, и тот, развалясь, вдруг и ловил себя на мысли, что эдак-то и вправду было б недурно, ибо тогда уж не было б никаких БО и никаких герасимовых, а глупышечка всегда бы любила его, какой бы фортель ни выкинула судьба.

Года два спустя чета Неймайер учредила в Берлине ателье корсетов и модного дамского платья. Она готовила душистый кофе с хрустящими булочками. Он сиживал у окна в халате и колпаке. В воскресные дни они хаживали в Зоологический сад послушать отличную полковую музыку — это стоило две марки. А на Унтер-ден-Линден они видели кайзера Вильгельма — это не стоило и пфеннига. Увы, бог не дал младенца. Но она смирилась, а он не роптал. Соревнуясь в экономии, они завели отдельные чековые книжки. Она выписывала иллюстрированный журнальчик, он — беспартийную газетку. Оба были равнодушны к политике. Правда, он все-таки интересовался выборами в рейхстаг. Оказалось, в Берлине жительствует четверть миллиона социал-демократов, значительно меньше свободомыслящих, еще меньше консерваторов.

Ах, пять лет голубел цветок голубой. Но вот заговорили пушки. Полковая музыка в Зоологическом саду умолкла, кайзер не прогуливался по Унтер-ден-Линден,

кофе безумно вздорожал, социал-демократы ратовали за одоление варваров-славян, а берлинская полиция ловила шпионов. И в громах европейской войны никто, кроме г-жи Неймайер, не расслышал вскрика фальцетом г-на Неймайера — он был арестован.

Арестованного препроводили в Моабит. Амалия, кажется, никогда не бывала на этой бесконечной, как ее горе, Инвалиденштрассе. Надо было миновать и сельскохозяйственный институт, и естественный музей, и горную академию, и множество жилых домов, прежде чем увидишь высокие деревья парка, напротив которого находятся уголовный суд и тюрьма Моабит, одинаково угрюмые. У г-жи Неймайер текли слезы. Она не хотела знать, кто он такой, ее Мулат. Она знала только, что любит его по-прежнему, любит, как в Петербурге, и горько сожалеет, что они поселились в этом бездушном городе, где никому нет дела до страданий ее бедного Мулата.

И верно, Азеф, он же Неймайер, страдал от несправедливости. Его обвинили в шпионстве. Если он и шпионил, то отнюдь не во вред Германской империи. Его обвинили в анархизме. Ни социалисты-революционеры, ни департамент полиции анархизма не исповедовали. Какая чудовищная несправедливость!

Г-жа Неймайер обивала пороги испанского посольства, представлявшего в Германии интересы русских подданных. А г-н Неймайер писал в Стокгольм, «высокому комитету имени ее императорского высочества великой княгини Татьяны Николаевны» — просил посредников добиться разрешения покупать продовольствие за свой счет: совершенно необходима диета, он страдает почками.

Кто уж там посодействовал — посол испанский или «комитет имени ее», сказать трудно, а только в один прекрасный день немцы, сообразив, что г-н Неймайер не занимался в о е н н ы м шпионажем, предложили сменить моабитскую одиночку на лагерь для гражданских пленных.

Это было бы совсем неплохо, если бы Неймайер не был Азефом.

После того, как маньяк Бурцев и этот проклятый Илья Муромец русской революции... Нет, даже и не столько маньяк, так сказать, технический распорядитель, сколько именно Лопатин, с авторитетом и весом, суждениями и мнениями которого посчитались и те, кто долго не верил в предательство одного из основателей партии и главы БО, после того, как маньяк и шлиссельбуржец сделали свое дело — он, Азеф, был публично объявлен провокатором, о нем наперебой писали газеты отечественные и неотечественные, его портреты попали и в периодику и в отдельные издания. А теперь колбасники требуют: никакого Неймайера, в лагерь пойдете только под своей подлинной фамилией. Идиотические педанты! Нечего сомневаться, в лагере непременно найдется мститель, и тебе крышка.

Вот и опять, думал Азеф, вот и опять чудовищная несправедливость! Суть не в том, что бомба Созонова, убившая Плеве, как и бомба Каляева, убившая великого князя Сергея, были нацелены, и нацелены без промашки, им, Иваном Николаевичем. И Россия отнюдь не оплакивала ни Плеве, ни великого князя. Суть даже не в том, что так и не решено, на чью мельницу он вылил больше воды — революционеров или реакционеров? О, самая сокровенная суть, убеждал Азеф, словно бы и не себя, а того мстителя из лагеря для пленных, суть, она ведь вот какая: работая в терроре, он работал против террора. Людей, жаждущих подвига, посылал на подвиг, а вместе и на эшафот вовсе не ради подвига и эшафота. Нет, хотел, чтоб все наконец поняли, что между нами и теми, кто живет после нас, нет никакой связи, что есть лишь прижизненное счастье, независимое от того, будут ли счастливы другие. Всем лучше никогда не будет. Единственная гармония в отсутствии гармонии. Нет ничего

дороже своей единственности. Зачем же эти лихорадочные помыслы о грядущих поколениях?.. Так Азеф убеждал не себя, а другого или других, тех, что в лагере для гражданских пленных, убеждал горячо, искренне, но знал, что его не поймут, и предпочел дожидаться лучших времен в моабитской одиночке. Спасительной, однако и губительной, потому что в тюремных условиях все сильнее сдавали сердце и почки.

На четвертый год заключения ворота моабитской тюрьмы выпустили бывшего шефа БО и бывшего сверхсекретного агента уже несуществующей империи. Стариковски шаркая, он увидел весенние облака, изумрудную дымку парка — и всхлипнул. Г-жа Неймайер с помощью извозчика усадила его в пролетку, укутала пледом и повезла домой.

Лучших времен он не дождался. Сердце и почки отказывали. Он очень боялся смерти и часто плакал. Совсем обессилев, затихал в видениях юности: отец-портняжка, мать-стряпуха, прыщавые сестры; недоучившийся реалист, он подрабатывал секретарем фабричного медика, корректором и репортером ростовской газетенки. Нищенское житье, хорошее житье... А молодость? О, Карлсруэ, маленькая столица великого герцогства — парки и фонтаны, дворец и ратуша; тон задавали бурши-студенты, упитанные молодчаги с тросточками и жесткими, как жесть, высокими крахмальными воротничками, тугие щеки и медные лбы украшали шрамы почетных рапирных дуэлей. В кнайпах за кружками бурши чванливо третировали русских студентов политехникума за их глупое пристрастие к «политике», к «социальному». Пивных чураясь, уходили они в зеленые кущи и виноградники или отправлялись за восемь верст к Рейну, где дымили дюссельдорфские буксиры, на рейнском берегу пели: «Выдь на Волгу», смачивая горло аффентальским красным. Он неизменно был в гурьбе, в компании, он,

Азеф, прозванный земляками Толстым Жаком и уже обозначенный в бумагах департамента полиции «сотрудником из Карлсруэ» или, как написал однажды какой-то болван писарь, «сотрудником из Кастрюли»... Потом, в России, он часто рассказывал Любушке о своем студенчестве, Любушка смеялась и хлопала в ладоши: «Толстый Жак? Славно! Ведь ты и вправду — добродушный увалень». И она тоже стала звать его Толстым Жаком... Бедная Любаша, вечная тревога за него, ранняя седина в иссиня-черных волосах, она курила папиросы «Вдова Жоз», иногда казалось, что в этом есть какой-то печальный намек... Проклятый маньяк Бурцев и трижды проклятый старик Лопатин — они, они погубили тебя, Любушка. Особенно этот шлиссельбуржец, задушил бы своими руками — Лопатин, именно Лопатин, председатель третейского суда, положил конец сомнениям, колебаниям, всему положил конец. И ты, Любушка, ты стреляла в своего Толстого Жака, когда я, уже уничтоженный, пришел поглядеть на тебя, на наших мальчиков. Бедные, ни в чем не повинные мальчики, их сторонились сверстники, дети эмигрантов, жестокие, бездушные, указывали на них пальцем... И он опять плакал.

Он плакал, страшась смерти, жалея себя, Любу, мальчиков, жалея и верную сиделку свою, увядшую, некогда пышную, златокудрую глупышечку. Этим страхом смерти, этим ужасным нежеланием перестать быть, этой жалостью он впервые приобщался к человеческому.

Амалия похоронила его под сенью загородного кладбища. Заказать надгробье с именем покойного, родившегося в 1869-м и умершего в 1918-м, она не решилась — не хотела, чтобы могилу когда-нибудь осквернил осиновый кол. Но кладбище было немецкое, порядок требовал порядка, и на могиле поставили дощечку, меченную номером «446».

Когда могильщики ушли, Амалия, блекло улыбаясь, запела тихим дребезгливым голоском. Ревнивец, он запретил ей петь на публике. И вот она пела только ему, и зеленым деревьям, и зеленой траве: «Mein Herz ist betrübt» *...

Но все это годы и годы спустя.

Герасимов не был бы богатырем сыска, если б нынче у «Донона» не объявил свой проект. А он, Азеф, не был бы Азефом, если б ужаснулся генеральному плану этого генерала.

Азеф шел по улице Гоголя, голова была ясной, трезвой, холодной, а душа волновалась, душа предвкушала.

Сквозь сон Амалия смутно расслышала, как Мулат отворил дверь. Вставать не хотелось, а хотелось дожиматься в постели, ощущая себя не содержанкой, обязанной выбегать в неглиже к своему султану, а порядочной женщиной, почти законной супругой.

Разомлевшая, душистая, лежала Амалия, полуспящая, полубодрствующая, спокойно и счастливо дожидаясь, когда звоном медных пружин отзовется матрас на тяжесть грузного Мулата. Она сонно и нежно поцеловала его в щеку, угадывая, что Мулат чем-то очень озабочен, настоящему мужчине хватает настоящих забот, и сразу уснула — порядочная женщина, почти законная супруга.

Он был свободен от вожделения плотского. Его спедало предвкушение, но он медлил расчислять, примерять, прикидывать, отдаваясь неплотскому вожделению, всегда мучительному, сладкому, острому. Как ни негодуй на генерала Герасимова за его паскудную угрозу открыть

* Мое сердце тоскует (*нем.*)

глаза Любе, а проект прекрасен. И, медля расчислять, прикидывать, примеривать, Азеф длил минуты, ради которых стоило жить.

Ну, кто сейчас, в эту белую ночь, в этой огромной стране обладал большей властью, нежели он, сын ростовского портняжки, битого по мордасам квартальным за то, что портняжка, дрожа, как заяц, осмелился спросить должок? От кого сейчас, как не от него, Азефа, зависел роковой выбор? Он лежит в постели, узкая вертикаль, светлея между шторами, рассекает их черную плоскость. На одной стороне огненный факел уже начертал имя императора всероссийского, другая еще в багровых отблесках этого невидимого факела, ибо он, Азеф, только он, может решить, какое там обозначить имя. Но и это еще не все! Он, Азеф, обладает рычагом, способным опрокинуть замысел генерала Герасимова. Да, план прекрасен — покушение на императора! Широко шагаешь, богатырь сыска. Ой, широко, ай, широко. И веришь, что Азеф будет марионеткой в твоих руках. Ой, ошибаешься, ай, ошибаешься. Тебе нужна инсценировка покушения, лжепокушение? А ну как боевик-то, бомбист, отчаянный человек, ну как и выскользнет из-под нашего неусыпного бдения? Ты рассчитываешь захватить преступника в последнюю минуту, на последней черте? И карьерно взлететь — фррр — дальше некуда. Ан вдруг и захватишь воздух, пустоту? Скотина! Ты глядишь на меня как на маклера-крупье и уже определил мне кутаж-вознаграждение. Ты подло пригрозил, мерзавец: мною опозоришь Любу, мальчишечек моих опозоришь. Это мною-то, сокрушителем Плеве и великого князя Сергея? Я мог спасти обоих, как спас Дурново. Не спас, ибо м н е так было нужно, ваше превосходительство, м н е, Азефу.

Узкая вертикаль светила все ярче, захватывая краешки не вплотную сдвинутых штор. Фонарики, свешиваясь с потолка, казалось, тихонько колыхались. И эта

зыбкость, это покачивание были приятны Азефу. Во всем мире не сыщешь мудреца, гения не сыщешь, который определил бы его, Азефа, сущность. Ибо ему наплевать — покушение или инсценировка покушения. Ничтожества, мечтающие о явной власти и звонкой наличности, где вам понять сладость зыби, сладость выбора, эту мистику и вместе реализм?! Глупцы, нипочем не возьмут в толк, что у него нет никакой охоты обрекать смерти помазанника божьего, вымазанного кровью и грязью. Потому что нет к помазаннику ни капли жалости. А без жалости обрекать — это ваше дело, палаческое. Ты хитрая задница, Герасимов, и только. Можешь спокойно почивать, преступник будет схвачен в самый роковой момент, да, да, схвачен. И ты взлетишь — фррр. Но останешься всего лишь задницей с эполетными крылышками. Никаким синклитам или — как там? — никаким синедрионам не раскусить орех: обрекая боевика смерти, жалеешь его бесконечно и бесконечно тоскуешь.

Ведь дело-то было не в том, чтобы избрать исполнителя, которому наперед уготована ликвидация, провал, эшафотный итог. Выбор агнца предполагал сакраментальное пиршество духа. Оно всякий раз требовало усиленной, по сравнению с предыдущей, дозы сострадания к жертве и сострадания к себе, предназначенному вершить то, что никому в целом свете не доступно. Тут темная тяга дамочек-морфинисток, вооруженных шприцем Праваца: увеличивай, увеличивай дозу, иначе морфий не подействует. Но дамочки ширкали иглой где попало, по ляжке, по руке; он, Азеф, вонзал в сердце. И тогда избирался агнец.

Последним был Зильберберг, осчастливленный отцовством. Казенный пароход уже отстучал машиной, а на Лисьем носу близ флотских пороховых погребов разобрали до востребования складную виселицу, казенное же имущество — кандалы ручные и кандалы ножные —

вернули по принадлежности, то есть в Петропавловскую крепость. Теперь на очереди был Никитенко, вчерашний лейтенант флота. Азеф любил Бориса, любил и берег. И предвкушалось нечто родственное оргазму. Но сейчас Азеф сознал, что силы утрачены, исчерпаны, остается лишь вялая подчиненность. И ему показалось, что он попал в нелепое положение — то ли обманулся в самом себе, то ли обманул самого себя.

Вечером Азеф был у Герасимова на Мытнинской набережной, в домашнем кабинете богатыря сыска, как прежде бывал, правда, очень редко, на Таврической, в домашнем кабинете Лопухина.

Лопухину он никогда не открывал до конца карты. И пользовался безнаказанностью. Уверенность в безнаказанности была необходима для наслаждения всевластием. Как и бесконтрольный выбор жертвы. Этого-то и лишил Азефа генерал Герасимов, утрата невосполнимая.

Разговор вышел недолгий. Кандидатура «посягающего на священную особу государя императора», кандидатура наперед обреченного не вызвала возражений Герасимова. И Азеф в мыслях своих прощально махнул Борису Никитенко, кудлатому, с ямочкой на подбородке.

Генерал дружески осведомился, когда же Азеф намерен «восприять отдохновение», Азеф ответил: «На этой неделе уеду» — и, вставая, напомнил Герасимову, чтобы тот замолвил, где надо, словечко в случае задержки заграничного паспорта госпоже Зильберберг, вдове казненного.

Опять, как всегда после очередного предательства, был гнет опустошенности. Той, что могло утолить лишь новое предательство. Какая тоска...

Распахнем окна — пора впустить свежий воздух.

Не было в жизни случая, чтобы Лопатин самовольно явился на Фонтанку, 16. Возить — возили, водить — водили, но вот так, как теперь, нет, не бывало. Ему ничего не угрожало, он это прекрасно знал, а все ж, подходя к департаменту полиции, испытывал сложное чувство, в котором, право, находилось местечко и для предупреждающе-тревожных токов инстинкта самосохранения. Главное же было то, что всякий раз пробирала телесная, физическая неодолимая брезгливость, похожая на ту, что возникает у здорового, непричастного к медицине человека на пороге венерической больницы.

Однако лицо его, вся стать и походка выражали внушительную непреклонность и еще нечто, равнозначное, пожалуй, тому, что определяют — «сам черт не брат». Чиновники, скрывая оторопь, как бы передавали его глазами от одного к другому: «Гляди, тот самый!»

Товарищ министра, директор департамента, вице-директор говорили с ним очень вежливо, что, впрочем, всегда было принято у Цепного моста, где не орали, не топали ногами и не поминали Макара с телятами, обещая «сгноить» и «упечь», как городовые в какой-нибудь затрапезной каталажке. Но в этой вежливости обращения проглядывала и домашняя, что ли, короткость, признание давнего знакомства, когда нет нужды лицемерить и выписывать крепделя.

Сперва он испросил разрешения на постоянное жительство в столице. Ей-богу, несколько странно: уж кто-кто, а г-н Лопатин с юности «превзошел» законы Российской империи, и для него, конечно, не секрет, что по смыслу амнистии пятого года всем бывшим шлиссельбуржцам воспрещается проживание в Санкт-Петербурге вплоть до девятьсот тринадцатого.

Спорить г-н Лопатин не стал. Видно было, что он не очень-то и рассчитывал на благоприятное решение. Ну и отлично, отлично.

В таком случае, продолжал он, необходима заграница, вот, извольте, заключение светоча науки, профессора Бехтерева. К тому же, объяснял, не улыбаясь, г-н Лопатин, до смерти надоело затруднять Вильненское жандармское управление обысками, каковые совершенно бессмысленны, а ведь некоторая доля осмысленности должна присутствовать даже в действиях губернских жандармов. Сверх того он полагает, что у департамента полиции превосходная заграничная агентура, пусть потрудятся тамошние филеры. Разумеется, можно было бы тряхнуть стариной, исчезнув нелегально, благо в привисленских местностях не перевелись контрабандисты. Да, да, можно было бы явочным порядком избавиться от всего, что надоело, однако нельзя: срок поручительства, данного младшим братом, увы, еще не истек.

Правду сказать, Фонтанку устраивала формула — «для лечения». Во-первых, несмотря на внешнюю бравость, сивку все-таки укатали крутые горки. Во-вторых, капитальный враг — террористы, а г-н Лопатин давний противник террора; из последних же писем (понятно, перлюстрированных) явствует, что г-н Лопатин не приемлет террор, как средство особенно вредное в пору массового движения... Итак, формула «для лечения» была подходящей. Но нет формул, которые упраздняли бы формальности. Ну, ну, г-н Лопатин, вы же знаете, все пойдет нашим рутинным порядком.

После Фонтанки хотелось переменить сорочку, воротничок, манжеты. Однако возникало и другое. Если он еще и не решался повторить вслед за стариком Либкнехтом — мне не шестьдесят, а лишь дважды тридцать, то уже решался сказать себе — ты, брат, не пенсионер от революции.

Конец дожитию положила работа на Большой Конюшенной: переписка Маркса и Энгельса с Даниельсоном была готова для типографского станка, а стало быть, и

для русского читателя. Эта работа сопрягалась с частыми поездками на Спасскую, к Бурцеву. Бурцев приоткрыл люк в преисподнюю. Остаться в стороне? Опять, что ли, «ты для себя лишь хочешь воли»?

В «первой жизни» был Нечаев, был Синельников. Один исповедовал вседозволенность ради революции; другой — ради высших державных целей. Нынешняя чадила декадансом — ради собственного «я». Засучивай рукава, надо мыть грязное белье. И тут уж не до брезгливости.

Лопатин отдавал должное гневной страсти Бурцева к разгадке ребусов Фонтанки. И находил некоторые резоны в юридическом сопротивлении злу, которое выказывал бывший начальник тайной полиции, хотя и сомневался в чистоте побуждений обиженного отставкой статского генерала. Но страсть Бурцева и уж конечно рассуждения Лопухина не были Лопатину путевым компасом. Он собирался в Париж, к Бурцеву, не затем лишь, чтоб найти и пригвоздить сверхсекретного провокатора. Главное было в энергичном противостоянии пошлейшей, кровавой вседозволенности, зловещей убыли души.

Но и этим все не исчерпывалось.

И в Вильне, и в Петербурге он приглядывался к тем, кто сменил «старших, в борьбе уставших», к эсдекам присматривался, к эсерам. Немецким социал-демократам покойный Бисмарк однажды адресовал язвительнейшую реплику: «Если бы Лассаль воскрес и появился среди вас, он почувствовал бы себя, как орел в курятнике». Воскресни Лассаль, очутись он в России, почувствовал бы себя ощипанным петухом среди орлов. Что ж до эсеров, у тех лидировали террористы-боевики, тяга к заговорам, и потому «ходом вещей» все оборачивалось политическим ребячеством, напрасной гибелью, больше того и хуже того — пусть невольным, но пособничеством реакции. Так что ж, вчуже взирать, как водоворот погло-

щает пловцов, достойных лучшей участи? О, пусть уж Жорж Плеханов выльет еще один ушат ледяной трезвости! Каждому — свое. Засучив рукава, стирай грязное белье. Положи последние силы, доказывай: ход вещей, террорный и заговорщицкий, неизбежно ведет к шабашу кровавой, ядовитой вседозволенности. Бурцев основал революционно-пинкертоновское бюро в Париже, на какой-то улочке Люнен. Вынь душу из бездушных департаментских чинуш — уезжай.

Герцен говорил: бойся эмигрантства. Но ты не эмигрируешь — ты едешь «для лечения». Правда, не по Бехтереву. И не «дожитием» будет тебе Париж. Нет, возвращением в «первую жизнь». А на белом свете есть еще и город Лондон.

На ту сторону Ла-Манша звал Феликс: давай, брат Герман, обнимем друг друга, а то, глядь, и окочуримся в розницу. О, Феликс Волховской, это ж первые строки книги бытия: «Рублевое общество», Невская куртина, медные каски стражников... В мыслях о Лондоне был дом на Мейтленд-парк-род, стеклянный купол Британского музея, типография «Вперед!» в проулке с пакгаузами. И была в мыслях о Лондоне желтизна казематного фонаря на странице журнала «Научное обозрение» — узнав о ее самоубийстве, нумер двадцать седьмой вдруг все перестал понимать и, может, впервые почувствовал, что́ это такое, тишина Шлиссельбурга... Годы спустя, на Большой Конюшенной, в домашнем кабинете Фрица, читал ее письмо, почти предсмертное: «По-видимому, у вас не имеется никаких новых сведений о состоянии здоровья нашего дорогого общего друга? Из всего того, что я слышу, я вывожу печальное заключение, что нет почти никаких шансов, чтобы он поправился вполне от постигшей его болезни. С искренним приветом и всякими добрыми пожеланиями остаюсь преданная вам *Элеонора Маркс-Эвелинг*»... На Большой Конюшенной он уже не

был нумером двадцать седьмым, и его пригнула вина перед Тусси. Сознавая тщету всех «если бы», не мог он избыть свою вину и все думал, все думал, что спас бы Тусси, если был бы на воле...

Недружная весна перетекала в лето, когда ему объявили: «Выезд разрешен». Он не обрадовался: все будто б переместилось в душе, переместилось и переменилось. Им овладела тягостная мысль о смерти на чужбине. За гробом Лаврова — от улицы Сен-Жак до Монпарнасского кладбища огромная процессия, много рабочих, — за гробом Лаврова несли венки, на одном значилось: «Петру Лаврову от Германа Лопатина». То было в девятисотом, ты был в Шлиссельбурге и ничего не знал. Теперь знаешь, и этот венок — как предзнаменование. Говорил себе: «Ты отпетый здоровяк, и ты ж не навсегда приговорен к чужбине, вернешься...» Но страх смерти не расточался.

Он думал о матери, думал об отце, давно похороненных в Ставрополе. Человек в прошлом кочевой, он думал об очагах ему родственных. Давешним летом был в Одессе, был на Кавказе, обнаружил племянников и племянниц, внучатых племянников и внучатых племянниц. Ни к одному из тех очагов не приник надолго, и все же они бодрили и грели. Набегая на Питер, кажется, лишь однажды остановился у сына. Не оттого, что чуждался невестки. Напротив, находил Катюшу очаровательной, тонкой духовно, она к нему ластилась искренне. Нет, не желал затруднять своей персоной. А теперь, хотя и условились, что Бруно навестит его за границей, печалился так, словно снова терял своего мальчика.

Он часами бродил по городу.

В одиноких хождениях держался вдалеке от конных статуй, каменных львов и бронзовых грифов, от Исаакия, проспектов, Александринского столпа — убредал на окраины Васильевского острова, где топко и глинисто, или в

Старую Деревню, где коряги у берега Большой Невки и просмоленные лодки, пахнет тиной и салакой. Он не забыл слитный рокот — тот, что прихлынул к циклопическим стенам, когда восьмерых узников доставили в Петропавловскую крепость,— но теперь в этом рокоте слышал не тоску годов, размолотых шлиссельбургскими жерновами, а движенье огромной жизни.

Где-то на Охте, в переулках совсем провинциальных, застиг его ливень с грозой. Сильно прянуло молодой зеленью, мокрой землей, деревьями, и стал внятен смысл одиноких хождений. Город не был европейскими сенями азиатской избы, город не противостоял России — он тоже был Россией. Но, прощаясь с Россией, Лопатин, как бы и безотчетно, предпочитал предместья с их глиной, лужами, корягами, дровяными сараями, лодками и негранитными пристанями.

Не радуясь отъезду, собрался наконец в отъезд. Сподручнее было б из Вильны, так нет, взял да и решил — из Питера дольше ехать Россией.

Он не обиделся бы, не приди Бруно с Катей. Ну нисколько! В отъезде без провожания чудился зарок скорого возвращения: обойдемся без церемоний! А они все-таки примчались на Варшавский. Он сердито засопел и сказал счастливым голосом: «Неслухи».

Они рассмеялись, он тоже.

— Часто-часто писать будем,— пообещала Катя, припадая лбом к его плечу; он услышал запах как бы и не духов, хотя именно духов, но притом словно бы и единственный, какой только и мог быть у его очаровательной невестушки. — Часто-часто,— смело и звонко повторила Катя, безошибочно угадывая, как ему приятен этот запах.

— Адресуйте: «На деревню дедушке»,— сказал он ласково. И назидательно поднял палец: — Де-душ-ке, сударыня.

Она вспыхнула, а Бруно иронически прищурился:

— Ты же настрого запретил внучатым племянникам величать тебя дедушкой.

— Ах, господин адвокат, я непоследователен. Непоследователен, как Лавров. Петр Лаврыч никогда не божился — из принципа. Никаких «слава тебе богу», «не дай бог» и прочее. Но чертыхался. А я, возьми да и скажи, вот, мол, атеист, а взываете к нечистому. Представьте, смутился: это, говорит, непоследовательность, больше не буду.

— И что же? — улыбнулся Бруно.

— Э, еще как поминал черта... — Лопатин взглянул на часы. — Облобызаемся — и ступайте. Ступайте! Не то рассержусь, а в моем возрасте это опасно.

Направляясь домой после заграничных деловых свиданий и консультаций, Алексей Александрович Лопухин свернул в курортный городок близ Аахена. Тут, в Буртшейде, Лопухин поселился в лечебном заведении с ваннами, залами для гимнастики и кабинетами для массажа. Всем этим медицинским комфортом в приятном соединении с почти сельским покоем пользовалась публика, одержимая нервными болезнями, в большинстве — тихие шизофреники.

Алексей Александрович в шизофрениках себя не числил. Мнительностью не отличался, к лечебным процедурам склонности не имел. В Буртшейде он оказался, можно сказать, из деликатности: подчиняясь настояниям петербургского домашнего врача укрепить нервы.

С нервами и вправду было скверно.

В прошлом году Лопухин напечатал брошюру «Из итогов служебного опыта». И это уж означало его окончательный разрыв с той машиной, что называлась бюрократической. Брошюра рассматривала лишь полицейскую часть государственного устройства Российской империи,

однако каждый понимал: часть больше целого. Нашлись языкатые: дескать, перо Лопухина дышало местью, он хотел возобновить карьеру и напоролся на отказ председателя совета министров. Да, оттолкнул Столыпин, Петруша Столыпин оттолкнул однокашника по гимназии, а ведь были на «ты». И все же Лопухин твердо полагал, что руководился отнюдь не злобой, а честно высказал наболевшее: политическая полиция требует коренных преобразований. А ему гаркнули: «Пшел вон!»

Петрушин отказ оскорбил Лопухина. Он ухватился за Тацита: постараемся найти средний путь, свободный и от бесполезного сопротивления, и от рабской угодливости. Этот средний путь вел, по его мнению, в адвокатуру, и бывший прокурор задумал перейти в адвокатское сословие. Такое бывало. Увы, Лопухин упустил одно обстоятельство — свою недавнюю должность на Фонтанке... Бедные шефы сыскных и карательных ведомств! Они в кресле — их трепещут; они без кресла — их презирают. Лопухина не приняли в адвокатуру: «Пшел вон!» Лопухин был оскорблен вдвойне.

Пенсии не дали. Какая пенсия уволенному по третьему пункту? Сбережения не отягощали. Какие сбережения? Жена не мотовка, но она ведь урожденная княжна Урусова. И две дочери, и у дочерей бонны — англичанка и француженка; и квартира в пятнадцать комнат; надо принимать и надо выезжать; да и вообще привычки и обыкновения человека состоятельного. Фу, так недолго и по миру пойти. Но есть, есть дрожжи коммерции, они взбадривают опару предпринимательства, а пекарям тоже, знаете ли, нужны юристы.

Поначалу Лопухину было не по себе. Но «средний путь» лег пунктиром, и хождение по миру не грозило: Алексей Александрович подвизался юрисконсультом железнодорожной компании. Компания слаживалась, дело начиналось, главные акционеры озаботились привлече-

нием иностранных капиталов, и Лопухин вояжировал за границей, стараясь не думать о своем фиаско в бюрократической среде и в адвокатском сословии.

Однако душу саднило, нервы сдали. Ну, хорошо, хорошо, он послушно исполнит все рекомендации, примет курс ванн, сам себя поить станет, брезгливо зажимая нос, лечебной водой, пахнущей говяжьим бульоном.

В лечебном заведении бывший действительный статский советник жил размеренно: процедуры, прогулки, вечерами неспешная возня с докладной запиской о переговорах с господами Армстронгом и Мюром.

Нервы крепли, освежались; Лопухин готов был покаяться в своем легкомысленном отношении к медицине вообще, к курортно-немецкой в частности.

Находясь в приятном расположении духа, он и в то утро вершил обычный моцион обычным маршрутом — по главной аллее и боковой до крокетной площадки.

Утро было что ни на есть исправное: розариум источал благовоние, птички порхали и щебетали, садовники, похожие на пасторов, священнодействовали, а санитары, похожие на дровосеков, покуривали при дверях купален.

Приблизившись к крокетной площадке, Лопухин услышал детский смех, такой безудержно-веселый, что улыбнулся. «Лови!» — крикнул мужской голос, странно и неприятно знакомый Лопухину, но он, все еще улыбаясь, ждал, не повторится ли этот смех, и желая взглянуть на ребенка. Девочка опять рассмеялась, и опять раздался голос, странно и неприятно знакомый: «Лови!» Алексей Александрович подошел ближе и, не выходя из-за кустов, быстро посмотрел на крокетную площадку: он увидел малышку в розовеньком платье; в сторонке на скамье сидела высокая изможденная женщина с лицом неподвижно бледным, печально наблюдая за своей резвушкой,— та ловила обруч, пущенный грузным брюнетом в белом полотняном костюме.

Лопухин тотчас узнал это широкое, скуластое, каменное лицо с толстыми сочными губами. И эти белые точеные маленькие руки, ловко пускавшие легкий желтый обруч. Поразило Лопухина не то, что он просто-запросто встретил Азефа в парке немецкого курортного городка,— поразило внутреннее безобразие этой сцены на площадке для игры в крокет. Агент-провокатор, забрызганный кровью, невидимой на его белом полотняном костюме, весело забавлял свою дочку и сам, сдается, весел бесконечно, и жена его улыбается, все, как у всех порядочных людей. И Лопухин ощутил омерзение.

Лопухин не обознался — на площадке для игры в крокет был Иван Николаевич. Лопухин обознался — на площадке для игры в крокет были не дочь Азефа и не жена Азефа.

Изможденная женщина, сидевшая на скамейке, не расставалась с листком почтовой бумаги, исписанным в камере Трубецкого бастиона. Оно и теперь было при ней — предсмертное письмо мужа, казненного на Лисьем носу: «Когда я представляю себе ее, эту маленькую девочку, которую я не знаю и которую так люблю, представляю, как она будет смотреть и не понимать, что происходит...»

Девочка ловила желтый обруч, ловко пущенный Азефом, запах розариума витал над площадкой, и несмолкаем, несмолкаем, несмолкаем был птичий щебет. Вдова Зильберберга, печально улыбаясь, смотрела, как ее девочка играет с Азефом и как увлеченно, совсем-совсем по-детски играет с ней Азеф. Вдова Зильберберга была благодарна товарищу погибшего мужа. Не только за то, что он, Азеф, уговорил ее отдохнуть и полечиться за границей («Берегите себя, вам растить дочку!»); не только потому, что он взял на себя все расходы («Это наш моральный долг, долг сподвижников вашего мужа»); не только за то, что посреди своих страшных забот и еже-

часного риска, торопясь в Лондон, он нашел время привезти и устроить ее в курортном городке,— она была благодарна ему за желтый обруч, за то, что девочка, заливаясь смехом, запрокидывает головку и топочет ножонками, и за то, что он тоже смеется, этот толстый, некрасивый человек, самый прекрасный из всех, живущих на свете, да, да, самый прекрасный — ее девочка любит этого Толстого Жака, а дети не ошибаются, дети никогда не ошибаются.

Азефу и вправду было и хорошо, и весело, и чисто. Он и вправду хотел, чтобы вдова бесстрашного боевика отдохнула и полечилась. И ему была мила доченька Зильберберга, как всегда были милы люди, близкие погибшим, потому что своей нежностью к ним он умерял тоску опустошенности. Ту, что настигала, как возмездие, вслед за очередным предательством.

Тяжело топая, он играл в прятки, пускал обруч, слышал истонченный запах цветов и неумолчный, неумолчный, неумолчный щебет птиц. И ему было хорошо, весело, чисто.

Лопухин не уследил, когда Азеф уехал из Буртшейда. Да и не следил: ни малейшей охоты лицезреть негодяя. Но думал об Азефе неотступно.

Тогда, в Финляндии, в Териоках, свидание Лопухина с Бурцевым было коротенькое. Бурцев опять настаивал на конкретном изобличении провокаторов, а Лопухин опять уклонился. Правда, нашелся к тому повод формальный. Бурцев крепко подозревал некоего Раскина: важный, мол, осведомитель и очень, мол, весомый провокатор. Положа руку на сердце, Лопухин отвечал, что никакого Раскина не знает. И это было так. Он умолчал, что Раскин, вполне вероятно, один из псевдонимов Азефа. Умолчал, действительно не зная, так ли это. Сквозь косо сидящее пенсне взъерошенный Бурцев смотрел на Лопухина воплощенной укоризной. И Лопухин, сослав-

шись на повод неформальный — болезнь жены, поспешил к поезду. Но Бурцев успел выхватить обещание свидеться в Париже или в любом ином заграничном пункте. Лопухин дал честное слово.

Потом он не то чтобы раскаялся и не то чтобы решил избегать Бурцева, но — дела, дела, дела: рождалась компания Амурской железной дороги. Однако, получив парижский адрес настойчивого ястреба, Лопухин не скрыл от него, что вскоре будет за границей. Бурцев не ответил. Молчание обеспокоило Лопухина, но и обрадовало. Сколь ни был он оскорблен Столыпиным, сколь ни унизило увольнение без объяснения причин и права обжалования, а прямое раскрытие служебных тайн, некогда ему вверенных, мучило Лопухина.

Он и теперь, пораженный и возмущенный идиллической сценкой на площадке для игры в крокет, не был готов к свиданию с Бурцевым. Но все же что-то, какая-то неясная потребность пополам с омерзением заставила Лопухина известить одного парижского и притом неблизкого знакомого о том, что он, Лопухин, заканчивает курс лечения и возвращается домой, в Россию, через Кёльн. Этот парижанин, журналист, иногда виделся с Бурцевым. Алексей Александрович Лопухин, бывший прокурор и бывший директор департамента полиции, испытывал судьбу — чему быть, тому быть.

Большеротая, большеглазая, она судорожно курила папиросы «Вдова Жоз» и, сжимая худенькие кулачки, повторяла:

— Молчите! Вы попали в сети полиции!

Указательным пальцем, выпачканным чернилами, Бурцев тыкал в непослушное пенсне.

Еще там, в Петербурге, получив доступ к архиву тайной полиции, он нащупал нерв главного провокатор-

ства. Еще там, в Петербурге, когда в редакцию «Былого» явился сотрудник департамента полиции Бакай, понял, что сей кающийся грешник, похожий на семинариста, ниспослан небом: Бакай знал далеко не все, но многое и многих. Месяц за месяцем, холодно, цепко, напряженно Бурцев разгадывал сложный кроссворд. Сопоставлял, вычертил наглядности ради схему хронологическую и географическую, завел персональную картотеку, папки с газетными вырезками. Свой человек среди эмигрантов, он расспрашивал десятки людей и опять сравнивал, сопоставлял.

Эмигранты пошучивали: Бурцев учредил революционную охранку. Ему было не до шуток. Странное дело, люди, отведавшие и тюрьму и ссылку, не понимали, что пора взглянуть на отечественную историю, на день сегодняшний и день грядущий и с точки зрения развития тайной полиции — сила безличная, но не безликая, все нарастающая и всепроникающая. Возобновив парижское издание журнала «Былое», в России запрещенного, Бурцев намеревался иллюстрировать безличность этой силы; учредив на окраинной улочке Люнен домашнее розыскное бюро, Бурцев обращался к ее личностям. В первую голову к Раскину. И уже установил, кто он такой.

Любовь Григорьевна сжимала худенькие кулачки:

— Не верю! Никогда!

У Бурцева не хватало решимости повторить ей то, что он уже говорил ее товарищам, то, что готов был кричать с Эйфелевой башни: «Азеф — провокатор! Глава БО — агент полиции!»

Над ним трунили отнюдь не беззлобно: «Мсье Пинкертон, вы попались на удочку! Порочить вождей партии? О, испытанное средство политиков вообще, политической полиции в особенности».

Может быть, только вчерашний каторжанин, обладатель громадного жизненного опыта, человек, которым

он, Бурцев, восторгался еще в молодости, может быть, только Герман Александрович признавал, что улик с избытком. Но даже и он, проездом в Лондон, вот здесь, в этой крохотной, обшарпанной, убого меблированной комнате, даже Лопатин, все выслушав, сказал после долгого размышления: «Львович, нужно вбить последний гвоздь. Лопухин нужен, его «да». Чертовски трудно, не спорю. А духом не падайте. По слову Петра Великого, и небывалое — бывает».

Без подтверждения Лопухина и впрямь нельзя было обойтись. Бурцев не располагал подлинниками документов, а копии... Примет ли копии третейский суд? Бурцев настаивал на третейском суде, и эсеровские цекисты уже соглашались. Соглашались. Ибо надеялись свести все к изобличению его, Бурцева: клеветник, или — в лучшем случае — маньяк. Так вот, третейский суд удовлетворится ли копиями? Положим, Герман Александрович видывал и подлинники — там, в Питере, на квартире сына. Но сможет ли даже Лопатин, председатель суда, заручиться поддержкой двух других судей — Кропоткина и Фигнер? Допустим, сможет. Однако нет сомнения, что даже и тогда эсеровские цекисты, защищая честь мундира, вольны все отвергнуть: копии — не доказательства. И только Лопухин, только его «да» разорвет замкнутый круг.

Но сейчас, глядя на большеротую, большеглазую Любу Менкину, как курит она лихорадочно, курит одну за другой папиросы «Вдова Жоз», и сжимает кулаки, и повторяет «никогда не поверю», а нервный тик подергивает ее лицо, такое измученное, такое измученное и гневное,— сейчас Бурцев не думал ни о копиях, ни о подлинниках, ни о третейском суде, ни о Лопухине. Он понимал ее негодование, ее муку, он сострадал ей и, понимая и сострадая, не убеждал в своей правоте. Господи, он-то убежден, хоть сейчас под топор, убежден

бесповоротно. И даже главный козырь и самого Азефа, и защитников Азефа, и ее, Любин, главный козырь: «А покушение на Плеве? А покушение на великого князя?» — Бурцев отвергал: игра шла на двух столах. И только. Но все это он не в силах был растолковать Любови Григорьевне. Кому угодно, где угодно, но не этой несчастной женщине, для которой — он же видит — изобличение мужа — катастрофа. Нет, не в силах, даже призывая тени удавленных, даже взывая к их женам, невестам, детям. Взъерошенный, тщедушный, в мятой несвежей сорочке, помаргивая воспаленными от бессонницы веками, он избегал ее гневно-пылающих глаз.

— Знаете... — проговорила она едва слышно, но очень отчетливо. — Знаете, господин Бурцев... Если вы публично не отречетесь, я убью вас. — Лицо уже не подергивалось тиком, бледно было последней бледностью.

«Фурия,— испугался Бурцев, — настоящая фурия».

— Я жду,— сказала она по-прежнему тихо и отчетливо.

Он попятился. Ее губы скривились.

— Крыса. Подлец.

Как вслепую она вышла в крохотную прихожую и хлопнула дверью. Бурцев подбежал к дверям. На лестничной площадке послышался всхлип. Он хотел выйти, нашаривал замок, руки не слушались, он чувствовал совершенную невозможность хоть чем-нибудь помочь ей.

Двумя днями позже он мчался в Кёльн.

В древнем городе его не занимали ни средневековые улочки, похожие на след жуков-короедов, ни романские или готические храмы, ни певческие ферейны, обилие которых свидетельствовало о музыкальности бюргеров, ни цитадель, грозный облик которой воплощал германский милитаризм. Ничто не привлекало Бурцева в городе на Рейне — только улица Домгоф, 40.

В агентстве Международного общества спальных вагонов рослый, как вахмистр, швейцар покосился на щупленького человечка в дешевой паре и котелке, однако пропустил его в апартамент солидный, красного дерева, точь-в-точь салон океанского парохода. Служитель-клерк в усах а-ля кайзер сухо осведомился: «Что угодно?» Звучало на русский слух: «Какого рожна надо?»

Бурцев, не смутившись «васистдасом», объяснил: мой патрон, его превосходительство Алексис Лопухин, должен на этих днях проехать через Кёльн на Берлин; мы, к сожалению, разминулись; благоволите взглянуть, не получена ли от его превосходительства депеша? Служитель, обретая корректность, отыскал телеграмму с курорта Буртшейд — заказ на билет в двухместном купе спального вагона. Но это было еще не все, и у Бурцева вспотели виски — он осведомился, нельзя ли ему ехать в одном купе с его превосходительством? «So!» — ответил служитель, шевельнув усами а-ля кайзер.

В вечерний час, душный, блеклый от множества вокзальных фонарей, он увидел Лопухина на перроне. Мелькнуло Бурцеву: «Эка, породистые ходить-то умеют» — шел Лопухин твердо и вместе легко, спокойно. Бурцев оставался на перроне, пока не прозвонил колокол и оберкондуктор не крикнул: «Готово!», а тогда уж и вошел в вагон. Но и тут не заспешил, а подождал, пока поезд наберет ход. И тогда уж отворил дверь в купе с диванчиками голубой тисненой кожи.

В темных, чуть раскосых глазах Лопухина плеснуло смятение, большие, плотно прижатые уши вспыхнули малиновым, как, бывало, в детстве, в мальчишестве, когда гувернер шпынял за провинности.

Отвечая на бурцевское «Здравствуйте», пожимая его цепкую, сухонькую лапку, Лопухин успел взять себя в руки. Что ж, подумалось Лопухину, ты этого хотел, Жорж Данден... Но мольеровский комедийный мужик,

окрутившийся с дворянкой, пенял себе за неравный брак, Алексей же Александрович вроде бы недоумевал, как же это он сам же и учинил нынешнее рандеву.

Все это не ускользнуло от Бурцева. В отличие от Лопатина, Бурцев не подозревал в Лопухине двурушника. И не равнял с каким-нибудь ротмистром Донцовым: двадцать пять тысяч на бочку — и нате-с, шерстите документы вильненской охранки. Нет, Лопухин — это... это... Впрочем, к черту, не теряй время... Экспрессом до Берлина пять-шесть часов, а там пересадка и прости-прощай... Нельзя было терять время, а надо было убедить Лопухина в глубокой своей осведомленности, а потом и сразить двумя предприятиями БО, сущность которых вряд ли ясна бывшему шефу тайной полиции.

Но Бурцев, напряженный и собранный, чувствуя, как опять потеют виски, Бурцев и теперь не кинулся очертя голову. Правда, истинная правда, что-то в нем было от шпиона, или, употребляя благородный синоним, от разведчика: он взял проселком — повел речь о литературных планах, о возрождении «Былого», о намерении издавать газету «Будущее», и Лопухин спрашивал и переспрашивал, поддаваясь иллюзии обыкновенного, как за чашкой чая, интеллигентного собеседования. Словно бы между прочим Бурцев упоминал о своих обширных связях в эмигрантской среде и, упоминая, произносил не без нажима имя Савинкова, второго человека в Боевой организации, Бориса Савинкова, очень хорошо известного Лопухину по роду прежних занятий на Фонтанке.

— Этот пресловутый Савинков, кажется, женат на дочери покойного Успенского? — светски осведомился Лопухин. — Глеба Успенского, писателя, не так ли?

— На дочери. А со стороны матери — племянник покойного художника Ярошенки,— сказал Бурцев и едва приметно усмехнулся: ишь, Алексей-то Александрович так и шарахнулся от Азефа. — Вы, конечно, понимае-

те,— продолжал Бурцев,— что я и в Париже не оставил разыскания, направленные к изобличению провокаторства. Уверен, это должно импонировать именно вам, человеку известных государственных воззрений.

— Я их не скрывал и не скрываю,— насторожился Лопухин, сознавая, что «литературное» предисловие окончено.

— А я, Алексей Александрович, не намерен скрывать результаты в достаточной степени важные.

Лопухина будто холодом проняло. Он почувствовал острую неприязнь к тщедушному «следопыту» в мятой сорочке. Не курьерский стучал на рельсовых стыках — в ушах Лопухина стучал презрительный окрик императора Александра Третьего: «Уб-рать двоеженца... Убрать свинью...» Нет, подумал он, не уступлю — об Азефе ни звука.

А Бурцев и не называл имя Азефа. Говорил: «центральный агент», «центральный провокатор», «глава Боевой организации», «член цека эсеров». Только так говорил он, сидя напротив Лопухина, иногда наклоняясь к нему, и тогда Лопухина кололи и обжигали металлические точечки, остро мерцавшие за стеклышками пенсне.

— Центральный агент,— говорил Бурцев, не спуская глаз с Лопухина,— добровольно, еще студентом обручился с департаментом, теперь он инженер-электрик. — И после короткой паузы: — Если позволите, я назову настоящее имя этого агента. Вы скажете только: да или нет.

Лопухин непроницаемо молчал.

— Центральный провокатор, — говорил Бурцев, — стоял у истоков партии социалистов-революционеров. Объединял разрозненные кружки, засим выдал съезд, собравшийся в Харькове. — И после паузы несколько длиннее прежней: — Если позволите, Алексей Алексан-

дрович, я назову настоящее имя. Вы скажете только: да или нет.

Лопухин упорно молчал.

— Член цека,— говорил Бурцев,— выдал томскую подпольную типографию и «Северный союз социалистов-революционеров». — И еще удлинил паузу: — Если позволите...

Лопухин молчал.

— Глава Боевой организации, — говорил Бурцев, — выдал Северный летучий боевой отряд. И боевой комитет в Питере. — И еще, еще продлив паузу: — Я могу назвать настоящее имя. Вы скажете только: да или нет.

Лопухин, отерев лоб платком, молчал.

— В последнее время, — говорил Бурцев, — центральный агент отправил на виселицу семерых революционеров. Я могу сообщить все охранные клички вашего бывшего агента. Раскин, например. Или — Виноградов. А если угодно, то могу назвать имя подлинное. Вы скажете только: да или нет.

Ах, если б можно было уйти. Или выставить из купе этого неряшливого господина в мятой сорочке и захватанном галстуке. Неподвижный, совершенно неподвижный Лопухин чувствовал себя так, словно он нелепо мечется из угла в угол.

— Позвольте мне,— вкрадчиво и вместе торжественно продолжал Бурцев, кажется, и сам-то впервые с такой весомостью ощутив полноту своей осведомленности,— позвольте, Алексей Александрович, рассказать еще кое-какие подробности деятельности центрального агента вашего бывшего департамента. Если все предыдущее оставляло вас, увы, равнодушным, хотя все это вопиет о нарушении законности в отправлении полицейских функций, то уж теперь... — И он опять помедлил. Но помедлил как-то иначе, чем прежде, и Лопухину почуди-

лось, что в этой медлительности есть какое-то сожаление о нем, Алексее Александровиче Лопухине.

— Пожалуйста, пожалуйста, — повторил Лопухин, будто стараясь стряхнуть это сожаление. — Я слушаю, Владимир Львович.

И Бурцев выложил козыри. Козыри тех, кто яростно опровергал Бурцева, яростно защищая Азефа.

— Ваш центральный агент,— сказал Бурцев,— был закоперщиком и распорядителем убийства вашего министра. А потом, несколько месяцев спустя, и убийства его императорского высочества великого князя Сергея. Все это мне известно от Бориса Викторовича Савинкова. Не доверять ему в данном случае нет оснований ни у вас, ни у меня.

Гремел курьерский — Лопухин тонул в тишине. Светили матовые лампы, похожие на лилии,— Лопухин тонул в темноте. О, давние догадки... Потрясло Лопухина не то, что Азеф выдавал подпольщиков. И не то, что он многих, провоцируя, обрекал эшафоту. Потрясло, сокрушило... Теперь уж не имело ни малейшего значения, что убиенный Плеве был чудовищным гасильником, а убиенный великий князь — ретроградом. Значение имело только то, что они были представителями высшей власти и были убиты агентом высшей власти.

— Вы не могли не знать этого сотрудника, Алексей Александрович. Позвольте назвать подлинное имя Раскина?

— Какого Раскина? — задохнулся Лопухин. — Я никакого Раскина не знал. Я знал инженера Азефа.

Оба в изнеможении откинулись к диванной спинке. Гремел курьерский, светили лампы, из-под оконной шторки пробивалась дымчатая розовая полоска.

Потом, словно бы отдышавшись, переведя дух, Бурцев сказал:

— Я с поезда на поезд — и в Париж.

Лопухин не отозвался.

— От всей души хотел бы поблагодарить вас,— продолжил Бурцев и осекся: Лопухина как подменили, плечи подняв, смотрел он на Бурцева надменно и холодно.

— Вы не с м е е т е благодарить м е н я, господин Бурцев. Я руководился соображениями общечеловеческого свойства, а вовсе не желанием помогать революции.

— Сама себе поможет,— заметил Бурцев.

— И отделается от самой себя,— презрительно парировал Лопухин.

— О, как же, как же, кто-то из французов, кажется из наполеоновских маршалов: чтобы избавиться от революции, надо совершить ее. Так, кажется... А вот Наполеон-то, Наполеон: он знал только одного совершенного предателя — Фуше. Мы теперь знаем другого.

Лопухин отодвинулся в тень, в угол.

Печальная монументальность была бы к лицу этим старикам — они не виделись, почитай, лет тридцать — а вот на тебе, как первокурсные. И ведь где? В центре Лондона, спешащего без толкотни и шумящего без крикливости. В привокзальной пивной спросили пива; Герман, отхлебнув, толкнул Феликса локтем: «Ну, брат, это уж не питерская моча поповой кобылы!» — И оба захохотали.

Печальная монументальность была бы к лицу Лопатину и Волховскому, а они... Оказывается, мистер Волховской снял мистеру Лопатину комнату за пятнадцать шиллингов в неделю, а мистер Лопатин, задрав бороду, взвыл от лондонской дороговизны — и они опять расхохотались.

Ехали подземкой. Было гулко и душно. Лопатин отирал пот. Волховской весело сулил блаженство Гайд-парка, где блеют барашки, а деревья столетние. «Деревья

уже т о г д а были столетними,— сказал Герман,— а минуло-то ого...» Они разговаривали возбужденно и громко, но пассажиры, лондонские пассажиры, слывущие каменно-отчужденными, не поджимали губы: есть особое очарование в морщинах, озаренных радостью.

Они вышли из подземки у Гайд-парка.

Комната в коттедже была и вправду хороша — с мансардой на Тамбовской ни в какое сравнение, но Лопатин проворчал, что в его времена — допотопные — точно такая обошлась бы раза в три дешевле. Однако осматривался с удовольствием: квадратная, светлая, а постель королевская — ткнул кулаком, рука ушла по локоть; камин, кресла, зеркальный шкап, на полу линолеум, фаянсовая чаша умывальника и ворох чистых полотенец. А хозяйка, экая «миломордочка»...

— Ваше имя, сэр?

— Никак,— бодро ответил Лопатин. — Писем не жду, посетителей тоже. Вот разве этот господин,— он указал на Волховского.

— Когда вы привыкли вставать, сэр?

— Потрудитесь стучать в семь с половиной утра.

— Да, сэр.

Пожалуй, дольше, чем нужно, он провожал ее взглядом.

— Ты чего? — окликнул Волховской.

— Да так, ничего... Вот, видал, ей и дела нет, кто я такой. Получай ключ, вход отдельный — живи. Всегда любил Лондон за чувство свободы.

Хотя он и говорил то, что думал, но думал не о том, о чем говорил: в ее улыбке был отблеск звездной палубной ночи.

Прошлой осенью Лопатину разрешили «родственный объезд», он был в Одессе, у младшей сестры, оттуда отправился на Кавказ, к другим сестрам. «Святогор»

резал волны, горели ходовые огни, горели звезды. Было уже поздно, пассажиры разбрелись, а он остался на палубе; рядом в плетеном креслице сидела молодая женщина, белел кружевной воротничок. Они разговорились, как могут разговориться случайные попутчики в теплую звездную ночь ранней осени, когда всем существом забираешь здоровый, крепкий дух моря.

Еще за ужином в кают-компании, выпив стаканчик вина, он перехватил взгляд этой незнакомки в скромном глухом платье, с крохотными часиками, приколотыми на груди, и ему показалось, что она смотрит на него так, как смотрят, определяя: «Тот иль не тот?» И сейчас, на палубе, она нет-нет да и поднимала на него глаза, стараясь определить, тот иль не тот. Он полагал, что она путает его с кем-то, быть может, с тем, кого знала девочкой, еще не старого, еще не седого, и оттого, что он так полагал, ему было и немножечко смешно, и немножечко грустно.

Горели ходовые огни, горели звезды, голоса на капитанском мостике смолкли. Она робко сказала: «Можно я вас поцелую?» — сердце его стукнуло кругло и весело и страшно, он близко наклонился, она потянулась к нему, но он опередил и сам поцеловал в губы, да так, что она охнула, задохнулась, порывисто встала. И он тоже встал, прислонился спиной к фальшборту, ошеломленный, в своем распахнутом легком пальто, в широкополой шляпе, мягко сбившейся на затылок. Сеялись звезды, море поднялось стеною, будто опрокидываясь. «Ох, какой вы... Ох, какой вы...» — повторяла она, он сжимал ее тесно, вплотную, прямо в круглые часики шибко и кругло билось его сердце... Потом она отстранилась: «А завтра вот так же другую, да?» Он рассмеялся: «Завтра? Взгляните на меня: могу ли я рассчитывать на завтра? Еще один поцелуй! И, как говорят в романах, прощай

навек!» Она тоже рассмеялась, в ее смехе не было ни сострадания, ни снисхождения.

Утром «Святогор» пришел в Севастополь. Подвалила военная шлюпка-шестерка, кто-то тонкий в поясе махал офицерской фуражкой; облокотившись на фальшборт, она отвечала взмахом платка. Лопатин, труня над собою, уверял себя, что это ее брат, непременно брат, да, да. Обернувшись, увидев Лопатина, она достала из сумочки комплектик фотографий, подняла, помахала вместе с платком, он узнал этот комплектик — издание Шлиссельбургского комитета, портреты бывших узников, Лопатина тоже. Он усмехнулся и отдал вежливый поклон, но, видит бог, ему не хотелось думать, что давеча, когда сыпались звезды и море вставало стеной, она целовала не его, Германа Лопатина, а воплощение «мученика идеи».

— Ну-с, до завтра, отдохни с дороги,— сказал Волховской,— а завтра мы уж наговоримся досыта.

— Завтра? — ответил Лопатин, смеясь. — Можем ли мы рассчитывать на завтра? Нет, я тебя не отпущу.

Они вышли из дому, пересекли улицу и, держась у берега светлого, постепенно ширящегося озера, углубились в сень Гайд-парка, в тяжелую, налитую соками зелень.

— Смотри-ка! — вдруг изумился Лопатин, палкой указывая вверх. — Смотри-ка! Откуда она? Раньше-то ведь не было?

— Как не было? — удивился Волховской. — Да они тут всегда были.

— «Всегда-а-а»,— протянул Лопатин.— А при мне не было... — В голосе его звучало огорчение почти детское. Словно кто-то обманул его, что-то отнял, похитил.

А-а, вон что, догадался Волховской. Белки с кисточ-

ками на ушах, ведь они не водились в Гайд-парке в те времена, когда Герман бывал в Лондоне. Нет, не водились, белок завезли из Северной Америки, лет двадцать тому. Господи, двадцать, а Германа уже не было среди нас, живых, живущих... Может, только в эту минуту, только вот сейчас так пронзительно ощутил Волховской громадно-долгое отсутствие своего старинного друга. Что стоят мои мытарства, подумалось Волховскому, что они стоят в сравненьи с искусом Германа?..

Он не ошибался, но он был не совсем прав, этот человек все еще юношески стройный, с карими смеющимися глазами, совершенно седой, но красиво седой, с легким стальным отливом, как, бывало, у свежих стариков девяностых годов, когда еще мыли голову подсиненной водой. Не совсем он был прав, Феликс Вадимович Волховской, он тоже познал и тюрьму, и ссылку, и острое свистящее напряжение побега.

Его привлекали по делу Нечаева, а он — ни сном ни духом. Были питерские застенки, были и московские. В Москве его пытался вызволить брат Германа — скромница Всеволод, да в сердце-то отвага львиная,— напал на конвой и был схвачен. А ссылка в Кяхту, в пограничную Кяхту? Пыльные ветры, пыльная тоска. Волховской повторил побег Бакунина: из Старого Света в Новый, через два океана. Не так-то легко досталось в Лондоне, когда со Степняком-Кравчинским поднимали они «Фонд вольной русской прессы» — редакцию, типографию, книжный склад... Герман считает себя отпетым здоровяком, а он, Волховской, считает себя отпетым весельчаком, да так ли уж весело в эмиграции, без надежды увидеть родину... И все же, и все же чего стоят его мытарства в сравненьи со смертным приговором, с вечным заточением, чего они стоят в сравненьи с искусом Германа, с его громадно-долгим отсутствием?.. «А при мне их не было...» Ох, многого при тебе не было, брат мой Герман. Вот этот парк,

вот там праздновали Первое мая, и твой покорный слуга приветствовал английских пролетариев от имени русских рабочих, но ведь и от твоего имени тоже, потому что никто из нас не был членом Генерального совета Интернационала, а ты был, как и мой сосед на трибуне — старик Энгельс. Он всегда спрашивал, нет ли новостей, не слыхать ли о тебе, он и Тусси, Тусси Маркс...

Волховской иногда виделся с Тусси в библиотеке Британского музея. Или у нее дома. В том мрачном квартале, где эдакие диккенсовские трущобы с бесконечными железными лестницами, грязными конторами, трубочистами, кухонным чадом, прокисшим пивом и этими мрачными физиономиями мелкого делового люда.

Две черные кошки с красными бантами на шее неслышным дозором появлялись в прихожей — Тусси грустно улыбалась: «Они не дадут меня в обиду». Кошки следовали по пятам, садились у камина, одна справа, другая слева, неподвижно-аспидные на фоне рыжего пламени. Тусси — высокая, прекрасно сложенная, с густыми, вьющимися, темными волосами — была неизменно приветлива. Но, странно, в квартирке, похожей на тысячи викторианских, в крохотной квартирке, устойчиво пахло близким несчастьем. Тусси никогда и ни на что не жаловалась. Она была неутомимой труженицей, корреспондировала в журналы и газеты, по праву считалась незаменимой на всех социалистических конгрессах.

Однажды она сказала Волховскому: «Отец редко кого так любил и уважал, как Германа». А слышалось явственно: я редко кого так любила и уважала. И еще: «Я была девчонкой, когда он впервые пришел к нам на Мейтленд-парк-род... Мне было двадцать восемь, когда он пришел ко мне накануне своей последней, роковой поездки в Россию... Поверьте, он не предчувствовал — знал! Энгельс, вот уж кто понимал, что такое отвага, Энгельс восхищался: «Наш смелый, до безумия сме-

лый Лопатин»... Герман поклонился и обнял меня: «Теперь уж действительно — прощайте»... В прекрасных глазах Тусси переливались рыжие отблески камина. Кошки, аспидные сфинксы, были неподвижны.

В присутствии мужа она замыкалась. Возникала какая-то гнетущая напряженность. Тогда Волховскому непонятная. Но он мог бы побиться об заклад, что уже и тогда ему крепко не нравился Эвелинг. Неужели потому лишь, что бритое лицо Эдуарда жухло в паутине тонких, ранних морщинок, или потому, что волосы были прилизаны так гладко, что и блоха поскользнулась бы, а зубы крупные, лошадиные, как на карикатуре «типического британца»? Да он и не был «типическим британцем», этот Эвелинг. Не потому лишь, что был ирландцем, а потому, что типический Джон Буль... Тусси, смеясь, рассказывала, как покойная матушка — ее иронии побаивался даже Гейне — определяла «типического»: кичится своим Мильтоном, которого не знает, своей свиной отбивной, которую хорошо знает, и, наконец, Вильямом Шекспиром; но все это пустое, всерьез он принимает только отбивную... А Эвелинг? О, Эвелинг умен и общителен, беспечен и доверчив. Вместе с Муром перевел «Капитал» на английский, как Герман вместе с Фрицем — на русский. Огромный, как и у Германа, запас естественнонаучных знаний... Как Герман, как у Германа... Не тут ли и крылась причина неприязни? Краем уха слыхал Волховской, будто старик Маркс подумывал о женитьбе Тусси и Германа. Может, это и примерещилось кому-то, но, вспоминая друга, томящегося в Шлиссельбурге, Волховской нет-нет да и воображал Германа здесь, в Лондоне, вместе с Тусси. Воздушные замки и грезы, но, сдается, этим тогда и исчерпывалась неприязнь к Эвелингу.

И лишь потом, когда несчастье совершилось, когда Тусси приняла яд, узнал Волховской, как этот человек измучил Тусси своим чудовищным эгоизмом, распутст-

вом, вечными долгами, для уплаты которых не гнушался домашним воровством... А Германа не было, не было, не было... В письме почти предсмертном запрашивала Тусси известия о Германе... А Германа не было, не было, не было... До последнего часа звучал в душе ее тоскующий голос уже умершего Энгельса: «Вот мы сидим здесь, и я не уверен, что вот-вот не откроется дверь и не зайдет Герман Лопатин. Да, да, в один прекрасный день он снова зайдет в мою комнату, спокойно сядет передо мною и разразится смехом...»

— Сядем,— сказал Волховской.

— Сядем,— согласился Герман.

Белка, распушив хвост, вознеслась на вершину дерева. Они опустились на траву. Тени ветвей шевелились, и казалось, что солнечные пятна на траве тоже шевелятся.

Когда Волховской умолк, Лопатин минуту-другую незряче глядел на эти тени, на эти пятна, потом медленно поднялся и подошел к озеру, зачерпнул полные пригоршни и погрузил лицо в холодную воду. Волховской прикрыл глаза: не мог он, не мог смотреть, как у Германа вздрагивают плечи.

После Гайд-парка нет ни малейшей охоты окунаться в перипетии того, что происходило тогда же, летом девятьсот восьмого года, здесь же, в Лондоне, на Ноттингхилл-Гэт.

Кто-то весьма остроумно заметил — история слишком важная вещь, чтобы отдавать ее в руки историков. Внесем поправку: смотря каких. Но эсеровскую конференцию в здании Вест-Лондонского этического общества уступаю другим историкам, хотя это как раз тот случай, когда требуется сугубая осмотрительность.

Однако вовсе обойтись без этой конференции

нельзя. Ясности ради сообщу некоторые подробности.

Надо сказать, что дело было поставлено конспиративно. Помещение находилось в глубине сада. Делегатские мандаты подвергались суровой проверке. Никто из заседавших — а было их несколько десятков, приезжих россиян и эмигрантов-парижан,— не имел права что-либо записывать. Несмотря на секретность, среди «чистых» затесалось с полдюжины «нечистых». Об этом было известно устроителям, и все-таки, вопреки столь прискорбному обстоятельству, обсуждались все пятнадцать пунктов повестки дня.

Присутствовали и Лопатин с Волховским, оба безмандатные. Первый — почетным гостем, которого все здесь называли партизаном русской революции или Ильей Муромцем русской революции; второй, лондонский «долгожитель» — устроитель, покровитель, советчик.

Герман Александрович слушал ораторов без особого интереса. Все они будто отстали от поезда, однако из опасения насмешек делали вид, что ничего особенного не приключилось. Ораторы полагали, что они подводят итоги революции пятого года; Лопатин полагал, что революция пятого года подвела итоги ораторам. Малый интерес к повестке дня не умерял его живого интереса к самим по себе делегатам — они из пловцов, что гибнут в водоворотах террора, пловцов, достойных лучшей участи. И в Питере, и сейчас, здесь, чем пристальнее всматривался Лопатин в держателей эсеровских рычагов, тем отчетливее сознавал то, что ему, правду сказать, ужасно не нравилось: принципиальное нежелание считаться с личностью, душой ее и биографией; не личность важна, а «единица», мошна, из которой можно черпать безоглядно; и честолюбие, карьерность, родственность с чиновничеством, пусть вместо мундира пиджачная пара и косоворотка. Что же до мрачной и пылкой приверженности к террорной доктрине, к террорной практике... Герман

Александрович не согласился с публицистом, который утверждал, что эти люди уже охвачены атавистическим желанием «полизать крови». Будем справедливы, не охвачены; будем точны, еще не охвачены. Зато тот, кто возглавляет Боевую организацию, «лижет кровь», урчит, мерзавец, и «лижет».

Вот так, присматриваясь и размышляя, Лопатин и шепнул Волховскому:

— А это что за каннибал?

— Где? Какой?

— Вон там, справа... Экие чувственные губы.

— А! — Волховской странно хмыкнул. — Почему же «каннибал»?

— Да ведь глаза-то! Глаза профессионального убийцы. Во всяком случае, человека, скрывающего черную тайну. Я давеча видел его в садике, во время перерыва, он фуражку надел, я и подумал: такой апаш встретит в глухом углу девчонку — непременно изнасилует, а потом задушит. Или наоборот: сперва задушит, потом изнасилует.

Волховской, сжав его локоть, быстро объявил:

— А это и есть знаменитый Иван Николаевич!

Они переглянулись.

Ну, конечно, Герман не утаил от старого друга своих подозрений, да и раньше ходил темный слушок об Азефе, но чтоб вот так, «на глазок» определить, этого Волховской не ожидал даже от Германа.

Лопатин был поражен: особь с явной печатью Каина пользовалась таким влиянием, такой любовью. Разумеется, гипноз покушений на Плеве, на великого князя Сергея. И все же, и все же... Но как раз потому, что он мгновенно, «на глазок» угадал Азефа, Лопатин почувствовал неуверенность, колебания. Совсем недавно, проездом через Париж, на улочке Люнен, у Бурцева, было иначе. Как хорошо, подумал Лопатин, как хорошо, что ты на-

стоятельно рекомендовал Львовичу вбить последний гвоздь.

То не было отрицанием «физиогномики». То было нежелание отдаваться плохому впечатлению. И всегдашнее желание обнаруживать хоть что-нибудь светлое. Требовалась серия наблюдений, позволяющих схватить личность в пучок непростых конкретностей. И все же он не мог одолеть антипатии к Азефу. Не мог при встречах обменяться с ним рукопожатием.

Азеф при всей своей вялости, которую все здесь принимали за усталость (а была она следствием опустошенности, на сей раз почему-то невосполненной курортными заботами о дочурке и вдове казненного боевика), при всей своей вялости Азеф остро и тонко чувствовал опасность, исходившую от Лопатина... Старые революционеры? Азеф презрительно ронял губу: у старых революционеров только одно достоинство — то, что они старые. Однако Лопатин... Лопатин... Азеф не раз слышал: Илья Муромец русской революции. Понимал: особый авторитет, вес особый. Отнюдь не возрастной, не по причине тюремного стажа... Все это сознавая, чуя антипатию «старичины», Азеф с каждым днем все сильнее и настоятельнее испытывал желание покорить «старичину». Не страх, не боязнь разоблачения толкали к тому. Нет, не страх, ибо уже было сказано Азефу: «Останься!» Не страх — другое: покорить и распорядиться по своему усмотрению. Да только не так, как боевиками, не так, как с боевиками. И вовсе не ради вящих заслуг перед департаментом, перед Фонтанкой, перед Герасимовым. Плевал он на них. Ради себя, вот что. Для себя, вот что. Он, Азеф, подведет Илью Муромца к краю бездны, склонит над бездной, ужаснет бездной. Он, Азеф, сделает то, что не сделал Шлиссельбург — пусть рухнет, осознав никчемность своей незапятнанности, никчемность всей своей жизни, всех своих надежд.

И в душе Азефа возникло чувство, какое возникало к боевику, приготовленному для заклания: Азеф любовался «старичиной», любовался почти искренне, если не сказать совсем искренне, потому что сам Азеф всегда ощущал свои «любования» искренними. Было нечто коварно-женственное в том чувстве, с каким Азеф наблюдал Лопатина с его мощной статью, походкой чуть враскачку, открытым смехом, общительностью, бодростью, особенной лаской на лице, когда тот говорил с Волховским.

Привходящие обстоятельства заставили поторопиться. Несмотря на сугубую секретность конференции, газеты тиснули заметки о таинственных сборищах в клубе Этического общества. Детективы Скотланд-ярда околачивались на улице, лезли в сад. Лондонские друзья предупредили Волховского: коль скоро все происходит без ведома британского кабинета, коль скоро Сент-Джемский кабинет в амурах с Зимним дворцом... Словом, надо было разбегаться. И Азеф заторопился, сказал Волховскому, что ему необходимо переговорить наедине с Германом Александровичем. Волховской, подумав, отвечал, что коли так, то пусть Иван Николаевич приходит завтра же в ресторанчик «Лайонс» у Британского музея, пусть приходит к одиннадцати и ждет до половины двенадцатого. Если Герман Александрович не появится... «Хорошо, хорошо»,— сказал Азеф.

В ресторанчике «Лайонс» сухо пощелкивал кассовый аппарат. Пахло в ресторанчике «Лайонс» сыром, жаренным на сухарях, и пивом.

Азеф заказал портер.

Пришел Лопатин, коротко кивнул (ни разу во все дни конференции он с Азефом не обменялся даже и молчаливым поклоном), сел, положил на стол руки, и Азеф опять заметил, какие у Лопатина сильные запястья.

— Герман Александрович,— начал Азеф, ощущая себя как на проволоке, туго натянутой высоко над землей,— Герман Александрович, позвольте спросить: отчего для меня, бедного, такое исключение?

— Какое? — хмуро сказал Лопатин.

— Вы чрезвычайно общительны, а со мною ни слова. За что сия немилость?

— Сие называется антипатией,— ответил Лопатин и прищурился, в упор разглядывая Азефа.

Азеф усмехнулся очень миролюбиво, вроде бы принимая стариковскую капризность.

— Вы, Герман Александрович,— сказал он,— не из тех, с кем играют в прятки...

— Почему же? — колюче оборвал Лопатин.— Со мною игрывали в бо-ольшие прятки.

Азеф и колючесть принял беззлобно. Тугая проволока легонько подрагивала под ногами. Сорваться он мог, разбиться насмерть не мог. Относительность риска и безотносительность безнаказанности давали смесь всегда ему желанную.

— В самом начале нашей конференции от вас не скрыли, что среди делегатов есть и сотрудники департамента полиции,— продолжал Азеф, балансируя, как канатоходец.

— А один делегат пытался обратить внимание ваших товарищей на наличие провокации в центре вашей партии,— ответил Лопатин, принимая пробный шар, пущенный «каннибалом».

— Так,— почти весело ответил Азеф. — Но было указание и на провокацию на местах. Помните? Очень даже подозревали московскую девицу, хотя и мандат правильный, и пароли назубок.

— Я б на месте этой девицы,— сказал Лопатин,— удалился. Возникают подозрения — отойди в сторону, пока не распогодится.

Азеф широко осклабился.

— А я этого и хотел, я это и пытался!

— Вы? — непритворно удивился Лопатин.

— Представьте, я, Герман Александрович. Вчера собрался Совет партии. Я говорю: меня подозревают — я ухожу.

— И что же?

— А то, Герман Александрович, что все поочередно высказались: «Пусть останется». Понимаете — все до единого! А как бы вы, именно вы, поступили на моем месте?

Лопатин ответил мгновенно:

— Я никогда не мог бы оказаться на вашем месте. Что ж до вас, именно до вас, то вам, несмотря на единогласное «пусть останется», следовало уйти.

— А я, благодарный за доверие, расцеловал всех своих соратников.

— Знаете,— сказал Лопатин,— был такой эксперимент. Имен называть не станем?

— Конечно, это ж азбука.

— Так вот. Совсем недавно, в Вильне, показывают мне групповую фотографию, одни сидят, другие стоят. Спрашивают: «А что, найдете провокатора?» Не скажу, чтоб в секунду, но... Словом, тычу: «Не этот ли?» Говорят: «А вы еще подумайте»... Ладно, думаю. И опять: «А все ж не этот ли?» Удивились: «Верно. Этот».

— Ясновиденье?

— Да нет. Вполне мог бы и промахнуться. А вот когда вы... Отчего вы, годами знающие друг друга, не умеете разгадать провокатора?

— Случается, что и умеем. Правда, не часто, но иногда умеем.

— Однако... — обронил Лопатин и долго не спускал глаз с Азефа.

— Меня, что ли? — спросил Азеф, не потупившись.

— Почему бы и нет?

— Да ведь что же высосешь из сплетен маньяка Бурцева? — набычился Азеф. — Мне иногда даже жаль его — дело благое замыслил, да вот не за тот кончик потянул. А впрочем, глядишь, чего-нибудь когда-нибудь вытянет... Но тут вот что. Хлебом полицию не корми, дай подпустить: се — провокатор, а не лев. Ну и воцаряется гнетущая подозрительность, разброд и шатанье в публике. И все ж, увы: язва провокаторства поедом ест. А я, вы знаете, стоял у колыбели, здоровехонький народился младенец. А теперь... — Он махнул рукой. — Брошюрки писать, газетку редактировать — одно, а когда дело-то боевое... Не мне вам объяснять. Бывает, сам в себе усомнишься. Честное слово! А почему? Я вам искренне: иной раз, как подумаешь, ну и выходит, что революция — это провокация, а провокация — это революция. Мы вот недавно были в Выборге, Натансон рассказывал про Нечаева, как Нечаев-то на революционную дорогу ставил. Это что, это как, это куда отнесешь? Со стороны глядя — ах, нехорошо, ах, непорядочно. А дорога в колдобинах, дорога в рытвинах, боишься замараться — лежи колодой... — Безобразное лицо Азефа словно бы даже похорошело, озаренное грозным вдохновением. Лопатин, побледнев, теребил широкополую шляпу. Азеф, как бы смягчившись, прибавил печально: — Я читал, не помню где, но очень меткое,— террор обнаруживает и глубокую нравственную боль, и глубокую нравственную распущенность. Тут... Как ее? В древнем-то Риме была? Торпейская скала, что ли? С нее преступников в пропасть сбрасывали, вот я и думаю, все мы на скале Торпейской этой, то мы сбрасываем, то нас сбрасывают... Э, Герман Александрович, Герман Александрович, это ж двадцатый век, такая рулетка пошла, такие комбинации в «красном и черном»...

Он несся по натянутой проволоке, почти не балансируя, и подавленность Лопатина, молчание Лопатина, эти

его сильные, с широкими запястьями руки, мнущие шляпу, были Азефу наградой упоительной, едкой и сладостной, и он уже был убежден, что «старичина» ужаснулся бездне, это ж тебе не Шлиссельбург, это ж все коту под хвост, хочешь изобличай, хочешь не изобличай, а все коту под хвост, и шабаш.

Азеф поднял кружку и, ощущая необыкновенную жажду, положив на край кружки вислую нижнюю губу, а верхней шевеля и причмокивая, с наслаждением тянул холодный вкусный портер. Весь еще в напряжении, он не сразу понял, отчего в какой-то миг вдруг и возникла где-то под ложечкой и тяжесть и пустота, нет, не сразу понял, а только неприятно удивился голосу «старичины» — сухому, будничному и, кажется, даже скучающему.

— Отвечу по пунктам, хотя вы и вещали темно и сбивчиво, как оракул,— говорил Лопатин, оставив в покое шляпу и откинувшись к спинке стула. — Провокаторов большей частью не распознают потому, что те, кому это следовало бы делать, похожи на врачей, не думающих о тайне каждого организма, а лишь озабоченных выпиской рецепта. Рецепта, пригодного «вообще», ибо они заняты политикой «вообще». К человеку же «не вообще» они не восприимчивы, тут род презрения. Второе. Согласен — язва провокаторства. Но почему и откуда? Вы — заговорщик, ваша БО — заговорщицкая. А заговорщики без мундиров и заговорщики в мундирах, то бишь тайная полиция, поглощены шпионством, переплетены тесно. От заговорщика безмундирного до платного агента — скачок воробьиный. Особливо под угрозой тюрьмы или виселицы. Ну и при посулах денежных и прочих. Но язва-то, нет, гангрена, так вернее, гангрена есть следствие двух причин. Режим в России старческий, авантюризм в политике, авантюризм в придворной сфере, спекуляции, шантаж. Не машина даже, а просто-напросто сифилитическая развалина, вонючка, обреченная выгребной яме, но пока

еще испускающая миазмы. Теперь другое. Заговор и заговорщики — отменный бульон для плесени. Кто ж не знает, что в потемках жульничать сподручнее? Вы поминали Нечаева. Я его знавал, мы были врагами, да вот первый брошу камень в того, кто зачислит Нечаева в провокаторы. Но он оставил трупный яд: беспардонное распоряжение чужими судьбами.

Говорил Лопатин буднично, спокойно, даже, кажется, скучающе, и по мере того, как он это говорил, Азеф утрачивал самое дорогое — сознание своей единственности.

— Ну а теперь,— сказал Лопатин уже не буднично, а презрительно,— вернемся к нашим баранам. Вернее, к свиньям... Есть, видите ли, люди с патологической охотой играть роль гениев зла. А вот французские полицейские, представьте, так определяют тех, кто служит и нашим и вашим: свинья, которая разом жрет из двух корыт. Только и всего, Азеф, только и всего: свинья.

В ресторанчике «Лайонс» сухо стучал кассовый аппарат. Сыром пахло, жаренным на сухарях, и портером. Закусывали в ресторанчике клерки, конторские барышни.

Лопатин пиво не тронул, но шиллинг бросил на мраморный столик, монета издевательски прозвенела.

— Только и всего? — тоскливо переспросил Азеф.

Пока ехал подземкой, а потом шел, пока был в движеньи, владело Лопатиным усталое, печальное спокойствие. Но вот эта светлая комната в тихом и чистом коттедже, белеет фаянсовый умывальник и розовеет ворох полотенец, а из длинных ящиков, подвешенных за распахнутыми окнами, меланхолически кивают ромашки, маргаритки, анютины глазки, маргаритки, ромашки, анютины глазки. Вот он вернулся, и едва ключ щелкнул в скважине, как сухо защелкал кассовый аппарат, сыром запахло и портером, вислая губа, словно б отдельно, не-

зависимо от лица, пришлепнулась к пивной кружке — чадно и душно сделалось Германну Александровичу, чувствуя позыв к рвоте, сел он в кресло, растерянный, недоумевающий, испуганный...

Что-то похожее случилось в Петербурге, Катя и Бруно притащили к врачу. Врач выслушал, врач выстукал, эдакий дятел: «Угу-угу, вроде бы визитной карточки паралича». — «Доктор, — взмолился Бруно, — объясните, пожалуйста, Германну Александровичу, нельзя же так: на пятый этаж — не переводя духа!» — «Угу-угу, на пятый, угу-угу, нельзя... Характер, батенька, от такого характера не излечишь»...

Линолеум блестел, как лед, хотелось лечь, и не было сил подняться с кресла, одолеть страх перед этим линолеумом, натертым воском.

Его положили в десятую палату второго терапевтического отделения. Он знал, что теперь уж не вытянет. И сожалел о пуле. В счастливейший день, в долгожданный день рождения Российской республики — он был среди рабочих и солдат, под огнем винтовок и пулеметов, вот тогда-то и надо было умереть.

В больнице почти не топили. Стужа костенила огромный город, город промерз от крыш до подвалов. Лопатин умирал от рака в больнице на Архиерейской. Неподалеку темнела Петропавловская крепость. Петропавловский шпиль очертил, как циркуль, круг его жизни.

Но все это впереди, в декабре восемнадцатого.

Гремел дверной молоток: трах-тах-тах.

— Что с тобой?! — вскрикнул Волховской, бледнея.

— А что со мной? — переспросил Лопатин и, как умываясь, провел ладонями по лицу. — Малость вздремнул.

Волховской недоверчиво покачал головой.

— Вот,— сказал он,— получил. Ты, значит, дал Бурцеву мой адрес?

— Чей же еще,— рассеянно ответил Лопатин, впиваясь в телеграмму: «Последний гвоздь вбит. Жду. Львович».

Нет, они не торжествовали. Ни Лопатин, ни Волховской.

— И эти мокрые поцелуи, когда решено было: не уходи, Иван Николаевич, оставайся с нами, мы верим... — Волховской натянуто усмехнулся. — А ты видел, как он привечал одного из делегатов? Обратил внимание? Ну как же, как же... Мужик мужиком, позже всех из Расеюшки добрался, на подобных собраниях, видать, не бывал, ну, потерялся, ну, озирается, а каждый в спорах-разговорах, не до него. И только Азеф — вникни! вникни! — только он и занялся беднягой — отыскал местечко, усадил, потом в буфет повел, бутербродами кормил.

— Эдакие,— кивнул Лопатин,— предупредительны к «простым людя́м». Понять дают: а вы-де, образованные лимоны, коли и написали брошюрки, не командуйте, высосем да выбросим. Эдаким штучкам «не нравятся феории».

— У Азефа, кажись, лишь одна в наличии: не вносите революцию в массы.

— А как же! Я ему давеча: в потемках жульничать сподручнее.

Они помолчали, наблюдая, как на улице зажигались газовые фонари.

— И теперь ты?

— Да,— сказал Лопатин.

Волховской, собственно, и без «да» знал, что Герман поедет в Париж и доведет до конца «дело Азефа». О, нечего и говорить, эсеровские цекисты не тотчас спустят флаг, драка будет нешуточная, ведь это для них не конфуз, а крах.

— Можешь не сомневаться, с двухкорытным будет покончено.

— Да вот с двухкорытностью едва ли... — вздохнул Волховской. — Твоего «крестника» Нечаева давным-давно нет на белом свете... — Не в параллель Азефу помянул он Нечаева, а как бы подчеркивая, что иксы-игреки приходят-уходят, а явление-то остается; меняет оттенки, грим меняет, но, увы, остается.

— Есть умники,— сказал Лопатин,— утверждают, будто матушке истории безразлично, какими средствами совершается то-то или то-то, ей важно лишь, что́ совершается. Ни Маркс, ни Энгельс не были учеными сухарями, а потому и не страдали беспечностью на счет средств. И если я теперь самозачисляюсь в юрисконсульты бурцевских разысканий, то я посильно исполняю их заветы. А занятие, ты понимаешь, не из веселых. Невелика радость положить остаток жизни на тех свиней, что вышли из человека. Вышли-то они вышли, ан нет-нет и возвращаются, вот какая, брат, штука.

— «Невеселое занятие», — задумчиво повторил Волховской. — Гм, «невеселое»? — ужасное, это ж в клоаке... А тебе уж не тридцать. Ты думаешь, я не заметил? Ну, когда пришел, думаешь, не заметил? Не-ет, брат, сообразил, что тут с тобой творилось.

— Пустяки. Вздремнул малость.

— Это ты кому-нибудь другому очки втирай. — Волховской помолчал. Потом сказал: — Я слышал, шлюшинцы за мемуары взялись.

— Те-те-те, — улыбнулся Лопатин, — вот ты куда гнешь.

— А почему бы и нет? Ведь кто, как не ты, может и должен?

— Послушай, Феликс, я без шуток. Даю тебе честное слово, у меня нет и не будет ни малейшего желания занимать публику своей персоной.

— Верю, Герман. Верю и сожалею... И вот что на уме. Знаешь, я читал: на последней войне с турками, когда в Болгарию вошли, был доброволец, ни на кого не похожий, студент, кажется. Так он что же? Он собственным почином взялся в военном лагере нужники чистить, чтоб эпидемия не возникла. Гляжу на тебя и думаю: не ты ли этот доброволец?

— Ничего не скажешь,— усмехнулся Лопатин,— ароматная аналогия. Но, пожалуй, верная. Стало быть, благословясь, начнем.

Было уже поздно. Они закусили, напились чаю.

— Проводишь до подземки? — спросил Волховской.

— Ночуй здесь. Ночуй, как бывало. А завтра зайдем к тебе: позычу на дорогу пару белья. Так тоже бывало.

Волховской рассмеялся, молодо блестя глазами, ероша серебряные, с легкой синевою волосы.

— Эх, Герман, походный ты человек.

Его штаб-квартира была в Париже, там, где поселялся Бурцев,— на окраинной, невзрачной улице Люнен и на тесной улице Сен-Жак с ее старинными букинистическими лавками. Год за годом Лопатин «вывозил нечистоты». Тайны герасимовых и азефов вызывали тошноту и удушье.

Я поклонник детективного жанра, но мне неохота снимать с полки документы о «двухкорытных свиньях».

Изнемогая в клоаках, Лопатин отправлялся на юг, на Итальянскую Ривьеру. Уединенное местечко на берегу Генуэзского залива называлось Кави.

В Кави жил писатель Амфитеатров. Огромный, черный, грузный, он работал как вол; говорили о нем, вотде, «писатель без выдумки», в ту пору это считалось вто-

рым сортом, а теперь считается документализмом. В устной же речи был Амфитеатров, по одним свидетельствам, живописен и остроумен, по другим, тяжел и тускл. Впрочем, важно то, что в семействе Амфитеатровых, гостеприимных, щедрых, как воры (эдак Лопатин над ними трунил), его принимали с радостью.

На вилле, а сказать попросту, в большом деревянном доме с верандами, Герман Александрович занимал комнату балконом и окнами в сад; сквозь деревья проглядывала тяжелая синь Тирренского моря. В комнате, набитой книгами, был мозаичный плиточный пол, что почему-то очень нравилось Герману Александровичу.

Вообще многое тут пришлось ему по сердцу. И острокремнистая дорога в ближайший городок, и сам городок с облупившимися домиками, увитыми виноградными лозами, и деревенская траттория, грубо размалеванная ангелами и голубками, и этот мыс в брызгах прибоя. Лопатин плавал далеко, испытывая, как в молодости, властную, веселую и опасную тягу к зыбкому горизонту.

И все же блистающий воздух, лимонные и оливковые рощи, маслянистая синь волн, вся эта праздничная картинность временами навевала неясное томление, переходящее в глухую тоску.

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!

Он искал исцеленья в горах. Подъем на высоту дарил внутреннюю свободу. Отдыхая, Лопатин смотрел на откатившееся море. Отсюда, с высоты, казалось оно выпуклым и уже не густой синевы, а дымчато-лунным. Увы, приходилось начинать спуск, и счастье внутренней свободы, возможное только на вершинах, утрачивалось.

Поздней осенью высоко в горах его застигла метель. Где-то в стороне звонил колокол, указывая местоположение монастырской обители. Но Лопатин не хотел избавленья от этих тяжелых, слепящих вихрей, от бьющего в ноздри резкого и свежего запаха белых мятущихся хлопьев. Отирая рукавом лицо и бороду, затаился он в невнятном, радостно-тревожном предчувствии. Нет, не то чтобы вспомнилось, а наяву открылось: и кружок латунного солнца в минуту шлиссельбургского испуга перед крутой переменой жизни, и месяц-серп в окошке холодной мансарды, перекатные сугробы в степи, мгла ревущего порога, рокот большого города... И все это слилось с неизъяснимым счастьем внутренней свободы — п о р а д о м о й.

На нашей улице, что зовется Соломенной сторожкой, давно погасли огни, и только на краю леса, в угловом окне соседнего дома, как всегда, горит свет. Там живет полуночник, мы не знакомы, но все минувшие годы мне казалось, будто он ждет этих писем. И сейчас, заканчивая, я говорю ему: послушай, переведем дыхание да и возьмемся за следующую связку — Лопатин возвращается...

Давыдов Ю. В.

Д13 Две связки писем: Повесть о Германе Лопатине.— М.: Политиздат, 1983. — 463 с., ил. — (Пламенные революционеры).

Д $\frac{0505010000-008}{079(02)-83}$ 262—83

84Р7+63.3(2)52
Р2+9(С)17

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ДАВЫДОВ

ДВЕ СВЯЗКИ ПИСЕМ

ПОВЕСТЬ О ГЕРМАНЕ ЛОПАТИНЕ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *А. П. Пастухова*
Младший редактор *Г. И. Жарикова*
Художник *В. В. Медведев*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. П. Межерицкая*

ИБ № 3625
Сдано в набор 24.06.82. Подписано в печать 30.12.82.
А 00235. Формат 70×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.
Условн. печ. л. 20,91. Условн. кр.-отт. 23,28. Учетно-изд. л. 21,07.
Тираж 300 тыс. экз. Заказ № 320. Цена 1 р. 60 к.

Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
Свердловск, просп. Ленина, 49.

ЮРИЙ ДАВЫДОВ

ДВЕ СВЯЗКИ ПИСЕМ